

БРЕТ



ГРТ



6

БРЕТ  
ГРТ



# БРЕТ ГАРТ

**собрание сочинений  
в шести томах**

**ТОМ 6**

**БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
Москва 1966**

**Собрание сочинений выходит  
под общей редакцией  
А. Старцева**

**Иллюстрации художника  
П. Пинкисевича**



# **РАССКАЗЫ**

24

## ПРИГОВОР БОЛИНАССКОЙ РАВНИНЫ

Над Болинасской равниной разгулялся ветер. Он вздымал мелкую солончаковую пыль, гнал ее по ровной, блеклой полосе дороги, и если до сих пор дорога эта хоть как-то разнообразила пейзаж, то теперь стала совсем неприметной. Впрочем, поднятая ветром туча пыли в то же время оживила окрестность: на пустынном горизонте вдруг замаячили очертания лесов, там, где только что не было ни души, зашевелились упряжки. И даже Сью Бизли, хозяйке фермы «У родника», как ни привыкли ее глаза к унылой перспективе, которая открывалась с порога ее дома, тоже раз-другой что-то почудилось, когда она, заслонив маленькой красной рукой свои светлые ресницы, разглядывала пустынную дорогу.

— Сью! — окликнул ее из дома мужской голос.

Сью не ответила и даже не шелохнулась.

— Сью! На что ты там вылупилась?

На местном языке это, очевидно, значило «засмотрелась», потому что Сью, не поворачивая головы, медленно и лениво ответила:

— Вроде бы кто-то шел по дороге. А теперь вот никого не видать.

В произношении этих людей и в их манере изъясняться было нечто от печального однообразия бескрайней прерии. Но если тягучая интонация женщины все же была мелодичной, то в монотонном голосе мужчины не чувствовалось ничего, кроме усталости. А когда женщина вернулась наконец в дом, то, глядя на них обоих,

можно было заметить подобное же различие и в их наружности.

Муж женщины, Айра Бизли, стал жертвой своей беспечности и нерадивости, а также невезения и болезни. У него не хватало трех пальцев — два он отсек кошой, а третьего, большого, пальца и мочки левого уха лишился, когда в руках у него взорвалось ружье, в которое он насыпал слишком много пороха; колени его были изуродованы ревматизмом; к тому же он прихрамывал на одну ногу из-за того, что кривые ногти вросли в мясо. Все это лишь подчеркивало его природную неуклюжесть. Зато ладная фигурка его жены — Бизли была бездетны — сохранила девическую стройность и округлость. Черты лица миссис Бизли были неправильны, но не лишены своеобразной привлекательности, светлые волосы, в которых проглядывали более темные пряди, можно было все же назвать белокурыми, а солончаковая пыль и загар придавали ее лицу смугловатый оттенок.

Сью жила здесь с того самого дня, когда Айра неуклюже помог ей, угловатой пятнадцатилетней девчонке, вылезти из фургона, остановившегося у его порога, того самого фургона, в котором за две недели до этого умерла ее мать. Это была их первая остановка в Калифорнии. На другой день, когда Сью пошла по воду, Айра попытался сорвать у нее поцелуй, но вместо этого его окатили водой: девушка знала себе цену. На третий день между Айрой и отцом Сью начались переговоры насчет участка и скотины. На четвертый — переговоры продолжались уже в присутствии девушки. А на пятый они втроем сходили к приходскому священнику Дэвису, который жил в четырех милях от фермы, и Айра и Сью обвенчались. Весь их пятидневный роман начался и закончился на том самом клочке земли, который Сью только что видела с порога; одним взглядом, брошенным из-под светлых ресниц, она могла окинуть место, где произошло важнейшее событие ее жизни.

И все же, когда муж вышел из комнаты, что-то заставило ее отложить тарелку, которую она мыла, и, накинув полотенце на красивые обнаженные плечи, женщина снова прислонилась к косяку, лениво оглядывая равнину. Внезапно огромный столб пыли, за которым по дороге волочился длинный, изодранный шлейф, надви-

нулся на нее и на миг скрыл весь дом. Когда же он унесся прочь, что-то вдруг появилось или как бы вывалилось из этого шлейфа за узенькой полоской невысоких кустов, опоясывавших ферму «У родника». Это был человек.

— Ну вот, я же знала, что там кто-то есть,— начала она вслух, но почему-то замолчала. Потом повернулась и пошла было к двери, за которой только что скрылся ее муж, но у порога снова заколебалась. И вдруг решительно вышла из дому и направилась прямо к роднику. Когда она подходила к кустарнику, оттуда выглянул, пригнувшись, покрытый пылью человек. Сю не испугалась его: очень уж измученным он казался, и голос его, задыхающийся и прерывистый, звучал неуверенно, смущенно и умоляюще.

— Эй! Послушайте!.. Спрячьте меня, ладно? Хоть ненадолго. Понимаете... дело в том, что... за мной гонятся. Прямо по пятам, вот-вот нагонят. Спрячьте куда-нибудь... пока они не проедут. Я вам потом все объясню. Скорей! Ради бога!

Все это несколько не поразило женщину и даже не показалось ей странным. К тому же незнакомцу пока что не грозила опасность. Он не был похож на конокрада или разбойника. Бедняга попытался даже рассмеяться с горечью и в то же время виновато: дескать, неловко же мужчине в такую минуту просить помощи у женщины.

Она бросила быстрый взгляд в сторону дома, и он, заметив это, торопливо проговорил:

— Не выдавайте меня. Спрячьте так, чтоб никто не видел. Вам я верю.

— Пошли,— сказала она вдруг.— Держитесь по эту сторону.

Он понял ее и, низко пригнувшись, как собака, шмыгнул к ее ногам, прячась за юбкой, а когда женщина неторопливо направилась к сараю, стоявшему в полусотне шагов от кустарника, беглец держался так, чтобы она заслоняла его от окон дома. Дойдя до сарая, она быстро приоткрыла дверь, сказала: «Полезайте наверх, на сеновал»,— снова затворила дверь и уже собрался уходить, как вдруг изнутри послышался негромкий стук. Рассерженная Сю открыла дверь, и он выпалил:

— Я вот что хотел вам сказать: этот подлец оскорбил женщину! А я бросился на него и...

Но Сю уже захлопнула дверь. Беглец сделал серьезный промах. Ему не следовало, оправдываясь, упоминать о представительнице ее вероломного пола. И все же, когда Сю шла домой, ничто в ней не выдавало волнения; вот она переступила порог, тихонько подошла к двери в смежную комнату, заглянула туда и, увидев, что муж поглощен плетением лассо и, по всей видимости, не заметил ее отсутствия, снова как ни в чем не бывало принялась мыть посуду. Но вот что любопытно. Если перед тем Сю делала это рассеянно и небрежно, словно ее занимали какие-то посторонние мысли, то сейчас, когда она и в самом деле была поглощена раздумьем, движения ее были старательны и аккуратны. Сю бережно брала каждую вымытую тарелку, придирчиво оглядывала, нет ли где трещинки, потом осторожно вытирала ее полотенцем, а перед глазами у нее все время стоял человек, которого она спрятала в сарае. Так прошло несколько минут. Но вот на дом обрушился новый порыв ветра, еще одно облако пыли пронеслось мимо двери, потом послышался стук копыт и кто-то громко окликнул хозяев.

Айра выскочил из комнаты и очутился на пороге почти одновременно с женой. К дому приближались двое вооруженных всадников, в одном из которых Айра узнал шерифа.

— Был здесь сейчас кто-нибудь? — отрывисто бросил тот.

— Нет, никого.

— И мимо никто не проходил? — продолжал допытываться шериф.

— Нет. А в чем дело?

— Вчера ночью в «Монте» у Долорес один циркач зарезал Хэла Дадли, а к утру сбежал. Мы гнались за ним по пятам до самого края равнины, но потеряли из виду в ваших треклятых песках.

— Ба, да ведь Сю, сдается мне, видела кого-то, — вдруг вспомнил Айра. — Верно, Сю?

— Так какого же дьявола она до сих пор молчала... Прошу прощения, мэм, я вас не заметил... Тут такая спешка.

Едва Сью шагнула вперед, как с голов обоих всадников слетели шляпы, а их лица расплылись в смущенной и в то же время восхищенной улыбке. На смугловатых щеках Сью проступил бледный румянец, глаза заблестели, она удивительно похорошела. И даже Айра ощутил легкое волнение, совсем было забытое за унылые годы супружества.

Молодая женщина вышла во двор, прикрывая полотенцем свои красные руки, но оставляя на виду округлые белые локотки и красивые открытые плечи, и стала пристально вглядываться вдаль, не обращая внимания на двух восхищенных мужчин, к которым подошла почти вплотную.

— Вон там где-то,— лениво произнесла она, указывая на дорогу, в сторону, противоположную сараю.— Да только я не знаю, что там было.

— Так, значит, вы заметили его, когда он уже прошел мимо дома? — спросил шериф.

— Стало быть, так... если только это был он,— ответила Сью.

— Здорово же он нас обогнал,— сказал шериф,— впрочем, он должен прыгать, как заяц, такая уж у него профессия.

— А он кто?

— Акробат.

— Это что такое?

Ее простота умилила преследователей.

— Человек, который бежит, скачет, лазит, словом, откалывает разные штуки в цирке.

— А сейчас, значит, он бежит, скачет и лезет куда-нибудь подальше от вас? — с очаровательным простодушием воскликнула Сью.

Шериф улыбнулся, но тут же выпрямился в седле.

— Нам надо догнать его, прежде чем он доберется до Лоувиля. А между вашей фермой и Лоувилем сплошная голая равнина, тут суслик из норы выскочит — и то видно за милю! Счастливо оставаться!

Слова были обращены к Айре, прощальный взгляд — к его хорошенькой жене, и верховые поскакали прочь.

Неожиданно обнаружив, что жена его красива, и заметив то впечатление, которое она произвела на этих мужчин, Айра почувствовал смутное беспокойство. Свое

смятение он выразил тем, что произнес, уставившись в пустоту перед дверью:

— Много же ты поймаешь, коли будешь вот так липнуть да околачиваться возле баб.

И пришел в неумеренный восторг, когда жена, презрительно сверкнув глазами, подхватила:

— Куда как много!

— И для того, чтобы содержать таких прощелыг, мы платим налоги,— с досадой сказал Айра, считавший в душе, что выборное правительство на то и существует, чтобы каждый избиратель мог судачить о его действиях.

Но миссис Бизли, сохраняя полную невозмутимость, вновь принялась мыть посуду, и Айра возвратился в смежную комнату к своему лассо.

Наступила долгая тишина, лишь изредка прерываемая негромким звяканьем, когда рука, пальчики которой, к слову сказать, были тверды и не дрожали, ставила новую тарелку на стопку уже вымытых. Потом слышался негромкий голос Сью:

— Вот интересно, поймали они кого или нет? Меня так и подмывает пройтись по дороге да посмотреть, что там делается.

Услышав это, Айра быстро подошел к двери, чувствуя, как к нему возвращается прежнее беспокойство. Не хватало еще, чтобы жена опять встретилась с этим любезником.

— Я, пожалуй, сам схожу,— проговорил он, подозрительно взглянув на нее.— А ты лучше за домом присмотри.

Подхватив стопку вымытых тарелок, Сью направилась к кухонной полке; глаза ее блстели: очень может быть, что именно этого она и добивалась.

— Что ж, верно,— сказала она весело.— Ты ведь можешь уйти дальше, чем я.

Айра размышлял. Если те двое вздумают вернуться, то он, пожалуй, сумеет их спровадить. Он поднял с полу свою шляпу, бережно снял с гвоздя ружье и, прихрамывая, вышел из дому. Сью проводила его глазами, а когда он отошел подальше, кинулась к задней двери, лишь на секунду замешкавшись у зеркала, но так и не заметив, впрочем, как она похорошела, выскочила из дому и побежала к сараю. Она оглянулась на удаляющуюся



фигуру мужа, распахнула дверь и тут же притворила ее за собой. Очутившись после залитого солнцем простора в темноте сарая, она остановилась ошеломленная. Но вот Сью увидела перед собой ведро, до половины наполненное грязной водой, раскиданную на полу мокрую солому; потом, поглядев вверх, на сеновал, она разглядела беглеца — голый до пояса, он выглядывал из развороченного сена, в котором, по всей видимости, решил обсушиться. Трудно сказать, то ли нависшая над этим человеком опасность, то ли безукоризненная пропорциональность его обнаженного торса и рук облекли его в глазах Сью, которая в жизни ничего подобного не видела, холодным совершенством статуи, но женщина ни капли не смутилась; он же, привыкнув выступать перед публикой в одном трико, усыпанном блестками, почувствовал не стыд, а скорее небольшую неловкость из-за того, что его застигли в таком виде.

— Вот, хоть пыль с себя смыл,— торопливо пояснил он и добавил:— Сейчас спущусь.

И в самом деле, в одну минуту он накинул на себя рубашку и фланелевую куртку и соскочил вниз с такой легкостью и грацией, что Сью почудилось, будто некое божество спустилось с неба. Прямо перед собой она увидела его лицо, теперь уже отмытое от грязи и пыли, и влажные завитки волос на низком лбу. Среди его собратьев по профессии нередко можно встретить такие грубо смазливые лица, не облагороженные ни умом, ни утонченностью, ни даже подлинной отвагой; но Сью этого не знала. Стараясь преодолеть внезапную робость, она коротко рассказала ему о том, что его преследователи уже были здесь и уехали.

Он наморщил свой низкий лоб.

— Пока они не вернутся восвояси, отсюда не выбежать,— сказал он, не глядя на нее.— Вы не могли бы оставить меня здесь на ночь?

— Оставайтесь,— коротко ответила женщина, которая, по-видимому, уже думала об этом,— только сидите тихо на сеновале.

— А не могли бы вы...— Он в нерешимости остановился и продолжал с принужденной улыбкой:— Я, видите ли, ничего не ел со вчерашнего вечера... так нельзя ли...

— Я принесу вам поесть,— быстро сказала она, кивнув головой.

— И не найдется ли у вас,— продолжал он еще более неуверенно, оглядывая свое грязное и истрепанное платье,— куртки там какой-нибудь или еще чего? Мне, видите ли, тогда легче будет скрыться, они меня не узнают.

Женщина снова торопливо кивнула: она и об этом уже подумала; у них дома валялись штаны из оленьей кожи и вельветовая куртка, оставленные мексиканским вакеро, который покупал у них в позапрошлом году скотину. Сью, отличавшаяся практическим складом ума, тут же представила себе, каким молодцом он будет выглядеть в вельветовой куртке, и вопрос был решен окончательно.

— А не сказали они вам,— натянуто улыбаясь, он смущенно покосился на нее,— не говорили они... чего-нибудь насчет меня?

— Говорили,— рассеянно ответила она, вглядываясь в его лицо.

— Тут такое дело,— пробормотал он торопливо.— Я расскажу вам, как все вышло.

— Нет, не надо! — поспешно остановила его Сью. Она и в самом деле ничего не хотела знать. Зачем припутывать какую-то постороннюю историю к единственному в ее жизни романтическому событию.

— Покуда он не вернулся, я схожу и принесу вам все что нужно,— сказала она, поворачиваясь к двери.

— Кто это «он»?

Сью собиралась уже ответить «муж», но почему-то осеклась, сказала: «Мистер Бизли» — и быстро побежала к дому.

Она разыскала одежду вакеро, захватила кое-что из еды, достала из буфета бутылку виски, налила полную фляжку и, волнуясь, как школьница, со слабой улыбкой, блуждающей на губах, побежала назад. Она даже чуть не выкрикнула «вот!», протягивая ему то, что принесла. Он рассеянно поблагодарил ее, глядя, как зачарованный, на еду, и Сью с какой-то внезапной чуткостью сразу же все поняла и, сказав: «Я еще загляну к вам, когда он вернется», — убежала домой, предоставив ему насыщаться в одиночку.

А тем временем ее супруг, лениво ковылявший по дороге, сам навлек на свою голову беду, которой ему так хотелось избежать. Дело в том, что его нескладный силуэт четко выделялся на фоне однообразной и плоской равнины и его тотчас заметили шериф и сопровождавший его констебль, которые обнаружили свою ошибку лишь тогда, когда подскакали к Айре на расстояние пятидесяти шагов. Они не замедлили воспользоваться этим недоразумением, чтобы отказаться от дальней поездки в Лоувиль: по правде говоря, едва только они простились с очаровательной миссис Бизли, как стали сомневаться, правда, ни в коей мере не подозревая об истине, в том, что беглец успел уйти так далеко. А что если он, удобно примостившись за каким-нибудь травянистым бугорком, следит за ними издали и ждет лишь ночи, чтобы ускользнуть? Домик Бизли показался им подходящим наблюдательным пунктом. Айра весьма кисло отнесся к такому решению, но шериф сразу поставил его на место.

— Я ведь, знаете ли, имею право, — проговорил он со зловещей иронией, — мобилизовать вас для содействия закону, но я предпочитаю не обижать своих друзей, хватит с вас, пожалуй, и того, что я «реквизирую» ваш дом.

Ужасная мысль, что шериф в любой момент может послать его рыскать по прерии вместе с констеблем, а сам останется дома с его женой, заставила Айру покориться. И все же ему до смерти хотелось спровадить куда-нибудь Сью на то время, что шериф пробудет у них... Однако ближайшие соседи жили в пяти милях. Единственное, что оставалось Айре, это вернуться вместе с незваными гостями и не спускать глаз с жены. Как ни странно, эти события внесли явное и даже не лишнее некоторое приятие оживление в унылую жизнь мистера Бизли. Есть натуры, для которых внезапно пробудившаяся ревность столь же живительна, как и сама любовь.

По возвращении домой одно пустячное обстоятельство, на которое час тому назад флегматичный Айра едва ли обратил бы внимание, с новой силой возбудило его страхи. Сью сменила манжеты и воротничок, сняла грубый передник и тщательно причесалась. Вспомнив, как ярко блестели ее глаза, Айра твердо уверился, что при-

чина этих перемен — визит шерифа. Было также совершенно ясно, что и сам шериф не менее очарован красотой миссис Бизли, и, хотя прием, который она оказала шерифу, никак нельзя было назвать сердечным, Айра подумал, что сдержанность и принужденность, появившиеся в ее манерах, были своего рода кокетством. О женском кокетстве он вообще имел весьма туманное представление, а во время недолгого ухаживания за Сью не замечал за ней ничего подобного. Никто не стоял между ним и бедной сиротой с тех пор, как она попала прямо в его объятия, выскочив из отцовского фургона; ему не пришлось ни с кем соперничать, не пришлось ухаживать, хитрить. Айре с его ленивым, бедным воображением и в голову не приходило, что кто-нибудь, кроме него, может понравиться Сью. Их союз представлялся ему незыблемым. Если бы две его коровы, которых он купил на свои кровные деньги и сам откормил, вдруг вознамерились отдавать свое молоко кому-нибудь из соседей, Айра и тогда не удивился бы больше. Но ведь коров-то можно было привести на веревке домой, не испытывая при этом сердечного трепега.

Подобные чувства в кругу людей менее непосредственных проявляются лишь в преувеличенной любезности да завуалированных колкостях, но мужа Айра попросту онемел и впал в столбняк. Он то слонялся с потерянными видом по комнате, прихрамывая сильнее обычного, то вдруг в изнеможении опускался на стул и застывал, терзаемый смутным подозрением, что между его женой и шерифом что-то происходит, и тупо ждал... сам не зная чего. Айре казалось, что вся атмосфера их дома как-то неприятно наэлектризована. Из-за этого загорелись глаза Сью, из-за этого не в меру разыгрались приезжие, а сам Айра словно прирос к стулу, судорожно вцепившись руками в спинку. Однако он все же сообразил: чтобы жена не переглядывалась с гостями или, хуже того, не начала болтать с ними о разных разностях, ее нужно занять каким-нибудь делом. И Айра велел ей принести чего-нибудь закусить.

— Куда это виски подевалось? — любопытствовал он, пошарив в буфете.

Миссис Бизли и бровью не повела.

— Я хотела сварить кофе и напечь лепешек, — прого-

ворила она, слегка тряхнув головой,— но если вам, мужчинам, не по вкусу мое угощение, ступайте в ближайший трактир и заказывайте там свое «горячительное». Если вы предпочитаете даме трактирщика, то так и говорите.

Эти слова, произнесенные с дерзким вызовом, совершенно обворожили гостей и успокоили на время Айру, который сам мечтал, чтобы жена чем-то занялась. Миссис Бизли с победоносным видом удалилась на кухню, где, сняв манжеты, сразу принялась за дело, и очень скоро снова появилась на пороге, неся поднос с лепешками и дымящимся кофе. Так как ни она, ни Айра не дотрагивались до еды (им обоим, очевидно, было не до того), гостям пришлось приналечь на угощение. А солнце между тем уже склонялось к горизонту, и, хотя лучи его, протянувшиеся над самой землей, осветили всю равнину, как мощные прожекторы, близились сумерки, и времени на поиски беглеца почти не оставалось. Но гости не спешили. Айра оказался перед новым затруднением: пришла пора гнать домой коров и принести им сена из сарая, а ведь жену тогда придется оставить в обществе шерифа. Не знаю, догадалась ли миссис Бизли о затруднениях своего мужа, но она вдруг словно невзначай предложила выполнить за него его обязанности. Айра с облегчением вздохнул, но тут же сердце его снова упало, ибо шериф галантно вызвался помочь хозяйке. Однако Сью отвергла его предложение с деревенской бесцеремонностью.

— Ежели я берусь за Айрину работу,— сказала она с лукавым вызовом,— то, стало быть, я думаю, что вам от его помощи будет больше пользы, чем мне от вашей! Так что ловите своего беглеца и скатертью вам дорожка!

Ее дерзкая отповедь отрезвила шерифа, и ему не оставалось ничего другого, как принять услуги Айры. Мне неизвестно, почувствовала ли миссис Бизли укоры совести, когда ее растроганный супруг встал со стула и заковылял вслед за шерифом, знаю лишь, что она смотрела им вслед с торжествующей улыбкой на лице.

Потом она снова выскользнула через заднюю дверь и побежала к сараю, пристегивая на ходу чистые манжетки и воротничок. Беглец поджидал ее с нетерпением и начал уже раздражаться.

— Я думал, вы никогда не придете!—воскликнул он.

Запыхавшаяся Сью объяснила ему, в чем дело, и, чуть приоткрыв дверь, указала на силуэты троих мужчин, которые медленно двигались по равнине, расходясь в разные стороны, подобно солнечным лучам, которые протянулись над самой землей, освещая им путь. Солнечный луч осветил также высоко вздымавшуюся грудь Сью, ее пушистые светлые волосы, полуоткрытые красные губы и веснушки над короткой верхней губкой. Успокоенный беглец перевел взгляд с трех удалявшихся фигур на женщину, которая стояла рядом с ним. Впервые за все время он заметил, что она красива, и улыбнулся, а Сью вспыхнула и просияла.

Его преследователи теперь уже почти скрылись вдаль, и между молодыми людьми завязалась беседа,— он был полон благодарности и хвастлив, она же, глядя на него сияющими глазами, торопливо поддакивала, почти не понимая его слов, а лишь следя за выражением лица. Сью казалась сейчас совсем девочкой. Нам, однако, нет нужды знать, как именно он объяснил ей свое положение, как, рисуясь, рассказал о выпавших на его долю невзгодах и о многочисленных своих доблестях, тем более что Сью почти ничего не поняла. С нее было довольно того, что она встретила его, единственного в мире, и защищала его теперь от всего мира! Нежданный-негаданный дар судьбы, он стал для нее всем: другом, которого у нее не было в детстве, возлюбленным, о котором она никогда не мечтала, даже ребенком, которого жаждала ее женская душа. Когда она не улавливала смысла в его бессвязном хвастовстве, то винила в этом только себя; его невежественное бахвальство представлялось ей слишком умным для ее слабого разума, а непонятный ей вульгарный жаргон она считала языком того большого мира, где ей не довелось побывать. И, любуясь его атлетической фигурой, она размышляла, до чего же не похож этот мир на тот, к которому принадлежал ее незадачливый калек-муж и этот расфранченный провинциальный хлыщ шериф. Так, сидя на сеновале, куда Сью забралась для пущей безопасности, они забыли обо всем под его спешивый монолог, прерываемый время от времени только сдержанными вздохами Сью, с лица которой не сходила подобострастная улыбка.

Было душно. От нагретой солнцем крыши шел запах сосновой смолы; сено сладко благоухало клевером. Потянул ветерок, солнце садилось, однако, увлеченные разговором, они этого не заметили. Но вот женское чутье вдруг заставило Сью сказать: «Мне пора»,— и этим она бессознательно ускорила события. Ибо не успела она встать, как он схватил ее за руку, потом обнял за талию, стараясь запрокинуть ей голову, которую она упорно опускала, словно хотела зарыться лицом в сено. После непродолжительной борьбы Сью вдруг как-то сразу покорилась, и они поцеловались так страстно, словно томилась друг по другу много долгих дней, а не минут.

— Эй, Сью! Куда ты пропала?

Они только теперь поняли, что уже совсем стемнело и мистер Бизли возвратился домой. Испуганный беглец так грубо оттолкнул от себя женщину, что ее охватило возмущение, на миг затмившее растерянность и стыд; сама она ничуть не испугалась; пожелай он этого — и она гордо, без страха встретила бы в его объятиях мужа. Но, к удивлению своего возлюбленного, она ответила спокойным, ровным голосом:

— Я здесь! Сейчас спущусь.

И как ни в чем не бывало направилась к лестнице. Глянув вниз и увидев, что муж и шериф стоят возле сарая, она тут же вернулась, и, приложив палец к губам, знаком велела беглецу снова спрятаться в сено, и уже повернулась было, чтобы уйти, но он, по-видимому, пристыженный ее хладнокровием, крепко сжал ее руку и шепнул:

— Приходи опять ночью, милая... ладно?

Она поколебалась, потом снова поднесла палец к губам, высвободилась и соскользнула с лестницы.

— Я вижу, ты себя не больно тут утруждала,— брюзгливо проговорил Айра.— Белянка и Рыжуха до сих пор не кормленные бродят по двору.

— На сеновал нельзя было залезть,— твердо сказала миссис Бизли,— хохлатка, оказывается, вовсе не потерялась, а высиживает там цыплят, и ее лучше не трогать. Придется тебе нынче взять сено из стога. И раз уж вы,— лукаво добавила она, покосившись на шерифа,— тоже не бог весть сколько наработали, вам будет в самый раз сходить за кормом для коров.

Расторопная Сью ловко распределила обязанности между тремя мужчинами, и с работой разделились быстро, тем более что шерифу никак не удавалось полюбезничать наедине с миссис Бизли. Сью сама заперла дверь сарая и уже по дороге к дому узнала из разговора шедших позади мужчин, что шериф решил прекратить погоню и они с констеблем намереваются переночевать у них сегодня на полу в кухне, постелив себе соломы, а на рассвете уедут. Угрюмость мистера Бизли сменилась выражением унылой покорности, и он лишь изредка настороженно поглядывал на жену, а миссис Бизли становилась все оживленнее. Но ей пришлось уйти на кухню готовить ужин, и мистер Бизли вздохнул с облегчением. Когда же ужин был готов, Айра попытался найти забвение, поминутно прикладываясь к виски; миссис Бизли любезно открыла новую бутылку и весьма усердно потчевала гостей в притворном раскаянии за свою давешнюю негостеприимность.

— Теперь, когда я вижу, что вы пришли не только из-за виски, я покажу вам, что Сью Бизли утрет нос любому трактирщику,— заявила она.

Засучив рукава и обнажив свои красивые руки, Сью смешала коктейль, так мило подражая ловким ухваткам заправского трактирщика, что гости ошалели от восторга. Юная жизнерадостность, заглушенная пятью годами домашних забот, но все же не погасшая, вдруг ярко вспыхнула и поразила даже Айру. Он и забыл, что жена его еще совсем девочка. И только раз, когда она мельком взглянула на плохонькие часы, стоявшие на камине, Айра заметил в ней еще одну перемену, тем более разительную, что она никак не вязалась с этой вспышкой детского веселья. Он увидел совсем иное лицо — замкнутое, сосредоточенное лицо внезапно повзрослевшей женщины, и сердце его сжалось от тревоги. Не его, а какая-то незнакомая Сью стояла перед ним, и со свойственной ему болезненной подозрительностью он решил, что кто-то чужой вызвал в ней эту перемену.

Но когда Сью, пожаловавшись на усталость и даже кокетливо сославшись на то, что якобы пригубила виски, рано ушла спать, у Айры снова отлегло от сердца. Вскоре шериф, которому общество унылого хозяина не доставляло никакого удовольствия, постелил возле кухонной печи



одеяла, принесенные миссис Бизли, и улегся спать. Констебль последовал его примеру. Через некоторое время в доме воцарилась сонная тишина, и только Айра все еще сидел перед гаснущим камином, понутив голову и вцепившись пальцами в ручки кресла.

Его болезненное воображение разыгралось, а ум, не привыкший к размышлениям, то начинал работать с лихорадочной быстротой, то погружался в оцепенение. Здравый смысл, которым всегда руководствовался Айра, говорил ему, что шериф поутру уедет, а в поведении Сью нет ничего особенного и ее внезапная страсть к кокетству пройдет с такой же легкостью, с какой пришла. Но тут ему вспомнилось, что в пору его недолгого сватовства он не замечал этого за Сью — никогда прежде она не бывала такой. Если это и есть любовь, так значит Сью не знала ее раньше, а если это то, что мужнины зовут «бабьими штучками», так почему же она не прибегала к ним прежде, когда встретилась с ним, раз они так неотразимы. Айра вспомнил свою убогую свадьбу, невесту, которая вошла в его дом без трепета, смущения, надежд. Вела ли бы она себя так же, окажись на его месте другой, скажем, шериф, из-за которого так оживилось и разурмянилось ее лицо? Что за этим кроется? Так ли живут другие супруги? Вот, например, Уэстоны, их соседи, — похожа миссис Уэстон на Сью? И тут он вспомнил, что миссис Уэстон убежала в свое время с мистером Уэстоном из родительского дома. Это был так называемый «брак по любви». А захотела бы Сью бежать из дому с Айрой? Хочется ли ей сейчас убежать вместе с...

Свеча уже совсем оплыла, когда он яростно вскочил, охваченный внезапным гневом. Он снова хлебнул виски, но ему показалось, что он пьет воду; огонь куда более жаркий сжигал его. Пора было ложиться спать. Однако на Айру вдруг нашла какая-то непонятная робость. Ему вспомнилось странное выражение на лице жены. Почему-то у него возникло такое чувство, что из-за случайного гостя, заночевавшего у них в доме, он, Айра, не только стал чужим своей жене, но и не смеет даже войти к ней в спальню. Айре надо было пройти мимо открытой кухонной двери. Голова спящего шерифа была теперь у самых носков его тяжелых сапог. Стоило Айре приподнять ногу — и он мог раздавить эту румяную, красивую, само-

довольную рожу. Айра быстро прошел мимо двери и начал подниматься по скрипучим ступенькам. Сью тихо лежала на краю кровати и, видимо, спала — ее распущенные, пышные волосы почти скрывали лицо. Айра обрадовался, что она уснула; невесть откуда взявшаяся робость завладевала им все больше, и он не мог бы заговорить с женой, а если заговорил бы, то только для того, чтобы выложить ей все смутные и ужасные подозрения, которые терзали его. Он потихоньку пробрался к другому краю кровати и начал раздеваться. Сняв сапоги и носки, он невольно взглянул на свои босые, искривленные ноги. Потом перевел взгляд на беспалую руку, встал, прихрамывая, подошел к зеркалу и начал рассматривать свое уродливое ухо. А сколько раз видела его уродство она, эта стройная женщина, спавшая здесь, рядом. Она, конечно, знала все эти годы, что муж у нее не такой, как все... как этот шериф, в щегольских сапогах со шпорами и с непомерно большим бриллиантом на пухлом мизинце. Айру прошиб холодный пот. Он снова натянул носки, потом, приподняв верхнее одеяло, забрался под него полуодетый, а уголком закутал свою искалеченную руку, чтобы скрыть ее от глаз. Туман застилал ему глаза, щеки и ресницы были влажны, должно быть, это виски «полезло наружу».

Его жена лежала неподвижно; казалось, она не дышит. А что если она и вправду перестанет дышать, умрет, как умерла та, прежняя Сью, угловатая девчонка, на которой он когда-то женился, такая знакомая, неиспорченная? Пожалуй, это было бы лучше. Но тут он вдруг представил себе эту новую Сью, с обнаженными белыми руками и смеющимися глазами; как хороша она была, когда подражала трактирщику! Он стал прислушиваться к неоторпливому тиканью часов, к случайным звукам, раздававшимся в доме, к тем тяжким вздохам, которые испускала время от времени безлюдная равнина, совсем не похожим на шелест вечернего ветра. Все это он слышал уже не раз, но в тот вечер многое открывалось ему заново. Быть может, оттого, что он неподвижно лежал на спине, или же наконец подействовало виски, но в голове у Айры все смешалось и закружилось в бурном вихре. Он пытался выхватить из него хоть что-нибудь, прислу-

шаться к голосам, которые предупреждали, чтобы он не спал, и вдруг уснул глубоким сном.

Часы тикали, вздыхал ветер, и женщина, лежавшая рядом с Айрой, была по-прежнему неподвижна; так продолжалось довольно долго.

Вдруг шериф, устроясь всхрапнув, перевернулся на другой бок, потом зашевелился, потянулся и открыл глаза. Здоровый, как бык, он уже протрезвел, и ему захотелось пить, потянуло на свежий воздух. Он сел и начал протирать глаза. Ведра с водой на кухне не было. Что ж, не беда, он знает, где родник, и с удовольствием выйдет из душевой кухни. Шериф зевнул, потихоньку надел сапоги, отворил заднюю дверь и вышел из дома. Со всех сторон его окутала густая тьма, только над головой ярко сверкали звезды. Справа смутно чернел сарай, слева был родник. Он добрался до родника, утолил жажду, потом окунул в воду голову и руки и сразу почувствовал себя лучше. Сухой, бодрящий ветерок, который пробегал по плоской равнине под небом, усеянным звездами, прогнал остатки сна. Когда шериф неторопливо направлялся к дому, единственное, что сохранилось в его памяти после вчерашней попойки, это облик хорошей хозяйки, которая подражала трактирщику, держа стаканы в высоко поднятых обнаженных руках. Желтые усы шерифа шевельнулись в самодовольной улыбке. Вот чертенок, как она поглядывала на него все время! Хм... еще бы! Что нашла она в этом сдизняке, в этой унылой тупой скотине? (Джентльмен, которого имел в виду шериф, был не кто иной, как его гостеприимный хозяин.) Впрочем, следует сказать, что шериф, несомненно, пользовавшийся успехом у местных красавиц, в отношениях с соперниками почти всегда был честен и уж, во всяком случае, не труслив. Так что не будем судить его слишком строго в столь серьезную для него минуту.

Проходя мимо дома, шериф внезапно остановился. Равнина пахла пылью и сухими травами, из сарая доносилось благоухание свежего сена, но сквозь все эти запахи настойчиво пробивался еще один — запах горячей трубки. Откуда он взялся? Может быть, проснулся хозяин и вышел подышать воздухом? Но тут он вспомнил: мистер Бизли не курит, констебль тоже. Запах

шел, по-видимому, из сарая. Если бы шериф успел довести до конца цепь этих рассуждений, все, может быть, еще и обошлось бы, однако в этот самый миг его отвлекло нечто более для него интересное: в дверях дома появилась закутанная с ног до головы миссис Бизли. Он притаялся в тени, стараясь не дышать, а она проскользнула мимо него к приоткрытой двери сарая. Знает ли она, что он здесь? Сердце его дрогнуло от радости, губы расплылись в улыбке... В последней улыбке! В то самое мгновение, когда он бросился к двери, звездное небо рассыпалось над его головой на тысячи сверкающих осколков, земля ушла из-под ног, и он упал лицом вперед: выстрел снес ему половину черепа.

Он упал бездыханный, даже не вскрикнув, успев сделать одно лишь движение — потянуться к висевшей на поясе кобуре. Он упал, уткнувшись в землю лицом, но его правая рука, рука солдата, все еще тянулась к поясу скрюченными пальцами. Он был недвижим, и только яркая лужа крови медленно растекалась вокруг него, потом мало-помалу кровь начала густеть, темнеть и, наконец, тоже застыла и впиталась в землю, оставив тусклое, бурое пятно. Выстрел не отдался эхом, и на секунду воцарилось мертвое безмолвие, потом в сарае послышалась торопливая возня, на сеновале кто-то поспешно распахнул окошко, раздались быстрые шаги, потом опять все смолкло, и, наконец, из темноты донесся приглушенный дорожной пылью стук копыт. А в сонном доме ни движения, ни звука.

Но вот звезды начали постепенно меркнуть, и светлая полоска вновь обозначила горизонт. В кустах возле родника защебетала одинокая птица. Потом распахнулась задняя дверь дома, и заспанный констебль выскочил оттуда с растерянным и виноватым видом, какой бывает у опоздавшего. Он шел, отыскивая взглядом своего пропавшего начальника, и вдруг споткнулся и упал прямо на его окоченевшее, недвижимое тело. Он поднялся на ноги и, быстро оглядевшись, увидел через полуоткрытую дверь сарая беспорядочно разбросанное сено. В углу валялись рваные штаны и блуза, в которых констебль тут же признал одежду беглеца. Он поспешил к дому и через не-

сколько минут вернулся вместе с бледным, перепуганным и совершенно отупевшим Айрой. Из его бессвязного лепета можно было понять лишь то, что миссис Бизли, узнав о несчастье, лишилась чувств, сейчас она в своей комнате в столь же жалком состоянии, как и ее супруг. Констебль, человек недалекий, но находчивый, сразу же понял все. Картина была ясна и без дальнейших расследований. Шериф проснулся, услышав, как преступник бродит вокруг дома в поисках лошади. Схватив стоявшее в кухне ружье Айры, шериф выскочил за дверь, бросился на преступника, и в рукопашной схватке беглецу удалось вырвать у него ружье; уложив противника выстрелом в упор, преступник, на совести которого теперь было уже два убийства, ускакал на лошади шерифа. Оставив тело под присмотром перепуганного Айры, констебль оседлал коня и поскакал в Лоувиль за подмогой.

В тот же день состоялось следствие, и версия констебля была сразу же и безоговорочно принята. Поскольку констебль был единственным спутником шерифа и к тому же первым обнаружил его труп, проверять его показания не сочли нужным. А то обстоятельство, что даже констебль, ночевавший на первом этаже, не был разбужен шумом борьбы и звуком выстрела, ставило вне подозрения хозяев, которые спали наверху. Ошеломленному Айре задали несколько небрежных вопросов и со свойственным калифорнийским деятелям правосудия джентльменством не стали вызывать для дачи показаний потрясенную и до смерти перепуганную женщину, которая безвыходно сидела в своей комнате. К полудню следствие закончилось, и труп шерифа увезли; на опустевшую равнину и безмолвный дом упали длинные вечерние тени. Когда стемнело, на пороге появился Айра и простоял там немного, пристально глядяваясь в даль; позже его увидели двое скупщиков, которые потихоньку подъехали к ферме, чтобы взглянуть на место, где разыгралась трагедия,— Айра сидел у порога, едва видный в темноте; и уже совсем ночью проезжавший мимо конный разъезд заметил свет в окне спальни, где лежала больная миссис Бизли. Правда, саму ее никто с тех пор не видел. Впоследствии Айра объяснил, что она уехала к родне и пробудет там, пока не поправится. И так как друзей у миссис Бизли было немного, а соседей и того меньше, то

ее отсутствие мало кого печалило; даже констебль, единственный, кроме Айры, живой свидетель разительной перемены, случившейся с миссис Бизли в тот роковой вечер, совсем забыл о ней, занятый поисками убийцы. Постепенно все привыкли к тому, что Айра в одиночестве работает весь день на поле, а вечерами стоит у порога и пристально вглядывается в даль. Через три месяца все называли его «затворником» или «отшельником» Болинасской равнины; события в ту пору развивались стремительно, и вскоре никто уже не помнил, что Айра когда-то был не одинок.

Зато правосудие тех времен, равнодушное к делам, касающимся простых смертных, не забывало преступлений против своих служителей. В один прекрасный день, расхаживая по улицам Мэрисвила, констебль опознал убийцу и взял его под арест. Преступника отправили в Лоувиль. Здесь констебль, быть может, усомнившись в способности окружного суда, которому он был подчинен, разобраться в деле, построенном на одних косвенных уликах, не погнушался намекнуть на это членам местного «комитета бдительности», и, невзирая на сопротивление констебля, им, как ни странно, удалось отбить у него заключенного.

Был период дождей; в делах наступил застой, и лоувильские обыватели могли уделить нашумевшему делу все свое внимание и надеялись принять участие в расправе, ибо с самого начала не приходилось сомневаться, что преступника ждет виселица.

Однако тут надежды их не оправдались. Едва констебль дал свои показания, уже известные жителям округа, как в задних рядах толпы, жавшейся к стенам зала, где заседал комитет, произошло какое-то движение, и в комнату, сильно припадая на одну ногу, протиснулся «отшельник Болинасской равнины». Он, видимо, пришел пешком: мокрый до нитки и весь перепачканный, Бизли едва держался на ногах и был не в силах говорить. Однако, когда он, пошатываясь, добрался до свидетельского места и оттеснил в сторону констебля, внимание всех присутствующих обратилось к нему. Некоторые засмеялись, но их тут же призвали к порядку. Суд не терпел посягательств на свое единственное достоинство — серьезность.

— Знаете ли вы обвиняемого? — спросил судья.

Айра Бизли бросил взгляд на бледное лицо акробата и покачал головой.

— В жизни его не видел, — тихо ответил он.

— Так для чего же вы сюда явились? — сурово вопрошил судья.

Айра с видимым усилием взял себя в руки и встал, хстя колени его подгибались. Облизав пересохшие губы, он медленно и внятно произнес:

— Потому что это я убил болинасского шерифа.

Увидев впечатление, произведенное его словами на публику, и, очевидно, почувствовав облегчение оттого, что слова эти наконец произнесены, Айра обрел силы и даже некоторое достоинство.

— Я потому его убил, — продолжал он и медленно, словно одеревенев, обвел взглядом зрителей, которые жадно его слушали, — что он ухаживал за моей женой. Убил потому, что он хотел бежать вместе с ней. Потому, что застал его среди ночи, когда он поджидал ее у сарая, а она удрала к нему из спальни. У него не было ружья. Он даже не сопротивлялся. Я застрелил его в упор. Этот вот, — Айра указал на арестованного, — тут ни при чем. — Он помолчал, расстегнул воротник, обнажив жилистую шею под изуродованным ухом, и добавил: — А теперь можете меня повесить!

— Но чем вы докажете свои слова? Где сейчас ваша жена? Она подтверждает ваши показания?

Айра вздрогнул.

— Жена сбежала от меня в ту ночь да так и не вернулась. Может, потому, — добавил он раздумчиво, — что она любила его и ей было противно оставаться со мной. А иногда, джентльмены, я тешу себя надеждой, что ей не хотелось показывать против меня на суде.

В наступившей тишине было слышно, как обвиняемый что-то сказал стоящему рядом с ним человеку. Потом он встал. Вся та уверенность и дерзость, которых так не хватало обманутому мужу, звучали в его голосе. Мало того, даже нечто рыцарское появилось вдруг в его манерах, и негодяй на время сам поверил в собственное благородство.

— Все так и было, — начал он, — Я как раз увел у них лошадь, и хотел удрать, и вдруг вижу, что какая-то

женщина бежит со всех ног по дороге, плачет и кричит. Я сперва подумал даже, что это она и стреляла. И хоть я знал, чем мне это грозит, джентльмены, я посадил ее на лошадь и отвез в Лоувиль. Конечно, взял на себя обузу, но что поделаешь? Женщина как-никак... Что ж я, скотина, что ли?

Вдохновенная ложь так облагородила и возвысила его, что впервые за все время судьи взглянули на него благосклонно. А когда Айра Бизли, хромя, прошел к нему через весь зал и, протянув свою изуродованную ладонь, сказал: «Руку!», в зале снова наступила благоговейная тишина.

Ее нарушил голос судьи, обращавшегося к констеблю:

— Что вам известно об отношениях шерифа с миссис Бизли? Имел ли муж основания ревновать? Шериф ухаживал за ней?

Констебль замаялся. Человек недалекий, он ничего не смыслил в методах судопроизводства, о котором имел лишь самое общее представление. Ему припомнилось, в каком восторге был шериф от молодой хозяйки, еще отчетливей, пожалуй, вспомнил он ее саму и то восхищение, в которое она привела их всех, когда, совсем как заправский трактирщик, готовила для них коктейль своими красивыми ручками. Он не хотел свидетельствовать против своего покойного начальника; и все же, потупившись, а потом снова подняв голову, констебль медленно и с некоторым вызовом ответил:

— Э, судья, он ведь был мужчина.

Все засмеялись. Как ни странно, самая могущественная из человеческих страстей всякий раз, когда о ней упоминают в обществе, настраивает на легкомысленный лад; таков парадокс, с которым приходится считаться даже суду Линча. Судья не стал одергивать развеселившихся присяжных, он понял, что в этой истории никто уже не видит ничего трагического. Поднялся с места старшина присяжных и что-то зашептал на ухо судье. Зал снова смолк. Судья сказал:

— Обвиняемый и свидетель оправданы и могут быть свободны. Обвиняемый должен покинуть город в двадцать четыре часа; свидетель будет доставлен домой за счет суда, который приносит ему благодарность.



Рассказывают, что в один унылый день, когда густая пелена дождя нависла над мокрой Болинасской равниной, у дома Бизли остановился простой грузовой фургон и оттуда вышла женщина, осунувшаяся, грязная и измученная; Бизли, как всегда сидевший на пороге, встал ей навстречу, обнял ее и назвал «Сью», и, говорят, с тех пор они всегда жили счастливо. Но говорят также — хотя это надо бы проверить, — что они жили бы совсем не так счастливо, если бы миссис Бизли постоянно не напоминала ему о жертве, которую она самоотверженно принесла, бежав из дому, чтобы не свидетельствовать против мужа, о бессмысленном убийстве, которое она ему простила, и об услуге, оказанной ему беглецом.

## «НАШ КАРЛ»

Американский консул в Шлахтштадте свернул с широкой Кёнигс-аллеи на маленькую площадь, где помещалось его консульство. Эта площадь всякий раз своим странно нежилым видом напоминала ему театральную декорацию. В фасадах домов с полосатыми дощатыми навесами над окнами, в четкости их контуров, в сочности красок было что-то неправдоподобное, что можно увидеть только на сцене, а в приглушенном уличном говоре была какая-то нарочитость и неизменность, вроде той, что окружает актера в намалеванной пустыне, изображающей городской пейзаж. И все же консул ощущал здесь приятное умиротворение после других улиц и переулков Шлахтштадта, кишевших столь же нереальными, похожими на игрушечных, солдатами, которых чья-то рука, казалось, ежедневно вынимала из коробочек-казарм или барачков и небрежно разбрасывала по улицам и площадям уютного, утонувшего в зелени лип немецкого городка. Солдаты стояли на перекрестках; солдаты оловянно глядели на витрины; солдаты, словно ящерицы, каменели на месте при появлении офицера. Офицеры чинно шагали, прямые, как палки, по четыре в ряд, метя тротуар своими палашами, висящими у всех под одним углом. Парадным строем, с оркестром или без оного, проезжали кавалькады красных гусаров, кавалькады синих гусаров, кавалькады уланов, сверкая на солнце пиками и флажками. Из-за угла внезапно появлялись «наряды» или «пикеты»; колонны пехоты дело-

вито шагали неведомо куда и неведомо зачем, поднимая пыль. И казалось, что всех этих солдат и офицеров, всех до единого, заводят где-то, в каком-то одном месте, словно часовой механизм. На околышах их головных уборов, которые все были на один образец, имелась спереди пуговника или кокарда с квадратным отверстием посредине, напоминавшим замочную скважину. Консул был совершенно убежден, что, пользуясь этой замочной скважиной и соответствующим ключом, каждый капрал заводил свое подразделение, капитан тем же способом управлял лейтенантами и унтер-офицерами, и даже сам генерал, носивший точно такой же головной убор, находился во власти высшей, движущей его поступками силы. Ближе к окраине скопление лиц военного сословия мало-помалу шло на убыль, но зато там стояли будки, а где не было будок — обозы с оружием и провиантом. И для того, чтобы военный дух не потерял своей власти над душой шлахтштадтского бюргера, существовала еще полиция, облаченная в форму; дворники, облаченные в форму; контролеры, сторожа и железнодорожные носильщики, облаченные в форму, и все — в таких же точно головных уборах, заставлявших предполагать, что их обладателей тоже каждое утро заводят для дневных трудов. Даже почтальон, доставлявший консулу деловые бумаги самого мирного свойства, был при шпаге и имел вид гонца, принесшего депешу с поля битвы, и консул, отвечая на его приветствие, подтягивался, распрямлял плечи и несколько секунд отчетливо сознавал всю тяжесть возложенной на него ответственности.

Однако такое преобладание военного духа, как ни странно, мирно уживалось с буколическим характером самого городка, и это, в свою очередь, еще более усиливало ощущение нереальности: благодушно разгуливавшие по улицам коровы порой забредали в расположение кавалерийского эскадрона, несколько, по-видимому, этим не смущаясь; овечки, пощипывая травку, проникали в ряды пехоты или бежали небольшим гуртом впереди маршировавшего отряда, и, право же, что могло быть восхитительнее и безмятежнее зрелища пехотного полка, когда он, таща на себе все, что можно придумать потребного на неделю, возвращался походным строем после увлекательных поисков воображаемого неприятеля в ок-

рестностях города и мирно располагался на отдых на рыночной площади, среди кочанов капусты. Суровая внешность и чудовищная энергия воинов никого не вводили в обман; барабаны могли бить, трубы трубить, драгуны бешеным галопом скакать по плацу или внезапно обнажать свои сверкающие сабли на улицах, подчиняясь гортанной команде офицера,— никто из прохожих и ухом не поведет. Разве что кто-нибудь обернется поглядеть, как Рудольф или Макс проделывает что положено, одобрительно кивнет и пойдет дальше по своим делам. И хотя офицеры всегда ходили вооруженные до зубов и только на самых что ни на есть мирных званых обедах отстегивали в прихожей свои сабли, чтобы, разумеется, тотчас снова пристегнуть их и ринуться в бой за фатерланд в промежутке между сменой блюд, это ничуть не смущало душевный покой остальных гостей, составлявших рядом с оружием свои зонты и трости. А так как в довершение ко всем несообразностям очень многие из этих воинов оказывались весьма учеными людьми с очками на носу и, невзирая на смертоносное оружие, которым они были увешаны, имели довольно штатский вид и были— все как один — крайне сентиментальны и необычайно простодушны, их поведение в этой извечной *Kriegsspiel*<sup>1</sup> повергало консула в крайнее недоумение.

В приемной консул столкнулся с еще одной удивительной особенностью нравов Шлахтштадта, которая, однако, тоже была ему не в новинку. Дело в том, что, несмотря на столь яростную подготовку к борьбе с «внешним врагом» — впрочем, никогда, по-видимому, не распространявшуюся далеко за пределы города,— Шлахтштадт и его окрестности были известны всему миру отнюдь не этим, а своими прекрасными текстильными изделиями, и многие из рядовых воинов немало послужили славе и процветанию округа, трудясь за мирными ткацкими станками в своих сельских домиках. Конторы и склады превышали размерами даже кавалерийские казармы, хотя почтаьон был, пожалуй, единственным одетым в форму лицом, переступавшим их порог. Вследствие этого консулу для поддержания престижа своей страны прежде всего приходилось просматривать и скреплять под-

---

<sup>1</sup> Военная игра (нем.).

писью и печатью всевозможные накладные, поступавшие в консульство от мануфактурщиков, причем, как ни странно, все эти деловые бумаги доставлялись преимущественно женщинами — и притом не конторскими служащими, а самыми обыкновенными горничными, и в приемные часы консульство легко можно было принять за контору по найму женской прислуги — столько там толпилось ожидающих очереди «медхен». Они шли одна за другой — все эти Гретхен, Лизхен и Клерхен, — в ослепительно чистых голубых платьицах, в простых, но ладных башмачках; они приносили накладные, завернув их в листок чистой бумаги или в голубенький носовой платок, зажав в коротких, крепких, а иной раз и мозолистых пальчиках, и протягивали консулу на подпись. Только раз эта подпись была небрежно смазана кончиком льняной косы, когда одна совсем еще юная «медхен», тряхнув головкой, слишком поспешно устремила к двери; как правило же, эти простые крестьянские девушки отличались здравым смыслом, чувством ответственности и деловой хваткой, присущей им не в меньшей степени, чем их сестрам-француженкам, но совершенно не свойственной ни англичанкам, ни американкам, независимо от их социального положения.

В это утро все, кто с вязаньем в руках ожидал своей очереди, зашевелились и начали перешептываться, когда вице-консул последовал в кабинет консула, пропустив вперед инспектора полиции. Инспектор, разумеется, был в форме. Отдавая консулу честь, он, как всегда, оцепенел и, будучи не просто военным, не сразу вернулся в нормальное состояние.

Дело чрезвычайной важности! Сегодня утром в городе было арестовано неизвестное лицо, по всем признакам — дезертир. Он назвался американским гражданином и доставлен в приемную консульства, дабы консул мог его опросить.

Консул, впрочем, знал, что это грозное обвинение на деле было не столь уж грозным. Дезертиром именовался всякий, кто в юности эмигрировал за границу, не отбыв воинской повинности у себя на родине. Вначале расследование этих случаев казалось консулу весьма трудным и тягостным: приходилось сносить с военным атташе в Берлине, списываться с американским государст-

венным департаментом, и вся эта неприятная процедура тянулась долго, а тем временем какой-нибудь ни в чем не повинный немец, натурализовавшийся в Америке и ставший американским гражданином, но забывший захватить с собой документы, отправляясь погостить на родину, содержался под стражей. По счастью, однако, консул пользовался расположением и доверием генерала Адлеркрейца, командира двадцатой дивизии, и, также по счастью, вышеупомянутый генерал Адлеркрейц оказался самым галантным и любезным из всех бравых вояк, когда-либо кричавших своим солдатам «Vorwärts»<sup>1</sup>, и самым дальновидным стратегом, когда-либо вынашивавшим военные планы — и даже военные планы неприятеля — в своей стальной голове под стальной остроконечной каской, причем все эти качества сочетались в нем с душой простой и бесхитростной, как у ребенка, невзирая на его внушительные седые усы. Так вот, этот суровый, но нежный сердцем воин решил в тех случаях, когда, несмотря на отсутствие документов, натурализация «дезертира» не вызывала сомнений, довольствоваться поручительством консула, дабы избежать дипломатической волокиты. На основе этого соглашения консулу удалось вернуть городу Милуоки одного вполне почтенного, но опрометчивого пивовара, а Нью-Йорку — превосходного колбасника и будущего олдермена и в то же время призвать к исполнению воинского долга двух-трех любителей путешествий, или попросту бродяг, никогда не видавших Америки, иначе как с палубы парохода, на котором они плыли «зайцами» и который отвез их обратно к обоюдному удовлетворению и спокойствию двух великих держав.

— Этот субъект заявляет, — сердито сказал инспектор, — что он американский гражданин, но потерял документы. Однако, и это весьма подозрительно, другим лицам он признавался, что прожил несколько лет в Риме! Да к тому же еще, — продолжал инспектор, покосившись на дверь и многозначительно прижав указательный палец к губам, — он утверждает, что у него есть родственники в Пальмире, которых он частенько навещает.

---

<sup>1</sup> Вперед! (нем.).

Ну как? Слышали вы когда-нибудь более нелепое, ни с чем не сообразное заявление?

Консул улыбнулся: ему уже становилось кое-что ясно.

— Дайте-ка я с ним поговорю, — сказал он.

Они вышли в приемную. Сидевшие там пехотный капрал и полицейский встали и отдали честь. Окруженный сочувствием и восхищением служанок, преступник — наименее заинтересованное с виду лицо из всех присутствующих — остался сидеть. Он был совсем юн, казался чуть ли не подростком! Трудно было поверить, что под этой пасторальной и невинной, почти ангельской внешностью скрывается подозрительный субъект, дезертир. Бело-розовая, как сало молочного поросенка, кожа, небесно-голубые, широко открытые глаза, простодушно взирающие на мир, тугие завитки курчавых золотых волос — воистину он был похож на бога солнца или на несколько перезрелого и дурно одетого купидона, случайно забредшего сюда с берегов Эллады! При появлении консула он улыбнулся и тыльной стороной руки утер свои полные пунцовые губы, уничтожая следы съеденной сосиски. Консул мгновенно узнал знакомый аромат, который разок уже пощекотал ему ноздри, повеяв на него из маленькой корзиночки Лизхен.

— Так вы говорите, что проживали в Риме? — с учтивой улыбкой спросил консул. — И не там ли вы заявили о своем желании принять американское гражданство?

Инспектор полиции одобрительно покосился на консула, затем впился суровым взглядом в ангельское личико преступника и откинулся на стуле, ожидая ответа на этот коварный вопрос.

— Что-то не припомню, — сказал преступник, задумчиво сдвинув свои младенческие бровки. — Либо там, либо в Мадриде, а может, и в Сиракузах.

Инспектор уже готов был вскочить со стула. Преступник явно самым недостойным образом потешался над блюстителями общественного порядка.

Но консул положил инспектору руку на плечо, раскрыл американский атлас на карте штата Нью-Йорк, ткнул в нее пальцем и обратился к арестованному:

— Я вижу, что названия городов, расположенных на озере Эри и вдоль полотна Нью-Йоркской Центральной железной дороги, вам известны, но...

— Я могу сказать также, сколько жителей в каждом из этих городов и что там производят,— с чисто юношеским тщеславием прервал его арестованный.— В Мадриде проживает шесть тысяч и свыше шестидесяти тысяч в...

— Хорошо, хорошо,— сказал консул, а из угла, где толпились служанки, долетел восхищенный шепот «Wunderschön!»<sup>1</sup> и на сияющего улыбкой преступника был брошен не один восторженный взгляд.

— Но должны же вы помнить хотя бы название того города, в который были направлены вам документы, подтверждающие ваше гражданство!

— Я считал себя американским гражданином с той минуты, как подал декларацию,— с улыбкой отвечал «дезертир» и торжествующе поглядел на своих почитателей.— Ведь я уже мог голосовать!

Инспектор, почувствовав, что с названиями американских городов он попал впросак, угрюмо молчал. Однако консул был далек от того, чтобы праздновать победу. Познания этого юноши, выдававшего себя за американского гражданина, были слишком энциклопедичны — любой смысленый малый мог зазубрить все это по учебнику географии. Но, с другой стороны, арестованный отнюдь не выглядел смысленным; правду сказать, он выглядел столь же глупо, как то мифологическое лицо, на которое походил.

— Дайте-ка я поговорю с ним с глазу на глаз,— сказал консул.

Инспектор передал ему досье арестованного. Купидона звали Карл Шварц; он был сирота и покинул Шлахтштадт в возрасте двенадцати лет. Родственников нет — кто умер, кто в эмиграции. Личность арестованного установлена с его слов и по метрическим книгам.

— А теперь, Карл,— ободряюще сказал консул, заворя за собой дверь кабинета,— выкладывайте, что это вы затеяли? Были у вас вообще когда-нибудь документы? Если у вас хватило ума вызубрить карту штата Нью-Йорк, как же вы не сообразили, что эти познания не заменяют бумаг?

---

<sup>1</sup> Изумительно! (нем.).



— Ну как же, вот, — сказал Карл переходя на скверный английский язык. — Раз я заявил о своей намерение штать американский гражданин, так это же то же самое, разве этого недоштатно?

— Ни в коей мере, поскольку у вас и тут нет доказательств. Чем вы можете подтвердить, что такое *заявление* действительно было вами сделано? У вас нет никаких документов.

— So! <sup>1</sup> — произнес Карл. Пухлыми, розовыми, как поросячье сало, пальчиками он взъерошил свои бараньи кудряшки и одарил консула сочувственной улыбкой. — Так вот оно што! — сказал он таким тоном, словно по дсброте душевной живо заинтересовался затруднительным положением консула. — Как же вы теперь? Што будет делать, а?

Консул пристально на него поглядел. В конце концов такая тупость не была чем-то из ряда вон выходящим и полностью гармонировала с внешностью арестованного.

— Хочу вас предупредить, — сказал консул серьезно, — что, если вы не предъявите каких-либо доказательств, подтверждающих ваши слова, я по долгу службы вынужден буду передать вас в руки властей.

— И тогда я, знашит, буду военную службу отбывать? — спросил Карл со своей неизменной улыбкой.

— Именно так, — сказал консул.

— So! — снова промолвил Карл. — Этот город... этот Шлахтштадт не плохой городок, верно? Красивый женщины. Добрый мужчины, пиво и сосиски то же неплох. Ёшь, пей вволю, верно? Вы и ваш мальшики славно проводят время здесь, — прибавил он, поглядев по сторонам.

— Недурно, — ответил консул и отвернулся. Затем внезапно снова резко обернулся к не ожидавшему нападения Карлу, погруженному, по-видимому, в приятные гастрономические воспоминания.

— Каким все же ветром занесло вас сюда?

— Как вы сказать?

— Я спрашиваю: что привело вас сюда из Америки или откуда там вы сбежали?

---

<sup>1</sup> Вот как! (нем.).

— Захотелось своих повидать.

— Но вы же сирота и нет у вас здесь никаких «своих».

— А весь Германия, весь страна — это же мой народ, разве нет? Ей-богу, правда! Вы што — не верит!

Консул сел за стол и написал коротенькую записку к генералу Адлеркрейцу на своем ломаном немецком по-полам с английским языке. Он не считает себя вправе в этом случае вмешиваться в распоряжения властей или ручаться за Карла Шварца. Однако, со своей стороны, он предложил бы, ввиду явной безобидности и молодости эмигранта, не применять к нему никаких санкций или взысканий, а просто дать ему возможность, как всякому новобранцу, занять свое место в рядах армии. И если позволено давать советы столь дальновидному военному специалисту, как генерал, то, по его мнению, этот Карл Шварц просто создан для работы в интендантстве. Разумеется, консул оставляет за собой право, в случае предъявления Карлом соответствующих документов, просить о его увольнении из рядов германской армии.

Консул прочел это послание Карлу вслух. Юный купидон улыбнулся и произнес:

— So! — Затем подошел к консулу и добавил: — Шму руку!

Консул не без некоторых угрызений совести пожал протянутую руку и, проводив Карла до приемной, сдал его с рук на руки инспектору вместе с письмом. У всех служанок, как по команде, вырвался из груди вздох, и на консула устремились молящие взгляды, но он мудро решил, что беззащитному сиротке Карлу в его собственных интересах следует немного попривыкнуть к дисциплине, и вернулся к своей менее хлопотливой деятельности по части накладных.

В тот же вечер вестовой, вынув из-за пояса сложенный вчетверо листок голубой бумаги, вручил консулу послание, содержавшее одно-единственное английское слово: «Ол-райт!» и некую замысловатую загогулину, в которой консул узнал подпись генерала Адлеркрейца.

Однако о том, что произошло дальше, консулу стало известно лишь через неделю.

Возвратившись как-то вечером в свою квартиру, по-

мешавшуюся не в деловой, а в жилой части города, он отпер ключом дверь и заметил в глубине прихожей свою служанку Трудхен, как всегда, в обществе синей (а может быть, желтой или красной) фигуры. Он прошел мимо с обычным «n'Abend!»<sup>1</sup>.

Но тут солдат обернулся и отдал честь. Консул прирос к месту. Перед ним стоял купидончик Карл в военной форме!

Впрочем, форма никак не изменила его внешности. Правда, волосы были острижены короче, но все так же золотились и курчавились; пухленькая фигурка была перепоясана кожаным ремнем и застегнута на все блестящие металлические пуговицы, но это делало ее лишь еще более игрушечной, еще более похожей на подушечку для булавок или перочистку; казалось, обтянутые мундиром пухлые плечики и грудь так и просятся, чтобы в них вкололи булавку. И вот чудеса — Карл, если верить его словам, успел так отличиться, маршируя гусиным шагом, что уже получил парадную форму и даже некоторые маленькие поблажки, одной из которых, по-видимому, и пользовался в настоящую минуту. Консул улыбнулся и прошел к себе. Все же ему показалось странным, что Трудхен — рослая, крепкая девушка, пользовавшаяся огромным успехом у лиц военного звания и отвергавшая всех поклонников чином ниже капрала, на сей раз снизошла до рядового, да еще новобранца. Консул спросил ее об этом потом.

— Ах, но ведь это же наш Карл! И господин консул сам знает, что он американец!

— Вот как?

— Ах, ну да! Это такая жалостливая история!

— Так расскажите мне ее, — сказал консул в слабой надежде, что Карл добровольно поделился с девушкой какими-нибудь воспоминаниями о своем прошлом.

— Ах, Gott<sup>2</sup>! Там, в Америке, его считали за человека, и он мог голосовать, и издавать законы, и, с божьей помощью, стал бы членом муниципалитета или обер-интендантом, а здесь его уpekли в солдаты на несколько лет. И Америка очень прекрасная страна. Wunderschön!

---

<sup>1</sup> Добрый вечер! (нем.)

<sup>2</sup> Господи (нем.).

Там такие огромные города! В одном только Буффо может уместиться весь наш Шлахтштадт, там одних жителей пятьсот тысяч человек!

Консул вздохнул. Карл, как видно, все еще двигался по Нью-Йоркской Центральной и вокруг озера Эри.

— А он так и не вспомнил, что сделал со своими документами? — настойчиво спросил консул.

— Ах, на что ему они — эти глупые, пустые бумажки, — когда он сам мог издавать законы?

— Но его аппетит, я надеюсь, не пострадал? — осведомился консул.

На этом их беседа и закончилась, но Карл еще не раз появлялся по вечерам в глубине полутемной прихожей, откуда его игрушечная фигурка совсем вытеснила статного капрала гусарского полка. Но вот как-то раз консул уехал в соседний город и возвратился на сутки раньше, чем предполагал. Подходя к дому, он с удивлением заметил свет в окнах гостиной, а войдя в прихожую, был еще больше удивлен, не обнаружив Трудхен ни там, ни в других комнатах. Он ошущью поднялся по лестнице и распахнул дверь гостиной. Каково же было его изумление, когда он увидел, что за его письменным столом, удобно устроившись в его кресле, сняв фуражку и положив ее возле лампы на стол, сидит Карл и что-то, по видимому, изучает. Он был настолько углублен в свое занятие, что не сразу поднял голову, и консул мог хорошо разглядеть его лицо. Всегда улыбающееся, подвижное, оно поразило консула своим необычайно сосредоточенным и серьезным выражением. Когда наконец их взгляды встретились, Карл проворно вскочил, отдал честь и просиял улыбкой. Но то ли по врожденной флегматичности, то ли благодаря поразительному самообладанию ни тени смущения или испуга не отразилось на его лице.

Он тут же поспешил дать объяснение — крайне простое. Трудхен отправилась немножко погулять с капралом Фрицем и попросила его «присмотреть за домом» в их отсутствие. В казармах нет ни книг, ни газет, читать совершенно нечего, и он полностью лишен там возможности набираться ума. Вот ему и захотелось полистать немного эти книги — он подумал, что господин консул не будет в претензии.

Консул был тронут. В конце концов, если Карл позволил себе некоторую нескромность, то совершенно пустяшную, и Трудхен здесь виновата не меньше. И если бедный малый в состоянии хоть сколько-нибудь набраться ума — а ведь сейчас было похоже, что он и вправду способен размышлять, — то надо быть свиньей, чтобы укорять его за это. И консул приветливо улыбнулся и поглядел на стол, а Карл спрятал огрызок карандаша и засаленный блокнот в нагрудный карман. Тут консул с удивлением заметил, что предметом, который так глубоко заинтересовал Карла, была большая географическая карта. И к тому же — что было еще удивительнее — карта окрестностей Шлахтштадта.

— У вас, я вижу, большой интерес к географическим картам, — учтиво сказал консул. — Не собираетесь ли вы снова эмигрировать?

— О нет! — просто ответил Карл. — Здесь где-то поблизости живет моя двоюродная сестра. Я разыскиваю ее.

Тут возвратилась Трудхен, и Карл удалился, а консул опять с удивлением заметил, что девушка уже не выражала столь неумеренных восторгов по адресу Карла, хотя его поведение нисколько, казалось, не изменилось. Приписав эту перемену водворению на прежнее место капрала, консул укорил Трудхен за непостоянство. Но она ответила ему без улыбки:

— Ах! У него завелись теперь новые друзья, у нашего Карла. Простые девушки, вроде меня, больше его не интересуют. Конечно, куда уж нам, когда такие благородные дамы, как старая фрау фон Вимпфель, от него без ума!

Со слов Трудхен можно было заключить, что вдова богатого лавочника покровительствует молодому солдату и делает ему подарки. Но этого мало: жена полковника, по-видимому, превратила его в своего пажу или адъютанта, и он уже провожал ее на вечер в офицерское собрание, и после этого жены других офицеров тоже начали интересоваться им. Разве господин консул не считает, что это ужасно, — ведь в Америке Карл мог голосовать и издавать законы, а здесь должен прислуживать!

Консул не знал, что и думать. Но, во всяком случае, решил он, Карл, как видно, преуспевает и не нуждается

ся в его покровительстве. Тем не менее не без задней мысли — разузнать о нем побольше — он с готовностью принял приглашение генерала Адлеркрейца пообедать в офицерской компании в казарме. Придя туда, консул с некоторым смущением обнаружил, что обед в какой-то мере дается в его честь, и после пятой перемены блюд и опорожнения большого количества бутылок седовласый воин, генерал Адлеркрейц, любезно предложил выпить за здоровье консула и произнес небольшой тост, в котором наличествовали все части речи и был даже один глагол. Смысл тоста сводился к тому, что закадычная дружба генерала с господином консулом символизирует собой нерасторжимый союз Германии и Колумбии, а их глубокое взаимопонимание — залог миролюбивого содружества этих двух великих наций, возвращение же «нашего Карла» в ряды великой германской армии — тончайший дипломатический акт великого государственного ума, и генерал должен с удовлетворением отметить, что общность целей будет и впредь роднить его с господином консулом, как представителей братства великих народов, объединенных в великий германо-американский союз, а также выразить надежду, что их земные труды на благо этого союза, принося им удовлетворение, каждому порознь и обоим вместе, никогда не будут забыты потомками. Казарма задрожала от возгласов «Hoch! Hoch!»<sup>1</sup> и звона тяжелых пивных кружек, и консул, волнуясь от избытка чувств и припася на всякий случай в кармане один глагол, поднялся для ответного тоста. Пустившись в это рискованное плавание и держась подальше от предательских берегов здравого смысла и заманчивых гаваней остановок и передышек, он смело правил в открытое море красноречия. Он заявил, что его уважаемый противник в этой одической битве совершенно его обезоружил и у него нет слов, дабы достойно ответить на столь великодушный панегирик, а посему ему остается только присоединиться к этому доблестному воину в его искреннем стремлении к мирному союзу обеих стран. Однако, полностью разделяя все возвышенные чувства, выраженные его радушным хозяином, и широту его взглядов, он берет на себя смелость перед лицом этого высокого собра-

---

<sup>1</sup> Ура! Ура! (нем.)

ния, этого славного братства заявить о существовании еще более прочных и нерасторжимых уз, связующих его с генералом, а именно уз родства! Всем собравшимся хорошо известно, что сей доблестный военачальник женат на англичанке, и вот теперь консул решил открыть им, что и сам он, будучи, разумеется, стопроцентным американцем, унаследовал с материнской стороны немецкую кровь! Добавлять что-либо к этому сообщению он не считает нужным, но с полным доверием передает им в обладание этот доселе им неизвестный и исполненный огромного значения факт! И консул опустил на стул, так и позабыв извлечь из кармана припасенный глагол. Однако рукоплескания, которыми наградили слушатели этот необыкновенно обоснованный, логичный и многообещающий финал его речи, доказали, что она имела успех. Бравые воины один за другим энергично пожимали ему руку; сам генерал обернулся и облобызал его перед всем затаившим дыхание собранием. У консула на глаза навернулись слезы.

Пока пир шел своим чередом, консул с удивлением обнаружил, что Карл не только вошел в моду и стал чем-то вроде пажа при полковых дамах, но что его наивность, глупость и сверхъестественное простодушие, над которыми потешались все в казармах, стали притчей во языцех. О его непостижимом таланте попадать впросак — а он не знал себе в этом равных — рассказывались целые истории. Старые анекдоты о прославленных невеждах перекраивались заново и приписывались «нашему Карлу». Как же, ведь это же «наш Карл», получив на чай две марки от одной молодой дамы, когда лейтенант прислал его к ней с букетом цветов, потоптался на месте, не зная, брать или не брать, а потом сказал: «Благодарю вас, добрая фрейлейн, но нам этот букет обошелся в девять марок!»

Это «наш Карл» великодушно заявил другой даме, которая выражала сожаление по поводу того, что не может принять приглашение его хозяина: «Ничего, не расстраивайтесь, у меня тут есть еще письмецо для фрейлейн Копп (так звали соперницу этой дамы), а мне не велено приглашать вас обеих».

Это «наш Карл», будучи послан к некой особе с извинением от одного офицера, задержавшегося по служеб-

ным делам, поверг ее в немалое замешательство, предложив снести «этому бедняге» обед в казарму.

Следует прибавить, что все эти очаровательные промахи не ограничивались рамками его светских и домашних обязанностей. Будучи неизменно исполнительным, точным и дисциплинированным по части солдатской муштры и стяжав себе тем любовь немца-фельдфебеля, он в то же время был крайне непонятлив и туп во всем, что касалось смысла этого обучения и никак не мог постичь назначения и устройства того или иного оружия, сколько бы он ни вертел его в руках, рассматривая с немым, бессмысленным изумлением.

Это «наш Карл» во время учебной стрельбы на полигоне посоветовал своим военным наставникам забыть в мушкет все патроны сразу — сколько уместится в стволе — и одним махом выпалить всю смертоносную начинку, утверждая, что это куда проще и быстрее, чем каждый раз заново заряжать и стрелять.

Это «наш Карл», стоя в карауле на маневрах и добросовестно выполняя все, чему его обучили, чуть не пристрелил фельдфебеля, на мгновение забывшего пароль.

И, конечно, тот же самый Карл, после того, как ему здорово влетело за эту неосторожность, в следующий раз, стоя на часах, к обычному оклику: «Кто идет»? присовокупил необходимое на его взгляд предостережение:

— Говори сейчас же «Родина», не то стрелять буду!

Но его неизменное добродушие и детское любопытство были несокрушимы и заставляли как его товарищей, так и офицеров все ему разъяснять, в расчете услышать от него что-нибудь потешное в духе его всегдашних умирительных высказываний, а его незлобивость и наивность открывали ему все военные премудрости и все сердца.

После банкета генерал провожал консула до ворот, где его ждал экипаж; внезапно перед ними выросла фигура в солдатской форме и прозвучал вызов караула:

— Heraus! <sup>1</sup>

Но генерал остановил караульных, отечески погрозив пальцем не в меру усердному солдату, в котором консул сразу узнал Карла.

— Он теперь вестовым при мне, — пояснил генерал. —

---

<sup>1</sup> Выходи! (нем.).



Пришелся очень по душе моей супруге. Да, представьте, наши дамы чрезвычайно ему симпатизируют.

Консул не знал, что и подумать. Насколько ему было известно, супруга генерала Адлеркрейца была типичная англичанка с головы до пят; она решительно и твердо, неуклонно и бескомпромиссно придерживалась всех английских обычаев, привычек и предрассудков в самом центре Шлахтштадта, и то, что даже эта дама настолько раздражилась чужеземной причудой, что в нарушение всех правил допустила нашего немыслимого Карла в свой образцово-чинный английский дом, показалось консулу донельзя странным.

Месяца два до консула не доходило никаких вестей о Карле, но как-то вечером Карл объявился в консульстве собственной персоной. Он снова искал уединения консульского кабинета, чтобы написать письма домой; в казарме ему никак не удавалось это сделать.

— Вы, мне кажется, должны были бы теперь обраться по крайней мере в доме фельдмаршала, — пошутил консул.

— Пока нет, только с будущей недели, — с подкупающей простотой отвечал Карл. — Я определяюсь на службу к генерал-коменданту крепости Рейнфестунг.

Консул улыбнулся, предложил Карлу устроиться за одним из столов в приемной и предоставил ему заниматься своей перепиской.

Возвратившись через некоторое время, он увидел, что Карл, кончив писать, с детским восхищением и любопытством разглядывает толстые конверты со штампом консульства, лежавшие на столе. Казалось, его поражал контраст между этими солидными предметами и тоненьким жидким конвертиком, который он держал в руке. Он был еще больше подавлен, когда консул растолковал ему, что большие конверты — для официальных бумаг.

— Вы пишете кому-нибудь из своих друзей? — спросил консул, тронутый его наивностью.

— О да! — горячо заверил его Карл.

— Может быть, хотите отправить свое письмо в таком конверте? — спросило это должностное лицо.

Сияющие глаза и широкая улыбка Карла послужили достаточно выразительным ответом. В конце концов по-

чему не сделать такой крошечной подачки этому бездомному бродяжке, все еще, по-видимому, бессознательно тянувшемуся под его консульское крылышко? Консул дал Карлу конверт, и тот с мальчишеским тщеславием принялся выводить на нем адрес. Это был последний визит Карла в консульство.

Как выяснилось, он сказал чистую правду: в скором времени консул узнал, что Карл посредством каких-то перетасовок, санкционированных в неких высоких военных инстанциях, и в самом деле откомандирован в личное распоряжение коменданта Рейнфестунга.

Dienstmädchen<sup>1</sup> Шлахтштадта пролили о нем немало слез, а дамские сборища в более изысканных кругах заметно потускнели и утратили свою непринужденную веселость и остроту. Но память о Карле еще долго жила в казармах, где в различных вариантах продолжали бытовать анекдоты о его восхитительной глупости (многие из этих анекдотов, как говорят, были чистейшей выдумкой), а из Рейнфестунга доходили о нем все новые и новые истории, которые, по мнению господ офицеров, были просто «колоссальны». Однако консул, хорошо помня Рейнфестунг, совершенно не мог представить себе Карла в этой обстановке, и ему трудно было поверить, чтобы она могла содействовать развитию удивительных природных особенностей этого юноши. Ибо Рейнфестунг был крепостью из крепостей, цитаделью из цитаделей, арсеналом из арсеналов. Этот огромный узел немецких железных дорог был воротами Рейна и ключом к Вестфалии, окруженным, укрепленным, защищенным и оберегаемым всеми как новейшими, так и древнейшими достижениями и изобретениями науки и стратегии. Даже в самые мирные времена железнодорожные составы попадали сюда, как мышь в мышеловку, и случалось, застревали здесь навечно. Крепость протягивала гостеприимную руку через реку, но рука эта мгновенно могла сжаться в грозный кулак. Вы проникали в крепость, и каждый ваш шаг направлялся воздвигавшимися на вашем пути стенами; вы огибали их и видели перед собой новые стены; вы бесконечное количество раз сворачивали то направо, то налево, то под прямым, то под острым углом, но никакими

---

<sup>1</sup> Служанки (нем.).

силами не могли вырваться из их кольца. Когда же вы, казалось, выбирались наконец на простор, перед вами вырастал бастион. Лабиринт укреплений преследовал вас до тех пор, пока вы не попадали на следующую железнодорожную станцию. Эта цитадель заставила даже реку служить своим оборонительным целям. Река хранила секреты подводных сооружений и мин, известные лишь самым высоким военачальникам, а те про них по-малкивали. Короче, крепость Рейнфестунг была неприступна.

Казалось, не могло быть двух мнений о том, что место это весьма суровое и что со всеми этими прямыми и острыми углами не шутят. Однако «наш Карл», то ли подстрекаемый приятелями, которые водили его смотреть оборонительные сооружения, то ли движимый собственным праздным любопытством, ухитрился свалиться в Рейн и был оттуда выловлен с немалыми трудностями. Это купание охладило, должно быть, его воинственный пыл или подмыло его стойкий оптимизм, так как вскоре консул узнал, что «наш Карл» посетил вице-консула в соседнем городке и преподнес ему обветшалую историю своего американского гражданства.

— Он, по-видимому, довольно хорошо знаком с американскими железными дорогами и названиями американских городов, — сказал вице-консул, — но у него нет никаких документов. Он заходил к нам в канцелярию и...

— И писал письма домой? — спросил консул, что-то припоминая.

— Да, этому бедняге в казарме негде приткнуться, и он чувствует себя неприкаянным. Верно, они там над ним потешаются.

Таковы были последние вести, дошедшие до консула о Карле Шварце, ибо недели через две Карл снова упал в Рейн и на этот раз уже так успешно, что, несмотря на все усилия товарищей, был подхвачен и унесен стремительным течением, и его служение отчизне на этом оборвалось. Тело его обнаружено не было.

Впрочем, несколько месяцев спустя, когда консул уже получил назначение на другой пост, его посетил генерал Адлеркрейц и оживил в его памяти образ Карла. Лицо генерала было сумрачно.

— Вы помните «нашего Карла»? — спросил он.  
— Разумеется.  
— Как вы считаете: он нас надувал?  
— Насчет своего американского гражданства — безусловно. Но во всем остальном — не думаю.  
— Так, — произнес генерал. — Произошла престранная история, — продолжал он, задумчиво покручивая ус. — Инспектор полиции известил нас о прибытии в город некоего Карла Шварца. Похоже, что это и есть *настоящий* Карл Шварц и притом единственный, — его опознала родная сестра. Другой, тот, что утонул, был самозванцем. Ну, что скажете?  
— Значит, вы теперь заполучили еще одного рекрута? — с улыбкой спросил консул.  
— Нет, потому что этот Карл Шварц уже отбыл воинскую повинность в Эльзасе, куда уехал еще мальчишкой. Но зачем, — доннер-веттер! — понадобилось тому тупоголовому болвану назваться его именем?

— Это была чистая случайность, я полагаю. А потом оно так и прилипло к нему, и он из упрямства и по безграничной тупости уже стоял на своем и понес все вытекающие отсюда последствия. Мне кажется, это ясно, — сказал консул, очень довольный своей проницательностью.

— So! — пробасил генерал. Это немецкое восклицание обладает тысячью различных оттенков в зависимости от интонации, с которой произносится, а в устах генерала Адлеркрейца оно, казалось, включало в себя все оттенки сразу.

\*

Это произошло в Париже, где консул задержался на несколько дней по дороге к месту своего нового назначения. Он зашел в одно очень бойкое кафе, среди завсегдатаев которого было много штабных офицеров. Группа таких офицеров сидела за соседним столиком. Консул от нечего делать наблюдал за ними, и в памяти его воскресал Шлахтштадт, и — также от нечего делать — любовался более привлекательным зрелищем — бульваром за окном. Консул немного устал от военных.

Внезапно сидевшие за соседним столиком оживились, раздалась приветственные возгласы. Консул машиналь-

но обернулся, замер и уже не мог оторвать глаз от офицера, только что появившегося в кафе. Это был утонувший Карл! Да, без сомнения, это был он, Карл! Консул сразу узнал его пухлую фигурку, затянутую теперь в мундир французского офицера, и его льняные волосы, подстриженные чуть короче, но все такими же бараньими кудряшками выбивавшиеся из-под кепи. Да, это был все тот же Карл — розовощекий, как купидон, и ничуть не изменившийся, если не считать крошечных рыжеватых усиков с закрученными вверх кончиками над углами пухлого рта. Карл, как всегда, сияющий улыбкой, но сыплющий теперь шутками и остротами на чистейшем французском языке! Консул не верил своим глазам. Возможно ли такое феноменальное сходство, или душа немецкого солдата переселилась во французского офицера?

Консул подозвал официанта.

— Кто этот офицер, который только что подошел к соседнему столику?

— Это капитан Христиан из разведки, — горделиво и с готовностью отвечал официант. — Он очень смелый, и его все любят. Это один из наших постоянных гостей, очень уважаемый господин, и к тому же такой *drôle*<sup>1</sup> и такой *farceur*<sup>2</sup>, так всех передразнивает. Мосье очень бы понравилось, если б он поглядел, как капитан изображает всех в лицах.

— Но он больше похож на немца. Даже имя у него немецкое.

— Ах, так ведь он же из Эльзаса, но только никакой он не немец, — сказал официант, даже побледнев от негодования. — Он сражался при Белфорте. Так же, как и я. Нет, *mon Dieu*<sup>3</sup>, какой же он немец!

— А здесь он давно живет? — спросил консул.

— В Париже не так давно. Но он бывает везде! Такая уж у него служба — мосье ведь понимает... Везде, где только можно собрать сведения.

Консул все еще не мог оторвать глаз от капитана Христиана. Быть может, бессознательно почувствовав, что за

---

<sup>1</sup> Шутник (франц.).

<sup>2</sup> Балагур (франц.).

<sup>3</sup> Бог мой! (франц.)

ним наблюдают, офицер обернулся. Их взгляды встретились, и, к изумлению консула, бывший Карл, узнав его, лучезарно улыбнулся и устремился к нему с протянутой рукой.

Но консул застыл на стуле с бокалом в руке. Капитан Христиан по-военному отдал честь и произнес учтиво:

— Господин консул получил повышение. Могу я принести свои поздравления господину консулу?

— Вам, стало быть, уже известно и это? — сухо обронил консул.

— Иначе я не взял бы на себя смелость поздравлять вас. Наша служба обязывает нас знать все, а по отношению к господину консулу — это уже не только обязанность, но и удовольствие.

— А известно ли там у вас, что подлинный Карл Шварц воротился домой? — все так же сухо продолжал консул.

Капитан Христиан пожал плечами.

— Что ж, значит, самозванный Карл вовремя убрался на тот свет, — отвечал он беззаботно. — Однако, вместе с тем.... — добавил он и с лукавой укоризной поглядел на консула.

— Что «вместе с тем»? — угрюмо переспросил консул.

— Вместе с тем, господин консул мог бы спасти этого несчастного от необходимости идти ко дну, если бы подтвердил его американское гражданство, вместо того чтобы помогать немецким властям напяливать на него немецкий военный мундир.

Консул не мог сдерживать улыбки. С военной точки зрения, довод был неопровержим. А капитан Христиан непринужденно опустился на стул рядом с консулом и так же непринужденно перешел на ломаный немецко-английский язык.

— Слушайте, — сказал он, — а ведь этот городишко — этот Шлахтштадт — не дурное местешко, верно? Красивый женщины. Славный мужчины, а пиво, а сосиски! Пей, ешь вволю, верно? Вы и ваши мальшики недурно там повеселились?

Консул щетно старался принять исполненную достоинства позу. Официант, стоявший у него за спиной, ви-

дел только, как обожаемый им офицер чудесно изображает кого-то в лицах, и его корчило от смеха. Все же консулу удалось произнести довольно высокомерно:

— Ну, а казармы, склады, интендантство, арсенал, гарнизон Шлахтштадта — все это было достаточно интересно?

— Без сомнения.

— А крепость Рейнфестунг — ее план, расстановка караулов, ее мощные сооружения на реке — все это было чрезвычайно поучительно для любознательного солдата?

— О, да, конечно, у вас есть основания задать такой вопрос, — сказал капитан Христиан, подкручивая свои крошечные усики.

— Ну, и как вы полагаете? Крепость...

— Непрístupна! Mais <sup>1</sup>...

Консул вспомнил, как генерал Адлеркрейц произнес свое «So!», и задумался.

---

<sup>1</sup> Но (франц.).

## ДЯДЮШКА ДЖИМ И ДЯДЮШКА БИЛЛИ

Они были компаньонами. В почетный ранг «дядюшек» их возвел лагерь «Кедры», видимо, отдавая дань их степенному добродушию, столь разительно отличавшемуся от судорожной, порой неумейной веселости остальных обитателей лагеря, а также из уважения к их преклонным, как казалось молодежи, годам, приближавшимся уже к сорока! К тому же за ними водились твердо укоренившиеся чудачества и привычки несколько расточительного свойства: ежевечерне они проигрывали друг другу в карты неоплатные и даже не поддающиеся исчислению суммы и каждую субботу проверяли свои промывочные корыта с целью подновить их, чего никогда не делали. С годами между ними появилось даже известное сходство, подобно тому, как это бывает со старыми супругами,— вернее, так же, как в браке, более сильный характер подчинил себе слабый. Впрочем, боюсь, что в этом случае мягкосердечный дядюшка Билли, впечатлительный, восторженный и болтливый, как женщина, держал под каблуком уравновешенного, положительного и мужественного дядюшку Джима. Оба они жили в лагере со дня его основания в 1849 году, и не было причин сомневаться, что они останутся в нем до его неизбежного превращения в золотоискательский поселок. Те, что помоложе, могли покинуть лагерь, гонимые честолюбием, жаждой перемен, новизны. Дядюшке Джиму и дядюшке Билли такие вздорные чувства были несвойственны. И тем не менее в один прекрасный день лагерь «Кедры» с удивлением узнал, что дядюшка Билли его покидает.



Дождь тихонько падал на гонтовую кровлю; стук дождевых капель казался приглушенным, как звуки, долетающие сквозь сон. Юго-западный ветер был теплым даже здесь, на возвышенности, о чем свидетельствовала распахнутая настежь дверь, но тем не менее в глинобитном очаге потрескивала сосновая кора и ответные блики вспыхивали на кухонной утвари, которую дядюшка Джим с присущей ему педантичностью начистил до блеска еще утром и расставил по дощатым полкам буфета. На стене висела праздничная одежда, которую дядюшки надевали по очереди в торжественных случаях, пользуясь тем, что она обоим была впору. Стены, вместо штукатурки обитые парусиной, приятно оживлялись пестрыми иллюстрациями, вырезанными из журналов, и пятнами, оставленными непогодой. Две койки, расположенные одна над другой, как в каюте, занимали противоположную от входа стену этой единственной комнаты; на койках лежали мешки, набитые сухим мхом, и аккуратно закатанные в одеяло подушки. Это были единственные вещи, которыми здесь не пользовались сообща и за которыми признавалось право индивидуальной принадлежности.

Дядюшка Джим, сидевший у очага, поднялся, когда в дверях появилась квадратная фигура его товарища с охапкой дров на вечер. Это был знак, что пробило девять часов. Уже шесть лет подряд дядюшка Билли неизменно появлялся в этот час с охапкой дров, а дядюшка Джим, так же неизменно, притворял за ним дверь и тут же принимался хлопотать у стола — доставал из ящика засаленную колоду карт, ставил бутылку виски и две оловянные кружки. Затем к этому прибавлялись обтрепанная записная книжка и огрызок карандаша.

Прятели пододвинули свои табуреты к столу.

— Обожди минутку, — сказал дядюшка Билли.

Его товарищ бросил на стол колоду, а дядюшка Билли извлек из кармана коробочку с пилюлями, открыл ее и с очень серьезным видом взял одну пилюлю. Это уже, несомненно, было что-то новенькое, не предусмотренное обычной программой их вечерних занятий, ибо здоровые дядюшки Билли неизменно находилось в цветущем состоянии.

— Это еще зачем? — насмешливо спросил дядюшка Джим.

— Против лихорадки.

— У тебя же нет никакой лихорадки, — с уверенностью сказал дядюшка Джим, которому состояние здоровья его товарища было известно не хуже, чем свое собственное.

— Да, но знаешь, как предохраняет! Это же хинин! Я увидел эту коробочку в лавчонке у Райли и выложил за нее двадцать пять центов. Мы можем по вечерам ставить ее на стол как угощение. Здорово освежает, особенно после того, как целый день гнешь спину на промывке у реки. Возьми-ка пилюльку.

Дядюшка Джим хмуро взял пилюлю, проглотил ее и протянул коробочку своему приятелю.

— Давай оставим ее на столе — вроде как для гостей. Может, кто из ребят заглянет, — сказал дядюшка Билли, беря в руки колоду карт. — Ну, какой у нас счет?

Дядюшка Джим заглянул в записную книжку.

— В последний раз ты проиграл мне шестьдесят две тысячи долларов, а уговор был до семидесяти пяти и точка.

— Спаси господи и помилуй! — воскликнул дядюшка Билли. — Дай-ка я погляжу сам.

Дядюшка Билли посмотрел запись в книжке и сделал вялую попытку проверить подсчет, что, впрочем, никак не отразилось на итоговой сумме.

— А может, будем играть до ста тысяч? — задумчиво проговорил он. — Семьдесят пять тысяч — это же просто кот начихал в такой игре, как у нас. А ты присчитал сюда мой участок на холме Ангела? — спросил он.

— Я скинул тебе десять тысяч долларов за него, — сказал дядюшка Джим серьезно. — И это хорошая цена, если хочешь знать.

Упомянутый участок представлял собой совсем неразведанный склон холма в десяти милях от их хижины; дядюшка Джим его еще в глаза не видел, а дядюшка Билли не посещал уже много лет, и заявление дядюшки Джима было, по-видимому, основательным, но дядюшка Билли все же возразил:

— Никогда нельзя знать наперед, что покажет про-

мывка. Еще сегодня утром я обходил холм «Лезь выше», а там, сам знаешь, куда ни плюнь, золотишко в кварце, и мне бросилось в глаза, что это местечко как две капли воды смахивает на мой участок на холме Ангела. Мне бы надо отлучиться на денек и ковырнуть там раз другой лопатой — просто на счастье.

Помолчав, он добавил:

— А чудно, верно, что ты тоже вспомнил про этот участок сегодня? Что ни говори, а странно.

Он положил на стол карты и бросил загадочный взгляд на своего компаньона. Дядюшка Джим прекрасно знал, что дядюшка Билли вот уже много лет подряд хотя бы раз в неделю неизменно заявляет о своем окончательном и бесповоротном решении отправиться на холм Ангела и произвести разведку на участке, но тем не менее слова компаньона нашли у него несколько двойственный отклик: взгляд его изобразил величайшее изумление, но он ограничился осторожным замечанием:

— Ты же первый заговорил об этом.

— А это, если хочешь знать, и подавно чудно, — сказал дядюшка Билли, доверительно понизив голос. — Мне эта мысль весь день почему-то не давала покоя, и я вроде как все время видел себя там. Нет, ей-ей, странная штука! — Он встал и принялся рыться в куче растрепанных книг с оторванными обложками, сваленных в углу.

— Куда это «Сонник» запропастился?

— Карсоновские ребята взяли почитать, — отвечал дядюшка Джим. — Да все равно, это же у тебя был не сон, а вроде как видение, а в книжке о видениях ничего не говорится. — Он сочувственно посмотрел на своего компаньона и добавил: — Я вот вспомнил, кстати, что мне приснилось вчера, будто я в Сан-Франциско, в небольшой такой гостинице, и у меня куча денег, и я все трепожусь из-за них и вроде как чего-то боюсь.

— Врешь! — воскликнул его компаньон взволнованно и с укором. — Ведь мне-то ты ни словечком об этом не обмолвился, верно? И подумать, что тебе такое приснилось как раз когда и мне приснилось в точности это самое. А сегодня еще иду я от ручья, вдруг гляжу: на тропке прыгают две вороны — и говорю себе: «Если мне сегодня попадется третья — это к удаче!» И что ты думаешь — может, скажешь, я вру? Да, брат, только подхожу я к по-

леннице, а там уже сидит третья ворона! Ей-богу! Видел ее вот, как тебя сейчас. Может, кто будет смеяться, а только Джим Филджи тоже увидел ворону, а на другой день нашел большой самородок.

И хотя оба они, вспоминая об этом, как бы подсмеивались над собой, улыбка не могла скрыть таившуюся в глубине души наивную веру в чудо, и это было тем более трогательно, что никак не вязалось ни с их возрастом, ни с их знанием жизни. А впрочем, чему тут удивляться, если жизнь эта изо дня в день протекала в атмосфере надежд и ожиданий, если вся она зависела от удачи, если каждое утро случайный удар кирки мог принести счастье? Можно ли удивляться, что они стали видеть предзнаменования в различных явлениях природы и слышать таинственные голоса в чаще окружавших их девственных лесов?

И тем более не приходится удивляться тому, что их так влекла к себе возможность тут же на месте проверить свое счастье, проследить повороты судьбы за картонным столом, где каждая открываемая карта была подобна кому вывернутой лопатой земли.

Естественно поэтому, что от своих абстрактных надежд и гаданий они тут же обратились к лежавшей на столе колоде карт. Но едва успели они взять карты в руки, как за окном раздалось потрескивание валежника под ногой, и кто-то толкнул незапертую дверь. В хижину вошел один из самых молодых обитателей лагеря. Он угрюмо пробурчал: «Здрассте!» — что можно было истолковать и как приветствие и как выражение некоторого недовольства по поводу того, что дверь оказалась притворенной, — взял стоявший перед очагом табурет, с которого только что поднялся дядюшка Джим, отряхнулся, как ньюфаундлендский пес, и сел. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он был очень груб или нахален с виду — просто он вел себя в соответствии с обычным эгоизмом и фамильярностью молодости. Хижину дядюшки Билли и дядюшки Джима в лагере привыкли считать чем-то вроде общественного достояния или места сходов, и старатели нередко собирались в ней, чтобы потолковать о своих делах.

«Встретимся у дядюшки Билли», — так обычно назначались в лагере свидания. Кроме того, все, как-то не сго-

вариваясь, считали себя вправе прибегать к помощи дядюшки Джима и дядюшки Билли для разрешения спорных вопросов или, наоборот, без стеснения предлагали им выйти за дверь, если предстоящая беседа носила сугубо личный характер. Но ни то, ни другое никогда не вызывало возражений со стороны компаньонов, да и теперь в кротких, добродушных глазах дядюшки Джима и дядюшки Билли не промелькнуло и тени недовольства — они незлобиво взирали на непрошеного гостя. Быть может, только взгляд дядюшки Джима выразил некоторое удовлетворение, когда стало ясно, что за первым посетителем не пожалует второй и что тут не условлена встреча. Стоять под дождем, пока в их хижине гости обсуждают свои личные дела, не так-то приятно, и если добродушие хозяев было безгранично, то их физическая выносливость все же имела предел.

Дядюшка Джим выбрал из кучи дров, сваленных у очага, поленце потолще и присел на тот край его, который был посуше, предоставив гостю уже захваченный им табурет. Гость с хмурым и недовольным видом задумчиво глядел в огонь и, не оборачиваясь, как бы машинально потянулся к бутылке виски и к оловянной кружке дядюшки Билли, которую тот гостеприимно поспешил подвинуть к нему. Когда гость ставил кружку обратно, в глаза ему бросилась коробочка с пилюлями.

— А это что? Крысиный яд? — с мрачной иронией спросил он.

— Это хинин в пилюльках — против лихорадки, — сказал дядюшка Джим. — Самое последнее открытие науки. Предохраняет от сырости лучше всякой гуттаперчи. Закуси-ка виски пилюлькой. Теперь уж мы с дядюшкой Билли без этих пилюлек и не садимся вечером за стол после работы. Бери пилюльку, угощайся! Мы их нарочно оставили на столе — на случай, если кто придет.

Хотя у обоих компаньонов давно вошло в привычку заимствовать друг у друга не только одежду, но и мысли, тем не менее дядюшка Билли был немало удивлен и обрадован горячностью дядюшки Джима, с которой тот расхваливал его пилюльки. Гость взял одну пилюльку и проглотил.

— Ну и горечь же! — заметил он, поглядывая на хозяев и, как истый калифорниец, прежде всего усматри-

вая в этом подвох. Но честные лица компаньонов рассеяли его подозрения.

— А вот эта горечь-то как раз и действует,— торопливо пояснил дядюшка Джим.— Она вроде как убивает малярию и в то же время предохраняет тебя изнутри от сырости, понимаешь, какая штука? Сунь себе одну пилюльку в карман. Вот посмотришь: еще до дома не дсйдешь, как уже начнешь скулить по этим пилюлькам, как дитя по соске. Вот то-то! Ну, как у тебя дела на участке, Дик? На полный ход, а?

Гость только чуть-чуть поднял голову и мрачно бросил через плечо:

— А я не знаю, что это у тебя значит «на полный ход». Вот вы сидите тут, развалясь, у очага, и вам в общем-то на все наплевать, и, может, по-вашему, если участок на два фута залило водой, так это и называется «дела на полный ход». Может, по-вашему, если сто пятьдесят футов запруды сорвало и унесло течением в Саус-Форк, так это хорошая реклама вашему поганому лагерю, и вкладчики теперь так и бросятся сюда со всех ног? Я нисколько не удивлюсь,— добавил он еще более мрачно, когда при внезапном порыве ветра дождь захлестнул широкую трубу очага и несколько капель упало в оловянную кружку,— я нисколько не удивлюсь, если вы оба, сидя тут и обжираясь своим хинином, считаете, что этот дождь, который льет уже третью неделю, тоже благословение божье!

В лагере уже давно установился приятный и удобный обычай без всякой видимой причины возлагать на дядюшку Джима и дядюшку Билли ответственность и за погоду, и за местоположение лагеря, и за любые превратности судьбы или капризы природы, и в такой же мере у обоих компаньонов без всякой видимой причины вошло в привычку кротко выслушивать эти обвинения и оправдываться.

— Дождь — хорошая штука — он смягчит и разрыхляет землю и для мышц тоже очень полезен,— мирно заметил дядюшка Билли.— Ты, верно, примечал, Джим,— продолжал он, подчеркнуто адресуясь к своему компаньону,— ты, верно, примечал, что когда работаешь под дождем да вспотеешь, так ты весь вроде как намыленный, даже все поры открываются!

— А как же не примечать — примечал, — отозвался дядюшка Джим. — Лучше всякого душистого мыла. Гость язвительно рассмеялся.

— Ну вот и валяйте дальше, а я завтра сбегу отсюда, поищу себе другое местечко. Хуже, чем здесь, не будет.

Лица компаньонов выразили огорчение, хотя оба они уже привыкли к такого рода вспышкам. Каждый, кто собирался покинуть лагерь «Кедры», начинал с того, что подобно неблагодарному племяннику, задумавшему сбежать от дядюшки, в угрожающем тоне сообщал о своем намерении этим терпеливым людям или разыгрывал по всем правилам сцену прощания.

— Подумай как следует, прежде чем уйти, — сказал дядюшка Билли.

— Я видел погоду и похуже, когда тебя еще тут не было, — меланхолично произнес дядюшка Джим. — Отмель вся ушла под воду, такой был разлив — не доберешься до холма Ангела за мешком муки. Пробавлялись кедровыми орешками и чем бог пошлет. А все же мы не ушли из лагеря и, как видишь, и сейчас здесь.

Эта кроткая речь почему-то привела гостя в совершеннейшую ярость. Он вскочил с табурета и так тряхнул мокрыми волосами, падавшими на его красивое, сердитое лицо, что капли дождя полетели прямо на хозяев.

— Вот, вот! Оно самое. Вот что меня бесит! Здесь вы засели, и сидите, и будете сидеть и гнить, покуда не околеете с голоду или вас не затопит. Вы — двое взрослых мужчин — должны бы жить, заниматься делом, как все взрослые люди, а вы торчите здесь, в этой хибарке в лесу, словно малые дети, которые построили шалаш и играют «в свой дом». Словно малые дети, которые лепят пироги из глины, вы играете в ваши лотки и промывки. Вы же мужчины и еще не настолько стары, чтобы не получать удовольствия от жизни. Вы могли бы ходить в театры и на балы, ухаживать за девушками. И, сдается мне, вы уже достаточно вошли в возраст, чтобы жениться, обзавестись семьей, а вместо этого торчите здесь, в этом забытом богом углу, живете бобылями, по-свински, словно последние нищие! Да, вот это меня и бесит. Ну, скажите, нравится вам это? Скажите, на что вы надеетесь? Думаете, что вам рано или поздно повезет, если вы будете торчать

здесь? А кому здесь удавалось заработать больше того, что он проедает? Знаю, вы все делите по-братски, поровну — да разве у вас хватает на двоих? Каждый из вас, в общем-то, живет за счет другого. Вы разве не видите, что сживаете друг друга со света, вяжете друг друга по рукам и ногам, мешаете друг другу выбраться из этого треклятого лагеря и только все глубже и глубже увязаете в трясине? И то, что вы, такие почтенные, пожилые люди, торчите здесь, вселяет пустые, несбыточные надежды в других.

Хотя «дядюшки» и были привычны к полусерьезной, полушутливой и всегда достаточно экстравагантной критике со стороны других обитателей лагеря, но такое обвинение им пришлось выслушать впервые, и некоторое время они сидели молча. На щеках дядюшки Билли проступил легкий румянец, щеки дядюшки Джима чуть-чуть побледнели. Дядюшка Джим заговорил первый, и речь свою он произнес с таким достоинством, что и компаньону его и гостю почудилось в этом что-то новое.

— Поскольку, как я понимаю, это у нашего камелька ты так разгорячился, Дик Буллен, и это наше виски развязало тебе язык, — сказал дядюшка Джим и поднялся на ноги, опираясь на плечо дядюшки Билли, — придется нам, видно, примириться с этим, так же, как мы примирились со своей жизнью, и не затевать с тобой ссоры под собственной крышей.

Юноша, заметив, как переменился в лице дядюшка Джим, быстро протянул ему руку и наклонил голову, как бы прося извинения, так что длинные пряди волос снова упали ему на лоб.

— А, все это пустое, старина, — сказал он тоном шутивого раскаяния, — не придавай значения моим словам. Я был так расстроен, раздумывая над своей судьбой, ну и, может, немножко над вашей, что как-то не подумал о том, какое имею я право читать кому-нибудь мораль, а уж тем более вам. Так что расстанемся друзьями, дядюшка Джим и дядюшка Билли, и забудьте то, что я сказал. По правде говоря, я и сам не знаю, зачем я все это молот... Просто проходил сейчас мимо вашего участка и подумал, сколько еще могут продержаться ваши желоба и где, черт побери, вы возьмете другие, если эти раз-



валятся. Должно быть, потому я все это и понес. Так что забудем, ладно?

Лицо дядюшки Билли просияло, и он первый пожал гостю руку. Дядюшка Джим тотчас последовал его примеру, и рукопожатие его тоже было сердечным, только глаза он отвел в сторону, хотя в них уже не оставалось и тени негодования. Он проводил гостя до двери, снова пожал ему руку и некоторое время смотрел вслед, пока широкие плечи и кудлатая голова Дика Буллена не растаяли во мраке.

Тем временем дядюшка Билли уселся на табурет и принялся выбивать трубку, посмеиваясь про себя и предаваясь воспоминаниям.

— Этот малый напомнил мне Джо Скандалиста. Тот вот тоже так: когда его собственный компаньон в его собственной хижине обчистил его в покер, он пришел сюда и сорвал зло на нас, словно это мы были всему виной. Как ты ему тогда мозги вправил, помнишь?

Дядюшка Джим ничего не ответил, и дядюшка Билли взял колоду и принялся тасовать карты, улыбаясь задумчиво и немного грустно.

— Уж больно круто я осадил Дика, мне даже жаль его. Ты знаешь, когда человек режет правду в глаза, это мне по нраву. Выскажет все, что у него накопело, и вроде как очистит душу от всяких скверных примесей. Все равно как в лотке после промывки: плеснешь в него воды и крутишь и крутишь, сначала выплеснешь ил и всякую грязь, а потом песок и гальку, а как все смыл — глядишь, на дне золото поблескивает!

— Так, по-твоему, значит, это он не совсем ерунду порол? — спросил дядюшка Джим, бросив пытливым взгляд на своего компаньона.

Несколько необычный тон этого вопроса заставил дядюшку Билли поглядеть на дядюшку Джима.

— Нет, нет, — поспешно сказал он, невольно шараясь в сторону от серьезного разговора, так как по свойству своего характера предпочитал жить, не задумываясь. — Я не считаю, что он тут попал в точку. Ну, чего ты нос повесил? Будем мы играть или нет? Смотри-ка, уже скоро десять.

Этот призыв заставил дядюшку Джима приблизиться к столу, а дядюшка Билли принялся сдавать карты

и открыл себе козырного валета, что, однако, не исторгло из его груди ликующего возгласа, которым он обычно сопровождал каждую свою удачу, да и дядюшка Джим на сей раз не реагировал на нее с притворным возмущением, как это повелось. Таковую сдержанность оба проявили впервые за все время их содружества. Игра шла в полном молчании, лишь стук дождевых капель, которые заносило ветром в очаг, нарушал тишину.

— Надо бы нам сделать над трубой козырек из камней, как у Джека Кертиса. Дождь не будет захлестывать, а тяге это не мешает, — задумчиво произнес дядюшка Билли.

— А зачем это нужно, если мы...

— Что «если»? — негромко переспросил дядюшка Билли.

— Если мы не собираемся ее расширять, — апатично отвечал дядюшка Джим.

Они оба поглядели на очаг, но дядюшка Джим окинул взглядом еще и стены вплоть до самых коек. Парусина была вся в пятнах, а изображение статуи Свободы, вырезанное из какого-то иллюстрированного журнала, сморщилось, покрылось словно бы сыпью и имело крайне непрезентабельный вид.

— Надо будет приколоть поверх этой девицы рекламному стирального порошка, которую мне дали в бакалейной лавке. Славная такая бабенка, с засученными рукавами стирает белье, — сказал дядюшка Билли. — Эти картинки тем и хороши, что как надоест, всегда можно повесить новую. И опять же утолщают стены.

Дядюшка Джим промолчал и снова взялся за карты. Но через несколько минут встал и завесил дверь своим пальто.

— Задувает, — коротко пояснил он.

— Да, — весело отозвался дядюшка Билли, — но без этой щели мне было бы как-то не по себе: по утрам в нее заглядывает солнышко, и получается, знаешь, что-то вроде солнечных часов. Когда солнце падает в тот угол, я уже знаю: шесть часов! А когда на очаг — семь! Ну и так далее.

Все же в хижине становилось прохладно, а ветер крепчал. Мерцающая и потрескивающая, оплывала свеча; поленья в очаге порой вспыхивали ярче, словно стремясь разо-

гнать сгушавшиеся тени, но тут же снова начинали тлеть. Игру все время приходилось прерывать, чтобы не дать огню угаснуть совсем. После довольно унылого молчания, во время которого каждый из игроков по очереди пододвигал к себе свечу, стараясь разглядеть карты, дядюшка Джим произнес:

— Слушай-ка...

— Чего? — спросил дядюшка Билли.

— Ты в самом деле видел эту третью ворону на поленище?

— Так же, как тебя сейчас, черт побери! А в чем дело?

— Да ни в чем, просто так, я подумал... Слушай! Какой у нас сейчас счет?

Дядюшка Билли все проигрывал. Тем не менее его ответ прозвучал весело:

— Я должен тебе что-то около семидесяти тысяч долларов.

Дядюшка Джим рассеянно заглянул в записную книжку.

— А что, если, — произнес он с расстановкой, не поднимая глаз на своего компаньона, — а что, если мы сыграем на мою долю участка? Пусть она пойдет за семьдесят тысяч, за всю ставку, словом, чтобы сравнять счет, а то уже совсем стемнело.

— Хочешь поставить всю свою долю? — удивленно и недоверчиво переспросил дядюшка Билли.

— Ну да, хочу сыграть на мою долю в участке... И на мою долю в этом доме тоже — на всю мою половину нашей с тобой движимости и недвижимости, которая, как говорит Дик Буллен, тащит нас с тобой в могилу, — с кривой усмешкой промолвил дядюшка Джим.

Дядюшка Билли рассмеялся. Это тоже было что-то новенькое. Конечно, и это было «понарошку», как вообще все их карточные ставки, и тем не менее ему почему-то захотелось, чтобы Дик Буллен узнал про это.

— Валяй, дружище, — сказал он. — Я согласен.

Дядюшка Джим зажег еще одну свечу в подкрепление той, что догорала. Сдавать выпало дядюшке Билли. Он открыл козыря — валета треф. Затем взглянул на свои карты, и щеки его слегка порозовели; он бросил быстрый взгляд на партнера.

— Можно не играть,—сказал он.—Глянь-ка сюда!— И он выложил на стол туза, короля и королеву трэф и валета пик — валета в цвет козырной масти, то есть самую сильную комбинацию в колоде.— Вот чертовщина! Если б мы играли вчетвером, двое на двое — мы с тобой против еще кого-нибудь,— можно было бы сорвать неплохой куш с такими картами, а, что ты скажешь? — добавил он, и глаза его блеснули.

У дядюшки Джима тоже вспыхнули в глазах какие-то искорки.

— Ну что, видел я сегодня трех ворон или не видел? — лукаво напомнил дядюшка Билли, когда его партнер начал, в свою очередь, тщательно и прилежно тасовать колоду. Затем он сдал карты и открыл червонного козыря. Дядюшка Билли начал брать свои карты по одной, а когда взял последнюю, раскрасневшееся лицо его на этот раз побледнело.

— В чем дело? — быстро спросил дядюшка Джим, тоже слегка бледнея.

Дядюшка Билли медленно, почти не дыша, словно в каком-то благоговейном ужасе выложил свои карты на стол. Это была та же самая комбинация — только теперь в червах — и бубновый валет в придачу. Дядюшка Билли снова был непобедим.

Они отупело уставились друг на друга; неуверенная, испуганная улыбка блуждала на их губах. В ветвях деревьев завывал ветер; внезапно за дверью раздался какой-то шум. Дядюшка Билли вскочил, но дядюшка Джим поймал его за рукав.

— *Не бросай карт!* Это ветер. Сядь! — произнес он, понизив голос до таинственного шепота.— Теперь твоя сдача. У тебя было два очка, сейчас прибавилось еще два, значит, уже четыре! Тебе нужно только одно очко, чтобы выиграть всю игру. Сдавай!

Растеряннo улыбаясь, они налили себе виски; в глазах у них светился испуг, руки похолодели. Карты выпадали из онемевших пальцев дядюшки Билли. Стасовав колоду, он молча протянул ее партнеру. Дядюшка Джим основательно, не торопясь, снял и с торжественным видом протянул колоду партнеру. Дядюшка Билли дрожащей рукой раздал карты. Он открыл козыря — вышли трэфы.

— Если примета правильная, ты сам знаешь, что сейчас выиграешь,— чуть слышно прошептал дядюшка Джим. Дядюшка Билли с замиранием сердца выложил на стол козырную комбинацию и валета пик — черного валета!

Он выиграл!

Оба внезапно почувствовали облегчение, словно какая-то тяжесть спала с их плеч, и невольно рассмеялись нервно, возбужденно. Со стороны их игра могла показаться ребячьей забавой, но они, играя, испытали такое же напряжение, какое охватывает любого азартного игрока, с той лишь разницей, что по сравнению с профессиональным игроком им не хватало выдержки и хладнокровия. Дядюшка Билли судорожно схватил карты снова.

— Оставь,— серьезно сказал дядюшка Джим.— Больше играть не следует! Не испытывай судьбу. Твое везение кончилось.

— Ну еще разок! — умоляюще сказал его партнер.

Дядюшка Джим отвернулся и стал глядеть на огонь, а дядюшка Билли торопливо сдал карты и сам открыл и свои и дядюшки Джима. Это был самый обыкновенный, средний расклад. Он сдал снова — повторилось то же самое.

— Я же говорил тебе,— сказал дядюшка Джим, не поднимая глаз. После такого неслыханного везения обычная игра уже и вправду показалась им пресной, и, сделав еще одну попытку, дядюшка Билли отбросил колоду в сторону и пододвинул свой табурет к очагу.

— Странная получилась штука, верно? — проговорил он, и благоговейный испуг снова прозвучал в его голосе.— Три раза подряд! Ты знаешь, у меня даже все время вроде как мурашки по спине бегали. Черт-те что! Надо же, чтоб так везло! Рассказать ребятам, так никто не поверит, особенно Дик Буллен: он же не верит в удачу. Хотелось бы мне послушать, что он скажет! И какая, черт побери, будет у него при этом рожа! Эй! Чего это ты так на меня уставился?

Дядюшка Джим, обернувшись к дядюшке Билли, задумчиво смотрел на него со своей добродушной, простоватой улыбкой.

— Так, ничего,— бормотал он и опять повернулся к очагу.

— Тогда не гляди на меня так, словно хочешь чего-то высмотреть: мне от этого муторно становится, — ворчливо сказал дядюшка Билли. — Давай ложиться, пока огонь не погас.

Роковую колоду карт засунули обратно в ящик, стол придвинули к стене. Процесс раздевания был недолог; одежду сложили на койки поверх одеял. Дядюшка Билли зевнул.

— Интересно, что я сегодня увижу во сне? Должно бы присниться, с чего это мне вдруг повезло. — И он тут же уснул, не успев прибавить: «Доброй ночи!»

А дядюшка Джим не спал. Шум ветра понемногу стих, и в воцарившейся гнетущей тишине стало слышно глубокое, ровное дыхание дядюшки Билли и далекий вой койота. Когда глаза дядюшки Джима привыкли к полумраку, в слабом мерцании догорающих углей отчетливо проступила убогая обстановка хижины, в которой они прожили столько лет. Кое-как заделанные щели в потолке — все эти каждодневные, нагоняющие тоску, обменчивые попытки как-то улучшить их безрадостное, однообразное существование — отчетливо бросались ему теперь в глаза, не скрашенные наивными надеждами, делавшими это существование сносным. А когда он закрыл глаза, чтобы не видеть ничего вокруг, воображение увлекло его вниз по крутому горному склону, исходящему им уже вдоль и поперек, к унылому участку возле речной запруды, где кучи отвалов громоздились, словно шелуха всех бессмысленно прожитых дней — всех дней, потраченных зря в пустой надежде на удачу. Он снова увидел перед собой гнилые промывочные корыта, сквозь дыры и щели которых утекала немалая толика и без того скудной добычи.

Наконец он поднялся и с крайней осторожностью, стараясь не потревожить своего спящего товарища, слез с койки, завернулся в одеяло, подошел к двери и бесшумно ее отворил. Поглядев на звезды, ярко сверкавшие в северной части неба, он убедился, что полночь еще не наступила и еще много долгих, томительных часов протечет до утра, а его уже сжигало лихорадочное нетерпение, и казалось, что у него не хватит сил дожидаться рассвета.

Но он ошибался. Свежее, живительное дыхание природы овевало его, проникнув через распахнутую дверь в



«ПРИГОВОР БОЛИНАССКОЙ РАВНИНЫ»



«ДЯДЮШКА ДЖИМ И ДЯДЮШКА БИЛЛИ»



их скромную хижину, и он внезапно испытал удивительное чувство свободы и таинственного единения с птицами и зверями, с деревьями и травами—со всем огромным миром, лежавшим за порогом его жилища. Не это ли неосознанное чувство общения и единства держало его здесь в плену, не оно ли удерживало и всех остальных, истосковавшихся по широкому миру людей в их наспех сколоченных хижинах, разбросанных по горным склонам? И дядюшка Джим снова ощутил на своем челе ту умиротворяющую ночную прохладу, что ежевечерне приносила им всем сон и забвение. Он затворил дверь, так же бесшумно, как прежде, забрался на свою койку и тотчас погрузился в глубокий сон.

Дядюшка Билли, проснувшись поутру, увидел, что время позднее, ибо лучи солнца, проникнув в дверную щель, уже добрались до остывшего очага, словно хотели снова разжечь потухшие угли. Он сразу вспомнил вчерашний вечер и свою необычайную удачу и тут же почувствовал разочарование оттого, что не привиделся ему вещий сон и не принес разгадки тайны. Он спрыгнул с койки, потянулся и увидел, что дядюшки Джима нет на месте. Больше того, койка была совершенно пуста. Не было не только дядюшки Джима, но даже его одеял. Единственная личная и нераздельная собственность дядюшки Джима—его одеяла исчезли!

И, как удар грома, его поразила мысль: так вот в чем причина странного поведения его компаньона! Внезапная разгадка тайны, быть может, именно та разгадка, которую он тщетно искал, блеснула перед ним, словно молния, прорезавшая мрак. Он окинул хижину блуждающим взглядом. Стол был отодвинут от стены, вероятно, в расчете на то, что это бросится ему в глаза. На столе лежал засаленный замшевый кошелек, где хранились крупницы золота, которые остались у них после того, как они «подвели итог» на прошлой неделе. Золото, по-видимому, было тщательно разделено пополам, так как ровно половина его исчезла, а рядом лежала раскрытая записная книжка и поперек нее—карандаш. Под всеми немудрыми выигрышами и проигрышами, занесенными в нее, включая и стоимость половины участка, которую дядюшка

Джим поставил на кон и проиграл, была проведена жирная черта, а под ней нацарапано несколько слов:

«Твоя удача, старик, решила вчера мою судьбу. Джеймс Фостер».

\*

Прошло не меньше месяца, прежде чем лагерь «Кеды» воочию убедился, что товарищество дядюшки Джима и дядюшки Билли распалось. Гордость мешала дядюшке Билли поделиться своими соображениями по поводу случившегося или рассказать о событиях, предшествовавших таинственному побегу дядюшки Джима. Дик же Булен отбыл с почтовой каретой в Сакраменто в то же самое утро, когда исчез дядюшка Джим. И дядюшка Билли ограничился кратким разъяснением: его компаньон уехал в Сан-Франциско по одному важному для них делу, и он сам, быть может, отправится туда несколько позднее. Весьма своевременную поддержку оказало ему письмо со штемпелем Сан-Франциско, полученное от исчезнувшего компаньона. В этом письме дядюшка Джим просил не тревожиться на его счет, так как перед ним открываются широкие возможности принять участие в одном весьма доходном предприятии. О причинах же своего неожиданного и поспешного отъезда он предпочел умолчать.

Несколько дней дядюшка Билли пребывал в состоянии неуверенности и беспокойства, в душевной своей простоте стараясь припомнить, не мог ли он, ошеломленный удачей, пропустить мимо ушей какие-либо разъяснения своего компаньона или, еще того хуже, не ляпнул ли, не подумавши, какую-нибудь чушь, из чего тот заключил, что он принимает его дурацкую ставку всерьез. И он в полном расстройстве написал дядюшке Джиму на переклассном старательском жаргоне униженное и молящее послание, не очень грамотное и маловразумительное, но щедро уснащенное старомодными шутками. В ответ на эту изысканную эпистола дядюшка Джим повторно заверил его в своих собственных блестящих перспективах и в том, что он искренне уповает на дальнейшие успехи своего бывшего компаньона, которому теперь, после того как он остался один, несомненно, больше повезет.

Недели две дядюшка Билли ходил надутый и мрачный, но его добродушие и неукротимый оптимизм взяли в конце концов верх, и в душе его не осталось ничего, кроме искреннего желания удачи своему бывшему компаньону. Он начал регулярно посылать ему письма всегда на один и тот же адрес: личный, почтовый ящик на Главном почтамте в Сан-Франциско, в чем он по своему простодушию усматривал признак высокого общественного положения дядюшки Джима. На эти письма дядюшка Джим отвечал аккуратно, но кратко.

Дядюшка Билли очень гордился успехами своего бывшего компаньона и его расположением, но по скромности своей не решался читать его письма товарищам, хотя охотно рассказывал им о больших чаяниях дядюшки Джима и оглашал кое-какие отрывки из его посланий. Стоит ли говорить, что лагерь не принимал рассказов дядюшки Билли полностью на веру. Сотни предположений, шуточных или серьезных, но всегда крайне неожиданных и ошеломляющих, будоражили лагерь «Кедры». Компаньоны поссорились, не поделили одежды: дядюшка Джим, как известно, выше дядюшки Билли, и он отказался носить его штаны. Нет, они разругались из-за карт: дядюшка Джим нашел у дядюшки Билли крапленую колоду. Вовсе нет, ссора началась из-за того, что дядюшка Билли по рассеянности смолол полкоробки «малярийных пилюль» на завтрак вместе с кофе. Склонный к мрачным фантазиям погонщик мулов зловеще намекнул, что никто, дескать, не видел, как дядюшка Джим покидал лагерь, и очень может быть, что он все еще здесь и кости его обнаружатся в какой-нибудь канаве. После этого один весьма впечатлительный старатель громогласно заявил, что в ночь исчезновения дядюшки Джима ему послышался крик филина, только это, понятное дело, был не филин, а предсмертный крик убиваемого.

Весьма характерно для обитателей лагеря, как, впрочем, и для всего населения Калифорнии, что никто, даже сами изобретательные авторы всех этих гениальных догадок, не верил своим рассказам и ни один человек не дал себе ни малейшего труда чем-либо их подтвердить или опровергнуть. По счастью, дядюшка Билли оставался в полном неведении относительно всех этих наветов и

продолжал безмятежно существовать в атмосфере самых чудовищных, ледящих душу подозрений. А затем лагерь внезапно круто изменил свое отношение к нему и расторгнутому союзу двух компаньонов.

До этой минуты все без видимой причины, словно стоворившись, взваливали всю вину на дядюшку Билли, быть может, просто потому, что на него удобнее было взваливать, поскольку он оставался под рукой. Но шли дни, и некоторая замкнутость и молчаливость дядюшки Билли, которую первоначально все приписывали его нечистой совести, теперь, каким-то необъяснимым образом, начала вызывать к нему сочувствие.

«Гляньте, как дядюшка Билли день-деньской гнет спину, бедняга, над своими промысловыми корытами, в то время как бессовестный этот его компаньон сбежал в Сан-Франциско и купается там в роскоши!»

А красочные рассказы дядюшки Билли об успехах дядюшки Джима лишь подливали масла в огонь, и вся симпатия и сочувствие доставались теперь дядюшке Билли, а всяческое поношение приходилось на долю сбежавшего компаньона. В лавке Биггза было высказано предположение, что не худо бы послать дядюшке Джиму письмо и выразить от лица всего лагеря возмущение его бесчеловечным поступком по отношению к его бывшему компаньону Уильяму Фоллу.

Дядюшка Билли стал получать изъявления соболезнования, и было предпринято несколько безыскусственных попыток скрасить его одиночество. Раза два в неделю перед его хижинкой появлялась процессия из пяти-шести старателей с бутылками виски и исполняла нечто вроде пляски, достойной поднять дух дядюшки Билли и воскресить в его памяти счастливое прошлое. Старатели по несколько человек как бы невзначай заглядывали к нему на участок и время от времени делали судорожные попытки помочь ему в работе, неизменно сопровождавшиеся большим весельем и разнообразными шутками. Когда старатели собирались у кого-нибудь в хижине отдохнуть и поболтать, случалось не раз, что тот или другой честный малый срывался с места и заявлял: «Надо бы, пожалуй, пойти поработать часок на отвалах у дядюшки Билли!» Но и теперь было так же маловероятно, как и прежде, чтобы кто-нибудь из этих беспечных фи-

лантропов по-настоящему верил в то, что он говорит, или воспринимал свои действия всерьез. Более того, почти каждый такой порыв сопровождался скептическими замечаниями вроде:

— Помяните мое слово, дядюшка Билли, небось, и сейчас в доле со своим старым компаньоном и, верно, здорово потешается над нами, дураками, когда отписывает ему, какие мы доверчивые бараны.

Так пролетела зима с ее дождями, и наступила пора солнечных дней и звездных ночей. Горные потоки низверглись со снежных вершин Сьерры, и паводок затопил Отмель, но и это миновало тоже, и настали дни, полные ослепительного солнечного блеска. Кедры и сосны забродили свежими соками, и монотонная жизнь лагеря всколыхнулась. И вдруг небывалое волнение охватило весь лагерь. Старатели засуетились, забегали туда и сюда, а на участке дядюшки Билли, который все еще носил прежнее наименование «Заявка Фолла и Фостера», собралась большая толпа. К довершению суматохи один за другим прогремели несколько выстрелов: кто-то пальнул в воздух из револьвера. Но вот толпа расступилась, и появился дядюшка Билли. Бледный, взволнованный, запыхавшийся, он едва держался на ногах, так как каждый либо тряс ему руку, либо хлопал его по спине. А причиной этого волнения было то, что дядюшке Билли крупно повезло: он только что напал на первосортную жилу, сулившую ему, по грубым подсчетам, тысяч пятнадцать долларов, самое меньшее!

Конечно, в эту великую минуту дядюшке Билли очень не хватало его старого компаньона. Однако он не мог не заметить, каким неподдельным восторгом и радостью сияли глаза всех, кто его окружал. Для этих неунывающих, несмотря на свою неверную, неустойчивую жизнь, людей было естественным радоваться чужой удаче: она не порождала в неудачниках ни зависти, ни злобы, а скорее вселяла в них надежду, что в следующий раз повезет и кому-нибудь из них. Золото есть, просто природа не сразу открывает свои тайны. А кто поставит предел ее щедрости? И так крепка была эта вера, что в момент всеобщего ликования один незадачливый, но отнюдь не отчаявшийся старатель наклонился и, похлопав ладонью по кремнистой осыпи, кратко изрек:

— Спасибо тебе, старушка!

Засим последовал пир, длившийся всю ночь, а наутро состоялись торопливые переговоры с экспертом-комиссионером, привлеченным в лагерь хорошей вестью, и вечером того же дня — к крайнему изумлению всего лагеря — дядюшка Билли с чеком на двадцать тысяч долларов в кармане отбыл в Сан-Франциско, распрощавшись со своим участком и с лагерем «Кедры» на веки вечные!

\*

Дядюшка Билли сошел с корабля в Сан-Францисском порту в состоянии некоторой растерянности. Золотые Ворота тонули в напоздавшем с моря тумане, он уже накинуд и на город свою серую пелену, и в серой мгле улиц, вившихся по серым песчаным холмам, замерцали кое-где огоньки фонарей. Дядюшку Билли, уроженца Запада, выросшего у реки, но незнакомого с морями, взволновали и восхитили высокие мачты морских судов, а исполненный таинственности океан породил в нем странное чувство отрешенности. Элегантно одетые мужчины и женщины, проносящиеся мимо экипажи — все поражало и подавляло дядюшку Билли, все было ему чуждо.

Дорогой он лелеял мечту, что явится к своему бывшему компаньону так, как есть, в старой рабочей одежде, а потом вдруг выложит перед ним чек на десять тысяч долларов — его долю от продажи участка. Но при виде всех этих незнакомых ему расфранченных богачей на него вдруг напала необычная робость. Он слышал рассказы о дешевой гостинице, в которой часто останавливались старатели: они входили под гостеприимный кров гостиницы, имевшей сообщение с соседним магазином, и через несколько часов выпархивали оттуда нарядные, как бабочки, оставив в его недрах свои тусклые коконы. Дядюшка Билли расспросил, как туда пройти. Вскоре он снова появился на улице в кричаще новом и на редкость дурно сидевшем костюме. Только своей бороды он все же не принес в жертву моде, и его приятное, простодушное лицо сохранило отпечаток благородства и некоторой индивидуальности, несмотря на дешевую банальность его одяния. Он направился на Главный почтамт, который тоже подавил его своими внушительными размерами, а

ряды маленьких квадратных ящиков за стеклянной перегородкой во всю стену и такое же количество деревянных ящичков, запертых на замок и четко перенумерованных, привели его в полное замешательство. Сердце у него бешено забилося. Он вспомнил нужный номер, увидел перед собой окошечко, а за окошечком — чиновника и наклонился к этому окошечку.

— Не можете ли вы сказать мне: владелец ящика номер 690 сейчас у себя?

Чиновник воззрился на него, заставил его повторить вопрос и отошел. Когда же он вернулся, за его спиной возникли две ухмыляющиеся физиономии. Дядюшку Билли попросили еще раз повторить вопрос. Он повторил.

— Чего же вы стоите? Ступайте посмотрите, не сидит ли номер 690 в своем почтовом ящике, — с напускной суровостью сказал чиновник одному из торчавших за его спиной.

Тот отошел, возвратился и сказал без улыбки:

— Он только что был там, но вышел размять ноги. С непривычки, знаете ли, все же тесновато, начинаются судороги, больше десяти часов не высидишь.

Но любое простодушие имеет границы. Дядюшка Билли уже понял свою ошибку, понял, что ящик на почтамте еще не означал официального поста в почтовом ведомстве. На щеках у него проступил легкий румянец, затем они снова побледнели, а зрачки его голубых глаз сузились до весьма пронзительных черных точек.

— Если вы пропустите меня за это окошечко, молодые люди, — произнес он тоже без улыбки, — вы легко убедитесь, что мне ничего не стоит уложить вас в один из ящиков так, что вы даже не успеете почувствовать никаких судорог! Но пока что я хотел бы только выяснить, где проживает Джим Фостер.

После этого заявления к чиновнику возвратилась его обычная манера небрежной учтивости.

— Опустите записку в его ящик, а потом зайдите за ответом, — сказал он. — Вот тут бумага и карандаш.

Дядюшка Билли взял бумагу и начал писать:

«Только что прибыл сюда, зайти повидаться со мной в...»

Он остановился. Блестящая мысль внезапно осенила его: сейчас он одним ударом поразит и своего бывшего компаньона и этих нахалов за окошечком — он пригласит Джима в самый шикарный отель, о баснословной роскоши которого рассказывают сказки! И он приписал: «В отель «Ориенталь», — а потом, не сложив бумажки, протянул ее в окошечко.

— Вам нужен конверт? — спросил чиновник.

— Наклейте марку в уголке, — сказал дядюшка Билли, выкладывая на прилавок монету, — сойдет и так.

Чиновник улыбнулся, но все же наклеил марку, и дядюшка Билли отошел от окошечка.

Но торжество его было непродолжительным. Разочарование, которое он испытал, узнав, что адрес дядюшки Джима не раскрывает его местопребывания, породило в нем ощущение, что его приятель еще более отдалился от него и словно бы растворился в этом гигантском городе. Самому же дядюшке Билли предстояло теперь оправдать свой новый адрес и снять номер в отеле «Ориенталь». Туда он и отправился. Обстановка отеля, крикливо роскошная и не в меру экстравагантная даже для тех дней, когда новые отели росли в Сан-Франциско, как грибы, подавила дядюшку Билли, и он почувствовал себя еще более одиноким и затерянным в этом чуждом мире. Тем не менее он снял богатые апартаменты, заплатил за них наличными вперед и тут же в испуге покинул их и принялся наудачу блуждать по городу в лихорадочной надежде повстречать где-нибудь своего прежнего компаньона. К вечеру его беспокойство возросло: ему казалось, что он не в силах вступить в огромный зал ресторана, где между колоннами протянулись длинные ряды столиков, за которыми сидели элегантные мужчины и женщины, а спальня со штофными креслами и позолоченной кроватью страшила его не меньше, и он свернул в сторону своего скромного пристанища — гостиницы «Добрый ночлег» и утолил там голод в дешевом ресторанчике в компании бывших старателей и новых переселенцев с Востока.

Такое странное, двойственное существование продолжалось несколько суток. Три-четыре раза на дню дядюшка Билли появлялся в величественном отеле «Ориенталь», с притворной развязностью брал ключ от своего



номера у портье, небрежно спрашивал, не было ли ему писем, поднимался в свои апартаменты и, постояв у окна и поглазев на спящих по улице пешеходов, — не мелькнет ли среди них фигура его бывшего компаньона, — возвращался в свой «Добрый ночлег» отдохнуть и подкрепиться. На четвертый день он получил весточку от дядюшки Джима. Как всегда, она была краткой, бодрой и деловой. Дядюшка Джим был глубоко огорчен: одно чрезвычайно важное и очень прибыльное дело заставило его отлучиться из города, однако он надеется скоро вернуться и обнять своего старого компаньона. К этому сообщению он впервые позволил себе присовокупить шутку и выразил надежду, что дядюшка Билли не успеет «насмотреться всякого» до его возвращения. Несмотря на досаду из-за этой новой отсрочки, перед дядюшкой Билли теперь забрезжил луч надежды. Это письмо как бы перебросило мост через ту пропасть, которая, казалось, разверзлась между ними в здании Главного почтамта. Ведь дядюшка Джим воспринял факт его появления в Сан-Франциско как нечто само собой разумеющееся и вроде бы даже намекнул на возможность возобновления их прежней дружбы. А до этой минуты дядюшка Билли по своей доверчивости и простоте терзался мучительнейшими сомнениями: во-первых, он не был уверен, захочет ли дядюшка Джим, ставший одним из этих «городских», вроде тех, что фланжировали по улицам Сан-Франциско, якшаться с таким неотесанным приятелем, и, во-вторых, не должен ли он, со своей стороны, сразу же сообщить дядюшке Джиму о том, что судьба была к нему благосклонна. Но подобно всем слабым, нерешительным натурам, которые с отчаянным упорством всегда цепляются за какую-нибудь мелочь, он никак не хотел отказать от своего первоначального замысла — поразить дядюшку Джима, выложив перед ним на стол его долю «находки» без всяких предварительных объяснений. К тому же его одолевало сомнение (и довольно обоснованное), захочет ли дядюшка Джим встретиться с ним, если узнает, какое счастье ему привалило. Ибо дядюшка Билли слишком хорошо помнил внезапную вспышку независимости дядюшки Джима и тот суровый педантизм, который побудил его принять свой фантастический карточный проигрыш всерьез.

Чтобы немного подготовить себя к встрече с уже цивилизовавшимся дядюшкой Джимом, дядюшка Билли попробовал и в самом деле «насмотреться всякого» в Сан-Франциско, насколько такой великовозрастный, но крайне наивный младенец мог это сделать,— то есть с большим любопытством и без всякого тлетворного воздействия на его душу. Боюсь, что больше всего он пристрастился к прогулкам в порт, где наблюдал, как причаливают пароходы из Сакраменто или Стоктона,— он все надеялся увидеть в толпе пассажиров, спускавшихся по трапу, своего бывшего компаньона. Суеверный инстинкт игрока пробуждался в нем, и он загадывал: кто первый сойдет с корабля — женщина или мужчина; будет ли кто-нибудь из пассажиров хоть немного смахивать на дядюшку Джима; посмотрит ли в его сторону вон тот пассажир? От этого зависело, принесет ли предстоящий день ему удачу. Таково было основное его занятие на протяжении дня, и он уже никак не мог без него обойтись. Это даже немного напоминало ему те дни, когда он со своим компаньоном каждое утро отправлялся работать на участок. И дядюшка Билли говорил себе: «Что ж, пора пойти поглядеть, не приехал ли Джим», — и шел выполнять свой долг, полагая, что развлечения могут и подождать.

Он был так поглощен этой единственной задачей, что завел очень мало знакомств, да и те были мимолетными, и ни с кем не поделился историей своего обогащения, преданно храня эту тайну до возвращения дядюшки Джима, который должен был узнать о ней первым. Это оказалось нелегким испытанием для такого простого, бесхитростного человека, как он, и, пожалуй, самым веским доказательством его преданности дядюшке Джиму. Отказавшись от своих роскошных апартаментов в отеле «Ориенталь», ставших ненужными ввиду отсутствия дядюшки Джима, он смело, без ложного стыда опустил в таинственный почтовый ящик на почтамте письмо с указанием своего истинного скромного адреса, обещая все разъяснить дядюшке Джиму при встрече.

Порой он угощал обедом какого-нибудь старателя из тех, кому крепко не повезло, и ходил с ним в музей или в театр. Но как ни удивительно, а дядюшка Билли, который с живым сочувствием относился ко всем простым,

скромным людям и сам в течение долгих лет занимался стиркой, уборкой и починкой, обслуживая себя и своего компаньона, и никогда не считал это унижительным, по какой-то странной непоследовательности своей натуры чурался всех прислуживавших ему лиц, и хотя щедро давал на чай официантам и даже бросил доллар подмётальщику улиц на перекрестке, тем не менее в его отношении к ним всегда проглядывала какая-то боязливая застенчивость. Однажды вечером дядюшка Билли, выйдя из театра, заметил, что один из этих подмётальщиков при его появлении поспешно отпрянул в сторону и был сбит проезжавшей мимо коляской. На этот раз дядюшка Билли искренне готов был проявить участие, но пострадавший вскочил и торопливо зашагал прочь, а дядюшка Билли был немало поражен и даже раздосадован, услышав от своего спутника, что эта профессия дает не такой уж плохой заработок и что некоторые из подмётальщиков, особенно те, что работают на центральных улицах, уже сколотили себе немало денег.

А через несколько дней в жизни дядюшки Билли произошло более знаменательное событие. Как-то вечером, прогуливаясь по Монтгомери-стрит, он узнал в одном из франтовато одетых прохожих знакомого старателя, года два назад покинувшего лагерь «Кедры». Впрочем, детская радость дядюшки Билли, проявленная им при этой встрече, которая, как ему показалось, должна была частично восполнить разлуку с дядюшкой Джимом, натолкнулась на довольно прохладное и даже несколько ироническое отношение со стороны бывшего старателя. Взволнованный встречей, дядюшка Билли на радостях признался ему, что разыскивает своего прежнего компаньона Джима Фостера. Умолчав о собственных успехах, он принялся с воодушевлением расписывать блестящие перспективы, открывшиеся перед его приятелем, и посетовал на то, что ему никак не удастся его разыскать, потому что Джим, как на грех, отбыл куда-то по важному делу.

— Ну, он уже воротился, сдается мне, — сухо заметил его собеседник. — Я не слыхал, что у него есть почтовый ящик на почтамте, но могу дать тебе другой адрес. Он живет в Пресидио — в районе залива, который здесь называют «Прачкиной бухтой». — Он умолк и насмешливо

покоился на дядюшку Билли, но тот, зная пристрастие всех калифорнийских лагерей к необычным названиям, не усмотрел в этом ничего странного и только повторил адрес, стараясь его запомнить.

— Там уж ты его разыщешь. Ну, до скорого! Жаль, что я спешу,— сказал бывший старатель и бодро зашагал прочь.

Дядюшка Билли был слишком обрадован предстоящей встречей с дядюшкой Джимом, чтобы обратить внимание на пренебрежительную торопливость своего знакомого или задуматься над тем, почему дядюшка Джим не оповестил его о своем возвращении. Он уже не раз замечал, какая пропасть отделяет его здесь от всех прочих людей, и от этого его еще сильнее тянуло к старому приятелю и еще больше хотелось осуществить свою мечту — поразить дядюшку Джима, выложив перед ним чек. Но поскольку теперь ему предстояло поражать его не у себя в отеле, а у него в доме или, быть может, в каком-нибудь фешенебельном пансионе, дядюшка Билли решил, что он должен сделать это с известным шиком.

Он отправился в конюшню, где можно было получить наемный экипаж, и взял напрокат ландо, запряженное парой, с кучером-негром. Облачившись в свой самый лучший и самый мешковатый костюм, он велел кучеру отвезти его в Пресидио и, откинувшись на подушках, поглядывал по сторонам с таким сияющим выражением лица, что прохожие невольно улыбались, глядя на этого простодушного чудака в роскошном экипаже. Для них это было довольно обычное зрелище: какому-то старателю повезло, и он «гуляет». А наивному дядюшке Билли их улыбки казались естественным откликом на его радость, и он весело и невинно улыбался и кивал им в ответ.

— А тут у вас, во Фриско, не такой уж поганый народ, клянусь богом! — пробормотал он вполголоса, поглядывая на спину своего возницы, который тоже ухмылялся во весь рот.

Они проехали по нарядным центральным улицам и добрались до окраины; здесь, казалось, полновластно господствовали дюны, а среди них кое-где торчали полузасыпанные песком изгороди и приземистые домишки, образуя нечто вроде улиц. Неугомонный пассат, оставивший здесь столь явственный след, дул дядюшке Бил-

ли прямо в лицо и слегка остудил его пыл. За поворотом дороги глазам дядюшки Билли открылось море и сбегавшее к нему по склону холма большое кладбище на «Одинокой горе»; белые мраморные обелиски поблескивали на солнце, словно паруса кораблей, ждущих у причала и готовых пуститься в плавание по Океану Вечности. Дядюшку Билли пробрала дрожь. Не приведет бог, чтобы ему пришлось искать дядюшку Джима здесь!

— Вот и ваше Пресидио! — сказал негр, указывая вперед кнутом. — А вот вам и «Прачкина бухта»!

У дядюшки Билли глаза полезли на лоб. В некотором отдалении он увидел массивное прямоугольное каменное сооружение форта с бойницами и развевающимся над ним флагом, притиснутое к скале словно для того, чтобы противостоять вторжению на сушу морской стихии; между фортом и дядюшкой Билли расстиралась далеко врезавшаяся в сушу лагуна с беспорядочно разбросанными по берегу полуразрушенными, кое-как подлатанными хибарками, похожими на остатки кораблекрушения. И больше ничего, ничего сколько-нибудь похожего на особняк, на усадьбу, на улицу, на любой другой вид человеческого жилья!

Однако, оправившись от этой неожиданности, дядюшка Билли почувствовал даже некоторое облегчение. В душе он немного побаивался встречи со своим бывшим компаньоном в каком-нибудь сверхшикарном месте. Каковы бы ни были таинственные причины, побудившие дядюшку Джима избрать такое уединенное местечко, дядюшку Билли это не смущало. Что-то здесь даже слегка напоминало ему их простое, неприязнательное житье-бытье в лагере, который они оба покинули. Какое-то подсознательное чувство — он сам не знал, какое, и не догадываясь, что это была обыкновенная деликатность, — заставило его выйти из экипажа, не доезжая ближайшей лачуги. Попросив своего возницу обождать, дядюшка Билли вошел в эту лачугу, и растрепанная ирландка, стиравшая в лохани белье, тотчас же сообщила ему, что Джим Фостер, или, как она выразилась, «Джим из Арканзаса», живет в четвертой лачуге — «туда подале». Он дома, «потому как покалечил ногу».

Дядюшка Билли поспешил дальше и, остановившись перед другой лачугой, едва ли не такой же убогой, как

их хижина в лагере, осторожно толкнул дверь. Послышалось грубоватое ворчание, какая-то фигура порывисто поднялась со стула, опираясь на палку, метнулась в сторону с явным намерением скрыться куда-нибудь, но тут же с несколько ненатуральным хлопотом плюхнулась обратно на стул, и дядюшка Билли оказался лицом к лицу со своим бывшим компаньоном! Когда же дядюшка Билли бросился вперед, дядюшка Джим поднялся снова и на этот раз протянул ему обе руки. Дядюшка Билли схватил их и, казалось, вложил в это пожатие весь жар своей простой души. После этого они начали трясти друг друга и раскачиваться то вперед, то назад, то вправо, то влево, все еще не размыкая рук, пока дядюшка Билли, глянув на забинтованную лодыжку дядюшки Джима, не усадил его насильно на стул.

Первым заговорил дядюшка Джим.

— Поймал-таки, черт тебя дер! Было б мне помнить, что ты такой же дурак, как я! Слушай, Билли Фолл, ты знаешь, чего ты натворил? Ты прогнал меня с тех улиц, где я каждый день честно зарабатывал себе кусок хлеба на трех перекрестках! Да, да,— продолжал он, беззлочно расхохотавшись,— ты прогнал меня оттуда: днем я уже не мог там работать, потому что боялся как-нибудь попасться тебе, осел ты этакий, на глаза!..— Последовал новый взрыв смеха и удар по плечу, и дядюшка Джим продолжал:—А потом, точно мало было помешать мне работать днем, так тебе еще приспичило развлекаться по ночам, и стоило мне только устроиться на ночную работу, как ты и тут встал у меня поперек дороги! Сказать тебе, что еще ты сделал? Ну слушай, чтоб мне пропасть! Нога-то у меня болит по твоей милости, идиот несчастный, ну и по моей собственной глупости! Ведь это я от тебя спасался как-то ночью возле театра, и меня сшибла коляска.

— Видишь, какая штука,— продолжал он, проявляя такую же наивность, как дядюшка Билли, хотя далеко не такую же чуткость, и не замечая побледневшего лица своего приятеля.— Я морочил тебе голову с этим почтовым ящиком и со всей этой перепиской, потому что хотел скрыть, что у меня на уме. Ведь тебе это могло не понравиться. Ты бы еще, пожалуй, сказал, что я роняю

честь нашей фирмы, вот в чем штука. Я бы и сам не взялся за это дело, да, понимаешь, сел на мель! Ведь я уже ничего не ел вторые сутки, когда писал тебе это обманное письмо и давал номер ящика. Теперь-то уж я могу признаться в этом, старина, теперь-то у меня все в порядке! — добавил он и рассмеялся снова. — Ну, а когда взялся за метлу, конечно, ничего хорошего не ждал, сам думал, что это уж последнее дело, и можешь себе представить, старина... Имей в виду: это я тебе одному, по секрету, я, правду сказать, потому и не писал — хотел все рассказать одному тебе. Так вот, слушай: я на этой своей работе скопил уже девятьсот пятьдесят шесть долларов! Да, брат, девятьсот пятьдесят шесть долларов чистой монетой, и лежат они в банке «Эдемс и компания».

— На какой такой работе? — спросил дядюшка Билли.

Дядюшка Джим указал на большую метлу, стоявшую в углу.

— Вот на этой.

— Ясно, — сказал дядюшка Билли с коротким смешком.

— Работа полезная, на чистом воздухе, — сказал дядюшка Джим серьезно и без тени смущения. — И не такая уж большая разница между подметанием улиц и разгребанием отвалов, но только то, что ты зарабатываешь метлой, ты получаешь денежками прямо в руки, и тебе не надо выуживать их, ползая по мокрым склонам и копаясь в промывочных корытах. И поясницу не так ломит!

— Ясно, ясно, черт побери, — сказал дядюшка Билли с жаром, но как-то рассеянно.

— Рад, что ты так говоришь. Я, понимаешь, поначалу, пока не сколотил деньжат, не был уверен, как ты посмотришь на это дело. А если б мне не удалось как следует подработать, я бы тебе и на глаза не показался, старина! Ни в жизнь!

— Ты меня прости, мне надобно отлучиться на минутку, — сказал дядюшка Билли, вскакивая со стула. — Я, понимаешь, — запинаясь, пробормотал он, — оставил там одного приятеля, он меня дожидается. Так я, пожалуй, сбегаю, отпущу его на все четыре стороны, чтоб мы с тобой могли спокойно поболтать.

— А может, ты ему деньги должен? — обеспокоенно спросил дядюшка Джим. — Может, он тебя преследует за долги? А то ведь я сейчас сяду за стол и в два счета накатаю тебе чек!

— Не нужно, — сказал дядюшка Билли. Он выскочил за дверь и с быстротой оленя помчался к ожидавшему его экипажу. Сунув вознице золотую монету в двадцать долларов, он хрипло прошептал: — Мне пока что эта колымага без надобности. Ты пока что поезжай и подкрепишь немножко, погуляй до вечера, а потом возвращайся сюда и жди меня вон там, на холме.

Отделавшись таким образом от своего роскошного экипажа, дядюшка Билли поспешил обратно к дядюшке Джиму, ощупывая в кармане чек на десять тысяч долларов. Он нервничал, ему было страшно, хотелось как можно скорее освободиться от чека, рассказать всю правду и покончить с этим, но не успел он открыть рот, как дядюшка Джим огорошил его.

— Вот что, Билли, дружище! — молвил дядюшка Джим. — Мне нужно кое-что сказать тебе, и чем скорее, тем лучше, чтобы уж я сразу облегчил душу, и тогда у нас все опять пойдет по-старому. Ну скажи ты на милость, — посмеиваясь, продолжал он, — мало того, что я разыгрывал из себя богача, изображал, будто ворочаю большими делами, и даже нанял этот дурацкий почтовый ящик, чтобы ты не узнал, где я обретаюсь и чем зарабатываю себе на жизнь, мало того, что я ломал всю эту комедию, так еще тебе, осел ты этаким, тоже зачем-то понадобилось валять дурака и пускаться на обман!

— Я валял дурака? Я пускался на обман? — ахнул дядюшка Билли.

Дядюшка Джим откинулся на спинку стула и весело расхохотался.

— Ты, значит, решил, что можешь меня одурачить? Думаешь, я не видел, что ты вытворяешь, думаешь, не знаю, как ты пускал пыль в глаза, изображал, будто живешь в «Ориентале», будто нашел здоровенный самородок, а сам ни разу там и не поспал и не поел, а глотал свою похлебку с булкой в «Добром ночлеге»? Думаешь, я не следил за тобой? Да я давно раскусил все твои дурацкие хитрости, длинноухий ты осел!

И дядюшка Джим снова расхохотался, да так, что на



глазах у него выступили слезы. Дядюшка Билли рас- смеялся тоже, но, почувствовав, как деланно звучит его смех, поспешил замаскировать его носовым платком.

— А между прочим,— сказал дядюшка Джим, пере- ведя дыхание,— я, черт побери, даже струхнул сперво- началу. Как получил здесь твою записку, так подумал: а может, тебе и вправду привалила удача? Ну, тут я сразу решил, что мне надо делать! А потом, конечно, сообразил, что такой простофиля, как ты, никак не может держать язык за зубами, и случись с тобой что-нибудь такое, ты первым делом выложил бы мне все, как есть. Вот я и решил подождать. И поймал тебя с поличным, старый греховодник!— И, наклонившись вперед, дядюш- ка Джим ткнул дядюшку Билли пальцем под ребра.

— Пстой, а что бы ты сделал, говоришь? — спросил дядюшка Билли, когда пришел в себя и подавил нервное хихиканье.

Лицо дядюшки Джима снова стало серьезно.

— Я бы... я бы... я бы сбежал отсюда! Вон из Фри- ско! Вон из Калифорнии! Из Америки! Я бы этого не выдержал! Ты не думай, что я стал бы тебе завидовать. Никто не радовался бы твоему счастью больше меня.— Он наклонился и ласково похлопал своего бывшего ком- паньона по плечу.— Ты не думай, я не из-за денег, мне ни цента не нужно. Но понимаешь, я бы этого не вынес. Чтоб ты, после того, как я оставил тебя там, явился сюда, купаясь в золоте, обзаведясь новыми приятелями, явился ко мне сюда... в эту лачугу... и к этой!...— Повер- нувшись на стуле, он театрально взмахнул рукой, указы- вая в угол, и нелогичность этого жеста, странно проти- воречившего всему, что он до сих пор говорил, не сделала его ни менее выразительным, ни менее трагичным,— и к этой!... метле!

В комнате на мгновение воцарилась мертвая тишина, и дядюшке Билли почудилось, что он перенесся в их старую хижину в лагере «Кедры», что вернулась снова та достопамятная ночь и он снова видит перед собой бледное, исполненное странной решимости лицо своего компаньона. Ему почудилось даже, что он слышит отда- ленное завывание ветра в соснах, хоть это был шум морского прибоя.

Но прошла еще минута, и дядюшка Джим сказал:

— Но ты, надо полагать,— все-таки разжился малость, иначе ты ведь не приехал бы сюда?

— Да, само собой,— с жаром подхватил дядюшка Билли.— Само собой! У меня...— Он запнулся и замолчал.— Я припас... несколько сотен.

— Да?— весело сказал дядюшка Джим. И добавил серьезно:— Слушай-ка! Может, после всех этих твоих дурацких выходов с «Ориенталем» у тебя еще осталось сотен пять?

— Осталось...— сказал дядюшка Билли, слегка краснея от этой первой сознательной и обдуманной лжи.— У меня осталось по меньшей мере пятьсот семьдесят два доллара. Да, да,— добавил он с расстановкой, пристально вглядываясь в лицо своего приятеля.— У меня осталось никак не меньше.

— Чтоб мне пропасть!— расхохотался дядюшка Джим. Потом продолжал:— Слушай, дружище! Так мы же с тобой богачи! У меня девятьсот, прибавим к ним твои пятьсот, и за тысячу двести долларов можно купить небольшое ранчо, которое я тут присмотрел. Теперь понимаешь, для чего я копил эти деньги? Вот какая у меня была задумка! Больше я не ковыряюсь в отвалах, баста! Там, на этом ранчо, около сотни акров земли, домишко, вдвое, пожалуй, побольше нашей с тобой старой хижины, и два мустанга. Найдем себе в помощь двух китайцев и будем жить припеваючи! Ну, что скажешь, а? По рукам?

— Я — за! — радостно отозвался дядюшка Билли, сияя, пожал протянутую ему руку. Однако улыбка тут же померкла, и две морщинки набежали на его чистый, открытый лоб. Но дядюшка Джим ничего не заметил.

— Ну, тогда, друг,— сказал он весело,— мы сегодня тряхнем стариной, проведем вечерок на славу! Я тут припас бутылочку виски и колоду карт, и мы с тобой сразимся, как бывало, ладно? Только теперь уж будем играть не «на мелок»! Нет, сэр, мы теперь будем играть на деньги.

Какая-то мысль внезапно озарила дядюшку Билли, и лицо его снова просветлело, однако он произнес решительно:

— Не сегодня! Мне теперь нужно в город, я, понимаешь ли, пообещал этому приятелю сходить с ним в театр.

Но завтра, как рассветет, я уже буду здесь, и мы обмозгуем это дело насчет ранчо.

— Ты, как я погляжу, шагу не можешь ступить без этого твоего приятеля,— проворчал дядюшка Джим.

При таком проявлении ревности сердце дядюшки Билли возликовало.

— Ничуть не бывало,— сказал он с усмешкой.— Но ты же понимаешь, что я должен, раз обещал?

— Скажи-ка... Может, это не он, а она? — спросил дядюшка Джим.

А дядюшка Билли умудрился с таким дьявольским лукавством подмигнуть своему приятелю, что тут же вполне натурально покраснел от собственной лжи.

— Билли!

— Джим!

И под предлогом предстоящих ему галантных похждений дядюшка Билли удалился. В сгущающихся сумерках он взобрался по сыпучему песчаному откосу на вершину холма. Экипаж уже ждал его.

— Где тут у вас,— заговорщическим шепотом спросил дядюшка Билли у негра,— где тут у вас во Фриско самый большой, самый шикарный игорный дом? Такой, где идет самая крупная игра? Но не притон какой-нибудь, а первоклассный, понимаешь?

Негр осклабился. Обычная история: старатель загужал и швыряет деньги направо и налево. Впрочем, он скорее ожидал, что от него потребуют справки несколько иного сорта.

— Тут у нас есть «Полька», «Эльдорадо» и «Аркадия», хозяин,— сказал он, меланхолично помахивая кнутом.— Джентльмены, которые с приисков, все больше норовят попасть в «Польку», там, понимаете ли, можно к тому же еще потанцевать с девицами. Но уж настоящее место для тех, кто хочет всерьез попытать счастья и сыграть по крупной,— это «Аркадия».

— Гони туда своих одров да поживей! — крикнул дядюшка Билли, прыгая в ландо.

\*

Верный своему слову, дядюшка Билли ни свет ни заря уже стоял перед дверью лачуги дядюшки Джима. Вид у него был немного усталый, но счастливый, и в карма-

не лежал чек на пятьсот семьдесят пять долларов — весь, как он объяснил, его капитал. Дядюшка Джим был вне себя от радости. Значит, они могут хоть сегодня отправиться в Напу и заполучить это самое ранчо. Поврежденная нога дядюшки Джима сама по себе была достаточной причиной, чтобы заставить его бросить нынешнюю работу, и к тому же, передав кому-нибудь свою должность, он мог еще потребовать за это отступного. Сборы его оказались недолги: брать с собой было почти нечего, оставить можно было почти все. И в тот же вечер на закате старые компаньоны, возобновив свой союз, сидели на палубе парохода, спускавшегося вниз по течению к Напе.

Дядюшка Билли, облокотясь о поручни, рассеянно и умиротворенно созерцал раскинувшийся по берегу залива город на грех холмах, Золотые Ворота и солнце, тонущее в океане расплавленного золота. О чем были думы дядюшки Билли, что приводила ему на память эта картина, осталось от нас скрытым, ибо в эту минуту дядюшка Джим, расположившийся на палубе с вечерней газетой и наслаждавшийся отдыхом, вдруг протяжно свистнул и тронул за рукав своего задумавшегося приятеля.

— Гляди-ка! — сказал он, тыча пальцем в газетную заметку, которую, видимо, только что прочел. — Ты только послушай, что тут пишут, сразу поймешь, до чего нам с тобой повезло, потому что мы надеемся лишь на свои мозолистые руки и не похожи на тех, кто гонится за удачей и вечно ловит счастье за хвост. Ну-ка, Билли, прочисти уши, послушай, что я тут сейчас вычитал в этой газете, тогда поймешь, какие еще есть на свете идиоты! А ведь писака-то, похоже, видел это собственными глазами!

И дядюшка Джим откашлялся и, держа газету возле самого носа, принялся медленно читать вслух:

«Вчера вечером игорный зал «Аркадия» напоминал бурные дни сорок девятого года и золотой лихорадки. Какой-то неизвестный, по-видимому, один из последних представителей той бесшабашной эпохи, иначе говоря, загулявший старатель, которому повезло, появился возле игорного стола в сопровождении кучера-негра, тащившего две увесистых сумки с золотом. Избрав сферой своей деятельности «фараон», незнакомец с подчеркнутой не-

брежностью принялся делать крупные ставки, и вскоре все присутствующие, затаив дыхание, следили за его игрой. Буквально за несколько минут его выигрыш вырос примерно до восьмидесяти тысяч долларов, а может быть, и до ста. По залу пронесся шепот, что это уже не просто пьяная прихоть загулявшего старателя с Запада, одуревшего от свалившегося на него богатства, а сознательная попытка сорвать банк. В этом мнении многих укрепляло беззаботное поведение игрока и его необычайное равнодушие к столь баснословной удаче. Но если такая попытка и в самом деле имела место, то она потерпела фиаско. После десяти крупных выигрышей кряду фортуна повернулась к игроку спиной, и зарвавшийся игрок оставил на столе не только весь свой выигрыш, но и свою первоначальную ставку, равную примерно двадцати тысячам долларов. Эта небывалая игра собрала целую толпу зевак, потрясенных даже не столько величиной ставок, сколько поразительным хладнокровием и беспечностью игрока, который, как говорят, когда все было кончено, бросил банкometу двадцатидолларовую монету и удалился, весело насвистывая. Кто был этот человек, неизвестно, никто из завсегдатаев игорного дома не мог его опознать, так же как и кру... крупье».

— Слышал? — проговорил дядюшка Джим, с грехом пополам перескочив через французское словечко и закончив чтение.— Ну, скажи, видел ты когда-нибудь такого пслоумндго идиота, прости господи?

Дядюшка Билли оторвал взгляд от золотого диска, уже погружавшегося в поток расплавленного золота, и ответил с виноватой улыбкой:

— Никогда!

И даже в дни величайшего процветания и благоденствия ранчо «Высокая пшеница» Фолла и Фостера он так и не открыл тайны своему компаньону.

## КО СИ

Сомневаюсь, чтобы такое имя дали ему родители, да и не уверен, имя ли это вообще; нам всем казалось, что это просто-напросто кличка, намек на разрез его глаз, приподнятых к вискам, как у всех представителей монгольской расы — «коси»! С другой стороны, я слышал, что у китайцев есть древний обычай писать вместо вывесок на дверях своих лавок какую-нибудь пословицу, девиз, а то и целое изречение Конфуция, что-нибудь вроде: «Добродетель — сама по себе воздаяние» или: «Богатство — самообман»; по-китайски это пишется в два-три слога, и калифорнийский старатель по простоте душевной легко может принять надпись за имя хозяина. Как бы то ни было, Ко Си отзывался на эту кличку с терпеливой улыбкой, свойственной всем его соплеменникам, и никто не звал его иначе. Если же его и величали «Бригадным генералом», «Судьей» или «Командором», то всякий понимал, что это не более как иронические прозвища, которыми любят награждать друг друга американцы, и употребляли их не иначе, как в дружеском разговоре. Внешне он ничем не отличался от любого китайца: ходил в такой же синей хлопчатобумажной куртке и белых штанах, как и прочие китайские кули, и при всей свежести и чистоте одежды от него всегда отдавало тем особым аптечным запахом опиума и имбиря, про который у нас говорят: «Отдает китайцем».

В мою первую же встречу с ним проявилась характерная черта его натуры — терпеливость. Вот уже не-

сколько месяцев он стирал мое белье, а я еще ни разу не видал его в лицо. Но в конце концов встреча стала неизбежной: было очевидно, что он считает пуговицы какими-то излишними наростами на белье, которые следует удалять вместе с грязью, и пора было дать ему некоторые разъяснения на этот счет. Я ожидал, что он придет ко мне домой, но он почему-то не приходил.

Однажды случилось так, что я раньше времени вернулся с полуденного перерыва в местную школу, где я преподавал. Несколько младших учеников, слонявшихся по школьному двору, завидев меня, с такой стремительностью бросились наутек, что я невольно подумал, не напроказили ли они чего, однако тотчас забыл об этом. Пройдя через пустой класс, я уселся за стол и начал готовиться к следующему уроку, как вдруг послышался чей-то слабый вздох. Подняв глаза, я с величайшим удивлением увидел перед собой китайца, которого не заметил, когда вошел; он сидел неестественно прямо на скамье, спиной к окну. Поймав мой взгляд, он печально улыбнулся, но не двинулся с места.

— Что вы тут делаете? — спросил я сурово.

— Моя стилай лубашка. Моя хочет говоли пло пуговиса.

— А, так вы и есть Ко Си?

— Я самая, Джон.

— Ну идите сюда.

Я снова занялся своими делами, но он не пошевелился.

— Идите же сюда, черт побери! Вы что, не понимаете?

— Иди суда моя понимайла. Моя не понимайла меликанский мальчишка, котолый меня поймай. Твоя иди суда, твоя понимайла?

Мне стало досадно, но, полагая, что этот несчастный все еще побаивается озорников, которых я, очевидно, спугнул в разгаре забавы, я положил перо и подошел к нему. Каково же было мое удивление и раскаяние, когда я обнаружил, что длинная коса китайца крепко зажата оконной рамой! Сорванцы удочкой выловили косу со двора, а затем захлопнули раму. Я извинился, открыл окно и освободил его. Он не жаловался, хотя, ве-

роятно, довольно долго просидел в очень неудобной позе, и сразу заговорил о деле, по которому явился.

— Почему вы не пришли ко мне домой? — спросил я.

Он усмехнулся печально и мудро.

— Миссел Балли (мистер Барри, мой квартироко-  
зяин) долсна мне пять доллал за стилай-стилай. Он  
моя не плати. Он говори, он вытяхнет из меня душа, ко-  
гда моя плиходи и плоси плати-плати. Моя не плиходи  
домой, моя плиходи скола. Понимайла? Меликанский  
мальчишка плохой, но не такой сильно плохой, как боль-  
шой меликанса. Мальчишка не может так сильно обижай  
китайса.

Увы, я знал, что все это правда. Мистер Джеймс Бар-  
ри был ирландец, и его возвышенной религиозной душе  
претила мысль платить нехристю за работу. У меня язык  
не повернулся выговаривать Ко Си за пуговицы. Более  
того, я пустился на все лады расхваливать белизну и  
лоск выстиранных им рубашек и чуть ли не смиренно про-  
сил его снова прийти за моим бельем. Вернувшись домой,  
я попробовал поговорить с мистером Барри, но не доби-  
лся от него ничего, а только укрепил в нем уверенность,  
что «я» один из тех отъявленных республиканцев,  
которым все бы только лизаться с цветными». Словом,  
я нажил в лице мистера Барри врага  
и в то же время, сам того не подозревая, обрел друга  
в Ко Си.

Я сообразил это лишь несколько дней спустя, когда  
на моем столе появился горшочек с цветущей японской  
камелией. Я знал, что подобные подарки исподтишка мне  
делали мои ученики. Но что они могли принести? Букет  
полевых цветов или роз, срезанных в родительском са-  
ду, а уж никак не диковинное заморское растение, кото-  
рое было большой редкостью в наших краях. Я тут же  
вспомнил, что как все китайцы, Ко Си очень любил цветы  
и в соседнем городе у него был друг, тоже китаец, имев-  
ший большую оранжерею. Мои сомнения рассеялись окон-  
чательно, когда я заметил трубочку из красной рисовой  
бумаги, привязанную к стеблю цветка — счет за стирку.  
Разумеется, только Ко Си мог додуматься до такой не-  
суразности — совместить деловые отношения с деликат-  
ным изъяснением признательности. Самый красивый цве-  
ток был верхний. Я сорвал его, чтобы вдеть в петличку,



и с удивлением обнаружил, что он прикручен к стеблю проволокой. Это побудило меня осмотреть остальные цветки, и они тоже оказались на проволоке! Больше того, они показались мне не такими красивыми и куда больше обычной камелии пахли мокрой землей. Присмотревшись внимательнее, я увидел, что за исключением первого, сорванного мною цветка, все остальные искусно сделаны из тончайших ломтиков картофеля, с изумительным правдоподобием воспроизводивших естественную восковость и форму настоящей камелии. Это была великолепная работа, и оставалось лишь поражаться тому, сколько безмерного, прямо-таки трогательного терпения может вложить человек в совершенно напрасный труд. Однако и это было в духе Ко Си. Я не понимал лишь одного: хотел ли он меня обмануть или просто удивить своим искусством? Во всяком случае, я не мог судить его слишком строго уже хотя бы потому, что он стал жертвой проказ моих учеников, и поэтому просто послал ему записку с изъявлением сердечной благодарности, ни словом не обмолвившись о своих открытиях.

За время нашего знакомства я получал от него и другие небольшие подарки: то банку консервов совершенно неопишемого свойства, каких нельзя достать ни в одной лавке, до того мудреных и противоестественно пряных, что их с одинаковым успехом можно было бы назвать и мясными, и растительными, и вообще неорганическими; то безобразных китайских болванчиков — «на счастье»; то дьявольское пиротехническое устройство, действовавшее как-то судорожно, через неправильные промежутки времени, иногда вплоть до следующего утра. Со своей стороны, я давал ему уроки английского произношения, от которых, признаться, не ждал толку, а также заставлял его переписывать отдельные предложения — это он делал великолепно. Помню, как однажды его удивительная способность к имитации привела к плачевному результату. Готовя для него пропись, я нечаянно посадил кляксу на какое-то слово, тщательно соскоблил ее и по тому же месту четко вывел недостающие буквы. Каково же было мое изумление, когда Ко Си с торжеством преподнес мне свое домашнее задание, в котором эта оплошка была старательно воспроизведена и исправлена куда изящнее, чем у меня!

Наши отношения, какими бы доверительными они ни были, никогда не перерастали в настоящую дружбу. Его симпатия и простодушие, подобно его цветам, были всего-навсего добросовестной подделкой — в данном случае подделкой под мое доброе к нему отношение. Я уверен, что и его на редкость безучастный смех не имел ничего общего с веселостью, хотя я не назвал бы его натянутым. Мне казалось, что своим безупречным подражанием он как бы старается уклониться от какой бы то ни было ответственности: за все пусть отвечает учитель! Когда я заговаривал с ним о новейших изобретениях, он встречал это с несколько снисходительным вниманием, как бы взирая на них с высоты трех тысяч лет китайской истории.

— А правда, чудесная штука этот электрический телеграф? — спросил я его однажды.

— Осень холосо для меликанса, — отвечал он со своим обычным безучастным смехом. — Много-много заставляй скакай.

Не могу сказать, спутал ли он телеграф с гальваническим током или просто подсмеивался над спешкой и суматохой американской жизни. Он был одинаково способен на то и на другое. Что до телеграфа, то всем нам было известно, что у китайцев у самих существует какой-то способ быстро и тайно сноситься между собой. Всякая новость, которая могла пагубно или благоприятно сказаться на их делах, распространялась между ними задолго до того, как доходила до нас. Обыкновенная корзина с бельем, присланная из прачечной, которая находилась у реки, могла таить в себе ворох новостей, а клочок рисовой бумаги, сиротливо валявшийся в дорожной пыли, оказывал такое действие, что целая артель бродячих китайских рабочих обходила наш поселок стороной.

Когда Ко Си не подвергался гонениям со стороны грубых и невежественных обывателей, он все же оставался предметом шуток и насмешек для остальных, и я не помню случая, чтобы о нем говорили всерьез. Все находили забавными даже те невинные плутни и мошеннические проделки, которыми он мстил за нанесенные ему обиды, и с величайшим удовольствием рассказывали о том, как он надушает сборщика, взимающего налоги с золотоискателей-иностранцев. Это было притеснение, главным об-

разом против китайцев, которые смиренно «выжимали остатки» из выработанных участков, брошенных их христианскими собратьями по промыслу. Утверждали, будто Ко Си, прекрасно понимая, как трудно нам распознавать китайцев по именам, сообразил также, что если китаец сделает и без того непроницаемое выражение своего лица еще более бесстрастным, опознать его будет совсем трудно. Поэтому, уплатив налог, он тотчас передавал квитанцию своим товарищам, и куда бы ни сунулся сборщик налогов, его повсюду преследовала все та же квитанция и равнодушная ухмылка мнимого Ко Си. И хотя всем было известно, что у нас в поселке работает добрый десяток китайцев, если не больше, сборщику никак не удавалось собрать налог более чем с двоих — Ко Си и Но Си, которые были до того похожи друг на друга, что злощастный чиновник долго пребывал в приятном заблуждении, будто заставил Ко Си заплатить *дважды*, а потому имеет полное право утаить от казны половину сбора!

Эта проделка снискала Ко Си симпатии всего поселка — вероятно, потому, что калифорнийцы большие охотники до шуток и к тому же убеждены, что, «надувая правительство, надуваешь лишь самого себя». Однако не всегда эти симпатии были единодушны.

Как-то вечером я зашел в распивочную нашего лучшего салуна, который в то же время считался и лучшим домом в поселке уже потому, что тут была кое-какая обстановка и уют. Только что начались дожди, но все окна были распахнуты настежь: юго-западный пассат приносил прохладу даже в наш далекий горный поселок. Тем не менее в большой печке посреди комнаты был разведен огонь, и все посетители сидели возле нее, задрав ноги на железную решетку, окружавшую печь. Пар так и валил от мокрых сапог. Людей привлекало не само тепло, а возможность посидеть и поболтать у огня, в том таинственном кружке света, который так льстит стадному инстинкту человека. Однако компания, в которую я попал, была отнюдь не из веселых и по большей части хранила молчание, лишь изредка нарушаемое вздохом, позывыванием, пущенным сквозь зубы ругательством или просто беспо-

койным поерзыванием на месте. Между тем ни положение в поселке, ни состояние личных дел каждого из присутствующих не давали оснований для такого уныния. Как ни странно, объяснялось оно тем, что эти люди все как один страдали несварением желудка.

Казалось бы, откуда взяться такой напасти здесь, если учесть здоровый образ жизни — постоянное пребывание под открытым небом, физический труд, целебный горный воздух, простоту пищи и полное отсутствие каких бы то ни было изнуряющих развлечений, и, однако, факт остается фактом. Была ли тут виною нервная, впечатлительная натура, которая свела этих людей в лихорадочной погоне за золотом, или мясные консервы и полусырая пища, которую они наспех глотали, жалея время на то, чтобы как следует приготовить и прожевать ее, а быть может, они слишком часто заменяли еду виски и табаком, — странное физиологическое явление было налицо: все эти удалые искатели приключений, молодцы как на подбор, живя здоровой жизнью первобытных людей и проявляя все признаки свежести и силы, страдали желудком гораздо серьезнее, чем изнеженные городские жители. В поселке тратили на всякие «патентованные средства», «панацеи», микстуры, пилюли и таблетки едва ли не больше денег, чем на ту еду, вредное действие которой они были призваны устранять. Мученики желудка жадно набрасывались на всякие объявления и рекламы; каждый раз, когда появлялись какие-нибудь новые «специфические средства», их брали нарасхват, и на некоторое время все разговоры неминуемо сводились к обсуждению их достоинств. Детская вера во всякое новое лекарство занимала отнюдь не последнее место среди прочих трогательно-жалких черт этих взрослых, бородатых людей.

— Так вот, братишки, — молвил Сайрус Паркер, обведя взглядом своих товарищей по несчастью, — можете говорить что угодно об этих ваших патентованных снадобьях, я их все перепробовал, но вот только на днях попал на одну такую штуку, что уж теперь от нее не отступлюсь, будьте покойны!

Все глаза ургюмо обратились на говорившего, но никто не сказал ни слова.

— Да, и дошел я до этой самой штуки без всяких там объявлений и рекламы, а своей собственной головой, просто поразмыслил как следует,— продолжал Паркер.

— Что ж это за штука, Сай? — спросил один из недужных, бесхитростный и неопытный юнец.

Вместо ответа Паркер, как опытный актер, знающий, что его внимательно слушают, бросил в публику риторический вопрос:

— Слыхали ль вы, чтобы у китайца было несварение желудка?

— Твоя правда, не слышали! — хором отозвались все, явно пораженные этим фактом.

— Ну еще бы, — торжествующе подхватил Паркер. — Потому и не слышали, что у китайцев этого просто не бывает. Так вот, братишки, мне и показалось, что дело тут нечисто. Что ж это такое, думаю, неужто эти желтолицые нехристи устроены лучше нашего брата и не принимают той муки, которая выпадает на нашу христианскую долю? А тут как-то раз после обеда лежу я это пластом на берегу, ерзаю пузом по траве да рву ее изо всех сил, чтоб только не завывать в голос и вдруг мимо меня проходит — как вы думаете, кто? — этот скаженный Ко Си, да еще ухмыляется во всю морду! «Меликанса, покушай и много-много моли бога, — лопочет. — Китайса нюхай тлут, китайса нисиво». Дескать, он, слизняк, понимает это так, будто я молюсь. Уж как мне хотелось встать да запустить в него камнем, братцы, только силушки моей не было. И вот тут-то меня и осенило.

— Ну-ну? — восторженно все.

— На другой день прихожу я к нему в прачечную, он там один. Мне уж совсем худо стало, и вот беру я его за косицу и говорю: коли ты не скажешь мне сейчас, в чем дело, я тебе эту самую косу в глотку затолкаю. Тут он берет кусок трута, зажигает и сует мне под нос. И, вот чтоб мне пусто было, братцы, не прошло и минуты, а мне уже лучше, а потом нюхнул еще раза два — и совсем отлегло.

— А очень крепко в нос шибануло, Сай? — опять спросил наивный юнец.

— Нет, — отвечал Паркер, — не то чтобы крепко, а дух какой-то томительный, пряный, как бывает в жаркую ночь. Только статочное ли дело — показаться на люди

с куском зажженного трута в руках, точно собираешься пустить фейерверк в честь Дня независимости? Ну, я и попросил у него чего-нибудь в другом виде, чтобы с руки да прямо в рот, когда станет немого. Ну и, дескать, я заплачу все равно как за настоящее лекарство. Вот он мне и дал.

Паркер сунул руку в карман и достал красный бумажный пакетик, в котором оказался какой-то розовый порошок. Среди сосредоточенного молчания пакетик пошел по рукам.

— Вкус и запах вроде как у имбиря, — сказал один.

— Имбирь и есть, — презрительно отозвался другой.

— Может, имбирь, а может, и не имбирь, — невозмутимо заметил Паркер. — Может, это просто моя фантазия. Но раз эта штука может внушить мне такую фантазию, от которой мне легче, меня это устраивает. Я купил себе этой фантазии, или этого имбиря, почти на два доллара, и теперь уже не отступаюсь. Вот так-то! — И он бережно спрятал пакетик в карман.

Тут посыпались колкости и насмешки. Уж если ему, Саю Паркеру, белому американцу, «ронять свое достоинство» и слушаться китайского знахаря, так лучше сразу закупить себе китайских идолов и расставить их вокруг своего дома. Если он настолько доверился этому Ко Си, не лучше ли ему и рыться вместе с ним в пустых отвалах, а тот бы и окуривал его тем часом? А может, он вовсе и не трут нюхал, а потягивал опиум из трубки? Пусть уж честно скажет об этом! Тем не менее всем очень хотелось взглянуть еще разок, что это там насыпано у него в пакетике, но Сай Паркер отказался снова показывать порошок, сколько его ни просили и ни уговаривали.

Несколько дней спустя я столкнулся с одним из участников этого разговора, Эбом Уинфордом, в тот самый миг, когда он выходил из прачечной Ко Си. Он не захотел остановиться и поговорить со мной, пробормотал что-то насчет проклятой привычки Ко Си задерживать белье в стирке и поспешно ушел. На другой день я встретил там же еще одного старателя — теперь уже в самой прачечной; этот, напротив, долго болтал о каких-то пустяках, и я ушел, оставив его наедине с Ко Си. Потом мне случилось зайти к Джеку-Кочерге из Шасты. В его

доме подозрительно пахло ладаном, но он приписал этот запах чрезвычайно смолистым дровам, которыми топил печь. Я не пытался разгадать эти загадки и ни о чем не расспрашивал Ко Си, я уважал его умение хранить тайну и не хотел, чтобы он мне лгал. Довольно и того, что у него много клиентов и его дела явно идут в гору.

Примерно месяц спустя к нам в поселок приехал доктор Дюшен. Он накладывал шины одному больному и после операции зашел в салун «Пальметто». Это был старый военный врач, его любили и уважали во всей округе, хотя, пожалуй, и немного побаивались за грубоватую прямоу и солдатскую меткость его речи. Как только он с обычной своей сердечностью поздоровался со старателями и принял приглашение выпить с ними, Сай Паркер приступил к нему и с притворной небрежностью, которая, впрочем, плохо прикрывала какую-то несвойственную ему робость, начал такой разговор:

— Я вот хотел задать вам один вопрос, доктор... Чертовски глупый, небось, вопрос.... Так, знаете, не в смысле совета, но, в общем, по вашей части, понимаете?

— Валяй, Сай,— благодушно ответил доктор.— Мне сейчас в самый раз давать даровые консультации.

— Да нет, я не про то, доктор, не про эти самые... симптомы, у меня сейчас ничего такого и нет. Я хотел только спросить, вы случайно ничего не слыхали про китайские снадобья?

— Не слыхал,— коротко и прямо отвечал доктор.— Ни сам, ни от других.

В салуне вдруг воцарилась тишина, а доктор поставил рюмку и с профессиональной лаконичностью продолжал:

— Видите ли, китайцы ничего не знают о строении человеческого тела из непосредственных наблюдений. Вскрытие трупов и анатомирование противоречат их религиозным представлениям, согласно которым человеческое тело священно, а потому никогда и не практикуются.

Все оживились, почувствовав любопытство. Сай Паркер многозначительно переглянулся со своими товарищами и, словно оправдываясь и в то же время возражая, продолжал:

— Ясное дело, они не настоящие врачи, вроде вас, доктор, но и у них есть кое-какие свои лекарства, и они ими лечатся... Вот как, например, у тех древних бабок, что ходят по домам и лечат всякими там корешками и водицей с родника. Неужели вы, человек ученый, считаете, что раз такая вот бабка ничего не смыслит в анатомии, то и не может помочь нам каким-нибудь простым, натуральным лекарством?

— Да ведь китайские-то лекарства вовсе не простые и не натуральные, — невозмутимо отвечал доктор.

— Не простые? — отозвалась вся компания в один голос, обступая его со всех сторон.

— Не скажу, что они безусловно вредны для здоровья, если только не принимать их в больших дозах, — продолжал доктор, обведя удивленным взглядом окружившие его взволнованные, нетерпеливые лица. — Ведь они не имеют ничего общего с медикаментами, но уж простыми их никак не назовешь. Вам известно, из чего они в основном состоят?

— Пожалуй, что нет, — осторожно отвечал Паркер, — не совсем, то есть...

— Ну так подойдите поближе, я вам скажу.

Паркер и все его приятели тесно сгрудились у стойки. Доктор Дюшен прошептал несколько слов очень тихо, чтобы не слышали остальные посетители салуна. Наступило гробовое молчание, затем Эб Уинфорд произнес:

— Налей-ка мне полстакана виски, хозяин, разбавлять не надо, выпью так.

— И нам тоже! — подхватили другие.

Они выпили единым духом. Двое тихо вышли. Доктор Дюшен отер губы, застегнул пальто и начал натягивать перчатки.

— Слыхал я, — проговорил Джек-Кочерга с жалкой улыбкой на побледневшем лице, встряхивая последние капли виски на дне стакана, — слыхал я, эти треклятые дураки вместо лекарства иногда нюхают жженный трут. Это правда?

— Ну, это еще сравнительно безобидное средство, — задумчиво сказал доктор. — Всего-навсего деревянные опилки, смешанные со смолой и муравьиной кислотой.





«ПОЦЕЛУЙ САЛОМЕИ ДЖЕЙН»



«НАВОДНЕНИЕ «У ДЖУЛСА»

— Муравьиной? Это еще что за кислота такая?

— А это такая особая жидкость, которую выделяют муравьи. Полагают, что они выбрасывают из себя эту жидкость в целях самозащиты... Ну вот как вонючка, знаете?

Джек-Кочерга вдруг заявил, что ему нужно переговорить с кем-то из проходивших мимо, и очертя голову бросился вон. Доктор вышел из салуна, сел на лошадь и уехал, но я успел подметить улыбку, мелькнувшую на его загорелом, невозмутимо-спокойном лице, и это навело меня на мысль, что он догадывался о цели расспросов и о том, какое впечатление произвели его ответы. В моем предположении меня утвердило то, что разговора на эту тему больше не заводили; инцидент был исчерпан, и никто из пострадавших не пытался отомстить Ко Си. Что они все как один, тайком друг от друга, обращались к китайцу — в этом не было ни малейшего сомнения; но, по-видимому, они не были уверены в том, что доктор Дюшен не разыграл их, рассказывая о составе китайских лекарств, и потому не решались что-либо предпринимать против несчастного китайца, понимая, что тогда тайна выйдет наружу и товарищи неминуемо поднимут их на смех. Дело замяли, и хозяином положения остался Ко Си.

А он тем временем процветал. Набранная им артель китайских рабочих была постоянно занята или стиркой, или «выжиманием остатков», иначе говоря, промывкой отвалов выработанной породы на участках, заброшенных разбогатевшими золотоискателями. Так как затраты на производство были при этом никак не больше, чем при битье щебенки или сборе тряпья, а содержание китайских рабочих обходилось до смешного дешево, то было очевидно, что Ко Си неплохо зарабатывает. Но поскольку всю свою выручку он, как это принято у китайцев, отправлял в Сан-Франциско не через почтовое агентство, а через китайских посредников, узнать, как велики его барыши, не было никакой возможности. А здесь ни он сам, ни его сородичи денег не тратили. Надо сказать, в более суровые времена, особенно где-нибудь в глуши, банды головорезов нередко нападали на лачуги китайцев или их странствующие артели, но денег у них никогда не находили.

Однако вскоре обстоятельства изменились.

Однажды в субботний день Ко Си явился в контору почтового агентства «Уэллс, Фарго и К<sup>о</sup>» с мешочком золотого песка, который после надлежащего взвешивания был оценен в пятьсот долларов. Посылка была адресована одной китайской фирме в Сан-Франциско. Вручая Ко Си квитанцию, кассир как бы невзначай заметил:

— Стирка-то, видать, дело прибыльное, Ко Си?

— Стилка — дело осень плибыльна. Твоя хосет стилай-стилай, Джон? — с готовностью отозвался Ко Си.

— Нет, нет, — рассмеялся кассир. — Я только подумал, сколько же это рубашек надо отмыть от грязи, чтобы собрать пятьсот долларов!

— Вовсе никакой отмывай лубашка! Отмывай отвал, добывай золотой песка. Понимайла?

Кассир «понимайла» и только удивленно вскинул брови. В следующую субботу Ко Си опять явился к нему с мешочком, который послал в адрес той же самой фирмы; золота было долларов на четыреста.

— Что, на этой неделе не так богато? — сочувственно заметил кассир.

— Не так, — безучастно отвечал Ко Си. — Другой лаз больше.

Когда опять настала суббота, Ко Си принес золотого песка на четыреста пятьдесят долларов, и тут уж кассир не счел себя обязанным долее хранить тайну. Он рассказал все приятелям, и не прошло и суток, как весь поселок знал, что Ко Си со своею артелью каждую неделю намывает в среднем на четыреста долларов золота из отвалов заброшенного участка, некогда принадлежавшего хозяевам салуна «Пальметто».

Изумлению старателей не было границ. Еще недавно зависть и негодование по поводу удачи, привалившей каким-то нехристям, могли отлиться в очень действенную, агрессивную форму, и Ко Си с его компаньонами дорого поплатился бы за успех. Однако с некоторых пор дела в поселке шли как нельзя лучше и законы соблюдались. Более того, в наших краях уже начали оседать переселенцы из восточных штатов и появился кое-какой иностранный капитал, так что завистникам пришлось довольствоваться лишь строгим расследова-

нием и всяческим крючкотворством. К счастью для Ко Си, на приисках издавна существовал закон: всяким заброшенным участком владеет тот, кто возобновил на нем работы. Но тут прошел слух, будто Ко Си разрабатывает не старые отвалы, а целое месторождение, золотонесную жилу, которую проморгали прежние владельцы участка и на которую он случайно напал. На всякое новое месторождение полагается делать заявку, закрепляя его за собой в законном порядке, а так как по своей скрытности он этого не сделал, то, стало быть, и лишился всех прав собственности. Однако надзор за работой китайской артели не подтвердил этих предположений. Золото, которое Ко Си посылал в Сан-Франциско, было как раз такое, какое обычно намыывают в отвалах, только количество его было непомерно велико.

— Ну и работники были у хозяев «Пальметто», — говорил Сай Паркер, хорошо помнивший их безоглядную расточительность в дни «большой удачи». — Видать, как напали тогда на главную жилу, так только на ней и сидели, — немало золотишка в земле потеряли. Мы-то думали, не дело это для белого человека — рыться в чужих отбросах, а то бы все наше было, чем теперь поживились эти китаезы. Да, братишки, заважничали мы малость, скажу я вам, впредь бы надо попроще.

Когда ажиотаж дошел до крайних пределов и все убедились, что ни запугиванием, ни шпионством тут не возьмешь, в ход пошла дипломатия. Группа старателей заявила о своем желании купить у Ко Си участок и под этим предлогом отрядила из своей среды делегацию для его осмотра. Посланные увидели огромную насыпь из песка и камней — отвалы пустой породы, в которой копались Ко Си и пять-шесть китайцев, механически выполнявших свою работу. Часа через два посланные вернулись в салун вне себя от волнения. Они говорили шепотом, но кое-что можно было расслышать, и сказанного оказалось достаточно, чтобы увериться в том, что отвалы, которыми владеет Ко Си, сказочно богаты золотом. Посланные своими глазами видели, как за неполных два часа китайцы намыли из песка и гравия на двадцать долларов золота, причем промывка велась самым бессмысленным и грубым способом, но

со свойственным китайцам терпением. Каких дел тут можно было бы наворочать с машинами да с умом! Тотчас составилась синдикат. Ко Си предложили двадцать тысяч долларов с тем, чтобы он ликвидировал дело и в течение суток передал участок во владение синдиката. Китаец выслушал предложение без особого восторга, но медлил с ответом, и тогда ему намекнули, о чем я с величайшим прискорбием вынужден сказать, что, если он не уступит, ему, возможно, придется вести хлопотную и разорительную тяжбу, чтобы доказать свое право на участок, а по обе стороны от его отвалов обоснуются для «разведки» артели старателей. В конце концов Ко Си согласился, но при этом оговорил, чтобы вся сумма была выплачена золотом одному китайскому агенту в Сан-Франциско в тот самый день, когда участок перейдет в руки синдиката. Против этой обычной для китайцев меры предосторожности никто не возражал. Общеизвестно, что китаец не повезет при себе денег, а заключенное в этой просьбе оскорбительное недоверие к сообществу предпочли попросту не заметить.

В тот день, когда участок перешел к синдикату, Ко Си покинул поселок. Перед отъездом он зашел ко мне проститься. Я поздравил его с удачей, а про себя терзался стыдом, что его бесчестно вынудили продать участок гораздо ниже его настоящей цены.

Теперь я думаю иначе.

Когда прошла неделя, было объявлено, что новое товарищество намыло золота без малого на триста долларов. Это было меньше того, на что рассчитывали, но синдикат, по-видимому, остался доволен и установил на участке новые машины. В конце второй недели синдикат умолчал о своих барышах, а один из пайщиков срочно уехал в Сан-Франциско. Как передавали, он не мог там разыскать ни Ко Си, ни того агента, которому вручены были деньги. Тогда только хвятились, что у нас в поселке не осталось ни одного китайца. И тут роковая тайна раскрылась.

По всей вероятности, Ко Си и его товарищи, разрабатывая отвалы, никогда не намывали золота больше чем на двадцать долларов в неделю — обычная выручка таких артелей; и ему пришла в голову блестящая

мысль «взбодрить» свое предприятие. Он занял у своего соотечественника в Сан-Франциско на пятьсот долларов золотого песка и открыто отсылал его своему общнику и кредитору через почтовое агентство, а тот тайно переправлял золото обратно через посыльных-китайцев. Так мешочек с золотом гулял между должником и займодавцем, в назидание служащим агентства, возбуждая роковое любопытство у всех остальных. Как только синдикат попался на удочку и самозванная делегация вот-вот должна была явиться на участок, Ко Си так щедро подсыпал в отвалы золотого песка, что он казался их естественной составной частью.

Мне остается лишь пожелать Ко Си всяческого благополучия и заключить свои воспоминания об этом не оцененном по достоинству человеку отзывом одного видного юриста из Сан-Франциско, который ознакомился с обстоятельствами дела. Он писал:

«Это мошенничество обставлено так ловко, что едва ли Ко Си можно преследовать в обычном судебном порядке, поскольку нет прямых доказательств, что он подсыпал золото в отвалы, и он никому не заявлял, что золотой песок, который он отсылает, составляет среднюю добычу из отвалов; вина за такой ложный вывод полностью лежит на делегации старателей, которые под обманном предлогом обследовали участок и, прибегнув к запугиванию, вынудили владельца продать его».

## ПОЦЕЛУЙ САЛОМЕИ ДЖЕЙН

Прогредел только один выстрел. Он не попал в цель — в главаря отряда комитета бдительности, — и стрелявший, Рыжий Пит, уже взятый на мушку, оказался в их власти. После бешеной скачки рука его была нетверда, а внезапность налета, ошелолив, уменьшила зоркость глаза и ускорила неизбежный конец. Рыжий Пит угрюмо подчинился своим преследователям. Его товарищ, второй конокрад, тоже отказался от затянувшейся борьбы с чувством, похожим на облегчение. Да и разгоряченные, пылающие местью преследователи были довольны. Они взяли своих противников живьем. В течение долгой погони они не раз могли выбить их из седла выстрелом, но это было бы не по правилам и могло кончиться обыкновенной свалкой, а не примерным возмездием, которого те заслуживали. Теперь же участь этих двоих была решена. Крепкий сук и веревка положат конец их земному существованию, хотя и без санкции закона, но с соблюдением всех внешних формальностей правосудия. Этим члены комитета бдительности отдавали дань тому порядку, которым они сами пренебрегли, бросаясь в погоню и беря в плен. Но эта странная логика пограничной полосы была им по душе и придавала известную торжественность заключительной церемонии.

— Если хочешь что-нибудь сказать своим, говори живее, — приказал главарь.

Рыжий Пит поглядел по сторонам. Его стащили с седла на лесной просеке, у самого порога его собственной



хижины, где уже собрались все немногочисленные родственники и друзья — преимущественно женщины и дети, не принимавшие участия в стычке; они безучастно тарашили глаза на всадников, окруживших пойманных конокрадов. Кровная месть, вражда, преследования, драки и убийства — все это было им не в диковину, лишь внезапность нападения да стремительность исхода поразили их. Они ошалело, но с любопытством и, быть может, даже слегка разочарованно взирали на происходящее: ведь не было даже настоящей драки — ничего, о чем стоило бы говорить! Мальчишка-подросток, племянник Рыжего Пита, взобрался на большую бочку, чтобы с удобством за всем наблюдать; рослая, красивая девушка родом из Кентукки, жившая по соседству и заглянувшая в поселок проводить знакомых, лениво жевала резинку, прислонившись к дверному косяку. Только желтая гончая была явно и деятельно встревожена. Она никак не могла понять, закончилась охота или только начинается, и озабоченно бегала взад и вперед, бросаясь поочередно то к пленникам, то к тем, кто их пленил.

Главарь повторил свое предложение. Рыжий Пит беспечно усмехнулся и поглядел на жену.

Тогда миссис Пит выступила вперед. Да, ей было что сказать главарю, и она выкрикнула это яростно, злобно, мстительно, нечленораздельно. Он еще вспомнит этот день, когда черти потащат его душу в ад! Разве он мужчина! Он трус: боится встретиться один на один в честной драке, рыщет с целой сворой таких же койотов, как он сам, вокруг домов беззащитных женщин и детей! Громоздя брань на брань, пройдясь по адресу его темных предков и нечистой крови, она наконец вне себя от ярости принялась поносить его калеку-жену и до тех пор выкрикивала оскорбления, которые может нанести только женщина женщине, пока побелевшее лицо главаря не застыло, как маска, а палец не лег на спусковой крючок, и только пространенная в Западных штатах священная вера в неприкосновенность слабого пола удержала его руку.

Это не укрылось даже от ее мужа, и он властно бросил ей:

— Ладно, старуха, хватит.— Левой, свободной от пут рукой он похлопал ее по спине, оборвав на том последнее прощание.

Главарь, все еще бледный от ядовитых укулов женского языка, резко повернулся ко второму пленнику.

— Ну, ты! Хочешь с кем-нибудь попрощаться, тогда валяй — теперь твой черед.

Юноша поглядел по сторонам. Никто не шевельнулся, никто не проронил ни слова. Он был чужой здесь, не известный никому человек. Рыжий Пит случайно свел с ним знакомство и сделал его своим сообщником. Он был еще очень молод, но с детских лет уже жил отщепенцем, и слова «отец» и «мать» будили в нем лишь смутные полузабытые воспоминания. Он любил лошадей и крал их, полностью отдавая себе отчет в том, что по здешним законам ему придется когда-нибудь поплатиться жизнью за одно из этих животных, от обладания которым так часто зависела здесь судьба человека. И он знал толк в лошадях — об этом можно было судить, хотя бы поглядев на его кобылу, которая всего несколько дней назад была собственностью судьи Бумпойнтера. Этот подвиг он совершил один, без чьей бы то ни было помощи.

Внезапно обращенный к нему вопрос вывел его из состояния подчеркнутого безразличия к окружающему — не столько, впрочем, состояния, сколько позы, которая была у него профессиональной.

Быть может, в это мгновение чувство полного одиночества кольнуло его: ведь у него не было даже такой фурии-жены, как у его товарища. Однако он только молча покачал головой. И вдруг взгляд его случайно скользнул по лицу красивой девушки, которая стояла, прислонясь к дверному косяку, и смотрела на него. Должно быть, даже главаря тронуло это безграничное одиночество, потому что и он, казалось, был в нерешительности. И тут главарь тоже заметил девушку, смотревшую на одинокого пленника.

Неожиданно его осенила забавная мысль.

— Саломея Джейн, тебя, я думаю, не убудет, если ты подойдешь сюда и скажешь этому малому перед смертью «прощай», раз уж он всем чужой здесь, — сказал главарь.

Даже равнодушная толпа, казалось, ощутила удивительную смесь трагизма и насмешки, заключенную в его словах. Всем было хорошо известно, что эта девушка, Саломея Джейн Клей, чрезвычайно много мнит о себе и держит на расстоянии местных ухажеров, дразня их, словно лесная нимфа, своей высокомерной недоступностью. Но она, к удивлению всех, не спеша отделилась от дверного косяка и спокойно, с ленивой грацией шагнула к пленнику, протягивая ему руку. Когда ее правая рука коснулась его левой, только что освобожденной от пут, жаркий румянец пробился сквозь холодную маску равнодушия, за которой юноша пытался спрятать свои чувства от посторонних взглядов. Девушка на мгновение замерла; смущение исчезло из ее зеленоватых глаз, и она смело поглядела на юношу в упор. Потом вынула жевательную резинку изо рта, тыльной стороной руки утерла свои алые губы и встала ногой в стремя. Упругим движением поднявшись на стремя, она обвила руками шею пленника и прижалась губами к его губам.

И пока эти двое — мужчина, уже стоявший на краю могилы, и девушка в расцвете молодости и красоты — не разомкнули объятий, никто не проронил ни слова, и на какой-то миг воцарилась полная тишина. Затем послышался смех. Отчаянное безрассудство девушки заставило всех забыть на время об участии двух обреченных. Но вот она плавно соскользнула на землю. Все взгляды были прикованы к ней — все взгляды! Это не укрылось от главара, и он поспешил этим воспользоваться.

— Пора! Поехали! — крикнул он, хлестнув коня, и минуту спустя вся кавалькада, окружив пленников, уже скакала по просеке, углубляясь в темную чащу леса.

Их путь лежал к Сойерской Развилке, где помещалась штаб-квартира «бдительных» и где уже собрался Совет. Там оба преступника должны были понести кару за свои деяния, в которых Совет уже заочно признал их виновными. Всадники скакали бешеным галопом, они спешили, и, как ни странно, казалось, что их пленники спешили тоже. Эта отчаянная скачка помешала им заметить, какая удивительная перемена произошла с одним из конокрадов после поцелуя девушки.

На его щеках все еще пылал румянец, который словно бы прожег насквозь холодную маску безразличия, глаза смотрели настороженно, их взгляд стал быстрым и живым, а на полукривых губах, казалось, еще трепетал поцелуй. Разгоряченные скачкой, все утратили осторожность, и лошадь всадника, который держал концы веревки, обвивавшей плечи молодого конокрада, оступилась, попав ногой в сусличью нору. Падая, она перекувырнулась и сбросила своего наездника с седла, а связанного и беспомощного пленника совлекла на землю с любимой кобылы судьи Бумпойнтера. В следующую секунду все снова были на ногах, но пленник успел почувствовать, что веревка, которой он был связан, соскользнула с плеч пониже. Но он прижал веревку локтями, и те, кто помогал ему сесть в седло, ничего не заметили. Стараясь держаться в самой гуще всадников, пленник стал украдкой освобождаться понемногу от своих пут.

Теперь они мчались через лесную чащобу, и высокие листья папоротника, хлеставшие коней по крупам во время этой дикой скачки, мешали видеть, как ослабла веревка, которой был связан пленник. Погруженная в тишину и покой лесная глушь, где, казалось, скорее должны были бы совершать жертвоприношения нимфы и фавны, а не вершить свой суд и расправу люди, служила странно неправдоподобным фоном для этой яростной скачки суровых, вооруженных до зубов всадников. Солнце уже садилось, и золотые острия его лучей пронизывали густеющий сумрак; защебетали птицы, порхая среди мерцающей листвы, трепеща голубино-сизыми крыльями; и пока мстители вихрем неслись вперед, им сопутствовало мирное журчание скрытых от глаз ручьев, доносившееся откуда-то из глубины леса. Но вот уже скоро лесу конец, и всадники поднимутся на перевал, откуда крутой спуск приведет их к заставе у Сойерской Развилки, до которой от перевала не больше мили. Так уж повелось, что этот перевал всегда брали единым духом, с дикими криками и улюлюканьем, возвещавшим о возвращении отряда. Однако на сей раз всадники воздержались от криков, несовместимых с их достоинством, но, вырвавшись из леса, бесшумной лавиной ринулись вниз с горы. Вот они уже спустились до половины склона, все их внимание приковано к лошадям. Но в эту

минуту молодому конокраду удастся освободить правую руку от пут и схватить поводья, болтающиеся на шее лошади. Внезапный рывок, которым владеют местные пастухи — «вакеры», понятен хорошо объезженному животному, и оно приседает на задние ноги, крепко упершись передними копытами в землю. Вся кавалькада пронесется мимо; всадник, держащий веревку, которой связан пленник, помня, как он только что чуть не свернул себе шею, выпускает веревку из рук, дабы не полететь с седла вверх тормашками. Пленник поворачивает лошадь, подняв ее на дыбы, и вот он уже с быстротой ветра скачет обратно вверх по склону.

Все произошло в мгновение ока: действовали опытная рука наездника и отлично объезженная верховая лошадь. Всадники проскакали не меньше пятидесяти ярдов, прежде чем им удалось остановить коней, а вырвавшийся на свободу пленник уже покрыл половину этого расстояния вверх по склону. Преследователи так тесно сбились в кучу на узкой дороге, что лишь две пули были посланы вдогонку беглецу, и обе ушли в землю впереди конокрада, подняв фонтанчики пыли. Никто не осмелился стрелять ниже: кобыла судьи Бумпойнтера стоила больших денег. А для беглеца в эту отчаянную минуту она была дорожее всяких денег, и он предпочел бы получить пулю себе в ногу, лишь бы не ранили лошадь.

Отрядили пятерых всадников — взять беглеца живым или мертвым. И последнее казалось неизбежным. Но расчет конокрада был верен: он достиг леса прежде, чем они успели перезарядить ружья; а там, мелькая между величественных, колонноподобных стволов, стал почти неуловим. Его лошадь могла обскать любую, и преследователи это знали; через два часа они повернули коней обратно, ибо преступник исчез бесследно. Конец этой истории был кратко изложен в «Вестнике Сьерры»:

«Рыжий Пит, хорошо известный конокрад, которому столь долго удавалось ускользать от справедливого возмездия, на прошлой неделе был пойман отрядом с Сойерской заставы и повешен. Но его сообщнику, к сожалению, удалось бежать и скрыться на превосходной кобыле, принадлежащей судье Бумпойнтеру. Всего неделю назад судье предлагали за эту лошадь тысячу дол-

ларов, но он отказался ее продать. Конокраду, который все еще разгуливает на свободе, будет нелегко сбыть кому-нибудь столь ценную лошадь, оставаясь неопознанным, и посему мало вероятно, чтобы он или эта кобыла объявились когда-либо снова в наших краях».

\*

Саломея Джейн смотрела вслед всадникам, пока они не скрылись из глаз. Затем она почувствовала, что ее недолгой популярности пришел конец. Миссис Пит, продолжавшая поносить всех на чем свет стоит, включила и ее в орбиту своего внимания — по-видимому, за проявление тех эмоций, которых ей самой не хватало. Остальные женщины тоже почувствовали к Саломее Джейн неприязнь за то, что она на какое-то мгновение возвысилась над ними; только подростки продолжали глядеть на нее с восхищением: ведь она на глазах у всех «амурничала» с человеком, которого вот-вот повесят. Такая отчаянная смелость превзошла все их фантазии.

Саломея Джейн с восхитительным безразличием восприняла произошедшую перемену. Она надела свой желтый нанковый капор — чудовищное сооружение, способное навеки погубить любую женщину, но весьма удачно оттенявшее ее смуглую кожу и горячий румянец, — завязала ленты под подбородком, высвободив из-под гофрированной оборки капора две тугих, иссиня-черных косы, перекинула их за спину, вскочила на мустанга, на мгновение показав стройные лодыжки, плотно обтянутые белыми чулками, свистнула свою гончую и, помахав рукой внезапно получившему отставку, но исполненному восторженного обожания племяннику Рыжего Пита — «Прощай, малыш!», — хлестнула мустанга и ускакала в вихре развевающихся холщовых юбок.

До ее дома, где она жила со своим отцом, было не больше четырех миль. По сравнению с хижинкой, которую она только что покинула, это было куда более роскошное жилище, с длинной пристройкой сзади и остроконечной кровлей, спускавшей свои стрехи почти до земли, что придавало ему форму треугольника. Позади дома стояли навесы для скота и большой сарай, так как Мэдисон Клей был «крупный скотовод» и даже вла-

делец участка в «целую четверть» мили. В доме имелась гостиная, а в гостиной — фисгармония, доставка которой сюда рассматривалась как чудо современной техники. Соседи считали, что вот поэтому-то Саломея Джейн не в меру важничает и задирает нос, на самом же деле холодность девушки и ее равнодушие к заигрываниям местных кавалеров скорее объяснялись ее уравновешенным ленивым характером и поглощавшими ее с головой заботами об овдовевшем несколько лет назад отце, которого она обожала. Дело в том, что жизни Мэдисона Клея постоянно угрожала опасность со стороны двух-трех семей, вынашивавших планы кровной мести, как утверждали злые языки, не без основания, и сердце Саломеи Джейн было глубоко уязвлено тем, что ее отец, отправляясь куда-нибудь в гости, брал с собой ружье. Быть может, именно это заставило ее относиться с предубеждением ко всем представителям мужского пола из близлежащих селений. Мысли же о том, что весь этот скот, лошади и «целая четверть» перейдут когда-нибудь к ней, занимали ее крайне мало. Что касается самого мистера Клея, то он находил, что Саломея Джейн в меру домовита, хотя и чересчур «настырна» порой, а в общем, «как все наше племя по женской линии», не лишена известных достоинств.

— Что это люди про тебя говорят, будто ты невесть чего выкинула там, у Рыжего Пита? — спросил мистер Клей свою дочь во время завтрака два дня спустя. — Будто ты завела там шуры-муры с каким-то конокрадом?

— Верно, уж завела, раз тебе так сказали, — равнодушно ответила Саломея Джейн, не глядя на отца.

— А как, по-твоему, что скажет на это Руб? И что ты ему скажешь, а? — насмешливо спросил отец.

«Руб», или Рубен Уотерс, был тот молодой человек, который, как поговаривали, пользовался у мистера Клея особым расположением. Саломея Джейн взглянула на отца.

— Я скажу ему так: когда и его будут вешать, я целую его тоже, но не раньше, — беспечно отвечала молодая особа.

Отцовское чувство юмора не осталось нечувствительным к такой на редкость остроумной шутке, и мистер Клей улыбнулся. Однако тут же сдвинул брови.

— Только его не повесили — этого твоего конокрада; он все-таки удрал в конце концов. А это уже совсем другой коленкор, — сказал он несколько уग्रюмо.

Саломея Джейн положила ножик и вилку на стол. Это действительно была большая новость, которая сильно меняла дело. Мысль о такой возможности ни разу не приходила ей в голову. И теперь, как ни странно, Саломея Джейн впервые по-настоящему заинтересовалась судьбой конокрада.

— Он удрал? — повторила она. — Или его отпустили?

— Так они его и отпустят! — проворчал отец. — Сам как-то освободился от веревок и, когда они все спускались со склона, осадил лошадь, прямо как заправский вакеро, заарканивший быка. Ну, тот малый, что держал конец его веревки, чуть не вылетел из седла, а конокрад, ясное дело, повернул лошадь и поскакал обратно. Да что говорить, на этой кобыле судьи Бумпойнтера он мог бы стащить с седла всю их шайку! И поделом им. Всадили бы в него сразу пулю или вздернули бы его тут же на месте — так нет, им, видите ли, понадобилось доставлять его в Комитет «для примера» другим. «Для примера», душа с них вон! Плохой, что ли, был бы пример, когда всякий, кто бы сюда ни забрел, напоролся бы на этого малого, висящего на суку и продырявленного пулями? Чем, спрашивается, не пример? И всякому было бы понятно, что этот пример означает. Чего бы, кажется, проще? Да ведь эти ребята только делают вид, будто им наплевать на закон, а сами без него шагу ступить боятся. Тошно смотреть! Да что там! Небось, когда Джейк Майерс застрелил второго мужа твоей старой тетки Вайни и я подстерег его в ущелье «Смотори в оба», стал я, что ли, привязывать его к лошади и тащить к твоей тетке Вайни «для примера», прежде чем пустить в него пулю? Нет! — яростно воскликнул Мэдисон Клей, побагровев от возмущения. — Нет! Я, вроде как от нечего делать, колесил по лесу, пока он не попался мне на пути. Тут я подъехал к нему и говорю...

Но Саломея Джейн слышала это уже не раз. Даже самый близкий человек может надоесть своими рассказами.



— Я все это знаю, папа,— прервала она его.— Ты лучше скажи, этот малый, этот конокрад, неужели он так-таки и удрал от них, и они даже его не ранили?

— Представь, удрал, и если он не совсем дурак и не станет пытаться продать эту кобылу, так, может, никогда и не попадется им больше в лапы. Короче, ты эти свои бредни насчет «незнакомца с петлей на шее» и прочей ерунды оставь. Это не для Руба, его на этом не проведешь.

— Нет, папа,— весело возразила девушка,— я все равно ему это скажу и даже прибавлю еще кое-что. Я скажу ему: пусть-ка он тоже сумеет удрать, и я выйду за него замуж тогда — вот как! Едва ли Руб рискнет, чтоб его стали хватать, а он стал удирать.

Мистер Мэдисон Клей хмуро улыбнулся, встал, отодвинув стул, по привычке рассеянно поцеловав дочь в голову, взял из угла свое ружье и отправился выполнять долг доброго самаритянина на дальнем пастбище, где отелилась одна из его коров. Считая Рубена вполне приемлемым женихом в том, что касалось имущественной стороны брака, он в то же время с сожалением не мог не признать, что этому малому здорово не хватало кое-каких качеств, присущих всему роду Клеев. В некотором роде это, несомненно, был бы для его дочери «мезальянс».

Оставшись одна, Саломея Джейн довольно долго стояла, вперив взор в кофейник, затем кликнула двух скво, прислуживавших в доме, и приказала им убрать со стола, а сама направилась к себе в спальню, чтобы приготовить постель. Здесь взгляд ее упал на фотографию Рубена Уотерса, заткнутую за оконный косяк. У этого молодого человека было весьма серьезное и вдумчивое выражение лица, и перед ней довольно отчетливо возникла перспектива того самого пресловутого библейского ложа, которое она могла в своем своезвании уготовить себе сама. Саломея Джейн усмехнулась, вспомнив, как она только что пошутила на его счет, и это воспоминание приятно пощекотало ее чувство юмора, потом случайно поймала свое отражение в зеркале и усмехнулась снова.

Забавно, что этот конокрад удрал! Но, боже милостивый, вдруг Рубен узнает, что он жив и разгуливает по

свету с ее поцелуем на губах! Она тихонько рассмеялась — немного задумчиво и мечтательно. Этот конокрад ответил на ее поцелуй, как мужчина: прижал ее к себе, да так крепко, что у нее перехватило дыхание. А ведь знал, что через несколько минут его повесят! Саломею Джейн целовали и прежде — используя силу, случай или уловку. В незамысловатой игре в фанты, процветавшей в этих местах и известной под названием «ловушка», многие готовы были «попасть в ловушку» за сладкий поцелуй Саломеи Джейн, который она дарила из чувства справедливости и по правилам игры. Но так ее еще не целовал никто... и никогда больше не поцелует. И этот человек жив! О боже, она даже покраснела, о чем ее тотчас оповестило зеркало!

Она едва ли даже узнает его при встрече — этого малого с горящим взглядом и ярким румянцем на смуглом лице. Кажется, у него не было ни усов, ни бороды — нет, иначе она бы почувствовала. И он совсем не был похож на Рубена, ну нисколько. Она вытащила фотографию Рубена из-за косяка и положила на свой столик для рукоделия. И подумать только, что она даже не знает, как его зовут — того малого! Удивительно все это и странно! Ее целовал мужчина, о котором она, быть может, никогда больше и не услышит! Он-то, конечно, знает, кто она такая. Интересно, вспоминает ли он о ней и о том, что произошло? Верно, он был так счастлив, когда вырвался на свободу и остался в живых, что позабыл про все на свете.

Впрочем, Саломея Джейн недолго предавалась этим размышлениям и, будучи девушкой здравомыслящей и благоразумной, принялась думать о чем-то другом. Только раз, отворив свой гардероб и увидав простое холщовое платье, которое было на ней два дня назад, она подумала, что оно ей не к лицу, и пожалела, что не оделась по-праздничному, когда отправлялась провести семейство Рыжего Пита. При таких обстоятельствах ей, конечно, следовало бы выглядеть понаряднее.

Когда отец вечером вернулся домой, она осведомилась у него, что слышно. Да ничего. Они так и не поймали этого конокрада, он все еще разгуливает на свободе. Судья Бумпойнтер поговаривает о том, чтобы прибегнуть к помощи столь презираемого ими закона. Но все

равно приходится ждать, — может, этот парень настолько глуп, что попытается сбить с рук кобылу. Тело Рыжего Пита отвезли к его вдове. Пожалуй, Саломее Джейн следовало бы из приличия оседлать лошадь и по-добрососедски поехать на похороны.

Саломее Джейн это предложение, кажется, пришлось не по душе, но она не нашла нужным объяснять отцу, что, поскольку один из конокрадов еще жив, ей совсем не хочется вторично попасться на язычок вдове повешенного. Вместе с тем она не без чувства удовлетворения невольно сравнила свое положение с положением этой вдовы. Ведь мог бы спастись не тот, неизвестный, а Рыжий Пит. Но у Пита не хватило на это отваги. Героический облик незнакомца принимал все более отчетливые очертания в ее глазах.

— Ты что, не слушаешь меня, дочка?

Саломея Джейн вздрогнула.

— Я уж который раз спрашиваю тебя: не видала ты сегодня где-нибудь поблизости эту паскуду — Фила Ларраби?

Нет, Саломея Джейн его не видала. Но вопрос сразу возвратил ее к действительности, и она почувствовала некоторые угрызения совести, так как знала, что Фил Ларраби — один из заклятых врагов ее отца.

— Он не посмеет явиться сюда — разве что пронюхает, когда ты отлучишься из дома, — сказала она.

— Вот это-то и странно, — заметил отец, почесывая седеющий затылок. — Весь день сегодня он не выходил у меня из ума, а тут один китаец сказал, что видел его у Сойерской Развилки. Он как будто дружит с женой Пита. Ну, я и подумал, что ты можешь разузнать, появлялся ли он там.

Угрызения совести Саломеи Джейн стали еще более ощутимы: так вот зачем, оказывается, понадобилось ее отцу укреплять добрососедские отношения!

— И этого еще мало, — продолжал мистер Клей. — На дальнем выгоне я заметил чужие следы. Пошел по ним, а они, представляешь, все кружат и кружат — словно кто-то рыскал вокруг нашего дома и чего-то высматривал. А потом снова затерялись в лесу. Похоже, что этот грязный пес Ларраби подстерегает меня, а встретиться в открытую боится.

— Ты, отец, подожди выходить из дому денька два, а я постараюсь разузнать, в чем тут дело,— сказала девушка, и темные глаза ее блеснули сочувствием и негодованием.— Если и вправду этот негодяй околачивается здесь, я его в два счета выслежу и скажу тебе, где он прячется.

— Нет, уж ты знай свое место, Саломея,— решительно возразил отец.— Не женское это дело, хотя, может, смекалки у тебя и не меньше, чем у иного мужчины.

Тем не менее, когда отец лег спать, Саломея Джейн уселась в гостиной возле открытого окна с видом скучающим и меланхоличным, на самом же деле вся обратившись в зрение и слух. Была прекрасная лунная ночь. Две сосны у ворот — два одиноких стража, высланных вперед темневшим вдали бором,— отбрасывали две длинные тени, словно две тропки, протянувшиеся к дому, и в окна веяло пряным ароматом хвои. Ни цветы, ни дикий виноград, ни какие-либо другие пустые прихоти не украшали жилища Саломеи Джейн. Участок слишком недавно был расчищен от зарослей, а жизнь слишком заполнена повседневными заботами, чтобы в ней могло остаться место для разных легкомысленных затей. Но луна набросила на все свое призрачное покрывало, смягчила резкие очертания сарая и навесов, кинула мерцающие блики в не закрытые ставнями окна, и даже безобразные кучи щебня и обгорелые скелеты выкорчеванного кустарника приобрели в ее обманчивых лучах таинственный вид. Красота лунной ночи проняла даже Саломею Джейн, и она издала нечто среднее между вздохом и зевком, вдохнув при этом аромат сосен. Внезапно она выпрямилась и насторожилась.

Острый слух ее уловил едва слышное «цок, цок», долетавшее со стороны леса, а еще более острое чутье и навыки жизни в лесной глуши помогли ей сразу угадать, что это стук копыт о кремнистую землю. Она достаточно хорошо знала все ближние лесные тропы, чтобы тотчас определить: звук долетел оттуда, где одна из тропинок пересекала большие выходы кремния на поверхность, примерно в четверти мили от дома. И скакала не отбившаяся от табуна лошадь — это был звук *подкованных* копыт. Какой-то всадник нарушил среди ночи

границу их владений, и это не предвещало ничего доброго ее отцу.

Саломея Джейн выскочила, накинула на голову шаль, не столько опасаясь ночной свежести, сколько посторонних взоров, и выбежала из дома. По дороге она, не раздумывая долго, взяла стоявшее в углу ружье отца. Саломея Джейн не боялась за себя, но для остротки это было неплохо. Стараясь держаться в тени сосен, она направилась прямо в лес. На опушке она остановилась. Кто бы ни прятался там, в чаще, он не сможет теперь приблизиться к дому, минуя ее.

Все вокруг словно замерло. Мертвая неподвижность, мертвая тишина. Даже мерцающий свет луны, казалось, застыл. Но вот послышался шорох — точно какое-то животное кралось среди папоротников, и в полосу лунного света вступила темная фигура — но не всадника, а пешего. Перед Саломеей Джейн стоял конокрад — стоял тот, кого она поцеловала!

Дикая, нелепая мысль мелькнула вдруг в ее всегда такой рассудительной головке и взбудоражила лениво бегущую по жилам кровь: «Ей сказали *неправду*! Его повесили, и теперь дух его бродит по лесу». Залитый неверным лунным светом, он и в самом деле был бледен, как призрак, и одежда на нем была та же самая, что и в тот памятный день.

Должно быть, он заметил ее, потому что быстро двинулся ей навстречу, но, поспешив, споткнулся, и тут она опомнилась, сообразив, что призраки не спотыкаются, и сразу почувствовала огромное облегчение. Так вот, значит, кто бродил вокруг их дома — не заклятый враг ее отца, а всего-навсего этот несчастный конокрад! Щеки ее запылали, обычное самообладание и отвага вернулись к ней, и она сказала задорно:

— А я было приняла тебя за привидение.

— Да я в два счета мог бы им стать,— сказал он, пристально глядя на нее,— но, верно, и тогда все равно пришел бы сюда.

— Ну а уж когда остался в живых, так возвращаться сюда не след,— сказала Саломея Джейн, и голос ее внезапно утратил насмешливую беспечность, ибо чувство облегчения, которое она испытала в первое мгновение, внезапно сменилось тревогой: какое-то странное волне-

ние — не то страх, не то ожидание чего-то — охватило ее.— Так, значит, это ты бродил вокруг нашего дома, и это твои следы заметил отец на дальнем выгоне?

— Да. Я поскакал прямо сюда, как вырвался от них.

Его взгляд жег ее, и она не смела поднять глаз.

— Зачем...— начала она неуверенно, запнулась и поспешно добавила: — Как тебе удалось добраться сюда?

— Ты помогла мне!

— Я?

— Да. Твой поцелуй воскресил меня, я вдруг почувствовал прилив сил и сумел удрать. И тогда я поклялся, что явлюсь сюда, живой или мертвый, чтобы сказать тебе спасибо.

И теперь вдруг все показалось ей ясным и простым, словно то, что он сказал, она уже знала заранее. И знала, что все это — правда, от слова до слова.

Однако ее холодный здравый смысл не мог примириться с этим.

— Стоило ли удирать, раз ты вернулся сюда, где тебя снова схватят? — спросила она с вызовом.

Конокрад шагнул к ней, но, как ей показалось, уже не так уверенно — теперь она вполне овладела собой. Он заговорил, прерывисто дыша, и голос его дрожал:

— Послушай. Ты сделала для меня больше, чем ты думаешь. Ты сделала меня другим человеком. Никто — ни женщина, ни мужчина, ни ребенок — не делал для меня того, что сделала ты. У меня никогда не было настоящего друга — только случайные товарищи, вроде Пита, который «взял меня в долю». Я хочу бросить все это... Ну, то, чем я занимаюсь. Но перво-наперво я хочу по-честному рассчитаться с тобой...— Голос его прервался, он умолк, затем добавил скороговоркой: — Моя лошадь привязана тут неподалеку. Я хочу отдать ее тебе. Судья Бумпойнтер отвалит за нее тысячу долларов. Я не обманываю тебя, видит бог! Я сам читал — они прибили к дереву объявление. Бери лошадь, а я уйду пешком. Бери ее. Больше я ничего не могу для тебя сделать, а я знаю, что это не стоит и половины того, что ты сделала для меня. Бери лошадь. Твой отец может получить за нее награду, если ты не хочешь получить сама.

И по таким странным, неписанным законам жили тогда люди в том краю, что ни мужчина, сделавший это предложение, ни девушка, которой оно было сделано, не усмотрели в нем ничего неделикатного, или нелепого, или несовместимого с обращением конокрада в новую веру. Тем не менее Саломея Джейн не приняла предложения по другим, куда менее веским причинам.

— Я не хочу брать твою лошадь, хотя отец, может, и взял бы. Но ты же просто умираешь с голоду... Сейчас я принесу тебе чего-нибудь поесть.— И она повернулась к дому.

— Нет, сначала обещай, что возьмешь лошадь,— сказал конокрад, хватая ее за руку. Она покраснела и сделала попытку вырвать руку, боясь, быть может, получить еще один поцелуй. Но конокрад отпустил ее. Она небрежно бросила через плечо:

— Подожди здесь, я сейчас вернусь,— и скользнула прочь, похожая в призрачном свете луны на пугливую нимфу. Через несколько минут она скрылась в доме.

Завязав в узелок кое-какую еду и бутылку виски, Саломея Джейн присоединила к ним плащ и шляпу своего отца, решив, что они помогут сделать неузнаваемой некую героическую фигуру, которую, как ей теперь казалось, всякий должен был узнать с первого взгляда, как узнала она. С этой поклажей она, запыхавшись, вернулась к конокраду. Но он отстранил и еду и виски.

— Слушай,— сказал он.— Я поставил лошадь к вам в загон. Утром вы найдете ее там, и все подумают, что она заблудилась и сама зашла туда следом за другими лошадьми.

Но тут Саломея Джейн не выдержала.

— А ты... ты... что будет с тобой? Тебя повесят!

— Я удеру от них,— сказал он тихо,— если... если...

— Если что? — спросила она, вся трепеща.

— Если ты снова поможешь мне, придашь мне силы... как в тот раз! — горячо прошептал он.

Саломея Джейн хотела рассмеяться... Хотела уйти... Она не сделала ни того, ни другого. Внезапно он схватил ее в объятия и крепко поцеловал, и она ответила на его поцелуй, и он поцеловал ее еще и еще. Потом они долго стояли, обнявшись, совсем как два дня назад.

но сходство было только внешним — оба они уже стали иными. Ибо холодная, уравновешенная Саломея Джейн презратилась в совершенно иную женщину — страстную, влюбленную, готовую на все. Быть может, неистовая кровь ее отца заговорила в ней в эту отчаянную минуту. Обнимавший ее мужчина стоял, распрямив плечи, исполненный решимости.

— Как тебя зовут? — быстро, шепотом, спросила она, пользуясь этим распространенным среди женщин способом признаваться в своих чувствах.

— Дарт.

— Это фамилия, а имя?

— Джек.

— Теперь отпусти меня, Джек. Спрячься в лесу и подожди до рассвета. Я приду опять.

Он отпустил ее. Секунду еще она стояла, прижавшись к нему. Затем улыбнулась, глаза и зубы ее весело блеснули, и она сказала:

— Надень этот плащ и шляпу и не выходи из леса, пока я не вернусь.— И она поспешила домой.

Но на полдороге к дому шаги ее вдруг замедлились, словно сердце потянуло ее обратно. Она остановилась, обернулась и поглядела туда, где оставила конокрада. Быть может, она вернулась бы, если б увидела его там. Но его уже не было видно. Саломея Джейн вздохнула — первый раз вздохнула о нем — и быстро побежала к дому. Верно, уже поздно! Скоро начнет светать!

Она была уже в двух шагах от дома, когда ружейный выстрел всколыхнул безмолвный ночной воздух и разбудил задремавший лес.

Пораженная, она приросла к месту. Прогредел второй выстрел, раскатившись эхом по всей округе, и замер вдали. Саломея Джейн наконец пришла в себя и опрометью кинулась назад в лес.

Она бежала, а в мыслях у нее было только одно: кто-нибудь из тех, кто охотится за конокрадами, выследил Джека и напал на него. Но выстрелов было два, а он безоружен. Внезапно она вспомнила, что оставила ружье отца, прислонив его к дереву, возле которого стояла. Какое счастье! Быть может, она этим снова спасла его? Она бросилась к дереву. Ружье исчезло. Саломея



Джейн принялась колесить по лесу во всех направлениях, каждую секунду боясь наткнуться на безжизненное тело Джека. Затем новая мысль озарила ее, и она побежала к загону. Лошади судьи Бумпойнтера там не было! Вероятно, после перестрелки Джеку удалось вывести ее и ускакать. Саломея Джейн вздохнула с облегчением, но тут же ее снова охватила тревога. Отец, разбуженный выстрелами, спешил к ней.

— Что тут такое, дочка? — озабоченно спросил он.

— Ничего, — с запинкой отвечала девушка. — Я поглядела — никого нет. — Бесстрашная по натуре, она, естественно, была правдива, и ложь не шла у нее с языка... Впрочем, теперь, при мысли о нем, она уже была не столь бесстрашна, как прежде...

— Я еще не ложилась спать и, как услышала выстрелы, сразу побежала поглядеть, кто это стрелял, — добавила она в ответ на испытующий взгляд отца.

— А куда ты задевала мое ружье? Я нигде не могу его найти, — с досадой сказал отец, — Если стрелял этот мерзавец Ларраби, — так он это делал для того, чтобы выманить меня из дому, и мог бы, значит, не говоря худого слова, уже раз двадцать продырявить меня за последние пять минут!

А ведь мысль о враге отца ни разу не пришла ей в голову за все это время! Очень может быть, что это он напал на Джека. Саломея Джейн тотчас решила использовать это предположение.

— Ступай домой, папа, ступай домой и разыщи ружье. Без ружья тебе нельзя и носа высунуть наружу. — Она обхватила отца за плечи и, прикрывая его своим телом со стороны леса и не обращая внимания на его сопротивление и протесты, чуть не силой затолкала в дом.

Однако ружья отыскать не удалось. Это было очень странно. Вероятно, он сам засунул ружье куда-нибудь. А может, он оставил его в сарае? Пусть-ка припомнит хорошенько. Но, в общем, это не так важно теперь. Опасность миновала. Ларраби не удалась его хитрость. Отцу надо лечь спать, а утром они вместе поищут ружье. Про себя она уже приняла решение встать пораньше и еще раз порыскать по лесу, быть может... Саломея Джейн вспомнила свое обещание и испытала одновре-

менно и радость и страх: быть может, Джек там, цел и невредим и ждет ее!

Она плохо спала в эту ночь, как, впрочем, и ее отец. Но на рассвете усталость взяла свое, и Мэдисон Клей забылся тяжелым сном, а когда проснулся, солнце было уже высоко.

Дочь же его всю ночь пролежала, повернувшись лицом к окну и даже слегка приподняв голову над подушкой, чтобы не пропустить ни единого звука — от потрескивания прокаленной солнцем дранки на крыше до отдаленных стонов ветра в верхушках сосен. Временами трепет пробегал по ее телу, и у нее перехватывало дыхание, когда она снова и снова перебирала в памяти все, что произошло во время этого тайного свидания в лесу. И снова она чувствовала себя в объятиях конокрада, чувствовала его поцелуи на своих губах, слышала его горячий шепот, и ей казалось, что ее жизнь только теперь начинается... А затем мечты сменялись мучительным страхом: быть может, в эту самую минуту он лежит в лесу, истекая кровью, и губы его шепчут ее имя, а она тут бездействует! И Саломея Джейн приподнималась на постели, уже готовая броситься ему на помощь. И так продолжалось до тех пор, пока небо не просветлело и жемчужно-розовое сияние не разлилось над белоснежным хребтом Сьерры. Тогда Саломея Джейн встала и быстро оделась. Уверенность, что она увидит его, была настолько крепка в ее душе, что, одеваясь, она задумалась на мгновение, а потом выбрала простое холщовое платье и желтый капор, которые были на ней в тот день, когда она впервые увидела Джека. И подумать только, что она видела его всего два раза в жизни, всего *два раза!* Это жестоко, слишком жестоко, если она не увидит его больше!

Саломея Джейн тихонько спустилась с лестницы, прислушиваясь к глубокому дыханию отца, доносившемуся из его спальни, и при свете оплывающей свечи поспешно нацарапала ему записку, прося не выходить до ее возвращения. Положив записку на видное место на столе, она быстро выбежала из дому навстречу занимающемуся дню.

Три часа спустя мистер Мэдисон Клей проснулся от громкого стука в дверь. Сначала ему почудилось сквозь

сон, что его, как обычно, будит дочь, и, ответив ей приветственным ворчанием, он поуютнее завернулся в одеяло. Но тут же события этой ночи всплыли в его памяти вместе с решением встать пораньше, и он, окончательно пробудившись, негромко выругался и вскочил с постели. Теперь он уже отчетливо слышал, что стучат в наружную дверь, и даже узнал знакомый голос. Поспешно натянув сапоги и брезентовые штаны и перекинув через плечо единственную подтяжку, он загромыхал вниз по лестнице и, отворив дверь в прихожую, прирос к месту. Наружная дверь была распахнута, и на пороге стоял его родственник и неизменный сподвижник во всех подвигах кровной мести Брекенридж Клей!

— Ну и выдержка же у тебя, Мэд! — сказал Брекенридж Клей с оттенком восхищения и легкой досадой.

— А что такое стряслось? — с тревогой спросил Мэдисон.

— Тебе бы давно пора вытряхнуться из постели и убраться отсюда подальше, — мрачно изрек Брекенридж. — Можешь, конечно, прикидываться, будто тебе «ничего неизвестно», но только дружки Филадельфии Ларраби подобрали его, продырявленного насквозь и мертвого, как дохлая ворона, и сейчас, верно, уже спустили на тебя двух его сводных братьев. А ты, как самый распоследний идиот, бросил еще зачем-то в кустах эти вещички. — И Брекенридж, обернувшись к своей лошади, стоявшей возле крыльца, снял с седла плащ, шляпу и ружье Мэдисона Клея. — Хорошо, что я по дороге наткнулся на них в лесу. Сейчас дружки Филадельфии нагрянут сюда — ты только-только успеешь перебраться через границу штата и укрыться там у кого-нибудь из своих. Потопрапливайся, старина! Ну, чего ты таращишь на меня глаза?

Мэдисон Клей, пораженный, обьятый ужасом, онемев, глядел на Брекенриджа. События этой ночи с беспощадной ясностью снова воскресли перед ним, но, увы, слишком поздно! Сначала выстрелы; потом Саломея Джейн вдруг появляется из леса; ее смущение; ее старания отделаться от него; исчезновение ружья; а теперь еще эта новость — его шляпа и плащ, которыми кто-то воспользовался для отвода глаз!

Это она убила Фила Ларраби! Нацепила на себя плащ и шляпу и этим маскарадом подстрекнула Фила выстрелить и выдать свое присутствие! Она, его родное дитя, Саломея Джейн, опозорила себя, совершив преступление, которое позволено совершать только мужчине. И опозорила отца, присвоив себе его права. Да еще прибегла к подлой уловке, расправившись со своим противником путем обмана!

— Дай сюда ружье! — сказал Мэдисон Клей хрипло.

Удивленный Брекенридж протянул ему ружье; в душу его уже начало закрадываться подозрение. Мэдисон осмотрел курок и дуло: из одного ствола был сделан выстрел. Все ясно! Ружье выпало у него из рук.

— Слушай-ка, старина, — сказал Брекенридж, и лицо его потемнело. — Тут все честно, без подлости? Дело сделано, как положено, без наемников? Ты сделал все по чести и по совести — сам, а?

— Да, сам, накажи меня бог! — прохрипел в отчаянии Мэдисон Клей. — Кто смеет говорить, что не сам?

Брекенридж поверил ему. Он решил, что Мэдисон перед таким делом хватил, должно быть, для храбрости виски да малость переборщил, и ему отшибло память. Он проворчал угрюмо: — Ну так шевелись, уноси ноги, если хочешь, чтобы я постоял за тебя.

— Ступай в загон, выведи для меня лошадь, — неторопливо сказал Мэдисон Клей, снова обретая уверенность в себе, — а мне надо написать два слова Саломее Джейн. — И он крепко сжал в дрожащей руке наспех нацарапанную ею записку, которую только что обнаружил.

Зная об их привязанности друг к другу и уважая чувства своего родственника, Брекенридж понимающе кивнул и поспешил в загон. Оставшись один, Мэдисон Клей почесал в затылке, разгладил бумажку, на которой было написано послание Саломеи Джейн, перевернул ее и написал на обороте:

«Почему ты не сказала мне о том, что сделала? Почему ты заставила своего старого отца самого узнать всю правду, узнать, как ты опозорила и себя и его низким, бесчестным поступком, на который способна только жен-

щина? Мне пришлось сказать, что это моих рук дело, и принять на себя вину и весь позор, потому что люди догадываются, как трусливо и подло это было сделано. Если мне удастся выбраться отсюда живым,— а нет, так наплевать! — не ищи меня. Дом наш и скот оставляю тебе, но твоему опозоренному отцу ты больше не дочь.

*Мэдисон Клей».*

Едва он закончил свое послание, как раздался стук копыт, и перед домом снова появился Брекенридж — на этот раз радостный, ликующий.

— Ну и везет тебе, Мэд! Гляди-ка, это та кобыла, которую украли у судьи Бумпойнтера! Она забежала в твой загон — там я ее и нашел. Бери ее и ты спасен: во всем штате нет лошади, которая могла бы ее обскакать.

— Я не конокрад,— хмуро сказал Мэдисон.

— Никто этого не говорит, а вот если не возьмешь эту кобылу,— будешь дурак. Я могу засвидетельствовать перед судьей Бумпойнтером, что она сама прибилась к твоим лошадям, а ты потом пришьешь кобылу обратно. Судья будет до смерти рад, что она к нему вернулась, и скажет, что вы квиты. Так что, если ты хочешь писать Саломее Джейн, поехали.

Мэдисон Клей больше не колебался. Саломея Джейн могла вернуться в любую минуту — эти дуры-бабы всегда именно так и поступают, — а ему совсем не хотелось объясняться с ней при свидетеле. Мэдисон Клей положил записку на стол, окинул торопливым взглядом все, что он покидал, как ему казалось, навсегда, шагнул за порог, вскочил на краденую кобылу и ускакал вместе со своим родичем.

А записка осталась лежать на столе перед распахнутой настежь дверью и пролежала так около недели. Днем, в зной, в безлюдье и безмолвье, в дом вторгались листья, сосновые шишки, птицы и белки, а по ночам — пугливые, осторожные зверьки. Но ни днем, ни ночью в доме не появлялся больше никто из семейства Клеев. По всей округе считали, что Клей перебрался в другой штат, а его дочь присоединилась к нему на следующий день, и дом их на замке. Он стоял в стороне от боль-

шой дороги, и мало кто забредал сюда. Изголодавшийся скот вырвался в конце концов из загона и разбежался по лесу. И как-то ночью подул свежий ветерок, смел записку со стола и, покружив немного в воздухе, загнал в щель между половицами, где она мало-помалу и истлела.

Так судьба уберегла Саломею Джейн от горечи отцовского упрека, а о том, что произошло, она знала и без этого письма. Когда она в зыбком предрассветном сумраке вступила в лес, перед ней тотчас возникла фигура Джека: он ждал ее в тени под сосной и шагнул к ней навстречу. Но возглас радости, невольно сорвавшийся с ее губ, мгновенно замер, когда она увидела его лицо.

— Ты ранен? — воскликнула она, взволнованно хватая его за руку.

— Нет, — сказал он. — Но меня бы это не огорчило, если...

— Ты думаешь, я побоялась вернуться ночью, когда слышала стрельбу? — спросила она, дрожа, как в лихорадке. — Но ведь я же вернулась! Я прибежала сюда, как только услышала выстрелы, а тебя уже не было. Тогда я бросилась к загону, но не нашла там твоей кобылы и подумала, что ты ускакал.

— Да, так оно и было, — сказал Джек мрачно. — Я застрелил человека, думал, он охотится за мной. Позабыл, что на мне чужая одежда. А этот человек принимал меня за твоего отца.

— Да, — сказала девушка радостно, — он подстерегал отца, а ты... ты убил его! — И она снова с пылким восторгом сжала его руку.

Но он остался безучастен. Быть может, в вопросах чести он больше сходил с ее отцом.

— Слушай, — сказал он мрачно. — Все думают, что это твой отец его убил. После того как я выстрелил в него — выстрелил потому, что он стрелял в меня первый, — я снова побежал к загону и взял кобылу — подумал, что за мной будет погоня. Я объехал вокруг вашего дома и увидел, что этот человек совсем один и никто за мной не гонится. Тогда я оставил кобылу и снял с себя весь этот маскарад. И тут я услышал голоса его приятелей в лесу и понял, что они нашли тело и счита-

ют, что это — дело рук твоего отца. Но тем временем через лес проехал еще какой-то человек, подобрал вещи твоего отца и увез их.— Джек умолк и хмуро посмотрел на девушку.

Но она все еще ничего не понимала.

— Если бы ты этого не сделал, отец сам разделался бы с ним,— горячо сказала она.— Так не все ли равно?

Но он продолжал по-прежнему угрюмо:

— Так или не так, а я должен занять его место.

Она и теперь не поняла его побуждений, но послушно повернулась к нему, готовая исполнить его волю.

— Значит, ты хочешь пойти вместе со мной и сказать ему все? — покорно спросила она.

— Да,— сказал он.

Она вложила свою руку в его, и так—рука в руке — они начали выбираться из леса. Саломее Джейн мерещились тысячи преград на их пути, но особенно ее страшила мысль о том, что Джек любит ее меньше, чем она его. Она не стала бы так рисковать их счастьем.

Но, увы, героизму и чести не суждено было одержать победу. Когда влюбленные выходили из леса, они услышали стук копыт и едва успели укрыться за деревьями, как мимо них на краденой кобыле вихрем промчался Мэдисон Клей, а следом за ним — его родич.

Саломея Джейн обернулась к своему возлюбленному.

\*

И здесь автор, изложив эту назидательную историю, мог бы дать отдых перу, предоставив страстно влюбленной и не слишком щепетильной девушке, убежав вместе со своим малопочтенным возлюбленным, обречь себя на жизнь в нищете и позоре до могилы, так и оставшись непонятой преступным, но непреклонным отцом. Однако в основе нашего рассказа лежит подлинный случай, и автору приходится обратиться к фактам. Примерно через месяц на одной из сосен, охранявших ворота усадьбы, появилось написанное от руки объявление, оповещавшее о том, что «все имущество, принадлежащее миссис Дарт, дочери Мэдисона Клея, эсквайра, будет продано с аукциона», в соответствии с чем вскоре и было поступлено. А много позднее, лет этак через десять,

автору довелось посетить некую скотоводческую ферму в «стране голубых трав», славившуюся своими породистыми скакунами. Владелец этой фермы был известен, как «лучший знаток лошадей во всей округе».

— Да и не удивительно,— сказал автору кто-то,— ведь, говорят, в молодости он жил в Калифорнии, был конокрадом и чудом спасся от петли, удрав оттуда с дочкой одного богатого фермера. Но теперь это очень честный, всеми уважаемый человек, а по части лошадей его слово — закон, такого не подкупишь! Ну, а жена у него — прямо красавица! Посмотрели бы вы на нее, когда она, разодетая по последней моде, приезжает на скачки,— кто скажет, что это не жена какого-нибудь миллионера, которая всю жизнь провела в Нью-Йорке?



## УХОД ЭНРИКЕСА

Когда мисс Мэннерсли, как уже рассказывалось в одной из предыдущих хроник, сбежала с Энрикесом Сальтильо, ее родным и друзьям легче было простить, чем понять эту совсем не подходящую друг к другу пару. Ведь как ни велико было несоответствие между истинно испанской экспансивностью этого сумасброда и пуританской сдержанностью высокоинтеллектуальной мисс Мэннерсли, Энрикес, что ни говори, был отпрыск старинного испано-калифорнийского рода и должен был со временем унаследовать часть обширных поместий своего отца. Они отправились в Мексику; миссис Сальтильо, как было известно, интересовалась древними памятниками ацтеков, а он всецело покорялся ее желаниям. Я сам, впрочем, зная натуру Энрикеса, сильно сомневался, чтобы он мог попасть в полное подчинение, вопреки общераспространенному мнению, что столь незаурядная личность, как миссис Сальтильо, должна укротить его в самом недолгом времени. С тех пор как он коротенькой запиской, написанной в свойственном ему оригинальном стиле, уведомил меня, что женился, я не получил от него никаких известий. Вполне естественно, что два года спустя я почувствовал сначала некоторое изумление, затем — бурный прилив прежней любви и, наконец, легкие угрызения совести, когда, оторвавшись от гранок в кабинете редакции «Дейли эксельсиор», увидел, что смуглый мальчишка-мексиканец протягивает мне записку, написанную его рукой.

Одного взгляда было довольно, чтобы убедиться, что безукоризненно-правильные обороты речи уроженки Бо-

стона миссис Сальтильо пока еще не подчинили себе неподражаемый испано-американский жаргон, на котором изъяснялся Энрикес:

«Ну, вот мы и прибыли, как требовалось: «Осторожно, не кантовать» — на Телеграфный холм, Дюпон-стрит, 1110. Второй этаж от верху. Звонить один раз, дверь не заперта. «Агентов по продаже книг просят не беспокоиться». Как самочувствие великих борзописцев? Целую ручку! Приходи в шесть — джаз играет с семи — провести твоего друга «мисс Бостон», которая расскажет тебе о древних негритосиках, а заодно и твоего старого дядюшку Энри».

Мне сразу бросились в глаза два обстоятельства: что касается Энрикеса, он вовсе не изменился, зато миссис Сальтильо, несомненно, поступилась кое-какими своими убеждениями. Дело в том, что район, указанный Энрикесом, был известен под названием «испанский квартал» и, хотя в нем жили еще несколько старинных испанских фамилий, не только не считался фешенебельным, но был заселен метисами и всякой мелкой сошкой неамериканского происхождения. Против воли даже нищета не могла бы загнать туда миссис Сальтильо, и тем не менее к моему любопытству теперь прибавилась изрядная доля тревоги за материальное благополучие Энрикеса. Я с нетерпением ждал шести часов, когда все узнаю.

К дому 1110 по Дюпон-стрит я взбирался «с ветерком»: улицу в свое время выравнивали, но дома все же стояли чертовски высоко над мостовой, и попасть в них можно было только по многоярусным деревянным лесенкам, ведущим к парадной двери, которая нависала над улицей на головокружительной высоте шестидесяти футов. Только теперь, умаявшись вконец, я оценил по достоинству старую, как мир, шуточку Энрикеса насчет второго этажа. Я едва не задохнулся окончательно от неистребимого запаха чеснока, обдавшего меня, когда мне отворила смуглая мексиканка в свободной сорочке, готовой, казалось, вот-вот соскользнуть с колышущейся груди, и в накинутаой поперх шали, которую она придерживала одной бронзовой рукой. Нетвердо держась на ногах после подъема на этот узенький намест, откуда открывался вид прямо на дальний залив и берега Контра-Коста, я испытывал виноватое чувст-

во, точно приземлился сюда на воздушном шаре, но женщина встретила меня томной испанской улыбкой, лениво открывающей белые зубы, как будто мое появление было вполне в порядке вещей. Дона Энрикеса, собственно говоря, нет дома, но его ждут с минуты на минуту. Донья Юрения у себя.

«Донья Юрения»? Я даже забыл на миг, что Юренией зовут миссис Сальтильо, так мило и непринужденно прозвучало это имя в испанских устах. Обрадовался я и слушаю еще до прихода дона Энрикеса кое-что разузнать о состоянии дел моего друга и порядках в доме четы Сальтильо. Служанка проводила меня на второй этаж и, открыв дверь, ввела к хозяйке дома.

Карабкаясь наверх к парадной двери, я нес с собой живое воспоминание о мисс Мэннерсли, какой знал ее два года назад. Я вспоминал ее прямую, немного чопорную, тонкую фигуру; ее грациозную, сдержанную осанку, безупречную гармонию и вкус ее туалетов, атмосферу здоровой и скрупулезной чистоплотности, исходившую от нее. В женщине, которая полулежала сейчас передо мной в кресле-качалке, и следа не осталось от чопорности и утонченности. В своем свободном капоте из какой-то легкой, мягкой, но богатой ткани, наброшенном с ленивой небрежностью прирожденной мексиканки, миссис Сальтильо утратила добрую половину бывшего своеобразия. Даже ее ножки с высоким подъемом и тонкой шиколоткой, изящество которых всегда так подчеркивали узкие ботинки или маленькие туфельки, сейчас терялись в тупоносых широких шлепанцах из грубой кожи, скроенных на испанский манер. Волосы, прежде собранные в простой греческий узел, были причесаны на косой пробор. Зато лицо ее с правильными чертами и маленьким алым тонкогубым ртом совсем не изменилось, и карие бархатистые глаза были так же красивы и непроницаемы, как раньше.

С первого же взгляда я заметил, что и обстановка комнаты тоже совсем не вяжется с прежними привычками ее хозяйки. Мебель — правда, красного дерева, старинная, тяжелая — пострадала от чужих и небрежных рук и перемежалась с новой, собранной с бору по сосенке и недвусмысленно сохранявшей казенный, безликий дух меблированных комнат. Как разительно все это

отличалось от изысканно обставленной, наполненной прелестными безделушками гостиной в доме ее дядюшки, где, как каждому было известно, безраздельно господствовал и повелевал ее вкус! Вместо черно-белых гравюр и эскизов с головками Минервы и Дианы по стенам висели две дешевые картинки на религиозные сюжеты: аляповатая святая дева и таинство кровоточащего сердца. В углу у стены я заметил единственный предмет, напоминавший собою об их путешествии: очень занятного вида индейскую «люльку», а точнее, ящичек, висевший вертикально, ярко разукрашенный бусами и расписанный красками — видимо, памятник ацтекской культуры. На круглом столе, покрытом бархатной скатертью со следами употребления (и злоупотребления), были разбросаны книги и письменные принадлежности; в разрозненных листах бумаги я безошибочным чутьем редактора внезапно и с недобрый предчувствием угадал рукопись. Это открытие вместе с прической на косой пробор и живописной небрежностью всего облика доньи Юрени не сулило ничего утешительного.

Она, по-видимому, заметила, как блуждает по комнате мой взгляд, и, когда мы обменялись приветствиями, с улыбкой указала на рукопись:

— Да, это и есть та самая рукопись. Энрикес, я полагаю, до ней уже сообщил? Он говорил, что написал вам.

Я оторопел. Разумеется, до конца жаргон Энрикеса я не уразумел: он был всегда так своеобразен, так непохож ни на что другое. И все же никакого упоминания о рукописи я не мог вспомнить.

— Что-то сказано было, но очень туманно, — залепетал я, чтобы как-то вывернуться. — Впрочем, я, каюсь, так обрадовался предстоящей встрече со старым другом, что на остальное не обратил особого внимания.

— Во время нашего пребывания в Мексике, — как встарь, чеканя каждое слово, продолжала миссис Сальтильо, — я немного занималась историей ацтеков, так как всегда питала глубокий интерес к этому предмету, и, чтобы результаты не пропали даром, решила написать о своих изысканиях. Конечно, это скорее материал для научного бюллетеня, чем для газеты, но Энрикес подумал, что вы, быть может, захотите воспользоваться им.

Я знал, что Энрикес не поклонник литературы и в бы-

лые времена даже отзывался о ней пренебрежительно, хоть и цветисто, по обыкновению; однако я все же постарался как можно более любезно уверить ее, что я в восторге от его предложения и буду рад прочесть рукопись. В конце концов могло ведь случиться, что миссис Сальтильо, женщина образованная и умная, действительно написала пусть не общедоступную, но интересную вещь.

— Стало быть, Энрикес не сетует, что работа порой отнимает вас у него,— смеясь, сказал я.— Вы, кажется, очень практически распорядились вашим медовым месяцем.

— Мы прекрасно сознаем и сознавали с самого начала,— сухо отозвалась миссис Сальтильо,— что у каждого из нас есть свои обязанности. Нам надо жить самостоятельной жизнью, независимо от моего дяди и отца Энрикеса. Мы не только взяли на себя всю ответственность за собственные поступки, но и почитаем оба делом чести самим создать себе необходимые жизненные условия без помощи наших родственников.

Мне подумалось, что это высокопарное заявление можно воспринимать либо как явное позерство, либо как возврат к уже знакомому мне ироническому стилю Юрени Мэннерсли. Я молча поглядел в ее карие близорукие глаза, но, как когда-то, мой взгляд только скользнул по их влажной поверхности, не прочитав, что творится внутри.

— Ну, а каковы же обязанности Энрикеса? — с улыбкой осведомился я.

Я был вполне готов услышать, что энергичный Энрикес, в соответствии со своими специфическими вкусами и наклонностями, стал объездчиком лошадей, скотоводом, профессиональным матадором или даже жокеем на скачках, но был совершенно поражен, когда она преспокойно ответила:

— Энрикес занялся геологией и металловедением — в научном, и только научном плане.

Энрикес — и геология?.. Единственное, что мне припомнилось сейчас в этой связи, были его насмешки по адресу «геолога» — так он именовал профессора Бригса, бывшего поклонника мисс Мэннерсли. А тут еще миссис Сальтильо повергла меня в окончательное смущение, прямо-таки прочитав вслух мои мысли.

— Вы, может быть, помните профессора Бригса,— как ни в чем не бывало продолжала она.— Это один из самых видных здешних ученых и мой старинный друг еще по Бостону. Он взялся руководить Энрикесом. Мой муж делает весьма заметные успехи, мы возлагаем на него большие надежды.

— И скоро ли вы рассчитываете извлечь какую-то практическую пользу из его занятий?— не без ехидства осведомился я: мне что-то не понравилось это «мы» в ее последней фразе.

— Очень скоро,— пропустив мимо ушей все, кроме существа вопроса, ответила миссис Сальтильо.— Вы же знаете, какой Энрикес сангвиник по натуре. Быть может, он и склонен уже сейчас развивать теории, не обосновывая их в достаточной мере фактами. Зато ему свойственна дерзновенность прирожденного исследователя. Его соображения по поводу оолитовых формаций не лишены оригинальности, а в его концепции морских силурских отложений заложены, по мнению профессора, прямо-таки драгоценные зерна истины.

Я взглянул на миссис Сальтильо, которая вооружилась сейчас знакомым мне пенсне, придававшим особую пикантность ее лицу, но не прочел на нем иронии. Она была обворожительно невозмутима, и только. Наступило неловкое молчание. Внезапно его нарушили стремительные шаги по лестнице, дверь широко распахнулась, и в комнату танцующей походкой влетел Энрикес; Энрикес, ничуть не изменившийся от лоснистой черной, как смоль, макушки до кончиков своих маленьких, узких ног, породистых, как у арабского скакуна, Энрикес — со своими тонкими выходящими усиками и отчаянно-озорными глазами на каменном лице,—точно такой, каким я знал его всегда!

На минуту, словно пораженный ослепительным видением, он картинно качнулся и принял к косяку. Затем он сказал:

— Что я вижу? Сон ли это или я... как его... сбрендил? Мой лучший друг и моя лучшая... виноват, моя единственная жена! Обними меня.

Он восторженно обнял меня, с быстротою молнии подмигнул мне, порхнул к миссис Сальтильо, опустил па-

ред ней на одно колено, поднес к губам носок ее шлепанца и вслед за этим, якобы в полном изнеможении, рухнул на диван, бормоча:

— Столько счастья — и все в один день! Нет, это слишком!

Я заметил, что, пока он проделывал все это, его жена наблюдала за ним с оценивающим и чуть насмешливым выражением — точно так же, как рассматривала его в те дни, когда он так своеобразно ухаживал за ней. Видно, ей еще не наскучили его чудачества, хотя ее манера держаться по-прежнему оставалась для меня загадкой. Но вот она встала.

— Вам, я думаю, многое нужно сказать друг другу — я оставляю вас наедине. — И, повернувшись к мужу, добавила: — Насчет рукописи об ацтеках я уже говорила.

При этих словах Энрикес снова вскочил на ноги.

— А! Древние негритосики — ты прочел? — Я начал кое-что понимать. — Моя жена, мой лучший друг и маленькие древние негритосики — все в один день! Это предел!

Впрочем, несмотря на столь дивное и ошеломляющее стечение обстоятельств, он все же нашел в себе силы поспешить к жене, поцеловать ей ручку, подвести ее к двери в смежную комнату и, отвесив ей вслед низкий поклон, вернуться ко мне.

— Так вот что это за древние негритосики, о которых говорится в твоей записке, — заметил я, указывая на рукопись. — Черт, ведь я же ни слова не понял!

— Ах, мой маленький брат, ты воистину переменился! — скорбно произнес Энрикес. — Что ты, перестал понимать американскую речь или слишком высоко занесся, как стал редактором? Слушай же меня! Этих ацтеков моя жена изучила досконально. Она шла по следам негритянского старикана до самой его пещеры, до его жилища, где он умер тысячу лет назад. Я самолично помогал ей, хотя это мне не по вкусу, потому что эти мумии — ты понимаешь, Панчо, — они не живые. А если мумия не живая, то поверь — будь это даже мумия молодой барышни, ты не откроешь для нее свое сердце. Но моя жена, — тут он прервал свою речь и послал воздушный поцелуй в сторону двери, за которой она скрылась, — ах, она изумительна! Она в момент написала их историю, их портрет

с натуры! Ты возьмешь их, мой маленький брат, для своей газеты. Ты напечатаешь большими буквами: «Внимание, внимание! Аутек! Его нашли. Какой он был, и как он жил. Вечный негр». Ты продашь много газет, а Юрения начнет загребать лопатой монету и брильянты. Гопля! Потому что, понимаешь ли, мы с женой договорились, что она прощает своего дядюшку, а я прощаю своего отца, но ни цента, ни полцента, ни четверти цента мы от них не берем! Мы независимы! Мы сами себе Четвертое июля<sup>1</sup>. Объединенные, мы выстоим, разобщенные — падем. Усвоил? *Виспо* <sup>2</sup>!

Невозможно было остаться равнодушным, когда он дурачился, произнося самым проникновенным тоном невообразимые вещи с важной миной и лукавым блеском черных глаз, с белозубой усмешкой, мгновенно вспыхивавшей на неподвижной и серьезной физиономии. Тем не менее я все-таки справился с собой и спросил:

— А что это, Энрикес, у тебя за дела с геологией? Его глаза лукаво заискрились.

— А! Ты сейчас услышишь. Но сперва ты должен выпить. У меня имеется очень старый «бурбон»<sup>3</sup>. Он не такой старый, как аутек, но, поверь мне, в нем куда больше жизни. Постой! Погоди-ка!

Он уже шарил по полке, но, видимо, безуспешно. Тогда он обследовал буфет — и снова никаких результатов. Наконец, он накинудся на огромный ящик, яростно швыряя на пол образчики какой-то породы, каждый — с аккуратной наклейкой. Один подкатился к моим ногам, и я поднял его. На ярлычке значилось: «Песчаник обломочный». Я поднял еще один — наклейка была такая же.

— Так ты и вправду собираешь камни? — изумленно проговорил я.

— *Ciertamente!*<sup>4</sup> — отозвался Энрикес. — А ты думал, я валяю дурака как-нибудь иначе? Я расскажу тебе про геологию, как только найду эту бессовестную бутылку. А! Вот она куда спряталась! — Он извлек из ящика едва початую бутылку виски: пристрастием к спиртному

---

<sup>1</sup> День независимости США.

<sup>2</sup> Хорошо! (исп.)

<sup>3</sup> Сорт виски.

<sup>4</sup> Разумеется (исп.).



Энрикес не грешил.— Скажешь, когда хватит. Ну, за нас с тобой, дорогих и любимых!

Когда он осушил рюмку, я подобрал еще один камешек из его коллекции. Снова та же наклейка.

— Песчаник обломочный у тебя представлен богато,— сказал я.— Где ты его берешь?

— На улице,— невозмутимым тоном отвечивал Энрикес.

— На улице?— эхом повторил я.

— Да, мой друг! Его фамилия—«булыжник», а у себя дома, за городом, он зовется «окатыш». Он же—«мелкий валун». Я подбираю его, я его раскалываю, и он дает мне три самостоятельных образца песчаника обломочного. Я приношу его в кармане домой, к своей жене. Она ликует, мы счастливы. Вечером я сажусь и делаю ему наклейку, а моя жена, она садится и пишет про ацтеков. Ах, мой друг, нет сомнений, что геология—чудесная, пре-вос-ходная наука, но изучать жену, учиться ублажать ее—эта наука, поверь мне, куда прекраснее! Можешь поверить старому дядюшке Энри—он зря не скажет! В этом вопросе он бьет в самую точку и никогда не промахнется!

— Да, но этот твой геолог,—быстро спросил я,—этот профессор Бригс—он-то что говорит, видя, как часто в твоих занятиях повторяется период песчаника обломочного?

— Он ничего не говорит. Ты понимаешь? Он ученый геолог, но он также в безмерном восхищении от моей жены.—Энрикес прервал свою речь, чтобы послать еще один воздушный поцелуй в сторону двери, и закурил сигару.—Геолог не желает омрачать своим друзьям счастливый вечер из-за таких мелочей. Он наклоняет голову набок—вот так, и он говорит: «Не мешало бы для разнообразия добавить известняка или гранита, на Монтгомери-стрит идет строительство». Я ловлю намек на лету, как слепая кобыла—взгляд хозяина. Я беру часть здания, которое возводит себя на Монтгомери-стрит. Я раскалываю ее, я приношу ее домой. Я опять сажусь у ног моей красавицы Юренин, и я делаю наклейку: «Известняк», «Гранит»,—но я не прибавляю: «Осколок банка «Пэррот»—это не нужно для нашего счастья.

— И ты занимаешься всем этим, только чтобы угодить жене? — без обиняков спросил я.

— Мой друг, ты задал мне задачу, — ответил Энрикес, примостившись на спинке дивана, поглаживая себе колено и задумчиво попыхивая сигарой. — Спроси меня что-нибудь полегче! Да, это правда, многое я делаю для того, чтобы доставить удовольствие Юренин. Но я признаюсь во всем. Взгляни, мой маленький брат, я стою перед тобой в *camisa* — в одной рубашке. Я фискал, я сам себя выдаю.

Он торжественно встал с дивана и, выдвинув один из ящиков гардероба, достал маленькую коробочку. Открыв ее, он вынул несколько образцов золотиносного кварца и горсточку золотого песку.

— Это, друг Панчо, — моя собственная геология, — сказал он. — Из-за этого я и стал такой, каким ты меня видишь. Но я ничего не говорю Юренин, ибо золото как таковое, или, как она говорит, «вульгарное золотиискательство», внушает ей ужасное отвращение, а также, поверь мне, страх, как бы «спекулятивные занятия» не повлияли на мой *temperamento*, — ты понимаешь, Панчо? На мой темперамент! Вообрази только, мой брат! И это говорится про меня, который прежде всего и превыше всего — *filosofol* — Он посмотрел на меня совершенно шалым взглядом, сохраняя предельно серьезное выражение лица. — Но так проявляется ревнивая любовь супруги, друг мой, и ради этой любви я, чтобы потешить ее, забавляюсь скромными маленькими окатышами, а не золотиносным кварцем, который вселяет страх.

— Да на что тебе этот кварц, раз ты и акционером нигде не состоишь и на бирже не играешь? — спросил я.

— Извини, пожалуйста! Вот тут ты промахнулся, мой маленький друг.

Он извлек из того же ящика портфель, расстегнул его и вытащил штук десять проспектов и акций золотых приисков. Я так и ахнул при виде названий, которые за последние десять лет приобрели скандальную известность, — то были «прогоревшие» прииски, искусственно возвращенные к жизни в Лондоне, Париже и Нью-Йорке на беду акционеров за океаном и на потеху посвященных из Калифорнии. Мне стоило труда сохранить самообладание.

— Неужели ты хочешь сказать, что возлагаешь какие-то надежды на этот хлам? — быстро спросил я.

— «Хлам», как ты выразился, мой добрый Панчо, — это то, что на приисках сами навьючили на себя американские дельцы: реклама, непомерные расходы, высокое жалованье, высокие обложения, конкуренция. А ведь это, заметь себе, старые мексиканские прииски. Их разрабатывали еще при моем отце и деде, когда тебя даже на свете не было, а американцы и не догадывались, что в Калифорнии есть золото.

Я знал, что он говорит правду. На нескольких из них, в южной части штата, издавна добывали серебро; работали там пеоны и невольники-индейцы, а оснащения на каждом только и было, что канатная лебедка да престарелый осел.

— Но ведь то серебряные рудники, — подозрительно заметил я. — А образцы у тебя золотиносные.

— Они от одной матери, — отозвался невозмутимый Энрикес, — из одной и той же копи. Старый пеон трудился на прииске ради серебра, ради драгоценного доллара, который может купить все, что хочешь, и на галеонах отправлял его на Филиппины в обмен на шелка и пряности. Ему и этого было довольно! А золото ему было безразлично, точь-в-точь как моей женушке Юрени. И знаешь что? У моего отца есть любимая поговорка, которая гласит: «Пока до серебра докопaeшься, рудник золота уйдет» — так это дорого обходится. Ты берешься его разрабатывать и остаешься в накладе! *Naturalmente*<sup>1</sup>, если ты это дело повернешь наоборот, если пока докопaeшься до золота, уйдет всего-навсего рудник серебра, ты окажешься в барыше! Простая логика!

Это упомогающее заключение было сделано с такой серьезной миной, что от моей собственной серьезности не осталось и следа. Впрочем, поскольку никогда нельзя было поручиться, что Энрикес не разыгрывает тебя нарочно с какой-нибудь тайной целью, я тоже позволил себе подпустить шпильку:

— Да, это все понятно, а вот как насчет геолога? Он не расскажет твоей жене? Ты ведь знаешь, он был большой ее поклонник.

---

<sup>1</sup> Естественно (исп.).

— Это означало бы, что он наделен редкостной способностью, мой Панчо. Для него все это двойное «с»: совершенно секретно.

Заводить серьезный разговор, когда он пребывал в подобном настроении, было бессмысленно. Я собрал разбросанные листки рукописи и шутливо заметил, что так как его жена вправе первой претендовать на мое время, я познакомлюсь с материалами об ацтеках и через день-другой сообщу свое мнение. Зная, что в присутствии этих двух живых загадок я окончательно потеряю почву под ногами, я попросил его не звать жену, а передать ей от меня до свидания и, несмотря на его объятия и протесты, ухитрился выскочить из комнаты. Но едва я дошел до парадной двери, как услышал голос Энрикеса, а вслед за тем и сам он кубарем скатился вниз по лестнице. Мгновение — и его рука обвилась вокруг моей шеи.

— Ты должен вернуться моментально! Мать божия! Я забыл, она забыла — мы все забыли! Ведь ты не видел его!

— Кого?

— El niño, малыша! Ты понимаешь, свинтус? Нашего маленького ребенка!

— Ребенка? — оторопело переспросил я. — А разве... разве есть и ребенок?

— Ты слышишь? — возопил Энрикес, взывая к верхней ступеньке. — Ты слышишь, что он говорит, Юрениа? Ты понимаешь? Этот бесстыжий маленький брат спрашивает, есть ли ребенок!

— Извини, пожалуйста, — сказал я, торопливо поднимаясь назад по лестнице.

На площадке я столкнулся с миссис Сальтильо, правда, столь же бесстрастной, хладнокровной и собранной, сколь шумен и неистов был ее супруг.

— Это оплошность Энрикеса, — спокойно проговорила она, входя вместе с нами в комнату, — и тем более странная, что ребенок все время находился в комнате вместе с вами.

Она указала в угол, где на стене висел предмет, принятый мною вначале за старинную индейскую диковинку. К ужасу моему, в этом ящичке из коры оказался живой младенец, спеленатый и увязанный в лучших индейских традициях. Он, по-видимому, спал, но при звуке

материнского голоса открыл блестящие глазки — две черничинки на крохотном, словно выточенном из слоновой кости личике языческого божка, и проворковал: «Гу». Миссис Сальтильо с нерушимым спокойствием стала по одну сторону колыбели, а по другую, молитвенно сложив руки, как перед образом младенца Христа, застыл в театральной позе Энрикес. Что касается меня, я от изумления лишился дара речи, но, к счастью, мое замешательство было отнесено за счет холостяцкой неискушенности.

— Я применяю такую методику обращения с ребенком, — с едва заметным оттенком материнской гордости произнесла миссис Сальтильо, — которая, по моему убеждению, является единственно здоровой и естественной для человеческого детеныша. В ней могут усмотреть возврат к первобытным обычаям, но пусть мне сначала докажут, что она не более совершенна, чем система, принятая в нашем цивилизованном обществе. При помощи вот этих пеленок конечности младенца удерживаются в нужном положении, пока не окрепнут настолько, чтобы поддерживать туловище, и деформация последнего, таким образом, исключается. Колыбель, пришедшая на смену инкубационной оболочке, предохраняет от внешних повреждений, от неразумного баловства со стороны нянек, от так называемого «сучения ножками» и пагубной практики укачивания. Лежачее положение, как и у взрослых особей, вводится лишь на ночь. При помощи лямки мы можем переносить его на далекие расстояния — либо я, либо Энрикес, который, таким образом, поровну делит со мною обязанности и заботы по воспитанию ребенка, что он в полной мере и одобряет.

— А он у вас и правда... не плачет, — запинаясь, пробормотал я.

— Плач ребенка, — молвила миссис Сальтильо, скривив хорошенькую пунцовую губку, — есть выражение протеста против нездорового и неестественного обращения с ним. В этой стоячей, немудреной колыбели он огражден от безрассудных нежностей и опасных беспорядочных лобызаний, которым так часто подвергается младенец, взращиваемый на руках. А главное — он избавлен от этого бесстыдного и унижительного обычая выставять детей напоказ, столь несправедливого по отношению к слабому и еще не сформировавшемуся существу. За

такую предусмотрительность ребенок платит благодарным молчанием. Мы не можем рассчитывать, что он поймет наши мысли, речи, поступки, он не способен принять участие в наших развлечениях. Зачем же насильственно и преждевременно вовлекать его в соприкосновение со всем этим, ради того лишь, чтобы удовлетворить свое тщеславие и эгоизм? Почему мы должны считать собственный опыт деторождения чем-то из ряда вон выходящим? Единственно из этих соображений мы и не делаем нашего отпрыска центром внимания в присутствии гостей, как принято у молодых супругов, и этим же, вероятно, объясняется мнимая забывчивость Энрикеса, который не заговорил о ребенке и не показал его вам. На мой взгляд, он поступил даже несколько опрометчиво, когда позвал вас обратно посмотреть на нашего сына. Не подобает без предваряющего объяснения знакомить с неким чуждым существом низшего порядка, так что Энрикес мог бы прежде спросить, желаете ли вы видеть ребенка, а уж потом звать вас.

Я перевел взгляд с загадочного лица Юрении на непроницаемую физиономию Энрикеса. С той или другим в одиночку я еще мог бы тягаться; вдвоем они были несокрушимы. Я беспомощно уставился на младенца. Со своими смысленными глазенками на безмятежно-спокойном личике он был точной копией Энрикеса, только в миниатюре. Я сказал об этом.

— Тут нет ничего странного,—сухо отозвалась миссис Сальтильо.— И поскольку среди людей это, как я понимаю, случай далеко не исключительный, мне непонятно, отчего о нем всякий раз объявляют, словно о каком-то откровении. Впрочем, со временем, несомненно, подобные проявления наследственности будут преодолены прогрессом и наукой во имя совершенствования человеческой расы. Нет нужды говорить, что и Энрикес и я ждем этого спокойно и уверенно.

Теперь уж мне определенно не оставалось ничего другого, как откланяться и уйти. Однако вся сцена оставила у меня такое сильное впечатление чего-то нарочитого, что, дойдя до парадной двери, я почувствовал большое искушение внезапно вернуться и застать их врасплох в нормальном и естественном состоянии. Не могли же они продолжать эту игру наедине! Я не удивился бы, уви-

дев в окне их смеющиеся лица, когда, готовясь начать опасный спуск на улицу, взглянул наверх.

Рукопись миссис Сальтильо была, как я убедился, написана хорошо, а в повествовательных местах — даже ярко, с блеском. Я вымарал несколько общих высказываний о вселенной и кое-какие попутные теоретические рассуждения о бытии как не относящиеся непосредственно к ацтекам, а также ввиду отсутствия неутолимой жажды знаний у читателей «Дейли эксельсиор». Я даже произвел своего прелестного автора в ранг сотрудницы газеты, объявив, что поездка в Мексику была совершена ею специально по заданию и на средства — причем небольшие — редакции «Эксельсиора». Это сообщение вместе с несколькими суховатыми рисунками и акварелями миссис Сальтильо, выполненными в манере прерафаэлитов и отвратительно воспроизведенными в печати, придали прямо-таки сенсационный характер ее произведению, которое дня три подряд печаталось частями, занимая целую полосу. Не знаю, явилось ли оно большим вкладом в этнологию, однако, как я отметил в передовой статье, оно послужило свидетельством того, что стремление к наживе не окончательно истребило в сердцах калифорнийцев тягу к научным изысканиям, а так как два или три ученых мужа не замедлили обрушиться на него в пространственных статьях, то и редакционный портфель пополнился материалом.

Короче говоря, как для автора статьи, так и для «Дейли эксельсиор» это была превосходная реклама. Я должен прибавить, однако, что газета-конкурент намекнула, будто это оказалось неплохой рекламой и для супруга миссис Сальтильо, поскольку в статье, помимо новых сведений об ацтеках, содержится красочное описание заброшенного мексиканского прииска, который носит название «Эль Болеро», причем это название вновь появляется на страницах той же газеты в разделе объявлений. Я с возмущением раскрыл подшивку «Эксельсиора», и, как ни странно, действительно обнаружил в подробном проспекте новой золотопромышленной компании описание прииска «Эль Болеро», взятое из статьи об ацтеках, а ниже — цветистые призывы помещать капитал в предлагаемую разработку старого рудника. Если бы даже я сразу не узнал в авторе Энрикеса по этим вычурным

английским фразам и витиевтому стилю, я имел полную возможность прочесть его имя, рядом с которым черным по белому значилось, что он и есть президент компании «Эль Болеро». По-видимому, это был проспект одного из задуманных им предприятий, о которых он рассказывал. Эта маленькая уловка, обманувшая мою редакторскую прозорливость, скорее позабавила, чем раздосадовала меня. В конце концов, если я таким образом содействовал благоденствию молодой четы, я был доволен.

Я не виделся с ними со времени моего первого визита, так как был очень занят; с миссис Сальтильо я общался лишь через посредство писем и гранок. А когда я, наконец, все-таки собрался к ним зайти, оказалось, что они уехали гостить в Сан-Хосе. Интересно, подумал я, остался ли их младенец висеть на стене в гостиной или отправился с родителями, и если так — на чьей спине...

Неделю спустя была объявлена номинальная цена акций «Эль Болеро». Более того, вокруг всех заброшенных мексиканских приисков началось необъяснимое оживление, и держатели акций принялись разыскивать свои квитанции, которые прежде сунули куда-нибудь за ненадобностью. Была ли то очередная вспышка лихорадки, которая в те дни то и дело охватывала калифорнийских золотоискателей, или просто Энрикес Сальтильо заразил дельцов своим сумасбродством, — этого я никогда не узнал, но только на бирже с серьезностью, не уступающей его собственной, выдвигались планы столь же головокружительные, изобретения столь же фантастические, аргументы столь же нелогичные, как и те, что исходили от него самого. Вероятнее всего, это объяснялось тем, что доныне, как всем было известно, калифорниец испанского происхождения с акциями золотых приисков дела не имел и вообще оставался непричастен к добыче золота на его родной земле, почитая это занятие несовместным с патриархальным укладом его жизни и достоинством землевладельца, а потому, когда «отпрыск одной из стариннейших испанских фамилий, из века в век неразрывно связанных с этим краем и знающий все его особенности, решил стать участником разработки его минеральных богатств, — прошу извинить, я цитирую по объявлению, помещенному в «Эксельсиоре», — это надежный залог успеха». Пророчество это оказалось более



чем справедливым: не прошло и недели, как Энрикес Сальтильо был богат и на верном пути к тому, чтобы стать миллионером.

\*

Был жаркий вечер, когда я вышел из нестерпимо душной уингдэмской кареты и остановился на широкой тенистой веранде гостиницы «Каркинес-спрингс». Стряхнув с себя пыль, которая красноватым дымком лениво вилась за нами по горной дороге, изредка залетая в окна кареты, я поднялся в комнату, снятую на время моего недолгого отпуска. Я хорошо знал это место, хотя сразу увидел, что саму гостиницу недавно расширили и отделали заново в соответствии с возросшими требованиями моды. Я знал лес, где росли огромные секвойи и где можно было заблудиться в пяти минутах ходьбы от веранды, знал каменистую тропу, которая вилась по горе меж гигантскими валунами, избегая к источнику. Я знал иссохший от жажды сад, где толстым слоем оседала придорожная пыль и наспех посаженные тропические растения никли на беспощадном осеннем солнце, обретая утром и вечером обманчивую свежесть под струей воды из шланга. Знакомы были мне и прохладные успокоительные ветры, что слетали по ночам с далеких и невидимых снеговых вершин, едва на небе высыпали сказочной величины звезды, и так редко дарили успокоение возбужденным обитателям гостиницы. Ибо этих взвинченных, издерганных делами людей, бежавших от сухих, знойных равнин Сакраменто или пронизывающих морских туманов Сан-Франциско, никогда не покидало лихорадочное беспокойство, загнавшее их сюда. Не привыкшие к досугу, томясь вынужденным бездельем, они искали развлечения в самых неистовых забавах, а бодрящий горный воздух лишь сильнее подстегивал их нервы, заставляя предаваться удовольствиям с тем же азартом, с каким они предавались делу, оставленному позади. Не зная иного отдыха, они сломя голову скакали по опасным горным дорогам; бешеными кавалькадами проносились по величавым лесам; картежничали в своих номерах, где богачи, вырвавшиеся на волю, спускали крупные суммы; устраивали ужины с шампанским и импровизированные балы,

продолжавшиеся всю ночь напролет — всю покойную, тихую ночь, пока первые лучи рассвета не загорались на далеких вершинах снежных гор. Люди без воображения, они за краткий срок своего пребывания здесь не столько искали у природы сочувствия и тишины, сколько теснили и оскорбляли ее в ее собственных владениях. За глыбами валунов были разбросаны игральные карты, в глуши лесов валялись пустые бутылки из-под шампанского.

Я вспомнил все это, когда, приняв ванну, чтобы освежиться с дороги, вышел на балкон и увидел, как к дому подкатила коляска, запряженная шестеркой взмысленных, покрытых пылью лошадей, которыми правил известный богач. Когда очаровательные пассажирки, разгоряченные, потные, с пылающими под густой вуалью лицами, блистая великолепием летних туалетов, сошли на землю, а мужчины, посмотрев с довольным видом на свои часы, принялись поздравлять торжествующего возницу, я догадался, что источником захватывающих ощущений был знаменитый «заезд на время», предпринятый, скорее всего на пари, по горной дороге под палящим солнцем.

— Неплохо, а? За сорок четыре минуты от самой вершины!

Голос прозвучал где-то под боком. Я быстро обернулся и увидел молодого маклера, с которым встречался в Сан-Франциско; он стоял, опершись на перила соседнего балкона. В этот миг внимание мое привлекла женщина, лицо и фигура которой показались мне знакомы, — она как раз выходила из коляски.

— Кто это? — спросил я. — Вон та дама в сером, прямая, стройная, в фетровой шляпке с белой вуалью?

— Миссис Сальтильо, — ответил он. — Жена того самого Сальтильо из «Эль Болеро». Да, знаете, чертовски хорошенькая женщина, хоть и гордячка, да и чопорна немного.

Значит, я не ошибся!

— А Энрикес... а ее муж тоже здесь? — быстро спросил я.

Мой сосед рассмеялся.

— Ну, едва ли. Здесь, знаете ли, скорее место для чужих мужей.

Увы! Я это знал, и мне мгновенно пришли на память все сплетни, все гаденькие скандальные истории, связанные с этим бойким, развеселым караван-сараем. Я был готов возмутиться его намеком, но тут он сказал нечто более важное:

— А потом, если верить слухам, Сальтильо оказали бы здесь не слишком горячий прием.

— Не понимаю,— быстро сказал я.

— Ну как же, после того скандала, который у него вышел с компанией «Эль Болеро».

— Я не слышал ни о каком скандале.

Маклер недоверчиво усмехнулся.

— Полноте! А еще зоветесь газетчиком! Впрочем, возможно, они и постарались замаять эту историю, чтобы она не попала в газеты и не повлияла на курс акций. Так или иначе, но, видимо, в один прекрасный день Сальтильо устроил членам правления хорошенькую бучу, объявил, что они жулики и проходимцы и он позорит звание испанского идальго, имея с ними дело. Болтал, говорят, про испанского короля Карла Пятого или еще какого-то венценосного простофилю, который доверил этот край попечению его предков! Спятил, да и все тут, надо полагать. А вслед за этим вышел из компании и продал все свои акции. Так что, сами понимаете, здесь его встретили бы без особого восторга, тем более, раз тут Джим Бестли,— он указал на богача, сидевшего на козлах,— который тоже входил в правление. Так-то вот. Либо это хитрый маневр, либо он попросту рехнулся. Подумать только — бросить такой лакомый кусок!

— Вздор! — с сердцем сказал я. — Да, он малый горячий, порывистый. Это естественно для человека его нации, но в здравомыслии, я думаю, он не уступит никому из тех, кто сидел вместе с ним в правлении. Тут либо какая-то ошибка, либо вам не все известно.

Между тем мне не хотелось перемывать косточки старого друга с малознакомым человеком, и я только подивился втайне его поведению, припоминая, как искусно он повел с самого начала дела «Эль Болеро» и прямо-таки заморозил акционеров. Разумеется, эту историю исказили, передавая из уст в уста. Я никогда не задумывался над тем, какое впечатление могут производить эксцентричные выходки Энрикеса на людей прозаиче-

ских — мне самому они представлялись лишь забавными, — и предположение маклера уязвило меня. Впрочем, ведь здесь же, в гостинице, сейчас миссис Салтильо, и я, несомненно, увижусь с ней. Будет ли она со мною столь же откровенна?

Меня ждало разочарование: ни в гостиниой, ни на веранде я ее не нашел и, так как жара по-прежнему стояла небывалая, направился к чаще секвой, помедлив минуту в тени и набираясь храбрости, чтобы перебежать раскаленный сад. К удивлению своему, едва я миновал гигантские деревья, стоявшие на опушке, словно часовые, как обнаружил, что по какой-то необычайной прихоти атмосферы дуновение прохладного воздуха, постоянно веявшее меж колоннами стволов, сегодня не ощущается; здесь было определено жарче, чем на открытом месте, и весь лес был насыщен густым и пряным ароматом хвои. Я повернул назад в гостиницу, снова поднялся к себе в спальню и бросился в кресло у открытого окна.

Моя комната была почти в конце крыла; крайний, угловой номер находился рядом с моим, на той же площадке. Его закрытая дверь была расположена под прямым углом к моей и выходила на лестницу; с того места, где я сидел, ее было прекрасно видно. Помню, я еще порадовался, что она закрыта и я могу держать открытой свою, не рискуя никого стеснить.

В доме было очень тихо. Листья вяза по ту сторону дороги безжизненно обвисли; на веранде внизу кто-то зевнул. Я бросил недокуренную сигару и закрыл глаза.

Думаю, что я забылся на несколько секунд, не более, но тотчас очнулся оттого, что все здание тряслось и содрогалось. С трудом вставая с кресла, я заметил, что четыре картины напротив отделились от стены и свесились на своих веревках к середине комнаты, а моя дверь отворилась настежь и ударилась о внешнюю стенку. В ту же минуту, под воздействием того же мощного толчка, дверь углового номера, выходившего на лестницу, тоже распахнулась. В этот краткий миг мне открылась комната, а в ней две фигуры: мужчина и женщина, прильнувшая к нему в паническом ужасе. Это продолжалось всего мгновение; последовал еще один толчок, картины стукнулись о стену, дверь крайней комнаты с треском захлопнулась, скрыв от меня странное видение, и

моя дверь тоже поехала обратно. Предвидя опасность, я метнулся к двери, зная по опыту, что стены могут осесть и тогда ее не откроешь. Но дверь уже все-таки застряла, хоть и оставалась щель дюйма в два, и прочно заклинилась в этом положении. По стуку поворачивающейся ручки и торопливым голосам за дверью крайней комнаты я понял, что там случилось то же самое, только их дверь уже плотно закрылась.

Землетрясения были мне не в новость, я знал, что со вторым толчком почва оседает и непосредственная опасность минует, а потому мог уже спокойнее прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Сначала, как обычно, послышался внезапный топот множества ног, чей-то одинокий вопль, чье-то проклятье, полуистерический смех — и тишина. Затем суматоха поднялась вновь, раздались возбужденные голоса, кричавшие все разом, в холлах и коридорах взволнованно звали тех, кого не оказалось на месте. Потом я услышал на лестнице торопливый шелест женских юбок, и одна из обитательниц отеля нетерпеливо постучала в дверь крайней комнаты, по-прежнему наглухо закрытую. При первом же звуке торопливое перешептывание и возня с дверной ручкой прекратились.

— Миссис Сальтильо, вы здесь? — позвал женский голос. — Вы очень испугались?

«Миссис Сальтильо!» Так это она в крайней комнате! Я подступил ближе к своей все еще приоткрытой двери, которую нельзя было сдвинуть ни туда, ни сюда. Вскоре из соседнего номера донесся принужденно-веселый голос — голос миссис Сальтильо:

— Нисколько. Я тотчас сойду вниз.

— Пожалуйста, — подхватила непрошенная гостья. — Все уже кончилось, но мы идем в сад, там безопасней.

— Хорошо, хорошо, — отозвалась миссис Сальтильо. — Не ждите, душенька. Я сейчас. Ну, бегите же.

Гостья, видимо, все еще нервничала и была только рада уйти: я услышал на лестнице ее удаляющиеся шаги. Возня в крайнем номере возобновилась, и наконец, очевидно, под сильным нажимом, дверь поддалась, открывшись настолько, что миссис Сальтильо удалось протиснуться наружу. Я отступил в глубь комнаты. Мне почудилось, что, когда миссис Сальтильо проходила мимо, дверь скрипнула, как будто моя соседка, увидев ее при-

открытой, тронула ее рукой, пробуя, закроется ли она. Я подождал, но никто больше не вышел. У меня зародилось сомнение: может быть, я ошибся? Я уже потянулся к сонетке, чтобы вызвать коридорного, который помог бы мне открыть мою собственную дверь, но, повинувшись внезапному побуждению, остановился. Если в соседней комнате еще кто-то есть, он может выйти как раз в тот миг, когда на мой зов явится слуга, и тогда не миновать огласки. Я оказался прав. В следующее мгновение из соседнего номера выскользнула мужская фигура — лица я разглядеть не мог, — мелькнула мимо моей двери и, крадучись, спустилась по лестнице.

Убедившись, что я не обманулся, я решил скрыть, что во время происшествия находился у себя в номере; никого не стал вызывать, а удвоил свои старания и в конце концов отодвинул дверь настолько, что сумел выбраться в коридор, и сразу же поспешил в сад к остальным постояльцам. Там, с характерной для этой публики бесшабашной удалью, землетрясение уже превратили в шутку, и единственным проявлением осмотрительности было предложение провести всю ночь в лесу на открытом воздухе и устроить там пикник при свете факелов. Оно было принято с шумным восторгом. Уже закипели приготовления, решено было доставить в ближнюю рощу секвой палатки, одеяла и подушки; обед и ужин предполагалось готовить на костре, а есть — на пнях и стволах упавших деревьев. Землетрясение использовали как предлог для одного из самых изощренных и необузданных увеселений, какие когда-либо затевались в Каркинес-спрингс. Впрочем — видимо, благодаря хорошо развитому чувству юмора, с особой силой овладевающему всяким американцем в критических ситуациях подобного рода, — никчемность этой пустой и экстравагантной выходки несколько сгладилась, когда стало известно, что кое-кто из компании, переодевшись в костюмы индейцев, возьмет на себя обязанности гостиничной прислуги, причем каждый будет изображать кого-нибудь из персонала, начиная от всемогущего хозяина гостиницы и кончая щеголем-портье.

Во время этих приготовлений я улучил минутку и подошел к миссис Сальтильо. Мне показалось, что, узнав

меня, она слегка вздрогнула, но, здороваясь, была, как обычно, безукоризненно вежлива и невозмутима.

— Вы здесь давно? — спросила она.

— Только что приехал,— смеясь, отвечал я.— Как раз подошел к землетрясению.

— Ах, так и вы его почувствовали? Я тут рассказывала дамам, как наш замечательный геолог профессор Бригс уверил меня, что сейсмические колебания в Калифорнии имеют очень дальний очаг и редко представляют собой серьезную опасность.

— Весьма отрадно, наверное, когда в такой момент можешь рассчитывать на поддержку геологии,— не сдержался я, хоть не имел ни малейшего представления о том, кто был мужчина, которого я видел, и не заметил среди присутствующих никого, похожего на профессора. До нее же, по-видимому, скрытый смысл моих слов не дошел вовсе.

— А где Энрикес? — продолжал я.— Ему этот сегодняшний пикник пришелся бы по вкусу.

— Энрикес сейчас на ранчо Сальватьерра, которое он недавно купил у своего двоюродного брата.

— Ну, а ребенок? Разве не прекрасный случай повесить его сегодня ночью на секвойю прямо в колыбельке!

— Мальчик больше не в колыбели,— живо отозвалась миссис Сальтильо.— Он вышел из стадии куколки и теперь развивает свои окрепшие конечности на свободе. Он остался с отцом. Я не одобряю, когда детей помещают в беспорядочную обстановку гостиницы. Я и сама нахожусь тут лишь затем, чтобы пополнить свои запасы озона, как показано при мозговом истощении.

Она была так прелестна в своем сером платье, так строга и подтянута — совсем как прежняя благовоспитанная мисс Мэннерсли,— что я ни о чем другом и думать не посмел, кроме как о ее умственном истощении, которое, кстати сказать, отнюдь не вызвало у нее душевной депрессии. Меж тем мне ясно было, что все это не добавляет ничего нового к тому, что мне известно о положении дел Энрикеса, если только вся история, рассказанная маклером, не выдумка. Однако расспросить подробнее я не решился.

— Вы не помните профессора Бригса? — вдруг спросила она.

Этот вопрос мгновенно пробудил во мне подозрения, внушенные мимолетной сценой в соседней комнате; я почувствовал, что краснею. Она, кажется, ничего не заметила и держалась по-прежнему как ни в чем не бывало.

— Как же, помню. Он здесь?

— Да, и это мне так неприятно. Видите ли, после истории с членами правления и ухода Энрикеса из «Эль Болеро» я, несмотря на то, что Энрикес со свойственной ему запальчивостью поступил, быть может, несколько опрометчиво, на людях, естественно, становилась на сторону мужа, ибо, сохраняя нашу личную независимость неприкосновенной, мы верим в полное единение перед лицом общества.

— Но какое отношение имеет к делам компании профессор Бригс? — перебил я.

— Профессор состоял при правлении научным консультантом по вопросам геологии, и именно его доклад или совет послужил причиной того, что Энрикес выступил против членов правления. Речь шла о принципе, затрагивающем честь Энрикеса, а ведь для испанца честь превыше всего.

— Расскажите мне, что произошло, прошу вас, — взмолился я. — Мне так хочется узнать всю правду.

— Так как меня при этом не было, — отозвалась миссис Сальтильо с едва заметным холодком, как бы в укор за мою неуместную горячность, — я не могу ничего вам сообщить. Это значило бы пересказывать слухи, причем более или менее *ex parte*<sup>1</sup>. Я не одобряю пересудов.

— Но что говорил Энрикес вам? Это-то вы уж, наверное, знаете.

— Что муж говорит жене — или, быть может, следовало бы сказать: один компаньон другому — является сугубо конфиденциальным, и вы, разумеется, не могли предположить, что я стану предавать это огласке. Достаточно, что я осталась удовлетворена. Я вообще не заговорила бы с вами на эту тему, если б вы не были знакомы с профессором через меня и Энрикеса и я не хотела бы избавить вас от неловкого положения, в которое вы попали бы, подойдя ко мне с ним вместе. В осталь-

---

<sup>1</sup> Предубежденно (лат.).



ном, хоть вы и друг Энрикеса, это никак не должно влиять на ваше знакомство с профессором.

— Да пропади он пропадом, этот профессор! — вырвалось у меня. — До него-то мне что за дело!

— В таком случае мы с вами расходимся во взглядах, — отчеканила миссис Сальтильо. — Он человек определенно даровитый, и прекратить общение с ученым столь своеобразного склада ума и столь широкого объема мыслей — большая утрата.

Тут к ней подошла одна из дам, и я побрел прочь. Наверное, это было очень неблагородно и очень нелогично, но наш бесплодный разговор снова навел меня на мысль о загадочном видении, мелькнувшем передо мной несколько часов назад. Я жадно глядывался в лица, отыскивая профессора Бригса, но когда, наконец, столкнулся с ним и равнодушно кивнул ему в знак приветствия, то обнаружил, что не могу опознать в нем таинственного спутника миссис Сальтильо. Да и вообще какие у меня основания подозревать профессора, когда она сама открыто заявила, что избегает его? Но тогда кто же это мог быть? Я видел этого человека считанные секунды, пока распахнулась и вновь захлопнулась дверь. Я видел в конце концов не более как смутные очертания мужской фигуры, бесшумно скользящей мимо моей двери. А что, если все это мне померещилось? Достаточно ли четко я был способен в те минуты воспринимать окружающее — ведь я к тому же только что очнулся от сна, — чтобы полагаться на свои чувства? Разве я сам не посмеялся бы, услышав подобную историю от Юрении или хотя бы самого Энрикеса?

Когда я возвратился в гостиницу, портье протянул мне телеграмму.

— Здорово тряхануло по всему штату, — с готовностью сообщил он. — Все шлют известия и осведомляются о своих друзьях. Что-нибудь новенькое?

Он застыл с выжидающим видом, пока я вскрывал телеграмму. Она была переадресована мне из редакции «Дейли эксельсиор», на ней стоял штамп «Ранчо Сальватьерра», и состояла она всего из одной строчки: «Приезжай навестить своего старого дядюшку Энри».

В беспечно-легкомысленном стиле послания не было ничего необычного для Энрикеса, но оно было отпра-

лено по телеграфу, и это внушило мне тревогу. Получить весть от него в гостинице, где одновременно находятся его жена и профессор Бригс и где со мной к тому же приключился такой удивительный случай,— в этом мне виделось нечто большее, чем простое совпадение. Безотчетная уверенность, что о телеграмме не должен знать никто, кроме меня и Энрикеса, не дала мне сообщить о ней миссис Сальтильо. Промаявшись полночи на шуточном биваке в роще, посреди буйного веселья, едва ли имевшего хоть что-то общее с покоем, который я столь жаждал обрести в Каркинес-спрингс, я решил завтра же отправиться на ранчо Сальватьерра. Мне припомнился дом на ранчо — приземистый, золотисто-коричневый, с глинобитными стенами, словно какое-то чудовищное жвачное животное, прикорнувшее в ложбине меж гор Контра-Коста. Припомнились в разгар шумного пикника дремотная прохлада длинных коридоров и нерушимая тишина дворика и потянули к себе, суля желанное отдохновение. Телеграмма была достаточно убедительным предлогом для внезапного отъезда. Утром я покинул гостиницу, так и не увидевшись более ни с миссис Сальтильо, ни с профессором Бригсом.

Вечерело, когда я въехал в лошину, спускавшуюся к ранчо. Признаюсь, мысли, владевшие мной, были довольно сумрачны, хоть я и вырвался из бедлама гостиницы,— впрочем, на меня нагнали тоску угрюмые места, по которым я проезжал, да однообразные заросли рыжего овсюга, бесконечно тянувшиеся по сторонам. Приближаясь к ранчо, я заметил, что Энрикес и не подумал заводить какие-либо новшества в старой усадьбе, и даже запущенный сад остался стоять в своей первозданной красе, а в грубо сколоченных, крытых черепицей сараях возле обнесенного стеной корала хранилась все та же старинная, не меняющаяся из века в век земледельческая утварь, вплоть до воловьих повозок с колесами, выточенными из цельной деревянной колоды. Привалюсь к стене, нежились на солнышке несколько пеонов в полосатых рубашках и бархатных куртках, а рядом висел наполовину осушенный *pellejo*, иначе говоря, бурдюк из козьей шкуры. Все дышало полнейшей праздностью, вероятно, невыносимой для подтянутой, пунктуальной миссис Сальтильо, и мне на мгновение стало жаль

ее. Однако в равной мере такая обстановка не вязалась с восторженным преклонением Энрикеса перед американским прогрессом и планами головокружительных преобразований, которыми он не раз делился со мной и которые намерен был осуществить, когда разбогатеет.

Мне вновь стало не по себе, но тут на каменной тропе, выходявшей на дорогу, по которой я ехал, внезапно послышался дробный цокот некованных копыт, и тотчас же мимо меня во весь опор промчался всадник. Я едва успел повернуть в сторону своего коня, чтобы избежать столкновения, но даже в этот краткий миг успел узнать фигуру Энрикеса. Но только лицо его показалось мне чужим. Оно было жесткое, застывшее. Верхняя губа с тонкой ниточкой усов приподнялась, обнажив зубы,— точно белый рубец на смуглом лице. Он свернул на двор ранчо. Я прищипнул коня и в нетерпении поскокал за ним. Когда я въехал во двор, он обернулся в седле. Миг — и он соскочил с коня, подлетел ко мне, и, прежде чем я успел спешиться, буквально поднял меня из седла, как малого ребенка, и заключил в свои объятия. Передо мной был снова прежний Энрикес; за эти несколько секунд у него стало совершенно другое лицо.

— Все это очень мило, старина,— сказал я,— но известно ли тебе, что ты чуть не сбил меня только что на своем едва обьеженном мустанге, будь он неладен! Ты что, всегда несешься домой таким аллюром?

— Извини, мой маленький брат! Только здесь ты дал осечку. Это не едва обьеженный мустанг, он не обьежен вовсе. Погляди на его копыто: оно никогда не знало подковы. Что же до меня — слушай! Когда я еду один, я много думаю, а когда я много думаю, я думаю быстро, моя мысль, она летит вперед, как пушечное ядро! Следовательно, если коня тоже не гнать, как пушечное ядро, кто приходит первым? Мысль. А где ты сам? Ты остался позади. Поверь же мне, что я гоню этого коня, эту старую мексиканскую клячу, и потому твой возлюбленный дядюшка Энри и его драгоценная мысль приходят в одно и то же время и без всякого промедления.

Это и вправду был прежний Энрикес. Я вполне понимал и его вычурную речь и оригинальные примеры, но я впервые усомнился, понятны ли они другим.

— Опрокиньрюмочку! — выпалил он единым ду-

хом.— Ты можешь пить старый бурбон или ром из Санта-Крус! Вам какую марку яда, джентльмены?

Он уже втащил меня по ступенькам из патио на веранду и усадил перед круглым столиком, на котором осталась с утра чашка из-под шоколада. Маленькая высохшая старушка индианка убрала ее и принесла вино.

— Погляди на эту старенькую крошку! — с непроницаемо-серьезным видом произнес Энрикес. — Рассмотрю ее хорошенько, Панчо, до последнего прыщика! Она хоть и не чистокровный ацтек, но ей сто один год, и она живая! Быть может, ей не дана красота, которая крушит и испепеляет, но она будет сопровождать тебя к горячей воде, то есть в ванну. И ты, мой маленький брат, будешь огражден от соблазна.

— Энрикес, — не выдержал я, — расскажи о себе. За чем ты вышел из правления «Эль Болеро»? Из-за чего получился скандал?

У Энрикеса на мгновение сверкнули глаза, но тут же снова занскрились юмором.

— А, так ты слышал! — сказал он.

— Кое-что. Но я хочу узнать всю правду от тебя самого.

Он закурил сигару, опрокинулся навзничь в гамаке, на котором сидел, болтая ногами, и, указывая на другой гамак, произнес:

— Располагайся там. Я поведаю тебе все, как было, только воистину это не стоит внимания.

Он глубоко затянулся и несколько мгновений невозмутимо выпускал дым из глаз, ушей, носа, даже из кончиков пальцев — короче говоря, отовсюду, кроме рта. Рот и усики оставались неподвижны. Потом, стряхивая пепел мизинцем, он неторопливо заговорил:

— Прежде всего, пойми, друг Панчо, что я лично не устраивал никакого скандала. Это другие поднимали скандал и пыль столбом. Это они топали ногами, стучали по столу, вопили, изрыгали проклятия, ругались нехорошими словами — знаешь: «Какого дьявола!», «К чертям собачьим!», «А пошли вы...»; это они хватались за револьверы, вытаскивали ножи, сбрасывали сюртук, становились в боксерскую стойку и кричали: «Эй, выходи!». Я оставался, каким ты меня видишь сейчас, маленький брат, — невозмутимым.

Он закурил новую сигару, поудобнее расположился в гамаке и продолжал:

— Профессор Бригс, он состоит при компании ученым геологом, и он представил доклад, за который получил две тысячи долларов. Но этот доклад — заметь себе, друг Панчо, — он не в пользу прииска. Потому что профессор Бригс сделал дырку в земле и нашел там «коня».

— Кого? — переспросил я.

— Коня, — как нельзя более серьезно повторил Энрикес. — Но не такого коня, который скачет, мой маленький Панчо, не такого, который взбрыкивает, а того, что зовется конем у старателей, — это такая штука, которая становится на дыбы в жиле и закрывает ее. Ты роешь вокруг коня, ты долбишь под конем, один раз ты нащупаешь жилу, другой раз нет. Конь становится на дыбы — и ни с места! Это нехорошо для прииска. Правление говорит: «К черту коня!», «Долой коня!», «Сбагрим куда-нибудь этого коня». Потом они посоветовались между собой, и один говорит профессору Бригсу: «Если нельзя убрать этого коня с прииска, можно убрать из доклада». Он глядит на меня, этот профессор. Я ничего не замечаю, я по-прежнему невозмутим. Тогда правление говорит: «С конем этот доклад стоит две тысячи долларов, но без коня он стоит пять тысяч. Потому что держатель акций боится коня, который встал на дыбы. Необходимо, чтобы держатель акций оставался спокоен. Без коня доклад хорош: акции поднимутся в цене, директора продадут свою долю, а держателю акций оставим для развлечения коня». Профессор, он говорит: «Идет» — он вычеркивает коня, подписывается под докладом и получает чек на три тысячи долларов. Тогда встаю я — вот так!..

Дла пушей наглядности Энрикес вскочил с гамака и, пока не кончил свой рассказ, держался — я в этом искренне убежден — точно так же, как на правлении, и так же веско ронял каждое слово. Мне даже почудилось, будто я вижу хищные, злобные физиономии его собратьев-директоров, обращенные к суровому, бесстрастному лицу моего друга.

— Я спокоен. Я закуриваю сигару. Я говорю, что триста лет этим прииском владела моя семья, что эта земля переходила от отца к сыну, от сына к внуку — переходила в дар, переходила в безвозмездное пользование, но

никогда не бывало, чтобы вместе с нею переходила ложь. Я говорю, что эта земля была пожалована испанским королем-христианином христианину-идальго, дабы здесь насаждалось учение господа, но не мошенничество и обман. Я говорю, что на этом прииске работали и раб, и мул, и осел, но мошенник и обманщик — никогда. Я говорю, что если они наткнулись на коня под землей, значит, они наткнулись на коня и на земле, на испанского коня — коня, у которого нет во рту уздечки ценой в пять тысяч долларов, но зато такого коня, который умеет становиться на дыбы, коня, которого не вычеркнуть никакому янки-геологу, и этот конь — Энрикес Сальтильо!

Он помолчал и отложил сигару.

— Тогда они говорят: «Кончай», говорят: «Продавай свою долю», — а большие банкиры говорят так: «Назначьте сами цену за ваши акции и уходите». А я отвечаю: «Всего золота ваших банков, и всего вашего Сан-Франциско, и всех приисков Калифорнии не хватит, чтобы купить одного испанского джентльмена. Когда я уйду, я оставлю акции за собой, я не отдам их ни за что на свете!» Тогда банкир говорит мне: «Значит, пойдете и, конечно, все разболтаете?» И тут, Панчо, я улыбаюсь, я кручу себе ус — вот так! — и говорю: «Простите меня, сеньор, вы юшибаетесь. На имени Сальтильо вот уже три века нет ни пятнышка. И не бывать такому, чтобы я, последний в роду, признался, что был членом правления низких и бесчестных!» Вот тогда-то и заиграли трубы, звери встали на задние лапы и пустились в пляс, и — гоп-ля! — разразился скандал!

Я кинулся к Энрикесу и буквально задушил его в объятиях. Но он с философским видом тихонько отстранил меня.

— Ах, это все пустое, Панчо! То же самое будет и через сто лет, поверь мне, — и что же? Земля, она все вертится, а потом приходит *el tremblor*, землетрясение, и готово дело! Нет! Не из-за скандала с правлением я попросил тебя приехать: я хочу рассказать тебе кое-что другое. Поди же смой с себя пыль дороги, мой маленький брат, как я... — тут он взглянул на свои узкие, смуглые, породистые руки, — смыл с себя грязь правления «Эль Болеро». Будь очень осмотрителен со старушечкой, Панчо, не вздумай подмигивать ей глазами. Посуди, мой ма-

ленький брат: сто один год прожила она, как монахиня, как святая! Не смуги же ее покой.

Да, это был прежний Энрикес, только он казался серьезнее, если позволительно сказать так про человека, которого ни при каких обстоятельствах не покидала серьезность, однако прежде за ней угадывалась своеобразная ирония, а теперь — печаль. И потом: о чем это «другом» он собирается мне рассказать? Имеет ли это отношение к миссис Сальтильо? Я умышленно не упоминал о своей поездке в Каркинес-спрингс, дожидаясь, пока он сам заговорит о ней. Я торопливо совершил омовение горячей водой, которую столетняя служанка принесла на голове в бронзовом кувшине, и, даже улыбаясь про себя предостережению Энрикеса, касающемуся этой престарелой Руфи, чувствовал, что начинаю нервничать в ожидании предстоящего разговора.

Я застал Энрикеса в гостиной, или, быть может, правильнее сказать, в кабинете — длинной комнате с низким потолком и маленькими, похожими на амбразуры окнами во внешней кирпичной стене. От веранды эту комнату отделяла лишь тонкая застекленная перегородка. Он сидел, погруженный в раздумье, с пером в руке, а на столе перед ним лежало несколько запечатанных конвертов. Странно было видеть Энрикеса с таким деловым и сосредоточенным выражением лица.

— Так тебе нравится моя старая каса, Панчо? — сказал он, когда я похвалил монастырски-сумрачную, располагающую к ученым занятиям обстановку дома. — Что ж, мой маленький брат, в один день, который я назову прекрасным, она — как знать, — возможно, окажется в твоём *disposicion*<sup>1</sup>, и не из нашей испанской вежливости, а на самом деле, друг Панчо. Ибо, если я завещаю ее моей жене, — вот когда он упомянул ее в первый раз! — для моего маленького сына, — тут же добавил он, — я оговариваю это *obligacion*, условием, что мой друг Панчо может приезжать сюда и уезжать, когда ему вздумается.

— Сальтильо — народ живучий, — со смехом отозвался я. — Я к тому времени поседу, обзаведусь своим домом и собственной семьей. — И все-таки мне не понравилось, как он это сказал.

---

<sup>1</sup> Распоряжении (исп.).

— *Quien sabe*<sup>1</sup>, — уронил он, завершив разговор на эту тему типично испанским жестом. Помолчав с минутой, он добавил: — Я расскажу тебе одну странную вещь, настолько странную, что ты скажешь так же, как сказал банкир: «Этот Энрикес, он рехнулся, он помешанный *lunatico*», но это факт, говорю я, поверь мне!

Он встал, прошел в дальний конец кабинета и открыл дверь. Я увидел прелестную комнатку, убранную женской рукой в изысканном вкусе миссис Сальтильо.

— Мило, правда? Это комната моей жены. *Виено*, слушай же меня. — Он закрыл дверь и вернулся к столу. — Я сидел здесь и писал, когда пришло землетрясение. Вдруг я чувствую толчок, стены трещат, все дрожит, трясется — и вон та дверь, она распахивается!

— Дверь? — переспросил я с улыбкой и сам почувствовал, до чего она неестественна.

— Пойми меня, — живо продолжал он. — Не это странно. Стену перекосило, замок выскакивает из гнезда, дверь открывается — это дело обычное, так всегда бывает, когда приходит землетрясение. Но вижу я не комнату своей жены: это другая комната — комната, которой я не знаю. Моя жена Юрения, она стоит там вся в страхе, вся в трепете, она цепляется за кого-то, она к кому-то приникала. Земля содрогается еще раз, дверь хлопнула. Я вскакиваю из-за стола, я дрожу и кидаюсь к двери. Я распахиваю ее. *Maravilloso* — удивительно! Это опять комната моей жены. Ее там нет. Там пусто, все исчезло!

Я чувствовал, как меня кидает то в жар, то в холод. Я был поражен ужасом и... допустил ошибку.

— А кто же был тот, другой? — пробормотал я.

— Кто? — помедлив, переспросил Энрикес с неподражаемым жестом, устремив на меня неподвижный взгляд. — Кому же и быть, как не мне, Энрикесу Сальтильо?

Страшная догадка осенила меня: что это благородная ложь, что не себя он видел, что ему явилось то же видение, что и мне.

— В конце концов, — проговорил я с застывшей улыбкой, — раз ты вообразил, что видишь жену, ты мог с та-

---

<sup>1</sup> Как знать? (исп.).



ким же успехом вообразить, что видишь и самого себя. Потрясенный случившимся, ты, естественно, подумал о ней, потому что она, столь же естественно, искала бы защиты у тебя. Ты ей, конечно, написал и справился, как там у нее все обошлось?

— Нет, — невозмутимо отозвался Энрикес.

— Нет? — ошеломленно переспросил я.

— Ты пойми, Панчо! Если это был обман зрения, с какой стати мне пугать ее тем, чего не существует? Если же это правда, предупреждение, ниспосланное мне, — зачем пугать ее до того, как это случится?

— Что случится? И о чем предупреждение? — тревожно спросил я.

— О том, что мы расстанемся! Что я уйду, а она — нет.

К моему удивлению, его озорные глаза чуть затуманились.

— Я тебя не понимаю, — неловко выговорил я.

— Твоя голова не совсем на плечах, мой Панчо. Это землетрясение, оно пробыло здесь только десять секунд, и оно отворило дверь. Когда бы оно пробыло двадцать секунд, оно отворило бы стену, тогда дом — куврык, и твоему другу Энрикесу конец.

— Вздор! — сказал я. — Профессор... то есть, геологи говорят, что в Калифорнии при землетрясениях эпицентр находится где-то в отдаленной точке Тихого океана и серьезных толчков здесь никогда не будет.

— А-а, геолог, — серьезно отозвался Энрикес. — Геолог понимает насчет коня, который становится на дыбы в руднике, и еще насчет пяти тысяч долларов, а больше, поверь мне, ничего. Он живет здесь три года. Моя семья живет триста лет. Мой дедушка видел, как земля поглотила церковь Иоанна Крестителя.

Я захохотал, но, подняв голову, увидел — в первый раз в жизни, — что его лукавые глаза увлажнились и блесят. Впрочем, он тотчас вскочил, объявил, что я еще не видел сад и кораль, и, подхватив меня под руку, вихрем умчал в патио. Часа два он был такой же неумный и неунывающий, как встарь. Я только радовался, что не заговорил о том, как побывал в Каркинес-спрингс и виделся с его женой; я твердо решил молчать об этом как можно дольше, а так как он и сам не заговаривал о ней

вновь,— разве что только вспоминая о прошлом,— это было нетрудно. Наконец его неистребимое озорство передалось и мне, и на какое-то время я даже забыл его необычное поведение и историю, которую он мне рассказывал. Мы гуляли и болтали, как в былые времена. Я понимал его с полуслова, наслаждаясь его общением от души, и не мудрено, если под конец я был готов поверить, что его странная исповедь — просто мистификация, задуманная, чтобы позабавить меня. А что его рассказ так совпал с моим собственным приключением, было в конце концов не так уж удивительно, если учесть, как велико было, по-видимому, нервное и душевное потрясение, вызванное во всех нас этим грозным явлением природы.

Мы пообедали вдвоем, прислуживал нам только старый метис, по имени Педро, камердинер Энрикеса. Нетрудно было заметить, что хозяйство ведется экономно, а по двум-трем фразам, вскользь оброненным Энрикесом, я заключил, что после его выхода из «Эль Болеро» от его состояния ничего не осталось, кроме ранчо да небольшой суммы денег. Свои акции он хранил в неприкосновенности, отказываясь получать по ним дивиденды, пока, как он уверенно предсказывал, компания не потерпит краха и он не сможет возместить обманутым держателям акций их потери. У меня не было никаких оснований сомневаться, что он твердо верит в это.

Наутро мы встали рано, чтобы по холодку объехать верхом три квадратные мили, составляющие владения Энрикеса. Я был поражен, когда, спустившись в патио, увидел Энрикеса уже в седле, а перед ним, на передней луке,— маленького мальчика, того самого малыша из индейской колыбели, которого мне показали во время первого моего памятного визита к чете Сальтильо. Но теперь мальчуган уже не был туго спеленат и связан, хотя из предосторожности кушак отца опоясывал и его пухлое тельце. Я почувствовал, как во мне шевельнулись угрызения совести: я совсем забыл про него. В ответ на мое опасение, как бы поездка верхом не оказалась утомительной для ребенка, Энрикес пожал плечами:

— Нисколько, поверь мне. Я всегда беру его с собой, когда отправляюсь *pasear*<sup>1</sup>. Он уже большой. Ибо, подоб-

---

<sup>1</sup> Гулять (исп.).

но детям персов, он должен научиться «ездить на коне, стрелять и говорить правду». Это все, что я могу ему дать.

Как бы то ни было, мальчик, казалось, чувствовал себя в седле совсем недурно, и я знал, что с таким превосходным наездником, как его отец, он в полной безопасности. Право же, можно было залюбоваться, глядя, как они несутся вдвоем по широкой равнине: Энрикес, бряцая шпорами, раскручивал свою риату, а малыш с невозмутимым, как у отца, личиком держался крошечной ручкой за концы хлопающих поводьев почти так же уверенно, как искусный всадник.

Утро было чудесное, правда, жаркое и безветренное; легкая дымка — редкая гостья в здешних краях — заволокла далекий горный хребет. Каждый удар копыт с оглушительным треском выбивал облачко пыли из спекшейся на солнце почвы, высохшей, истомленной жаждой после долгого и засушливого лета и рассеченной длинными трещинами.

Вдруг мой конь на всем скаку шарахнулся в сторону, едва не упав, сбился с аллюра и замер, напряжив передние ноги, дрожа всем телом. В то же мгновение послышался крик Энрикеса, и я увидел, что он тоже остановился шагах в ста от меня, предостерегающе подняв руку, а сухая земля между нами раскололась, и поперек всего поля зияет длинная расселина. Дрожь коня не унималась, она передалась и мне, меня всего трясло, и, оглянувшись, чтобы понять, в чем дело, я увидел самое жуткое и поразительное зрелище, какое когда-либо наблюдал в жизни. Вся равнина прямо на глазах ходила волнами! Над ее поверхностью нависла та же легкая дымка, что застлала дальние горы, словно пласты земли, наплавая друг на друга, вздымали в воздух мелкую пыль.

Я кубарем скатился с коня, но тотчас был вынужден вцепиться в него снова, потому что земля у меня под ногами покачивалась. Но вот наступило затишье, и я поднял голову, отыскивая взглядом Энрикеса. Его нигде не было видно! С ужасом вспомнив расселину, которая разверзлась между нами, я вновь вскочил в седло и, прищипорив испуганного коня, помчался к ней. *Расселина тоже исчезла!* Я скакал взад и вперед по тому месту, где она была лишь секунду назад. Равнина лежала единым

сплошным массивом — ни трещины, ни щели. Пыльное марево, поднявшееся над ней, рассеялось как по волшебству; долина тоже вновь обрела четкие очертания; огромное поле было безлюдно.

Вскоре до меня донесся быстрый стук копыт. И тут я вспомнил — в первые мгновения это вылетело у меня из головы, — что несколько минут тому назад мы пересекли высохшее русло ручья, тянувшееся ниже уровня равнины. И как это я мог забыть про него! Конечно же, Энрикес укрылся там и теперь возвращается. Я поскакал навстречу, но это оказался лишь перепуганный ваке-ро, который избрал этот путь, торопясь добраться до ранчо.

— Ты не видел дона Энрикеса? — крикнул я, задыхаясь.

Я заметил, что пастух вне себя от ужаса и глаза его чуть не вылезают из орбит. Он поспешно перекрестился:

— О господи, да, я видел его!

— Где же он?

— Исчез!

— Куда?

Он усталился на меня выпученными, бессмысленными глазами и, указывая на землю, сказал по-испански:

— Он возвратился в землю своих отцов!

Мы искали Энрикеса до самого вечера и весь следующий день, подняв на ноги всю округу, вместе с нами в поисках приняли участие соседи, но тщетно. Ни его самого, ни бедного малыша никто больше не видел. Упал ли он по несчастной случайности в бездну, неожиданно разверзшуюся в тот краткий миг; исполнил ли собственное пророчество и намеренно устранился ради какой-то одному ему известной цели, осталось неизвестным. Его одноплеменники качали головами и говорили: «Недаром он из рода Сальтильо». А те немногие из его приверженцев, которые действительно знали и любили его, шептали: «Он еще вернется в свой край, и тогда им солоно придется, этим *Americanos*».

А вдова Энрикеса все-таки не вышла замуж за профессора Бригса. Правда, она тоже исчезла из Калифорнии, и много лет спустя мне говорили, что среди простодушных парижан она слышет обыкновенной богатой вдовушкой «с Юга Америки».

## ПОСРЕДНИЧЕСТВО ДЖЕКА ГЕМЛИНА

### ЧАСТЬ I

К ночи пошел дождь. Поднялся ветер, и вместе с дождем набросился на пошатывающуюся, едва заметную фигурку, которая пробиралась по тропе через каменистое плато к ранчо Райлендсов. Порой у нее за плечами словно вырастали крылья, заслоняя ее голову; порой широкополая шляпа беспечно заламывалась набок, а потом водворялась на прежнее место, прикрывая лицо, как забрало шлема.

По временам казалось, что это плывет груда тряпья, но тут же под напором ветра бесформенная одежда плотно облегла стройное тело, на котором столь странным казался грубый наряд. Это была миссис Райлендс в шляпе мужа и в старой синей армейской шинели своего батрака; она возвращалась с почты, расположенной за две мили от ранчо. Ветер продолжал трепать ее, пока она не добралась до двери своего недавно оштукатуренного дома; мощный порыв потряс сосны над покатою крышей и послал ей вдогонку, подобно парфянским стрелам, целый ливень холодных струй. Войдя в дом, она скинула шинель и шляпу, потом как-то робко подошла к окну гостиной и оглядела проделанный ею путь. За окном, на склоне горы, бушевали ветер и дождь; прогалина длиной в целую милю, поросшая густой травой, тянулась до самой опушки платанового леса. А еще в миле поодаль была проезжая дорога, на которой часа

через три покажется ее муж, возвращаясь из Сакраменто. Их единственную лошадь накануне одолжил сосед, и Джошуа Райлендсу придется пешком проделать весь этот долгий путь под дождем.

В сумерках на ее круглой щеке еще поблескивали дождевые капли, а может быть, и слезы, так как лицо у нее было удрученное. Она была поразительно красива, слишком красива и для этой гостиниой и для тряпья, которое только что сбросила. И даже то платье, в котором она осталась, как-то не соответствовало погоде, этому дому и ее положению в нем.

Это узорчатое шелковое платье, почти совсем новое, но уже попорченное, и выглядывавшая из-под него выпачканная грязью кружевная нижняя юбка заслуживали лучшего обращения. Блестящие черные волосы, лишь недавно завитые по заграничной моде, теперь под порывами ветра являли собой жалкую пародию на прическу. Вся обстановка комнаты еще больше подчеркивала это. Строгая и суровая, она только усиливала ощущение сырости от непросохшей штукатурки. В углу стояла черная фисгармония, заваленная сборниками церковных гимнов в белых и черных переплетах; на столе, напоминавшем козлы, лежала большая библия; с полдюжины черных стульев с сиденьями, набитыми конским волосом, были расставлены на равном расстоянии друг от друга вдоль стен, на которых висели в черных траурных рамках четыре гравюры — иллюстрации к «Потерянному Раю»; засохший папоротник и осенние листья в вазе на камине, казалось, увяли от холода, царившего в комнате. Такие же блеклые листья украшали и поблескивавшую внизу каминную решетку — казалось, кто-то пытался их сжечь, но они из-за сырости не загорелись. Вдруг она вспомнила, что стоит в мокрых ботинках на новом ковре, поспешно отступила от окна и прошла через коридор в столовую, а оттуда — на кухню.

Крепко сложенная миссурийка-служанка, дочь местного лесника, чистила у стола картошку. Миссис Райлендс придвинула стул к печке и поставила поближе к огню мокрые ноги.

— Провалиться мне на этом месте, миссис Райлендс, если вы не забыли купить ваниль, — фамильярно сказала девушка.

Миссис Райлендс виновато встрепенулась. Неловко притворяясь, будто ищет что-то, она скользнула взглядом по своим коленям, потом по столу.

— Кажется, Джейн, так оно и есть, иначе я принесла бы ее сюда.

— Ничего вы не приносили. Небось, и перечный соус для супруга вашего тоже позабыли купить.

Миссис Райлендс виновато взглянула на нее.

— Сама не знаю, что со мной такое. Ведь я же заходила в лавку, и все это было у меня в списке... право...

Джейн, по-видимому, хорошо знала свою хозяйку и, улыбаясь, сказала с видом снисходительного превосходства:

— В больших лавках всегда глаза разбегаются.— Лавка на перекрестке, где заодно помещалась и почта, была величиной четырнадцать на четырнадцать футов, но Джейн родилась и выросла в прерии.— Ладно уж,— добавила она добродушно,— почтальон наверняка зайдет по пути, так что вы еще успеете распорядиться.

— А он обязательно зайдет? — спросила миссис Райлендс озабоченно.— Мистер Райлендс расстроится из-за соуса.

— Наверняка зайдет, если узнает, что вы здесь. Уж будьте уверены.

— Почему? — спросила миссис Райлендс рассеянно.

— Почему? Да потому, что он от вас глаз оторвать не может! А то зачем бы ему заходить сюда каждый день, ведь дел у него тут никаких нету!

Это была святая правда, и не только в отношении почтальона, но и мясника, и пекаря, и даже медника (существует в тех местах такая высокая должность). Всех их в равной степени привлекала ее необычная красота. Миссис Райлендс и сама это чувствовала, но воспринимала все без кокетства и тщеславия. Быть может, поэтому служанка и говорила с ней так. Она лишь еще больше нахмурилась и сказала рассеянно:

— Ну что ж, когда он придет, распорядись сама.

Она высушила ботинки, надела домашние туфли, еще хранившие следы былого великолепия, и поднялась наверх, в свою спальню. Здесь она стояла в нерешитель-

ности, не зная, сесть ли за швейную машинку или взяться за спицы, и в конце концов уселась вязать носки для мужа, которые были начаты год назад. Однако, отчаявшись закончить вязанье к его приходу, за ближайшие три часа, она вскоре села за швейную машинку. Некоторое время ее монотонное жужжание слышалось между порывами ветра, сотрясавшими дом; но вот порвалась нитка, и молодая женщина нетерпеливо, с недовольной гримаской отставила машинку в сторону. Она принялась «убирать» комнату, пряча одни вещи и выкладывая вдвое больше других; уборка неизбежно затянулась, так как женщина подолгу любовалась нарядами, примеривала их и вертелась перед зеркалом. То же самое произошло, когда она стала складывать книги, разбросанные по стульям и столам,—она останавливалась у окна, начинала читать, увлекалась и дочитывала главу до конца, ловя последний свет уходящего дня.

Мои читательницы, конечно, уже догадались, что очаровательная миссис Райлендс была далеко не идеальной хозяйкой.

Взглянув на часы, она зажгла свечку и снова уселась за работу, чтобы скоротать оставшиеся два часа ожидания, но тут в дверь постучали. Это была Джейн.

— Там пришел какой-то мужчина, говорит, у него лошадь захромала, просит другую.

— Ты же знаешь, что у нас нет лошади,—раздраженно отозвалась миссис Райлендс.

— Я ему говорила, да он просится в дом, хочет побыть здесь, пока не достанет лошадь или свою не подкует.

— Смотри сама. Если можешь, помоги ему,—сказала миссис Райлендс, смутившись.—Когда вернется мистер Райлендс, он все и решит. Кстати, где этот человек сейчас?

— На кухне.

— На кухне! — ахнула миссис Райлендс.

— Да, мэм, я его провела в гостиную, а он поежился, стал проситься на кухню. Он, мэм, весь мокрый, в сапогах вода хлюпает, а сапоги такие высокие, блестящие. Да только нос он не дерет, как некоторые, и все норовит к печке пристроиться.



— Тем лучше, значит, я ему не нужна,— сказала она с облегчением.

— Да, мам, я только хотела, чтоб вы знали про него,— тоже с облегчением проговорила Джейн.

Когда миссис Райлендс через несколько минут вышла в коридор, до ее ушей донесся из кухни грубоватый хохот Джейн. Обладая она чувством юмора, ей было бы понятно желание Джейн избавить свою хозяйку от обязанности развлекать незнакомца; будь она философски настроена, ей нетрудно было бы вообразить, как до ужаса однообразна жизнь этой девушки, и она отнеслась бы снисходительно к той радости, которую доставило ей редкое развлечение. Но, увы, миссис Райлендс не была философом и не обладала чувством юмора, и поэтому, когда Джейн, покрасневшая, с блестящими, как свежая черника, глазами, зашла сказать, что сбегает к загонам, на «дальнее пастбище», узнать у батрака, не найдется ли там лошади для незнакомца, ей стало грустно при мысли, что ради нее Джейн вряд ли вызвалась бы бежать в такую даль под дождем. Но она тут же забыла об этом, забыла даже о госте и вспомнила об отсутствии служанки лишь когда, погруженная в задумчивость, спустилась зачем-то в столовую и, приоткрыв дверь на кухню, позвала: «Джейн!»

Единственная свеча тускло освещала кухню, зато сама она, стоя на пороге, была хорошо видна. Наступило молчание, а затем спокойный, уверенный и слегка насмешливый голос отозвался:

— Я не Джейн, и если вы хозяйка дома, то вы, мне кажется, тоже не всегда были миссис Райлендс.

При звуке этого голоса она широко распахнула дверь, увидела незнакомца, слегка вскрикнула и, побледнев, отшатнулась, хотя он был молод и красив, в элегантном, щегольском костюме, ничуть не пострадавшем, несмотря на трудное путешествие, и смотрел на нее, приветливо улыбаясь, как старый знакомый, с дерзкой и небрежной самоуверенностью, которая, по-видимому, была ему свойственна.

— Джек Гемлин! — с удивлением прошептала она.

— Я самый,— подтвердил он спокойно,— а ты Нелл Монтгомери?

— Как ты узнал, что я здесь? Кто тебе сказал?

— Никто! Я в жизни еще так не удивлялся! Когда ты открыла дверь, я просто обалдел.— Он говорил лениво, с усмешкой, не меняя позы.

— Но что-нибудь ты, конечно, знал! Это не просто случай,— настойчиво продолжала она, торопливо озираясь.

— Тут-то ты и ошибаешься, Нелл,— сказал он невозмутимо.— Чистый случай, и, кстати, не из счастливых. Моя лошадь захромала на крутом спуске. Я увидел недалеко дом и решил достать другую лошадь. И вот я здесь.— В первый раз он пошевелился и задумчиво откинулся на спинку стула.

Она быстро подошла к нему.

— Раньше ты не умел врать, Джек,— все еще неуверенно сказала она.

— Не мог себе это позволить да и сейчас не могу, такая уж у меня работа,— весело отозвался Джек.— Но как все это понимать? — продолжал он с любопытством, как бы уловив что-то знакомое в волнении своей собеседницы и прищуренными глазами поглядывая то на нее, то на окно, то на потолок.— Что ты здесь делаешь?

— Я замужем,— сказала она, заметно нервничая.— И это дом моего мужа!

— Неужели замужем? В самом деле?

— Да,— отвечала она поспешно.

— За кем-нибудь из наших? Что-то не припоминаю никакого Райлендса. Помнится, Спелтер ласково на тебя поглядывал. Но, может, Спелтер не настоящая его фамилия?

— Нет, он не из наших! Ты его не знаешь. Это очень честный, порядочный человек,— быстро сказала она.

— Ну и ну, Нелл! Ты, небось, все картишки сразу на стол выложила. Сама рассказала ему, что танцевала в казино.

— Да.

— Еще до того, как он тебе сделал предложение?

— Конечно.

Джек встал, засунул руки в карманы и уставился на нее с любопытством. Неужели это та самая Нелл Монтомери, танцовщица и певичка из мюзик-холла, девица, о которой так много болтали всякого и так мало знали на самом деле! Что ж, это уже становится интересным.

— Пойми, все случилось после скандала с Джимом, помнишь, в тот вечер, когда хозяин пригласил нас всех на ужин и Джим обращался со мной, как с собакой?

— Это точно,— подтвердил Джек.

— Я тогда была готова на все.— Она разразилась истерическим смехом, как будто хотела этим заглушить воспоминания.— Была готова перерезать глотку себе или ему, безразлично.

— Для нас это было не совсем безразлично,— вежливо заметил Джек.— Не думай о нас так плохо.

— Той же ночью я села на пароход, который шел во Фриско, мне хотелось броситься куда угодно, хоть в воду,— захлебываясь, продолжала она.— В соседней каюте ехал мужчина, он обратил на меня внимание и начал вертеться вокруг. Я думала, он меня узнал,— видел портрет на афишах. Но мне было не до развлечений, я так ему и сказала. Только он оказался совсем не такой. Он сказал, что видит, в каком я состоянии, и захотел узнать все.

Мистер Гемлин с усмешкой поглядел на нее.

— И ты, конечно, все ему выложила: как сбежала на сцену из родительского дома, где была так счастлива в детстве, как всегда потом в этом раскаивалась, как хотела вернуться, но двери были навек закрыты! Как ты мечтала бросить все это, но злые дяди и тети...

— Неправда!— взорвалась она.— Ты сам знаешь, что это не так! Я рассказала ему все: кто я, чем занималась, что думала делать дальше. Я показала ему мужчин, которые перешептывались и ухмылялись, глядя на нас, словно сидели в первом ряду партера. Сказала, что знаю их всех и они знают меня. Я не щадила себя. Я рассказала все, что люди говорили обо мне, и даже не стала ничего отрицать.

— Ну, знаешь ли...— запротестовал Джек вежливо-небрежным тоном.

— А он сказал, ему нравится, что я говорю правду и не стыжусь этого, что нет греха, хуже ложного стыда и лицемерия. Теперь ты видишь, что это за человек, он всегда и во всем такой! Он сразу же предложил мне выйти за него замуж, стать его законной женой. Хотел, чтобы я все обдумала за ночь, а утром он придет за ответом. Во Фриско я потихоньку сошла с парохода и оста-

новилась в гостинице, где меня никто не знал. Утром я уже не была уверена, сдержит ли он свое слово, а я свое. Но он пришел! Сказал, что мы поженимся сегодня же и он увезет меня на свою ферму в Санта-Кларе. Я согласилась. Я решила исчезнуть, чтобы все считали меня мертвой! Священник обвенчал нас в тот же день. Я назвала свое настоящее имя,—она замолчала, а потом, взглянув на Джека, продолжала с истерическим смехом:

— Но он заставил меня приписать внизу: «Известная как Нелл Монтгомери», сказав, что он этого не стыдится и мне тоже стыдиться нечего.

— Он, что же, никогда не стрижется и вплетает в волосы солому? Не чудятся ли ему голоса, не бывает ли галлюцинаций? — серьезно осведомился Гемлин.

— Он разумный, неглупый, трудолюбивый человек и не более сумасшедший, чем ты или чем была я в тот день, когда выходила за него замуж. Он выполнил все, что обещал.— Она умолкла, захлебнувшись в быстром, нервном потоке слов; губы ее слегка задрожали, но она сделала над собой усилие и, глядя на Джека с безнадежной мольбой, прошептала: — Вот как все получилось.

Джек пристально посмотрел на нее.

— Ну а ты? — сказал он вкрадчиво.

— Я? — повторила она изумленно.

— Что делала ты? — неожиданно резко спросил он.

Она удивилась так искренне, что его суровый взгляд смягчился.

— Я...— проговорила она в замешательстве.— Я была его собакой, его рабыней, насколько он позволял это. Я делала все. Я не выходила из дома, пока он сам не начал выгонять меня. Мне не хотелось никуда идти, не хотелось никого видеть, но он всегда настаивал. Я с удовольствием работала бы здесь от зари до зари и была бы счастлива. Но он сказал, что я не должна стыдиться своего прошлого, раз он не стыдится. Я была бы счастлива носить домотканые вещи или ситцевые платья, но он настаивает, чтобы я надевала все самое лучшее, даже мои театральные туалеты. И так как он не в состоянии купить новые, я донашиваю старые вещи. Я знаю, что они здесь выглядят дико и надо мной все смеются, поэтому, когда я выхожу куда-нибудь, то надеваю поверх что угодно, что-

бы их не было видно, но...— тут ее губы снова предательски задрожали,— он хочет, чтоб я их носила, ему это нравится.

Джек опустил глаза. Он посидел немного молча, потом взглянул на ее измятую юбку и сказал более простым, естественным тоном:

— Кажется, я помню это платье. Я купил его тебе для той сцены в «Светской жизни», когда ты выходишь на прогулку, не так ли?

— Нет, то было голубое, расшитое серебром. Разве не помнишь? Я попыталась перелицевать его в первый год замужества, но теперь материю и сравнить нельзя.

— А какое оно было прелестное! — подхватил Джек. — С голубой шляпой в серебряную полоску получалось просто загляденье. Но этого платья я не помню. — И он окинул ее критическим взглядом.

— Я была в нем на скачках в пятьдесят восьмом году и на ужине, который судья Бумпойнтер устроил в нашу честь во Фриско. Помнишь, полковник Фиш еще опрокинул стол, когда кинулся на Джима? Вот видишь, — сказала она, посмеиваясь, — на нем до сих пор пятна от шампанского, они никогда не сойдут. Смотри! — И она, оживившись, поднесла к шелковой материи свечу.

— А вон еще пятна на рукаве, — сказал Джек. — Верно?

Она взглянула на него с укоризной.

— Это не шампанское. Разве ты не видишь, что это?

— Нет!

— Это кровь, — серьезно сказала она. — Неужели не помнишь? Когда тот мексиканец всадил нож в беднягу Неда, я поддерживала ему голову, пока ты перевязывал. — Она тяжело вздохнула и добавила с улыбкой: — Самое ужасное, что платья у таких девушек рвутся или пачкаются раньше, чем успевают износиться.

Это справедливое замечание, казалось, не произвело впечатления на мистера Гемлина.

— А почему ты уехала из Санта-Клары? — Голос его снова зазвучал отрывисто и резко.

— Из-за тамошних людей. Они все такие противные, спешивые. Дело в том, что Джош...

— Кто?..

— Он! Джош Райлендс! Он всем рассказал, кем я

была раньше, даже тем, кто никогда не видел моего портрета на афишах. Рассказал, что я сделала ему честь, согласившись выйти за него замуж, и он уверен во мне и не стыдится. Вскоре никто уже не верил, что мы женаты, все отворачивались в сторону, когда встречали нас, перестали приходить в гости. Я-то была этому только рада, но он думал, что я страдаю.

— А ты страдала?

— Богом клянусь, Джек, я была бы счастлива просто быть с ним вдвоем и никого не видеть, пусть бы думали, что я умерла. Но он сказал, что так нельзя, это — проявление слабости! Возможно, так оно и было, — добавила она, глядя на Джека робким, умоляющим взглядом, на который он, однако, не обратил внимания.

— И как ты думаешь, что он сделал, когда понял наконец, что с нами никто не хочет знаться?

— Наверное, поколотил тебя, — со смехом подсказал Джек.

— Нет. Он всегда был по отношению ко мне честным, порядочным, добрым, — негодуя и вместе с тем беспомощно проговорила она. — Он решил, что, если люди его круга не хотят меня знать, я буду рада своим прежним знакомым. И, не сказав мне ни слова, притащил к нам — кого бы ты думал? — Тинки Клиффорд, которая танцевала в захудалом варьете во Фриско, и ее дружка капитана Сайкса. Ты бы со смеху лопнул, Джек, если б увидел, как Джош, этот прямой, бесхитростный человек, старался соблазнить светский тон и развлечь их. Но я не могла этого выдержать, — продолжала она, и в голосе ее вдруг снова зазвучали тревога и мольба, — и когда Тинки начала болтать всякие глупости при Джоше, а капитан Сайкс принялся лакать шампанское, я с ней поругалась. Она сказала, что я задираю нос, и я ее выставила, несмотря на протесты Джоша.

— А Джошу это, видно, пришлось по вкусу, — обронил Гемлин. — Он с ней виделся после?

— Нет. Я уверена, что он навсегда излечился от желания приглашать ко мне таких гостей. А потом мы переехали сюда. На этот раз я убедила его не рассказывать людям, кем я была: захотят — сами дознаются. И он уступил. Он позволил мне привести в порядок

этот дом и обставить его по своему вкусу, и я это сделала!

— Неужели это ты соорудила такой фамильный склеп вместо гостиной? — воскликнул Джек в ужасе.

— Да. Я не хотела изысканной, старинной мебели, зеркал и всего прочего, что нравится людям. Едва ли кто-нибудь из наших согласится сюда приехать. Заодно я отделалась от всяких охотников, проходимцев и прочей швали. Но...— Она запнулась, и лицо ее снова стало печальным.

— Что же?

— Мне кажется, Джошу это тоже не по душе. На другой день он принес ноты «Мой Джонни — сапожник» и попросил сыграть. А я вспомнила, как мы до тошноты распевали эту песенку, и не могла даже прикоснуться к фисгармонии. Он хотел сводить меня в цирк, который гастролировал в нашей округе, но, знаешь, это был цирк старика Флэниджина, где раньше работал наездником Гасси Ригс, там опять тот же клоун, тот же распорядитель, те же трюки, ну, я и отказалась.

— Слушай,— сказал Джек, вставая и скептически рассматривая ее,— я могу тебе предсказать, что он сделает, если ты будешь продолжать в том же духе: удерет с одной из твоих прежних подружек!

Мгновение она испуганно, с тревогой смотрела на него, но только одно мгновение. Потом она натянута засмеялась, и лицо ее снова стало усталым и озабоченным.

— Нет, Джек, ты его не знаешь! Если бы только это! Он любит меня одну, а я...— Она запнулась.— Я не могу дать ему счастье.

Она замолчала. Ветер сотрясал дом, обрушивая на окна целые каскады капель. Улучив минуту, она вынула из кармана рваный кружевной платочек и, боязливо поглядывая на Джека, украдкой утерла нос и глаза.

— Перестань, пожалуйста,— раздраженно сказал Джек,— на улице и без того мокро.— Он встал и внимательно посмотрел на нее.— Что же получается? — начал он.— Она робко подошла ближе и села прямо на кухонный стол, печально заглядывая ему в глаза.— Получается вот что,— продолжал рассуждать Джек,— если он не бросит тебя, почему бы тебе не бросить его?

Она побелела, как мел, и потупила глаза.

— Да,— сказала она почти беззвучно,— многие девушки так поступали.

— Я не говорю о возвращении к старому,— продолжал Джек,— этим ты сыта по горло. Но почему бы тебе не заняться делом, как другие женщины? Открыть, скажем, шляпный магазин или кондитерскую для детишек, а? Я помогу тебе на первых порах. У меня найдется сотня-другая, если не в моем собственном, так в чужом кармане денежки зря пропадают! А там ты осмотришься, и не исключено, что подвернется какой-нибудь солидный человек и женится на тебе. А это не жизнь. Это хуже смерти, только зря мучишь себя и Райлендса. Ведь это просто нечестно.

— Да,— быстро проговорила она,— это нечестно по отношению к нему. Я знаю это, знаю,— твердила она.— Но только...— Она умолкла.

— Что «только»? — нетерпеливо спросил Джек.

Она молчала. Потом взяла скалку и стала рассеянно катать ее по своим коленям, как бы разглаживая запачканную юбку.

— Только...— она запнулась, все еще вертя в руках скалку,— я... я не могу оставить Джоша.

— Почему? — быстро спросил Джек.

— Потому что... потому что я...— пролепетала она дрожащими губами, сильно надавливая скалкой на колено, словно старалась выдавить из него ответ.— Потому что я люблю его!

Наступило молчание. Ливень обрушился на стекла, и из ее глаз тоже хлынул настоящий дождь — на ладони, на скалку, на юбку, которую она, не переставая рыдать, быстро подобрала.

— Ах, Джек, Джек! Я никого так не любила, как его! Я не знала, что такое любовь! И никогда раньше не встречала такого человека! До него у меня не было ничего настоящего!

Джек Гемлин ни слова не ответил на этот страстный, шедший из глубины души порыв. Ее смелое благородство покорило его. Он подошел к окну, глянул наружу сквозь мутное, затуманенное дождем стекло, в котором отразились его темные, как всегда, бесстрастные глаза, потом повернулся и обошел вокруг стола. Проходя за ее спиной, он, не поднимая взгляда, на мгновение



сжал безвольную руку женщины, а потом бережно опустил ее обратно на стол. Обойдя стол, он снова, весело улыбаясь, остановился перед ней.

— И все-таки ты выпутаешься из этой истории,— сказал он спокойно.— Пока что я ничем не могу тебе помочь, не могу вмешаться в игру. Но если я что-нибудь придумаю или ты сама решишься, рассчитывай на меня и дай мне знать. Ты знаешь, куда писать,— на мой старый адрес в Сакраменто.— Он пошел в угол, набросил на плечи свой еще мокрый плащ и взял сомбреро.

— Но ведь ты не уйдешь так вот сразу, Джек,— сказала она робко, поняв, что он собирается сделать, и вытерла мокрые глаза.— Ведь ты его дождешься? Он будет ровно через час.

— Я и так проторчал здесь слишком долго,— сказал Джек.— И, кстати, чем меньше ты будешь распространяться о моем приезде, тем лучше. Все равно этому никто не поверит, ведь ты сама не сразу поверила. Право, если ты ни на что не решишься, лучше уж считай нас всех мертвецами, это в твоих интересах. Скажи своей служанке, что моя лошадь оправилась и я поехал дальше, да передай ей вот это.

Он швырнул на стол золотую монету.

— Но ведь твоя лошадь хромает,— сказала она изумленно.— Как же ты поедешь в такую грозу?

— Доберусь до леса и там заночую. Со мной это бывало и раньше.

— Послушай, Джек!..

Вдруг он остановил ее предостерегающим жестом. Его чуткое ухо уловило звуки шагов по мокрому гравию. В темных глазах сверкнул озорной огонек, он спокойно пошел к двери, распахнул ее и произнес нарочито громко и отчетливо:

— Я совершенно с вами согласен. Общество деградирует повсюду, Сан-Франциско стал просто неузнаваем. Однако, как ни счастлив я был познакомиться с вами, к величайшему сожалению, дела не позволяют мне дожидаться вашего почтенного супруга. Не правда ли, как это забавно, что мы с вашей тетушкой Джемимой старые знакомые? Но мир тесен, как вы справедливо изволили заметить. Я обязательно расскажу дякону,

который все помнит, как хорошо вы выглядите, несмотря на кухонный чад. До свидания! И огромное спасибо за гостеприимство.

Отвесив глубокий поклон, Джек попятился навстречу Джейн, почтальону и батраку, причем нарочно, как ни грустно нам это признать, наступил обоим мужчинам на ноги, вероятно, чтобы от неожиданной боли и растерянности они не сумели как следует разглядеть его лицо, прежде чем он исчезнет в темноте.

Джейн вошла в кухню и покачала головой.

— Вот и почтальон, не знаю только, захотите ли вы его теперь видеть.

Миссис Райлендс была слишком поглощена своими мыслями и не обратила внимания на многозначительный тон служанки, указывавшей на застенчивого юнца, которого окончательно смутило неожиданное исчезновение мистера Гемлина и красота миссис Райлендс.

— Ах, да, конечно,— оправившись, поспешно сказала миссис Райлендс.— Это так мило с его стороны. Распорядитесь, пожалуйста, Джейн.

Она повернулась и хотела уйти из кухни, скрыться от этих незваных гостей, но вдруг взгляд ее упал на монету, оставленную Гемлином.

— Дженгльмен оставил вам это за труды, Джейн,— поспешно сказала она, указывая на монету, и вышла.

Джейн бросила ей вслед уничтожающий взгляд и, взяв со стола монету, повернулась к батраку.

— Сбегай-ка на конюшню, Дик, догони этого красавчика и верни ему его деньги. Можешь передать, что Джейн Мэкиннон здесь не на побегушках и не станет за деньги прикрывать чужие грешки.

## ЧАСТЬ II

Мистер Джошуа Райлендс «обрел веру», как выражались люди, его окружавшие, в возрасте шестнадцати лет, когда он душой пребывал еще в состоянии «первородного греха», а телом — в штате Миссури. По правде говоря, он был обязан этим не настойчивым и страстным юношеским поискам или прозрению,— все произошло внезапно и бурно на молитвенном собрании. Кроткий и впечатлительный деревенский паренек, со своеобразным

складом души, наивный и неопытный, он после первой же попойки в компании грубых приятелей очертя голову ворвался прямо на молитвенное собрание; однако никто не позвал констебля, вместо этого его радушно встретили и, терзаемого страхом и неизвестностью, отдали в руки выдавшего виды проповедника, после чего он покаялся в грехах и обратился на путь истины! Арест и тюрьма едва ли могли бы повлиять на его юную душу так же сильно, как этот духовный суд, на котором он сам был обвинителем. Так или иначе, приговор был хоть и строг, зато поучителен. Он тут же порвал со своими приятелями и на всю жизнь остался предан новой вере, хотя не раз впадал в порок. Когда, по принятому на Западе обычаю, ему пришла пора оставить родительский кров и искать «новые земли» где-нибудь на дальних окраинах, он принес в одинокую, почти монашескую жизнь пионера, породившую столь сильный характер у жителей американского Запада, чувства более чем религиозные. Трудолюбивый и презиравший опасность, он жил, довольствуясь «священным словом», как он выражался, и той природой, которая его окружала, не подвергаясь соблазнам и порокам цивилизации. В конце концов он отправился в Калифорнию, но не искать золота, а осваивать новые участки, пригодные для земледелия; и, несмотря на огромные трудности и ничтожную прибыль, был доволен тем, что сохранил свое одиночество и свободу духа. Порок и цивилизация были для него синонимами, обычным состоянием суетных и безвозвратно падших людей. Вот какого человека случай свел с «Жемчужиной варьете» Нелл Монтгомери во время одной из его вынужденных поездок в цивилизованный мир на пароходе, шедшем из Сакраменто. И хотя он не имел ни малейшего представления о ее профессии, ее исповедь не испугала его, напротив, он понял это, принял как должное и сделал все от него зависящее, чтобы ее спасти. И когда эта дочь безумия оставила гибельный путь и последовала за ним, он счел это победой, не только ничуть не постыдной, но достойной всеобщего признания. Обнаружив в скором времени, что соседи думают иначе и избегают их общества, он пригласил к себе прежних друзей своей жены, чтобы ей не было скучно, втайне надеясь, что со временем ее пример будет

для них спасительным. Он не боялся дурного влияния, будучи уверен в ней, как в себе самом. Несмотря на всю свою ограниченность, он был чужд жестокого и мрачного фанатизма. Беспощадный к себе, он был трогательно доверчив к другим.

Когда он вылез из почтовой кареты и пошел по тропинке, которая вела напрямик к его дому, гроза была в самом разгаре. Ему предстояло пройти добрых две мили с тяжелым саквояжем из-за того, что жена отдала лошадь соседу, но он даже в мыслях не попрекнул ее за это. Такие поступки были свойственны ей, в ее безучастной доброте, настолько безучастной, что иногда он беспокоился, подозревая в этом ее безучастии недовольство судьбой. Он пробыл в отсутствии три дня, и после этой самой долгой разлуки со дня свадьбы ему не терпелось ее увидеть, и он спешил домой, полный любовного волнения, чувства, совершенно нового для его спокойного и уравновешенного характера.

Он шел сквозь бурю и тьму, испытывая радостное ощущение, что с каждым шагом приближается к ней, и находил почти невидную тропинку по мельчайшим признакам, доступным лишь зоркому глазу пионера. Он знал, что вон та тень справа не утес, а склон дальнего холма, что низкая ровная полоса впереди не забор и не стена, а опушка дремучего леса в миле от его дома. Но, спускаясь к лесу, он вдруг остановился и протер глаза. В лесу был отчетливо виден свет. Сперва он подумал, что заблудился и оказался у хижины лесника Мэкин-нона, но, взглядевшись пристальнее, понял, что находится у самого леса, а впереди пылает костер. Наверное, это были какие-нибудь запоздалые старатели, так как погода явно не подходила для ночлега под открытым небом.

Дойдя до опушки, он увидел, что костер разложен у подножия огромной сосны, а в небольшом, вполне защищающем от непогоды укрытии приютился, видимо, всего один человек. Он стоял, выпрямившись во весь рост, у костра, и его красивая фигура, закутанная в плащ, такая живописная и романтическая, напомнила Джошуа Райлендсу, чьи представления об искусстве были почерпнуты исключительно из книг, прочитанных в детстве, картинку из приключенческого романа. Огромные черные стволы сосен, выступавшие при свете костра из окружа-

ющего мрака, служили подходящей декорацией для этой сцены, вполне годившейся для любого спектакля. На Райлендса это произвело такое впечатление, что если бы его не ждала жена и сам он не жаждал поскорей добраться до дома, который был еще в миле пути, он непременно нарушил бы уединение незнакомца и предложил ему свое гостеприимство. Человек этот, видимо, умел позаботиться о себе, да к тому же неподалеку от костра стояла привязанная к дереву лошадь. По всей вероятности, это был землемер или горный мастер — единственные образованные люди, которые иногда появлялись в тех местах.

Но то, что он увидел, взбираясь по каменистому склону к своему дому, поразило его еще больше. Окна гостиной, которые в темноте обычно казались черными и слепыми, были ярко освещены. Как и большинство фермеров, он редко пользовался этой комнатой, разве что по праздникам, когда случались гости; жена избегала ее, да и сам он теперь предпочитал столовую и кухню. Решив, что у жены гости, он порадовался за нее, но в то же время ощутил смутное беспокойство. Более того, когда он подошел ближе, то сквозь гул раскачивающихся сосен до него донеслись звуки веселой музыки. На мгновение он остановился в недоумении, как и у опушки, когда увидел костер, но это, несомненно, был его собственный дом! Он бросился к двери и распахнул ее; яркий свет из гостиной, где в давно заброшенном камине весело пылал огонь, заливал прихожую. Знакомая темная мебель, придвинутая к огню, уже не выглядела так мрачно. В комнате не было никого, кроме жены, которая перестала играть и поднялась к нему навстречу.

Миссис Райлендс с беспокойством всматривалась в удивленное лицо мужа, пока он раздевался, поставив саквояж на пол. Ее щеки разругались от волнения, а его замкнутое, всегда хмурое лицо, заросшее рыжеватой бородой, по-прежнему не выражало ничего, кроме удивления. Ей стало страшно: ведь иногда опасно нарушать привычки мужчины, даже когда он сам рад бы от них избавиться.

— Мне хотелось,— начала она робко,— чтобы тебе здесь было уютней в этот ненастный вечер. Я думала, ты

повесишь мокрую одежду сушиться на кухне, и мы вдвоем посидим у камина после ужина.

Боюсь, что миссис Райлендс не была вполне откровенна с мужем. После ухода Гемлина она нервничала и не находила себе места; приступы уныния сменялись лихорадочным оживлением, она то внимательно рассматривала свои платья, то, повинаясь внутреннему порыву, спешила вниз, чтобы в который раз распорядиться насчет ужина для мужа или произвести уже упомянутую нами перестановку мебели в гостиной. Всего за несколько минут до его прихода она украдкой снесла вниз ноты и убрала сборники гимнов, а затем с застенчивой улыбкой вынула из кармана колоду карт и спрятала ее за вазой на камине, из которой уже убрала сухие листья.

— Я думал, что у тебя гости, Эллен,— сказал он серьезно, целуя ее.

— Нет,— отозвалась она быстро.— То есть...— Она запнулась, неожиданно почувствовав, что краснеет.— Сюда... на кухню... заходил один человек... У него захромала лошадь, и он просил другую. Но вот уже час, как он ушел, а в гостиную он не заходил... во всяком случае, после уборки. Так что я была одна.

Она покраснела еще сильнее прежнего, и ей стало немножко страшно. Впрочем, для этого не было причин. Не предупреди ее Джек, она охотно рассказала бы все мужу. Она никогда не краснела перед мужем за свое прошлое, с какой же стати ей краснеть сейчас, да еще из-за Джека! При этой мысли она даже засмеялась натянутым смехом. Боюсь, эта маленькая, выдавшая виды женщина считала естественным убеждение ее мужа, что если б Джек или кто-нибудь другой явился сюда в качестве тайного любовника, она и не подумала бы краснеть. И все-таки, несмотря на всю свою опытность, она и не подозревала, что краснеет потому, что из всех людей именно Джеку призналась в своей любви к мужу. Он, конечно, заметил, что она покраснела, но отнес это за счет ее волнения. Втащив его в комнату и усадив перед камином, она опустилась на колени и хотела стянуть с него тяжелые резиновые сапоги. Он, однако, не дал ей это сделать, снял их сам и отдал ей, а она принесла ему из кухни домашние туфли. Теперь на его суровом лице

появилась улыбка. В комнате, безусловно, стало уютней и веселей. И все же эти перемены немного беспокоили его: не означали ли они отказ от благодатного самопожертвования, которому она не изменяла до сих пор?

За ужином, который Джейн подавала в мрачную столовую, мистер Райлендс, занятый мыслями о происшедших в доме переменах, не обратил внимания на то, что девушка прислуживала ему с сочувственным видом, а хозяйке подавала с подчеркнутой холодной вежливостью. Однако это не ускользнуло от внимания миссис Райлендс; каким-то чутьем, которым женщины безошибочно понимают друг друга, она угадывала, что служанка переменила свое отношение к ней со времени внезапного ухода Джека. По мнению Джейн, она сама приятно провела время с Джеком, лишив девушку этого удовольствия, а потом его выставила! Джошуа поблагодарил жену за соус, и ей пришлось скрепя сердце признаться в своей забывчивости; когда же она выходила из комнаты, Джейн так многозначительно покачала головой ей вслед, что даже муж не мог этого не заметить. Она нервно засмеялась.

— Кажется, Джейн на меня злится за то, что я лишила ее приятной компании, когда выпроводила сначала этого неизвестного, который ей приглянулся, а вслед за ним почтальона, — шутливо заявила она.

Мистер Райлендс, однако, даже не улыбнулся.

— Боюсь, — медленно ответил он, — что ей здесь скучно, она разделяет с нами все тяготы жизни вдали от людей, но не получает в отличие от нас никакого духовного удовлетворения.

Но когда супруги, поужинав, уселись в гостиной перед камином, этот случай был забыт. Миссис Райлендс принесла мужу кисет и трубку. Он в нерешительности оглядел строгие стены комнаты, так как имел обыкновенные курить на кухне.

— Кури здесь, — сказала она с неожиданной решимостью в голосе. — Почему мы должны беречь эту комнату для гостей, которые никогда не приходят? Это просто глупо.

Мистеру Райлендсу это показалось справедливым. Кроме того, огонь в камине придал комнате менее суро-

вый вид. После нескольких затяжек он задумчиво посмотрел на жену.

— А почему бы и тебе не свернуть сигарету,— так, кажется, их называют? Вот табак, можно достать и бумагу, если хочешь.

— Ну что ж.— Она испытующе посмотрела на него. И вдруг спросила: — Почему ты подумал об этом? Ты ведь никогда не видел, чтобы я курила!

— Никогда,— согласился он.— Но эта самая мисс Клиффорд, твоя прежняя знакомая, курит, вот мне и пришло в голову, что, может быть, ты тоже скучаешь без этого.

— Откуда ты знаешь, что Тинки Клиффорд курит? — быстро спросила она.

— Она курила, когда была здесь.

— Ненавижу, когда курят,— отрезала она.

Мистер Райлендс одобрительно кивнул головой и продолжал задумчиво посасывать трубку.

— Джош, ты встречался с ней после этого?

— Нет,— ответил он.

— И с другими, вроде нее, тоже?

— Нет,— сказал он с удивлением.— Видишь ли, я познакомился с ней ради тебя, Эллен, чтобы вы могли повидаться.

— Хорошо, но только в другой раз этого не делай. Обещай мне! Не хочу их видеть.— Она взволнованно подалась вперед.

— Но, Эллен...— попробовал он возразить.

— Я знаю заранее все, что ты собираешься сказать, но, пойми, они мне не нужны, и ты им не нужен, никому, кроме меня, ты не нужен, вот и все!

Мистер Райлендс молчал и задумчиво улыбался.

— Джош!

— Что?

— Когда мы встретились в тот вечер на пароходе, ты... я...— Она поколебалась.— Ты заговорил со мной, потому что я плакала?

— Я понял, что у тебя скверно на душе, это было видно.

— Да, конечно, это было видно, ведь я не успела ни переодеться, ни причесаться, и на мне было это кошмарное зеленое платье, которое мне никогда не шло. Скажи,



ты заговорил со мной только потому, что я так ужасно выглядела?

— Я видел только твою страждущую душу, Эллен, и решил, что тебе необходимы участие и помощь.

Она молча наклонилась, взяла кочергу и стала рассеянно тыкать ею между прутьями каминной решетки.

— А если бы на моем месте оказалась другая, если б она тоже плакала и была в ужасном виде, ты и с ней заговорил бы?

Эта мысль застала мистера Райлендса врасплох, но для него, как и для большинства мужчин, логика была превыше всего.

— Думаю, что да,— произнес он медленно.

— И женился бы на ней?

Она загремела кочергой по прутьям, словно стремясь заглушить роковой ответ.

Мистер Райлендс любил свою жену, но ему льстило думать, что правду он любит еще больше.

— Если б это было необходимо для ее спасения, безусловно,— сказал он.

— Даже на Тинки?

— Она никогда не дошла бы до такого раскаяния.

— Много ты знаешь! Таким девицам что плакать, что смеяться, все едино. Ну да ладно! Я, наверное, тогда на самом деле ужасно выглядела.

Тем не менее ответ мужа, видимо, ее удовлетворил, и она заговорила о другом, боясь дальнейшими расспросами все испортить.

— Я попробовала разучить некоторые песенки по нотам, что ты привез, но, мне кажется, они не подходят для фисгармонии,— сказала она, указывая на ноты.— Все, кроме одной. Вот послушай.

Она встала, со свойственной ей стремительностью подошла к инструменту и начала играть и петь. Было нелепо и смешно слышать эту песенку в сопровождении фисгармонии. За окнами хлестал дождь, но здесь, у огня, было тепло и уютно, и Джошуа Райлендсу нравился ее слегка напряженный, плохо поставленный голос. Он встал, тяжело ступая, подошел к прелестной исполнительнице и, наклонившись, запечатлел на ее затылке, среди завитков волос, нежный поцелуй. Продолжая

играть одной рукой и не поднимая глаз, она схватила его руку и воскликнула с надеждой в голосе:

— Смотри, здесь как раз припев! Давай попробуем спеть вместе?

Мгновение он колебался, затем откашлялся и таким же неестественным, как у нее, но сильным, окрепшим на молитвенных собраниях голосом подхватил припев, который в его исполнении лишился всей своей игривости и легкости. Казалось, звуки заполнили весь дом, даже ветер притих за окнами, и мистер Райлендс испытывал такое же наслаждение, как мальчишка, который кричит во весь голос; он был благодарен жене за эти минуты. Ласково положив руку ей на плечо, он вдруг заметил, что на ней черное вечернее платье, сквозь кружевную материю которого просвечивает нежная белизна ее красивых плеч.

На мгновение мистеру Райлендсу стало как-то не по себе. Он никогда раньше не видел жену в вечернем платье. Конечно, они были одни и в своей собственной гостиной, но все же самый дух строгой парадной комнаты подчеркивал нескромность ее наряда. Этот простодушный человек сразу же подумал, что и Джейн, и батрак, и почтальон, и незнакомец — все могли это заметить.

— Я вижу, на тебе новое платье,— произнес он медленно.— Ты надела его с утра?

— Нет,— ответила она, застенчиво улыбаясь,— только перед твоим приходом. Это то самое платье, в котором я играла в сцене на балу в спектакле «Веселые деньки во Фриско». Я знаю, что ты его не видел. Я решила надеть его сегодня вечером в последний раз, а потом,— она схватила мужа за руку,— ты позволишь мне никогда больше не надевать эти вещи? Прошу тебя, Джош! Знаешь, я видела сегодня в лавке такой чудесный ситец; из него вполне можно сшить несколько домашних платьев, как у Джейн, но, конечно, понаряднее. Я даже распорядилась, чтобы тебе завтра принесли показать отрез.

Мистер Райлендс облегченно вздохнул. Видимо, он уже не считал, что его жена морально обязана хранить эти символы своего прошлого, так как согласился на ее просьбу, подозревая не без грусти, что в ситцевых плать-

ях она не будет такой красивой, как сейчас, в этом вечернем туалете.

Тем временем она заиграла новый мотивчик, такой же нелепый, но еще более фривольный.

— Под эту штуку здорово было танцевать,— проговорила она, покачивая головой в такт музыке и окрашивая неприятные, надрывные звуки инструмента неприятной легкостью своего голоса.— Когда-то мне приходилось это делать.

— Так попробуй же снова, Эллен,— предложил он снисходительно и сам испугался этого.

— Тогда играй ты,— решительно сказала она, уступая ему место.

Мистер Райлендс сел за фисгармонию, а она поспешно отодвинула стол и стулья к стене. Он играл медленно и сосредоточенно, как и подобало играть на таком инструменте. Миссис Райлендс встала посреди комнаты, такая милая и оживленная, подстегивая ленивые звуки фисгармонии уже не только голосом, но и ритмичными движениями тела. И вот она начала танцевать.

Нужно предупредить читателя, что все это происходило до того, как вошли в моду танец с шалью и короткие юбки, и боюсь даже, что в наши дни ее прелестное исполнение показалось бы вялым. Шелковое платье и сборчатая нижняя юбка покрывали ее тонкие лодыжки, доходя до кожаных туфелек. Во время пируэтов раз-другой мелькнули голубые шелковые чулки и тонкие кружева, но, конечно, это было далеко не то, что видишь в вихре современного вальса. Внезапно музыка смолкла. Мистер Райлендс встал и направился к камину. Она остановилась и подошла к нему, запыхавшаяся и встревоженная.

— Тебе не нравится, да? — спросила она со своим обычным неестественным смехом.— Уже годы не те, и я почти разучилась танцевать.

— Лучше бы ты окончательно разучилась,— отозвался он мрачно. Он замолчал, заметив, как она изменилась в лице, и добавил неловко: — Когда я говорил тебе, что не надо стыдиться прошлого и забывать его, я не это имел в виду!

— А что же? — робко спросила она.

По правде говоря, мистер Райлендс сам этого не знал.

Такие вещи были ему известны лишь понаслышке. Он не имел ни малейшего представления ни о той среде, в которой вращалась его жена, ни о нравах, которые там господствовали. И для него было настоящим откровением обнаружить все это в собственной жене, в женщине, которую он любил. Он был не столько шокирован, сколько испуган.

— Завтра у тебя будет платье, Эллен,— сказал он мягко,— и ты сможешь выкинуть весь этот блестящий хлам. Тебе незачем походить на Тинки Клиффорд.

Он не заметил торжествующего блеска в ее глазах и добавил:

— Ну что же ты, играй.

Она послушно села за инструмент. Некоторое время он с каким-то странным задумчивым выражением рассматривал ее — от ног в кожаных туфельках, нажимавших на педали, до пышных плеч, возвышавшихся над клавишами. Вскоре она бросила играть и под села к нему.

— Когда у меня будут эти чудесные ситцевые платья и ты станешь путать меня с Джейн, я сделаюсь примерной хозяйкой и достойной женой фермера. Может быть, тогда я открою тебе одну маленькую тайну.

— Тайну? — Он насторожился. — Скажи лучше сейчас.

Ее лицо сияло от возбуждения и какой-то робкой озорной радости. Она засмеялась.

— Ни за что на свете, очень уж ты сейчас важный. А это не к спеху.

Он взглянул на часы.

— Мне нужно отдать кое-какие распоряжения насчет скота, пока Джим еще не спит,— сказал он.

— Он уже ушел на конюшню,— заметила миссис Райлендс.

— Не беда, я схожу туда.

— Принести тебе сапоги? — предложила она.

— Не надо, обуюсь на кухне. Я скоро приду. Иди спать, у тебя усталый вид,— ласково сказал он, глядя на ее осунувшееся лицо. Тут он впервые заметил, что ее чудесный румянец поблек, на щеках появились пятна.

Послушно поднимаясь по лестнице к себе в спальню, она тихонько вздохнула, как бы признавая этим, что муж прав. Он между тем повернулся и быстро вышел

на кухню. Ему хотелось побыть одному и собраться с мыслями. Он удивился, когда увидел, что Джейн еще не ушла и сидит в углу, прямая и чопорная. Видно, она поджидала его, так как при его появлении встала и провела рукой по лицу, словно хотела этим придать себе решимости.

— Так я и думала, что ежели вы там не позабыли обо всем на свете, то непременно пойдете на скотину взглянуть. А я, мистер Райлендс, хочу вам сказать кой-чего. Когда я сюда нанималась, люди мне говорили, что ваша благоверная до свадьбы была артисткой. Это, конечно, не мое дело, вам с ней жить! Джейн Мэкиннон, слава богу, своим умом живет, никого не слушает и относится к людям по справедливости. Но когда они врут, приговариваются, говорят одно, а делают другое, позорят мужей да еще превращают порядочный дом в танцевальный зал, то это уж слишком, хозяин, и я этого спускать не намерена! Нет, Джейн Мэкиннон этого не спустит!

— Ты это о чем? — строго спросил мистер Райлендс.

— А вот о чем, — сказала Джейн Мэкиннон, ловко хлопая себя по ляжкам при каждом слове, вылетавшем, как пуля, у нее изо рта, — я-о-том-что-к-вашей-жене-приходил-один-ее-старый хахаль-из-Фриско-и торчал-вот-здесь-на-кухне-целый-вечер. Понятно? Они тут ворковали и жалели о былых временах, куда вас не было! Я своими глазами видела через окно. Вот что я вам хотела сказать, мистер Джосуа Райлендс.

— Это ложь! Сюда заходил какой-то бедняга, у которого захромала лошадь. Она мне сама сказала об этом.

Джейн Мэкиннон визгливо засмеялась.

— А она вам не сказала, что этот бедняга — молодой красавчик с черными усами? Она вам не сказала, что его костюм стоит целую кучу денег, я уж не говорю о плаще из дорогого сукна на золотой подкладке? Сказала она вам, что его лошадь до того хромала, что когда я побежала за другой, он даже подождать не соизволил? Сказала она вам, кто он такой?

— Она этого сама не знала, — твердо сказал Райлендс, но при этом побледнел.

— Что ж, тогда я вам скажу! Это игрок, разбойник! Одного имени его довольно, чтобы ославить любую жеи-

щину. Джим тут же его признал, с одного взгляда. «Черт меня побери, да ведь это Джек Гемлин!» — сказал он.

Как ни мало знал мистер Райлендс об окружавшем его мире, это имя он слышал. Но сейчас он думал о другом. Он вспомнил костер в лесу, красивую фигуру человека в плаще и привязанную к дереву лошадь. Он вспомнил ярко освещенную гостиную, камин, голые плечи жены, ее туфельки, чулки, вспомнил, как она танцевала. Все это он увидел снова, и словно ослепительный свет блеснул в его вялом мозгу. Стены комнаты, казалось, вдруг раздвинулись, потом сдвинулись снова, Джейн закачалась перед его глазами. Едва слышно он помянул господу, схватился за край стола, чтобы не упасть, и так стоял, вцепившись в него, пока не онемели руки, — только тогда он овладел собой. Он был бледен, сосредоточен и спокоен.

— Если ты ей хоть слово скажешь, — проговорил он с расстановкой, — если войдешь к ней в комнату, покуда меня не будет, или хотя бы переступишь порог кухни, я тебя вышвырну вон. И Джиму скажи, что, если он заикнется об этом хоть одной живой душой, я его задушу своими руками.

Неожиданная ярость этого кроткого, богобоязненного человека, которого она к тому же считала простофилей, была ужасна и произвела на Джейн сильное впечатление. Она забилась в угол, а он спокойно надел сапоги и плащ и, не сказав больше ни слова, вышел.

Он знал, что делать, так хорошо, словно действовал по наитию свыше. Надо найти в лесу этого человека; ясно, что это он заходил к ним в дом, даже если все остальное сплетни; к тому же Райлендс сам его видел. Он с ним поговорит с глазу на глаз, узнает все и только тогда сможет вернуться к жене. Он шел быстро, но спокойно и уверенно. Долг его был ему ясен: если Эллен снова впала в грех, надо еще раз испытать ее. Этому требовала его вера. Он не прогонит ее, но она никогда не будет его женой. Конечно, он сам подверг Эллен искушению, и поэтому да простит ее бог, но он никогда не сможет ее любить, как прежде.

Когда он добрался до леса, буря несколько утихла. Костер еще горел, но не так ярко. Только тусклые отблески указывали путь в темноте. Райлендс углубился в лес

и был уже так близко, что видел тлеющие угли костра, когда что-то громко щелкнуло и раздался голос:

— Стой!

Мистер Гемлин спал чутко. Довольно было хрустнуть сучку под ногой, чтобы его разбудить. Это он крикнул, а щелкнул взведенный курок револьвера. Райлендс не был трусом, но благоразумно остановился.

— А теперь, милейший,— продолжал Гемлин,— прошу вас, подойдите поближе к свету!

Райлендс подошел и увидел, что Гемлин лежит у костра, приподнявшись на локте и держа в другой руке револьвер.

— Благодарю вас,— сказал Джек.— Извините меня за эту предосторожность, но сейчас ночь, и сегодня здесь моя спальня.

— Я Райлендс, вы заходили сегодня в мой дом и делились с моей женой,— сказал Райлендс медленно.

— Не отрицаю,— отозвался Гемлин.— Очень любезно с вашей стороны так быстро нанести мне ответный визит, хотя, по правде говоря, я этого не ожидал.

— Понимаю. Но мне известно, кто вы такой, известно, что вы знали мою жену до того, как она вступила на путь спасения. Я заклинаю вас перед богом и людьми ответить мне: зачем вы заходили в мой дом?

— Полноте! Я не думаю, что нам понадобится столько свидетелей,— сказал Джек, снова укладываясь на землю,— я заходил только для того, чтобы попросить лошаадь.

— Это правда?

Джек поднялся, торжественно надел шляпу, одернул жилет и, сунув руки в карманы, подошел к Райлендсу.

— Мистер Райлендс,— произнес он с величайшей учтивостью,— ваше семейство уже вторично за сегодняшний день подвергает сомнению правдивость моих слов. Ваша супруга не поверила мне, когда я сказал, что не ожидал увидеть ее, но это простительно и объясняется женским тщеславием. У вас же нет такого оправдания. Извольте взглянуть, вон там под деревом моя хромая лошаадь. Поверьте, что даже ради удовольствия навестить вас и вашу жену я не покалечил бы животное.

Наглость и полнейшее самообладание Гемлина раздражали, но вместе с тем заставляли ему верить. К тому

же он был слишком смел, чтобы врать. Его слова почти убедили мистера Райлендса, но он все еще колебался.

— И вы готовы рассказать обо всем, что произошло между вами и моей женой?

— Если вы готовы меня выслушать,— спокойно ответил Гемлин.

Мистер Райлендс слегка побледнел, но после минутного колебания решился.

— Я готов.

— Прекрасно,— сказал Гемлин.— Мне нравится ваша выдержка, хотя, не скрою, это единственное, что мне в вас нравится. Сядьте. Итак, я не видел Нелл Монтгомери три года и вот встретил ее здесь в качестве вашей жены. Она удивилась и испугалась, я тоже удивился, но не испугался. Весь вечер она рассказывала мне о том, как вы поженились, как живете, и ничего другого. Не могу сказать, чтобы это было слишком занимательно и что в роли вашей жены она завлекательней, чем когда была Нелл Монтгомери, актрисой варьете. Когда она кончила рассказывать, я ушел.

Мистер Райлендс, сидевший на земле, хотел было встать, но Гемлин удержал его.

— Я спросил, готовы ли вы выслушать меня, потому что хочу кое-что сказать вам о своей встрече с вашей женой. Она носит старые платья, которые ей подарили другие, и говорит, что делает это для вашего удовольствия. Я узнал, что вы, не спросив ее согласия, пригласили в дом самую мерзкую из ее прежних подружек, а теперь подвергаете сомнению мою искренность; я узнал, что вы вместо того, чтобы скрыть ее прошлое от всех, первый рассказывали об этом встречному и поперечному во славу господу бога и, конечно, Джошуа Райлендса.

— Каждый поступает так, как считает нужным,— пробормотал мистер Райлендс.

— Сожалею, что вы забыли об этом, когда потребовали ответа у меня,— холодно заметил Джек.

— Значит, она пожаловалась вам? — спросил он, запинаясь.

— Я этого не говорил,— отрезал Джек.

— И, по-вашему, она несчастна?

— Чертовски.

— И вы ей посоветовали...— начал он неуверенно.



— Посоветовал бросить вас и найти себе более достойного мужа.— Он помолчал, затем добавил с язвительным смехом: — Но она отказалась по дьявольски глупой причине...

— По какой же? — поспешно спросил Райлендс.

— Сказала, что любит вас,— ответил Джек и носком сапога затолкал головешку в огонь.

Бледные щеки мистера Райлендса вдруг вспыхнули, как угли в костре. Джек заметил это и медленно повернулся к нему.

— Мистер Джошуа Райлендс, я видел много дураков в своей жизни. Я видел людей, которые пасовали, имея на руках четырех тузов, только потому, что, по их мнению, у партнера была козырная игра! Я помню человека, который за бесценок продал свою заявку, когда ему стоило только раз копнуть, чтобы озолотиться. Я видел, как лучший стрелок промахнулся, когда ему почудилось, что кто-то не так на него посмотрел. Короче, я видел уйму богом проклятых дураков, но даже из них никто не считал этого бога своим приятелем. Ваша жена, несмотря на все ее «грехи», как вы их называете, в тысячу раз более верна вам, чем вы ей со всеми вашими идиотскими добродетелями! И поскольку вы не сумели ее переделать, как ни старались, то мне кажется, что среди всех болванов на свете вам по праву принадлежит первое место! Спокойной ночи! Убирайтесь отсюда! Я устал от вас.

— Одну минутку,— смущенно проговорил мистер Райлендс.— Возможно, я обидел вас, но это вышло нечаянно. Я вас прошу вернуться и воспользоваться моим... нашим... гостеприимством.

— Зачем? — сказал Джек.— Я ушел потому, что для вас и для нее лучше, чтоб меня там никто не видел.

— Но вас все равно узнали,— сказал мистер Райлендс.— Джейн мне наговорила про вас с три короба, но если мы вернемся вместе, то это заткнет ей рот.

— Кому? — спросил Джек.

— Джейн, нашей служанке.

Мистер Гемлин разразился смехом.

— Не все ли равно! Скажите ей просто, что вы со мной говорили, и я рассердился, но потом простил ее. Думаю, она никогда больше не зайнется об этом.

Как это ни странно, но слова мистера Гемлина оправдались. Когда Райлендс вернулся домой, он застал Джейн на кухне, испуганную, в слезах, но впоследствии она ни единым словом не обмолвилась о случившемся. И, что было еще удивительней, батрак тоже никогда больше не вспоминал об этом. Миссис Райлендс в тот вечер нездоровилось, и она легла, думая, что муж занят по хозяйству и поэтому так долго не возвращается, а он счел за лучшее не рассказывать ей о своем разговоре с Гемлином. На следующее утро послали за доктором, который посоветовал ей несколько дней не вставать с постели. Все это время муж был трогательно нежен и внимателен к ней, и, надо полагать, она воспользовалась случаем и открыла ему секрет, о котором обмолвилась накануне. Этот секрет стал известен всем через несколько месяцев, а супругов он сразу сблизил. Джошуа Райлендс, который раньше был эгоистичным аскетом, теперь сделался заботливым и достойным мужем, они вели задушевные, полные надежд, а порой наивные разговоры о будущем и не вспоминали о прошлых глупостях; а когда из лавки доставили ситец, то вместе с ним было прислано тонкое полотно, кружева, чепчики и другие вещи, которые так сильно отличались от обычных простых и грубых покупок.

А через три месяца гостиная преобразилась, там стало светло и уютно, особенно в тот вечер, когда женщины со всей округи пришли горячо поздравить миссис Райлендс с первенцем. И никогда еще они не видели более дружной и любящей пары, чем родители этого малыша.

## НАВОДНЕНИЕ «У ДЖУЛСА»

Когда «у Джулса» разливалась вода, над ее однообразно ровной поверхностью не было видно почти ничего. Немногочисленные жители поселка в ожидании конца наводнения спокойно и методично перебирались на возвышенности, не оставляя после себя никаких печальных следов. На безмятежной, ничем не замутненной водной глади было разбросано с десятков полузатопленных бревенчатых хижин, казавшихся в лунном свете остатками катастрофы, происшедшей не два-три дня, а два-три столетия назад. Течения не было, вода не могла подмыть и унести их шаткие фундаменты; ничто не волновало это тихое озеро. Лишь изредка, словно случайный ружейный залп, поверхность его бороздили струи внезапно налетевшего ливня, да еще реже появлялся плот из единственного бревна, на котором кто-нибудь из местных жителей отправился проверить остатки своего имущества, сложенные на крыше хижины. В этом спокойном уничтожении маленького поселка не было ничего страшного; одно-единственное пепелище произвело бы впечатление более тягостное, чем такое бессмысленное и даже дикое в своем равнодушии действие противоположной разрушительной стихии. Люди находили это вполне естественным. Вода убывала так же, как и прибывала: медленно, бесстрастно, бесшумно. Пройдет всего лишь несколько дней, и жаркое солнце Калифорнии высушит хижины, а спустя неделю-другую красная пыль уже снова ляжет у их порога таким же толстым слоем, как прежде

лежала там зимняя грязь. Воды Змеиногo ручья снова вернутся в свое русло, и мэрисвиллской почтовой карете уже не придется больше делать крюк, объезжая поселок. За это миролюбивое вторжение жители получали даже своеобразную компенсацию: на размытых берегах порою обнаруживалось золото. Весною наивные старатели с надеждой ждали «промывки старика Змеиногo».

Между тем «у Джулса» однажды произошло событие, которому суждено было довольно необычным образом нарушить этот мирный и методический процесс. Зима в 1859—1860 году выдалась исключительная. В долинах почти не было дождей, хотя вершины Сьерры совсем занесло снегом. Ущелья засыпало, перевалы замело, склоны гор обледенели. А когда запоздавшие юго-западные пассаты наконец принесли с собой дожди, повторилось обычное явление: долина Джулса безмолвно, бесшумно и мирно погрузилась в воду; жители перебрались на возвышенности — разве только чуть быстрее обыкновенного, ибо долгое ожидание им порядком надоело. Мэрисвиллская почтовая карета сделала обычный крюк и остановилась возле джулсовской временной гостиницы, которая служила также почтовой конторой и бакалейной лавкой,— под навесом из парусины, коры и мягких листьев ольшаника. Она высадила одного-единственного пассажира — бостонца Майлса Хеммингвея, молодого писемоводителя горнорудной компании в Сан-Франциско, командированного для составления доклада о предполагаемых золотоносных возможностях Джулса. Возможности эти показались ему весьма сомнительными, когда он, сидя на козлах кареты, обозревал затопленные хижины и слушал неторопливый рассказ кучера о паводке и о поразительном долготерпении местных жителей.

Это была все та же старая история, все та же косность и лень старателя Запада, глубоко чуждая образу мыслей и привычкам северянина, все та же тупая покорность перед дикими капризами природы, без всякой попытки вступить с ними в борьбу, которая других закаляла и приводила к успеху; все та же философия, заставлявшая принимать ураганы и пожары в прериях и сносить их всегда одинаково безучастно и безропотно. Быть может, где-нибудь в другом месте, в иной обстановке такое стоическое смирение пришлось бы ему по

душе, но люди, которые заправляют замызганные штаны в грязные сапоги и живут только ради добытого ими золота, отнюдь не казались ему героями. Не смягчился он и тогда, когда, стоя у наспех сооруженной буфетной стойки — нескольких досок, уложенных на козлы, — пил кофе под протекающим тентом, который почему-то напомнил ему детство и зябкий пижник учеников воскресной школы. А ведь эти люди живут вот так, словно в походе, целых три недели! Еще больше раздражало его опасение, как бы не пришлось торчать здесь несколько дней, пока вода не спадет настолько, что можно будет все как следует изучить для доклада. Когда он сел на предложенный ему ящик из-под свечей, который затрепал под его тяжестью, и окинул взглядом все это мрачное запустение, досада его наконец вырвалась наружу.

— Господи, твоя воля! Как это вам после первого же наводнения не пришло в голову раз и навсегда переселиться повыше?

Хотя самый вопрос был вполне безобидным и только тон его прозвучал вызывающе, один из присутствовавших сделал вид, будто понял эти слова буквально.

— Да вы же сами говорите: «Господи, твоя воля!» — лениво отозвался он, — вот и мы так порешили, что раз он тут хозяин и, как говорится, всем заправляет, выходит, нам только и делов, что предоставить все заботы ему. Не мы устроили наводнение, так нечего нам в это дело и соваться.

— И ежели он не располагал, так сказать, приготовить для нас место повыше, устроить, как мы понимаем, для нас гору Арарат, мы и не видим, чего ради нам туда перебираться, — добавил столь же лениво другой.

Хеммингвей тотчас понял свою оплошность и, хорошо зная особенности юмора жителей Запада, счел за лучшее прекратить неудачный разговор. Он слегка покраснел, но улыбнулся и сказал:

— Вы знаете, что я хотел сказать. Вы могли бы жить в полной безопасности, если бы построили дамбу, чтобы удерживать воду при самом высоком уровне.

— Ты когда-нибудь слышал, что это за штука — самый высокий уровень? — спросил первый оратор, обра-

щаяся к одному из присутствующих и даже не глядя на Хеммингвея.

— Отродясь не слыхивал. Я и вообще-то не знал, что ему предел поставлен.

Первый оратор обернулся к Хеммингвею.

— А знаете, что случилось «у Балджера», в Норт-Форке? У них там была эта самая дамба.

— Нет, не знаю. Что же там случилось? — с досадой спросил тот.

— У них там было вроде как у нас, — отвечал первый. — Вот они и решили построить дамбу, чтоб удерживать воду при самом высоком уровне. Сказано — сделано. Сперва все шло как по маслу, будто в сказке, да только воде куда-то надо было деваться, вот она взяла да и скопилась у ближней излучины. А потом она вроде как бы приподнялась на локте да глянула поверх дамбы туда, где ребята преспокойно занимались промывкой. И уж тогда она не посмотрела на этот самый высокий уровень, а поднялась еще на шесть дюймов! Да только уж не тихо-мирно, как всегда или как вот тут у нас, словно она по капле из-под земли сочится, а с шумом и ревом хлынула через дамбу на ту сторону, где ребята мыли золото. — Он помолчал и среди глубокой тишины добавил: — Говорят, «у Балджера» все разбросало на пять миль вокруг. По крайней мере я слышал, что одного мула и кусок желоба подобрали аж в Ред-Флете, за восемь миль оттуда!

Мистер Хеммингвей отлично знал, что на это ответить, но, умудренный опытом, знал также, что это бесполезно. Он вежливо улыбнулся и промолчал, после чего говоривший обратился к нему:

— Сегодня вам тут ничего не увидеть, а вот завтра, судя по всему, вода начнет спадать. Вы, наверно, хотите умыться и привести себя в порядок, — добавил он, взглянув на маленький саквояж Хеммингвея. — Мы решили, что вам тут будет тесновато, вот и приготовили для вас местечко в хижине Стэнтонна — вместе с женщинами.

Молодой человек слегка покраснел, усмотрев в этих словах иронический намек, и с горячностью возразил, что привык к походной жизни и готов остаться здесь.

— Ну нет, это — дело решенное, — возразил его собеседник. — Пойдемте-ка лучше, я вас провожу.

— Минуточку,— с улыбкой сказал Хеммингвей,— у меня письмо к управляющему компанией «Веселые Копи» у Джулса. Может быть, мне лучше сначала повидаться с ним?

— Да ведь это и есть Стэнтон.

— А вы...— замялся Хеммингвей,— вы, кажется, очень хорошо знаете эти места. Уж не имею ли я честь...

— Да, я Джулс.

Приезжего это несколько удивило и позабавило. Значит, «Джулс» — фамилия, а не название местности!

— Стало быть, вы пионер? — спросил Хеммингвей уже менее самоуверенным тоном, когда они вышли из-под деревьев, с которых капала вода.

— Я наткнулся на эту речку осенью 1849 года, когда мы со Стэнтоном перешли Ливерморский перевал,— ответил Джулс. Он говорил короткими, отрывистыми фразами, нарочито растягивая слова.— На следующий год выписал сюда жену и двоих детей. Жена умерла в ту же зиму. Не выдержала перемены, простудилась и схватила лихорадку в Суитуотере. Когда я первый раз пришел сюда, в речке не было и шести дюймов глубины, зато вон там воды было полно — видите, где желто-зеленые пятна и полосы травы да кустарника. Все это тогда было залито водой, а заросли появились уже потом.

Хеммингвей посмотрел вокруг. «Возвышенность», на которой они стояли, представляла собою всего лишь нечто вроде кургана, поднимавшегося над ровной поверхностью долины, и росли здесь только редкие деревца — молодой ивняк и ольшаник. Получалось, что впадина намного больше, чем он думал, и молодого человека поразило ее сходство с дном какого-то первобытного внутреннего моря. Не исключено, что здесь когда-то произошло гораздо более сильное наводнение, чем то, которое наблюдал Джулс, обосновавшийся в этих местах сравнительно недавно. Хеммингвей покраснел, вспомнив, как он поспешил обвинить поселенцев в нерасторопности и своими опрометчивыми и самонадеянными выводами чуть было не поставил в неловкое положение свое начальство. Впрочем, не было никаких оснований считать, что следы этого потопа не относятся к далекому прошлому. Он снова улыбнулся и почувствовал себя

уверенней при мысли о геологических сдвигах, которые впоследствии ослабили действие катаклизмов, и о благодетельном влиянии заселения и возделывания этих земель. Впрочем, завтра он все подробнейшим образом изучит.

Хижина Стэнтона, последняя в ряду временных жилищ, стояла у самого края откоса, над берегом реки. Это была такая же лачуга, как и все, сколоченная из неоструганных досок, но в отличие от остальных она стояла на фундаменте из уложенных вплотную бревен, к которым были крепко прибиты стены и пол. Это придавало ей сходство с ящиком, поставленным на полозья, или с уменьшенной копией Ноева ковчега. Джулс пояснил, что уложенные таким способом бревна предохраняют дом от холода и сырости. Когда Хеммингвей заметил, что это лишний расход материала, Джулс сказал, что эти бревна — обломки затопленных мельниц, как бы остатки кораблекрушения.

Хеммингвей снова улыбнулся. Опять та же история — та же бессмысленная расточительность Запада. Сопровождаемый Джулсом, он взобрался на скользкие бревна, образовавшие у дверей нечто вроде помоста, и вошел в дом.

Единственная комната была разделена на две неравные части. В большей половине помещались три постели, которые днем свертывали и убирали в угол, чтобы освободить место для стола и стульев. Несколько платьев, развешанных на гвоздях по стенам, свидетельствовали о том, что в комнате живут женщины. Меньшая половина была, в свою очередь, разделена надвое занавеской из одеяла, за которой оказалась прибитая к стене грубая койка или скамья, ящик, заменявший стол, жестяной таз и ведро с водой. Эту часть комнаты отвели Хеммингвею.

— Женщины сегодня отправились вниз по ручью печь хлеб, — пояснил Джулс, — но кто-нибудь из них наверняка скоро вернется стряпать ужин, так что вы пока располагайтесь. Мне еще надо до ночи сидеть на свой участок, а вы себе ложитесь и отдыхайте.

Он повернулся и ушел, а Хеммингвей остался стоять в дверях, все еще смущенный и растерянный. И только распаковав свой саквояж, молодой человек оценил де-



ликатность Джулса, который дал ему возможность спокойно умыться и переодеться. Но даже и теперь он предпочел бы спать в лавке вместе с неотесанными старателями, чем вторгаться в это полуцивилизованное царство женщин с их секретами и жалкими попытками создать подобие комфорта. Он досадовал на свою нерешительность, из-за которой попал сюда, и эта досада, естественно, перешла на хозяина и хозяйку, так что, торопливо умывшись, сменив белье и кое-как счистив с одежды дорожную грязь, он сердито вышел из дома.

Даже для весны было на редкость тепло. Легкий юго-западный пассат тихонько шептал ему о Сан-Франциско, о далеком Тихом океане и о длинных, неугомонных волнах прибоя. Он еще раз посмотрел вниз, на долину, залитую желтой водою, которая чуть плескалась у стен полузатопленных хижин с таким же невозмутимым равнодушием, с каким ожидали конца наводнения местные жители. Какая поразительная тупость или, вернее, какое бесконечное терпение! Он, разумеется, знал, что они ждут компенсации — «промывки», производимой самой природой, знал о длинных расселинах на берегах Змеиного ручья, в которых так часто появлялись блестящие чешуйки золота, обнаружившегося под действием воды; о кучах красноватого ила, оставшегося после наводнения у стен хижин, — в этих отложениях нередко таилось сокровище в десять раз более ценное, чем сама хижина! Вдруг он услышал позади себя смех, прерывистое дыхание и увидел, что к нему бежит какая-то девушка.

С изумлением посмотрев на нее, он сначала разглядел только мятую нанковую шляпку, сбившуюся назад от быстрого бега, необычайно густые волосы, необычайно белые зубы, блестящие глаза и, как ему показалось, необычайную уверенность в неотразимости всего этого. Ему даже померещилось, будто она на бегу с вызывающим видом опускает на своих красивых полных руках засученные рукава розового ситцевого платья. Я склонен полагать, что молодой человек был просто-напросто не в духе и поэтому поторопился со своими заключениями; более беспристрастный наблюдатель не нашел бы в ее искренной радости ничего предосудительного. Между тем Хеммингвей счел явное удовольствие, которое доставила

девушке их нечаянная встреча, всего лишь проявлением навязчивого кокетства.

— Ах ты господи! Я-то думал, что вы еще не готовы и я успею немножко принарядиться, а вы уж тут как тут! — Она засмеялась, взглянув на его чистую рубашку и влажные волосы. — Но все равно, давайте поболтаем; пока никого нет, вы успеете рассказать мне все новости. Я целую вечность не была в Сакраменто, ничего не видела и не слышала. — Она умолкла и, безотчетно почувствовав в молодом человеке какую-то глухую отчужденность, все еще продолжая смеяться, осведомилась: — Ведь вы мистер Хеммингвей, правда?

Хеммингвей, несколько смущенный своей рассеянностью, торопливо снял шляпу.

— Да-да, разумеется. Прошу прощения.

— А тетушка Стэнтон все перепутала, говорит, что ваша фамилия Хеммингберд, — со смехом сказала девушка. — А меня зовут Джинни Джулс, но все называют меня Джей.

Хеммингвей не нашел в этом ничего особенно смешного, но тут же устыдился, что встретил девушку столь любезно.

— Мне, право, очень жаль, что я ворвался сюда и доставил вам столько хлопот. Я хотел остаться в лавке. По правде говоря, — добавил он с такой же откровенностью, с какой девушка разговаривала с ним, — если только ваш отец не обидится, я сию же минуту с удовольствием туда вернусь.

Если бы он все еще считал ее тщеславной кокеткой, то его совершенно разубедила бы наивная искренность, с которой она ответила на его неучтивую речь.

— Что вы! Ему-то все равно, только бы вам было удобно и вы могли как следует выспаться. Но вы там ни за что не уснете, — задумчиво проговорила девушка. — Ребята допоздна играют в карты и все время ругаются, а Симпсон, с которым вам пришлось бы спать рядом, говорят, ужасно храпит. Правда, тетушка Стэнтон в этом деле от него не отстанет, да и я, говорят, тоже, — со смехом добавила она, — но вы будете спать в дальнем углу и ничего не услышите. Так что уж лучше вам остаться здесь. Мы все, то есть почти все, еще до рассвета отправимся в Рэтлснейк Бар за покупками, а вы

себе спите, сколько вам вздумается. Когда проснетесь, завтрак будет уже готов. Ну, я сейчас начну стряпать ужин, а вы расскажите, что новенького в Сакраменто и во Фриско.

Хотя эта провинциалка, сама того не сознавая, дала решительный отпор его самомнению, Хеммингвей теперь почувствовал себя с ней гораздо легче и непринужденнее.

— Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? — с готовностью предложил он.

— Ну, если вы не боитесь запачкаться, принесите мне дров вон из той кучи, под ольхой, — нерешительно отвечала девушка.

Мистер Хеммингвей ничуть не боялся запачкаться, напротив, он заявил, что сделает это с удовольствием. Он принес большую охапку мелко нарубленных ивовых сучьев и положил их у маленькой печки, очевидно, временно заменявшей огромную кирпичную печь, труба которой обыкновенно занимает чуть ли не весь чердак в хижинах старателей. Короткая коленчатая труба печки была выведена прямо в стену хижины. Он заметил также, что очаровательная собеседница воспользовалась его отлучкой, чтобы надеть белый воротничок и манжетки. Она смахнула полотенцем зеленый мох с его рукава, и, хотя для этого ей пришлось подойти к нему так близко, что ее дыхание — теплое и легкое, как юго-западный пассат, — коснулось его волос, было совершенно ясно, что это прикосновение — всего лишь привычная фамильярность здешних жителей, равно чуждая как сознательному кокетству, так и благовоспитанной деликатности.

— Дров у меня всегда хватает — ребята мне приносят, — сказала она, — но они, наверно, не думали, что я сегодня так рано вернусь.

При этом весьма прозрачном намеке, что он всего лишь временно заменяет ее постоянных поклонников, Хеммингвей ощутил было прежнее недоверие, но улыбнулся и без обиняков заметил:

— Я думаю, в поклонниках у вас тут недостатка нет. Девушка, однако, поняла его буквально.

— Ну что вы! Мы с Мейми Робинсон — единственные девушки на пятнадцать миль по берегу Змеиного ручья. Поклонятся они, как бы не так! А вот покоя от

них нет, это верно. Пожалуй, мне придется скоро завести собаку!

Хеммингвея покорило. Она не только самонадеянна, но уже и испорчена. Он представил себе неуклюжие любезности местных жителей, провинциальные остроты, жалкое соперничество молодых парней, которых видел в лавке. Без сомнения, именно этого она ожидает и от него!

— Ну ладно,— проговорила девушка, обращаясь к нему от печки, которую только что растопила,— пока я накрываю на стол, расскажите, что делается в Сакраменто. У вас там, небось, целая куча знакомых девиц. Говорят, туда сейчас привезли новые моды из Штатов.

— Я в этом так мало смыслю, что боюсь, вам будет совсем неинтересно,— сухо отозвался молодой человек.

— Ничего, валяйте,— сказала она.— Когда Том Флин воротился из Сакраменто, а пробыл он там всего-то неделю, он уж столько небылиц наговорил, что на весь дождливый сезон хватило.

Хеммингвею стало и смешно и досадно. Усевшись возле открытой двери, он начал подробно и добросовестно описывать Сакраменто, новые дома, гостиницы и театры, которые бросились ему в глаза, когда он был там в последний раз. Некоторое время оживление и жадное любопытство девушки его забавляли, но вскоре ему это наскучило. Однако он продолжал свой рассказ, отчасти чувствуя себя обязанным, отчасти для того, чтобы смотреть, как она работает по хозяйству. До чего же изящна эта высокая, стройная и гибкая девушка! Несмотря на характерную для жительницы Юго-Запада ленивую медлительность, в движениях ее была какая-то бессознательная грация. Огромный кувшин патоки, который она снимала с полки под самой крышей, казался в ее руках греческой амфорой. Когда она, вытянув кверху раскрытые ладони, втаскивала на эту грубо сколоченную полку тяжелый мешок с мукой, перед Хеммингвеем словно бы возникла египетская кариатида. Вдруг она прервала его рассеянный рассказ веселым смехом. Он вздрогнул, поднял глаза и увидел, что она стоит в дверях и с смешливым сожалением смотрит на него сверху вниз.

— Знаете что,— сказала она,— пожалуй, хватит рассказывать. Я вижу, вы устали, замучились и до смерти

хотите спать. Посидите тихо, как будто меня здесь нет, а я пока кончу стряпать.

Хеммингвей покраснел от досады, но девушка только качала головой, не желая слушать его возражений.

— Молчите уж! Вам совсем не хочется разговаривать, вот вы и решили выложить мне все, что знаете про Сакраменто, — с искренним смехом проговорила она. — А вот и наши женщины, да и ужин почти готов.

Послышались усталые, равнодушные голоса, вздохи, и перед хижиной появились три тощие женщины в темных шерстяных платьях. Видимо, они преждевременно состарились от непосильного труда, тяжких забот и нездоровой пищи. Без сомнения, среди этих развалин порою расцветал цветок вроде Джей Джулс, но и в этой грациозной нимфе, без сомнения, уже таился зародыш такой же печальной зрелости. Хеммингвей ответил на их степенные приветствия не менее степенно. Ужинали в унылой торжественности, которая, по мнению жителей Юго-Запада, свидетельствует о глубоком уважении к гостю. Даже жизнерадостная Джей притихла, и, когда молодой человек наконец удалился в свой завешанный одеялом угол, он почувствовал, что у него словно гора свалилась с плеч. Из разговоров за столом он узнал, что на следующее утро еще до восхода солнца старшие женщины отправятся в Рэтлснейк Бар закупать провизию на всю неделю, а Джей останется готовить ему завтрак и догонит их позже. Его отношение к ней уже изменилось, и он почувствовал, что с нетерпением ожидает, когда они останутся наедине и он сможет оправдаться в ее глазах. Он постепенно начал понимать, что вел себя глупо, неучтиво и к тому же предвзято. Очутившись в своем углу, он разделся и лег. Тишину нарушали только монотонные голоса в соседней половине. Время от времени до него доносились обрывки разговоров — говорили все о домашних делах или о происшествиях в поселке, но ни разу он не услышал, чтобы кто-нибудь обмолвился хоть словом про него или попытался деликатно понизить голос. Вскоре он уснул. Ночью он два раза просыпался от пронизывающего холода, которым так резко сменилось приятное тепло накануне вечером, и ему пришлось навалить поверх одеял всю свою одежду, чтобы хоть немного согреться. Он опять уснул, проснулся еще раз от легкого

толчка, но тут же снова погрузился в дремоту, проспал еще неизвестно сколько и, наконец, проснулся совсем, услышав, что кто-то окликает его по имени. Открыв глаза, он увидел, что одеяло отодвинуто в сторону и в его угол заглядывает Джей. Он очень удивился, обнаружив, что, хотя лицо у нее встревоженное, она еле сдерживает смех.

— Вставайте скорей! — задыхаясь, проговорила она. — Такого еще сроду не бывало!

С этими словами девушка исчезла, но до него все еще доносился ее смех, и тут, к его величайшему изумлению, пол вдруг накренился. У него закружилась голова. Он спустил ноги с постели. Пол явно был мокрый и скользкий. Он быстро оделся, все время ощущая какую-то непонятную дрожь и головокружение, и вышел за перегородку. Пол снова закачался у него под ногами, и он со всего размаху налетел на дрожащую Джей, которая, не в силах сдержать смех, утирала слезы фартуком. При их столкновении последние остатки ее серьезности словно улетучились. Она упала на стул, махнула рукой в сторону открытой двери, задыхаясь, выкрикнула: «Смотрите! Ах ты господи! Да что ж это такое?» — закрыла лицо фартуком и буквально покатилась со смеху.

Хеммингвей повернулся к двери: прямо перед ним вровень с полом хижины простиралось целое озеро! Он шагнул на помост. Слева, справа — везде и всюду была вода. Под его тяжестью помост слегка погрузился в воду. Хижина плыла — плыла, как на плоту, крепко прибитая к своему бревенчатому фундаменту. Возвышенность, река, берега, зеленая рощица за рекой — все исчезло. Одни, совсем одни, они плыли словно по морю.

С изумлением и тревогой он посмотрел на смеющуюся девушку.

— Когда это случилось? — спросил он.

Она перестала смеяться — скорее из вежливости и из уважения к нему, нежели от страха, — и спокойно ответила:

— Чего не знаю — того не знаю! Два часа назад, когда женщины уходили, все было в порядке. Готовить вам завтрак было рано, ну я, кажется, уснула и вдруг слышу какой-то шум и чувствую толчок. — Тут Хеммингвей вспомнил свое собственное смутное ощущение. — То-

да я встала и вижу — мы в воде. Я подумала, что это просто волна, которая сейчас схлынет, и не стала вас будить. И только когда я увидела, что мы плывем и что гора уже далеко, я решила вас позвать.

Хеммингвей подумал о лавке, оставшейся далеко позади, об отце Джей, о рабочих на берегу, о беспомощных женщинах, ушедших в Рэтлснейк Бар, и в ярости повернулся к ней.

— А все остальные, где они? — возмущенно спросил он. — Это, по-вашему, смешно?

От его слов Джей вздрогнула, как от пощечины, лицо у нее словно окаменело, и, нарочито растягивая слова, совсем как ее отец, она проговорила:

— Женщины сейчас высоко наверху. А наших ребят уже не раз заливало, и они выбирались из воды на корытах для промывки или на бревнах, но никто еще ни разу не хныкал. Том Флин однажды проплыл на двух бочках целых десять миль — до самого Сойера, но я не слыхала, чтоб он плакал, когда его вытащили.

Хеммингвей покраснел и сразу все понял. Ну, конечно, их начало заливать раньше, а всякого хлама там довольно, есть за что ухватиться. Они наверняка уже в безопасности. А хижину они бросили на произвол судьбы только потому, что не сомневались в ее прочности, а может быть, даже видели, как она спокойно поплыла по воде.

— А у вас такое уже бывало? — спросил он, вспоминая о своеобразном фундаменте хижины.

— Нет, ни разу.

Он снова взглянул на воду. На ней было явственно заметно течение. Это какой-то новый разлив, а не продолжение прежнего. Он опустил руку в воду. Вода была холодная, как лед. Да, теперь все ясно. Снег на вершинах Сьерры внезапно растаял, и вода устремилась вниз по каньону. Но будет ли она прибывать и дальше?

— Нет ли у вас тут шеста или палки подлиннее?

— Нет, — отвечала девушка, широко открыв глаза и качая головой с притворным отчаянием, но губы ее дрожали от смеха.

— Тогда, может быть, найдется какая-нибудь веревка или шнурок? — продолжал он.

Она протянула ему клубок грубой бечевки.

— Можно взять эти крюки? — спросил он, указывая на вбитые в балку грубые железные крючья, на которых висели окорока и вяленое мясо.

Она кивнула. Он выдернул крючья, смазал их салом от окорока и привязал к ним бечевку.

— Рыбу ловить хотите? — с притворной застенчивостью спросила она.

— Вот именно, — мрачно отозвался он.

Он бросил конец в воду. Бечевка ушла вглубь футов на шесть, потом выпрямилась и туго натянулась: крюки зацепили дно. Несколькими рывками он вытащил их. На крюках торчали листья и пучки травы. Он принялся внимательно их рассматривать.

— Мы не в Змеином ручье, — сказал он, — и не там, где было наводнение. На крюках нет ни глины, ни песка, а эта трава не растет у воды.

— Какой вы умный! — с восхищением сказала она, опускаясь на колени рядом с ним у края помоста. — Давайте поглядим, что вы там поймали. Смотрите! — воскликнула она вдруг, взяв в руки сломанный стебель. — Ведь это же «старикашка», он ближе Спринджерс Райва не растет. А это в четырех милях от дома.

— Вы уверены? — быстро спросил он.

— Еще бы! Ведь я им одеколонуясь.

— Что? — с недоумением переспросил он.

— А вот что!

Она сунула листья ему под нос, потом поднесла их к своим розовым ноздрям.

— Это... это... — Джей помедлила, а потом, с подчеркнутой старательностью выговаривая слова, произнесла: — Вместо духов.

Он с восхищением взглянул на нее. Совсем еще дитя, несмотря на свои пять футов и десять дюймов роста! Что за идиот он был, когда возмущался ее поведением! Как прелестно и грациозно стоит она на коленях с ним рядом!

— Послушайте, — проговорил он уже мягче, — ну а теперь вы над чем смеетесь?

Ее карие глаза на мгновение затуманились, но тут же снова засверкали весельем. Она наклонилась в сторону, оперлась на одну руку, теребя другой завязку от фартука, и с притворной застенчивостью промолвила:



— Понимаете, ведь можно лопнуть со смеху, как подумаешь, что вы совсем не хотели со мной разговаривать, просто готовы были все на свете отдать, лишь бы поскорей отсюда убраться, а теперь вам волей-неволей придется торчать тут вместе со мной неизвестно сколько времени!

— Но ведь то было вчера,— шутливо возразил он.— Я устал, вы же сами знаете. А теперь я не прочь поболтать. Что вам рассказать?

— Что хотите,— со смехом отвечала девушка.

— Сказать, о чем я думаю? — спросил он, глядя на нее с откровенным восхищением.

— Скажите.

— Все сказать?

— Да, все.— Она умолкла, наклонилась вперед, неожиданно нахлобучила шляпу молодого человека на его дерзкие глаза и добавила: — Все, да только без этого.

Пока он с трудом, изрядно смущенный, водворял шляпу на прежнее место, девушка встала и ушла в хижину. Несмотря на досаду, он все же с облегчением заметил, что она по-прежнему в веселом настроении. Был ли ее поступок проявлением провинциального кокетства, или же ее рассердили его заигрывания? Слова ее никак не рассеяли его недоумение.

— Придется нам отложить милые разговоры и ухаживания, пока мы не узнаем, где находимся, куда нас несет и что с нами будет дальше. А сейчас похоже, что только эти бревна и отделяют нас от царствия небесного. Возьмите-ка вы лучше парочку гвоздей да приколотите пол к ним покрепче,— сказала она, протягивая ему молоток и гвозди.

Хеммингвей послушно принялся за работу, хотя совсем не был уверен, что доски пола будут крепко держаться. В доме не было ни каната, ни цепи, чтобы связать бревна, и, если течение усилится, а хижина наткнется под водой на какой-нибудь пень или на груды обломков, бревна разойдутся, и она развалится. Однако он ничего не сказал. Молчание нарушила девушка:

— Как вас зовут?

— Майлс.

— Майлс... Знаете, Майлс, вчера вы показались мне таким чужим и далеким...

Мистер Хеммингвей счел это замечание чрезвычайно интересным.

— Однако,— сказал он,— стоило мне только попытаться подойти к вам поближе, вы меня сразу же осаждали.

— Это все оттого, что вы двигались еще быстрее, чем хижина. Небось, со своими приятельницами в Сакраменто вы не такой прыткий. Ну да ладно, теперь можете рассказывать.

— Но ведь я еще не знаю, «где мы находимся» и «что с нами будет дальше».

— Зато я знаю,— спокойно возразила она.— Часа через два нас отсюда снимут и вы освободитесь.

Ее уверенность заставила его еще раз подойти к дверям и выглянуть наружу. Теперь течение совсем ослабело, и хижина казалась неподвижной. Не было даже ветра, который бы ее подгонял. Очевидно, они стояли на прежнем месте, но, измерив глубину, Хеммингвей убедился, что уровень воды начал понижаться. Он вернулся в хижину и сообщил ей об этом довольно самоуверенно — ведь она сама сказала, что он так много знает. К его удивлению, Джей только засмеялась и нехотя проговорила:

— Все будет хорошо, часа через два вы освободитесь.

— Не вижу никаких признаков этого,— возразил он, снова выглянув за дверь.

— А все потому, что вы ищите их в воде, на небе и в грязи,— со смехом отвечала она.— Вы, наверно, разбегаетесь в таких вещах лучше, чем в здешних людях.

— Может быть, вы и правы,— весело согласился Хеммингвей,— но только мне не совсем ясно, при чем тут здешние люди.

— Вот увидите,— отвечала она, таинственно улыбаясь. Потом в глазах ее появилось нежное, но в то же время лукавое выражение, и она добавила: — Впрочем, вы, пожалуй, тоже по-своему правы.

Если бы всего час назад ему пришло в голову, что от одного лишь взгляда этой девушки, от нескольких ее слов сердце его будет биться быстрее, он бы только посмеялся.

— Значит, я могу рассказывать дальше?

Она только улыбнулась, но в глазах ее он ясно прочел «да».

Хеммингвей повернулся, чтобы сесть на стул с нею рядом. В эту минуту хижина вдруг задрожала, послышался треск, глухой удар, потом все сооружение накренилось, и обоих резко отбросило в угол, а в раскрытые двери стремительным потоком хлынула вода. Хеммингвей быстро обхватил девушку за талию и потащил ее в поднявшийся кверху угол хижины, что сразу восстановило равновесие, а она, все еще смеясь, невольно прижалась к нему. На миг у обоих перехватило дыхание, и в этот миг он повернул ее к себе и поцеловал.

Она мягко высвободилась, не выказывая ни волнения, ни замешательства, и, указав на открытую дверь, воскликнула:

— Глядите!

Два бревна из фундамента, на котором держался пол, преспокойно уплывали вперед! Очевидно, они наткнулись на какое-то подводное препятствие, бревна оторвались, а хижина зацепилась и застряла. Хеммингвей мгновенно оценил опасность. Он ринулся по узкому краю фундамента туда, где было препятствие, и, не задумываясь, прыгнул в ледяную воду. Он погрузился по грудь, прежде чем успел нащупать его ногами. Это оказался большой пенёк с торчащим кверху суком. Упершись в него, Хеммингвей оттолкнул хижину и хотел было влезть на ближайшее бревно, но увидел, что оно еле держится и сразу же оторвется под его тяжестью. В тот же миг у него над головой мелькнул розовый ситцевый рукав и сильная рука схватила его за воротник. Когда девушка втащила его в открытую дверь, хижину развернуло.

— Эх вы, сорвиголова! — со смехом воскликнула Джей. — Почему вы не дали мне это сделать? Я же выше вас ростом! Правда, мне так быстро не обсушиться, — добавила она и, поглядев на его промокшую одежду, достала из угла одеяло.

Однако, к ее величайшему изумлению, Хеммингвей отшвырнул одеяло в сторону, показал ей на пол, покрывшийся тонким слоем воды, бросился к еще не успевшей остыть печке и, сорвав с нее трубу, выбросил за борт. Вслед за печкой отправились мешки с мукой, окорок,

кувшин с патокой, сахар и все более или менее тяжелые предметы. Освободившись от лишнего груза, хижина поднялась на несколько дюймов. Тогда Хеммингвей уселся и сказал:

— Ну вот! Теперь мы сможем продержаться на плаву те два часа, о которых вы говорите. А пока что можно поболтать!

— Нет, теперь уж не придется,— возразила она более серьезным тоном.— Осталось гораздо меньше двух часов. Гляньте-ка вон туда.

Посмотрев в ту сторону, куда она показывала, молодой человек сначала не увидел ничего, а потом на серой водной глади показалась какая-то точка, которая иногда вытягивалась в узкую черную полоску.

— Это просто бревно,— сказал он.

— Нет не бревно. Это индейская пирога. Она идет за мной.

— Это ваш отец? — живо спросил он.

Она грустно улыбнулась.

— Это Том Флин. У отца другие дела есть. А у Тома нету.

— А кто такой Том Флин? — спросил он с каким-то странным чувством.

— Мой жених,— серьезно сказала она, слегка краснея.

Девушка расцвела, словно роза, а Хеммингвей побледнел. На минуту воцарилось молчание. Потом он с искренним чувством проговорил:

— Я должен просить у вас прощения за свой глупый и дерзкий поступок. Но откуда мне было знать?

— Вы получили по заслугам, и Том ничего не может иметь против,— усмехнувшись, сказала она.— Вы были очень любезны и действовали довольно ловко.

Она протянула ему руку, и пальцы их сплелись в крепком пожатии. Затем мысли Хеммингвея вновь обратились к делу, о котором он совсем забыл; он вспомнил свое первое впечатление от лагеря и от этой девушки. Они молча стояли у двери, пристально глядя на пирогу и на гребца, которые теперь были ясно видны. Оба чувствовали, что их сосредоточенность совсем не искренняя.

— Боюсь, что я напрасно поспешил выбросить за борт ваши пожитки,— с натянутым смешком заметил

он.— Мы могли бы еще некоторое время продержаться на плаву.

— Неважно,— усмехнулась она в ответ.— Пусть видит, что нам тут не очень-то сладко пришлось.

Он ничего не ответил. Он не смел поднять на нее глаза. Да! Перед ним та самая кокетка, которую он видел накануне. Его первое впечатление было верным.

Пирога, направляемая сильной рукой, быстро приближалась. Через несколько минут она поравнялась с хижиной, и гребец вскочил на помост. Брюки у него были заправлены в сапоги — оказалось, что это тот самый человек, который накануне в лавке вторым вступил в их мрачную беседу. Молча кивнув девушке, он тепло пожал руку Хеммингвею.

Затем он стал торопливо извиняться за свое опоздание: было очень трудно определить «курс» хижины. Он решил первым делом плыть на самое опасное место — к старой вырубке на правом берегу, где так много пней и молодой поросли, и был прав. Все остальные в безопасности, никто не пострадал.

— И все же, Том,— сказала девушка, когда они сели в пирогу и отчалили,— ты и не знаешь, что чуть меня не потерял.

С этими словами она подняла свои прекрасные глаза и многозначительно посмотрела — не на него, а на Хеммингвея.

На следующий день, когда «у Джулса» спала вода, в долине обнаружили некоторые любопытные перемены, а также золото, и письмоводитель мог сделать вполне благоприятный доклад. Однако он ни словом не обмолвился о своих первых впечатлениях в тот день, когда «у Джулса» разлилась вода, хотя впоследствии частенько думал, что они были совершенно справедливы.

## ЭСМЕРАЛЬДА СКАЛИСТОГО КАНЬОНА

Боюсь, что главный герой этого повествования начал свою жизнь как самозванец. Он был подсунут одному доверчивому и сердобольному семейству из Сан-Франциско под видом овечки, которой неминуемо грозило попасть под нож мясника, если она не будет приобретена для забавы детям. Утонченная чувствительность в соединении с чисто городским невежеством в области явлений природы помешали этим добрым людям заметить бросающиеся в глаза особенности, выдававшие козье происхождение животного. В соответствии с этим на шею ему был, как положено овечке, повязан бант, и простосердечные дети повели его в школу в подражание легендарной «Мэри». Но здесь — увы! — обман обнаружился, и козленок был с позором изгнан учителем из школы, как «не агнец, а самозванец», после чего его жизнь потекла по другому руслу. Впрочем, добросердечная мать семейства настояла на том, чтобы он остался в доме, утверждая, что и такое животное может оказаться полезным. На робкий намек супруга насчет перчаток она ответила презрительным отказом и напомнила о рахитичном младенце соседки, которого можно будет подкармливать молоком этого ниспосланного судьбой животного. Но и эта надежда рухнула, когда случайно был обнаружен его пол. Тут уж не оставалось ничего другого, как примириться с тем, что он обыкновенный козленок, и довольствоваться теми его качества-

ми, в которых он достиг совершенства: умением поглощать пищу, прыгать и бодаться. Надо признать, что тут он побил все рекорды. Способность пожирать любые предметы — от батистового платка до предвыборного плаката, необычайное проворство, с каким он возносился даже на крыши домов, и умение одним толчком опрокидывать навзничь любого ставшего на его пути ребенка, сколь бы ни был тот толст и увесист, сделали его радостью и грозой всех детских игр. Развитию этой его способности неосмотрительно содействовал прислуживавший в доме мальчишка-негр, которого его не в меру талантливый ученик вскоре заставил кубарем слететь с лестницы. Вкусив однажды от плодов своего триумфа, козел Билли в дальнейшем уже не нуждался в поощрении. Небольшая тележка, в которую дети запрягали его порой, чтобы покататься на нем, ни разу не помешала ему боднуть кого-нибудь из прохожих. Наоборот, используя хорошо известный закон физики, он не ограничивался ударом рогов, а еще усиливал эффект, опрокидывая на незадачливого пешехода целый детский выводок, вылетающий из тележки в момент внезапного толчка.

Развлечение это, казавшееся восхитительным детворе, представляло известную опасность для лиц более зрелого возраста. Возмущение и протесты привели к тому, что Билли нельзя было долее оставаться в доме, и его пагубная страсть к боданию изгнала его из-под гостеприимного семейного крова в жестокий, бесчувственный мир. Однажды поутру он сорвался с привязи во дворе за домом, после чего несколько дней безнаказанно наслаждался недозволенной свободой, красуясь на крышах соседних домов и на заборах. Окраина Сан-Франциско, где проживали его доверчивые покровители, находилась в ту пору еще в состоянии разрушения, подобного землетрясению или извержению вулкана и происшедшего в результате того, что среди песчаных холмов и скал прокладывались новые улицы, отчего крыши одних домов оказывались вровень с порогами других и тем самым представляли простор для Биллиных упражнений.

Как-то вечером взволнованные и восхищенные взоры ребятишек обнаружили Билли на верхушке новой печной

трубы соседского дома, только что выложенной в елизаветинском стиле: уместившись на пространстве величиной с тулью обыкновенной шляпы, он меланхолично взирал на распростертый у его ног мир. Тщетно взывали к нему звонкие ребячьи голоса, тщетно простирались с мольбой детские ручонки; вознесенный собственными силами на столь ужасающую высоту, он, подобно мильтоновскому герою, был в своем величии слеп и глух. И в самом деле, что-то сатанинское уже проступало в его облике — в этих маленьких рожках и остроконечной бородке, окутанных медленно плывущими из трубы завитками дыма. После этого он, как и следовало ожидать, сгинул с глаз, и в Сан-Франциско больше не было о нем ни слуху, ни духу.

Однако в это же самое время некто Оуэн Мак-Гиннис — один из скваттеров, осевших среди окрестных песчаных холмов, тоже покинул Сан-Франциско, дабы попытать счастья на южных рудниках, и, как говорили, прихватил с собой козла, по-видимому, единственно ради компании. Так или иначе, но это стало поворотным пунктом в дальнейшей судьбе Билли. Всякое сдерживающее начало, каким могли бы послужить для него людская доброта, цивилизация или на худой конец блюстители закона, было утрачено. Боюсь, что он сохранил лишь некоторую коварную изощренность ума, усвоенную в Сан-Франциско вместе с газетами, театральными афишами и агитационными предвыборными плакатами, которые он там поглощал. Когда Билли появился среди золотоискателей Скалистого Каньона, он был быстр, как серна, и коварно-хитер, как сатир. Вот что принесла ему цивилизация!

Если мистер Мак-Гиннис наивно полагал, что, помимо дружеского общения с Билли, ему удастся еще извлечь из него какую-либо пользу, он горько заблуждался. Лошади и мулы были в Скалистом Каньоне наперечет, и Мак-Гиннис попробовал использовать Билли, заставив его возить небольшую тележку с золотоносным песком от его участка к ручью. Билли, заметно окрепший, вполне годился для этой цели, но — увы! — ей никак не соответствовали его врожденные наклонности. Неосторожный жест случайно проходившего мимо старателя Билли истолковал как привычный для него вызов. Наклонив



голову с крохотными рожками, предусмотрительно подпиленными хозяином, он внезапно бросился на своего обидчика, увлекая за собой тележку. Упоминавшийся выше физический закон восторжествовал снова. От внезапного толчка тележка опрокинулась, и ошеломленный старатель был погребен под ее содержимым. В любом другом старательском лагере, кроме Калифорнийского, подобные склонности упряжной скотины подверглись бы единодушному осуждению ввиду причиняемых ими неприятностей и убытков, но в Скалистом Каньоне их находили забавными, хотя и разорительными для хозяина. Старатели часто, подкараулив Билли, подстрекали какого-нибудь «зеленого новичка» подразнить животное тем или иным недостойным способом. В результате ни одна тележка драгоценного песка не достигала в целости места своего назначения, и несчастному Мак-Гиннису пришлось отстранить Билли от извоза. Поговаривали, что вследствие непрерывных провокаций эти склонности Билли начали достигать таких размеров, что уже сам Мак-Гиннис не чувствовал себя больше в безопасности. Однажды, когда он наклонился, чтобы убрать валявшийся на дороге сук, Билли воспринял это действие как шаловливый вызов со стороны хозяина... и неизбежное, разумеется, произошло.

На следующий день Мак-Гиннис появился с тачкой, но без Билли. С этого дня Билли был изгнан на скалистые утесы, окружавшие лагерь, откуда его лишь изредка заманивал вниз какой-нибудь особенно озорной старатель, желавший продемонстрировать его замечательные способности. Козел же, находя для себя в изобилии пропитание среди скал, продолжал вместе с тем испытывать непреодолимую тягу к цивилизации, воплощенной в афишах и плакатах, и стоило только появиться в поселке объявлению о предстоящем концерте, цирковом представлении или политическом митинге, как он был уже тут как тут, раньше чем клей успевал высохнуть и утратить сочность. Так, например, утверждали, что Билли сорвал однажды огромную театральную афишу, оповещавшую о высоких достоинствах очаровательной «Любимицы Сакраменто», и, будучи пойман рекламным агентом на месте преступления, помчался, преследуемый им, по главной улице, с непросохшей афи-

шей на рогах и укрепил ее своим собственным, неповторимым способом на спине судьи Бумпойтера, стоявшего на крыльце суда.

Гастроли этой молодой особы знаменуют собой еще одно событие из жизни Билли, увековеченное в преданиях Скалистого Каньона. В это самое время в поселке проездом остановился полковник Старботтл, совершавший предвыборную поездку; как истый рыцарь, он почел своим долгом нанести визит прелестной актрисе. Дверь единственной гостиной небольшого отеля выходила на веранду, расположенную на одном уровне с улицей. После краткой, но изысканной беседы полковник Старботтл торжественно выразил актрисе благодарность от лица всего поселка, со старомодной галантностью южанина поднес ее пухленькую ручку к губам и с низким поклоном попятился к двери на веранду. Однако, к изумлению «Любимицы», он тут же стремительно влетел обратно и с невероятной поспешностью плюхнулся к ее ногам! Стоит ли говорить, что следом за ним тотчас появился Билли, который, прогуливаясь по улице, случайно заметил полковника и усмотрел в его необычном способе ретироваться недостойный джентльмена вызов.

Но мало-помалу Биллины набеги становились все реже, а в Скалистом Каньоне жизнь шла своим чередом со всеми перипетиями, обычными для старательского поселка. Понаехало много семей с Юго-Запада, и среди различных менее бурных и щекотливых развлечений о Билли начали забывать. Болтали, что кто-то видел его в отдаленном состоянии на уединенных тропах среди неприступных скал, и наиболее предприимчивые даже высказывали предположение, что он мог теперь стать съедобным и неплохо бы на него поохотиться. Один чужак, забредший в Скалистый Каньон через Верхний перевал, рассказал, что ему довелось видеть какое-то странное с виду косматое животное, величиной с небольшого лося, появлявшееся то тут, то там на вершинах недоступных скал и всегда — вне выстрела.

И тут совершенно неожиданное происшествие сделало несущественными эти и все прочие рассказы и заставило позабыть о них.

Почтовая карета с новоселами взбиралась по отлогому склону Охотничьего перевала. Внезапно Юба Билл резко осадил лошадей, надавив ногой на тормоз.

— Вот те на! — ахнул он, разинув от удивления рот.

Пассажир, сидевший рядом с ним на козлах, обернулся и с недоумением поглядел в ту сторону, куда был направлен взгляд Билла. В двух-трех сотнях шагов от дороги склон холма образовывал небольшую, похожую на чашу впадину, ярко зеленевшую в просвете между соснами. И посреди этой зеленой лужайки танцевала девушка лет шестнадцати. Высоко подняв руки над головой, она отбивала такт самодельными кастаньетами, вроде тех, какими пользуются бродячие негритянские певицы. Но что самое удивительное — рядом с девушкой прыгал довольно большой козел с венком из полевых цветов и виноградных листьев на шее. Он выкидывал неуклюжие антраша, словно подражая своей партнерше. Эта буколическая лужайка и две странные фигуры на фоне диких скал Сьерры — козел и девушка в ярко-красной нижней юбке, видневшейся из-под ситцевого платья, подол которого был подоткнут у пояса, — представляли столь необычное зрелище, что тотчас приковали к себе взгляды всех пассажиров. Быть может, картина больше напоминала негритянскую вакханалию, чем танец лесной нимфы, но, смяченная, так же как и треск кастаньет, расстоянием, она производила чарующее впечатление.

— Эсмеральда! Чтобы мне пропасть! — взволнованно воскликнул пассажир, сидевший на козлах.

Юба Билл снял ногу с тормоза, шевельнул вожжами и окинул говорившего взглядом, исполненным глубочайшего презрения.

— Да это же тот самый окаянный козел из Скалистого Каньона, а девчонка — Полли Харкнесс! Как это она его приручила?

Не успела карета остановиться у Скалистого Каньона, как новость при содействии пассажиров уже облетела весь поселок, получив подтверждение от Юбы Билла и живописные подробности — от господина, ехавшего на козлах. Харкнесс, как известно, был пришлый человек, живший с женой и единственной дочерью по ту сторону Охотничьего перевала. Он валил лес и обжигал

уголь и прорубил целую просеку, пробившись сквозь сомкнутые ряды сосен у перевала, в результате чего создал вокруг своей бревенчатой хижины непроходимый кордон из поваленных деревьев, содранной коры и ям для обжига угля и сделал свое уединение полным и незыблемым. Про него говорили, что он какой-то полу-дикий горец из Джорджии, что там, в первобытной глуши, он, нарушая закон, гнал виски и что его образ жизни и замашки делают его неприемлемым в цивилизованном обществе. Жена его курила и жевала табак. Он же, по слухам, изготавливал из желудей и кедровых орешков огненный напиток. В Скалистый Каньон он навещался редко — главным образом за провизией; лес свой спускал по деревянному желобу к реке и раз в месяц сплавлял на лесопилку, но сам при этом всегда оставался дома. Дочка его — еще совсем подросток, — смуглая, как осенний папоротник, с диковатыми глазами и растрепанными косами, в домотканой юбке, соломенной шляпке и мальчишечьих башмаках, тоже очень редко появлялась в Скалистом Каньоне. Таковы были простые, очевидные факты, которые скептически настроенные обыватели Скалистого Каньона не замедлили противопоставить легендам, распускаемым пассажирами почтовой кареты. Правда, кое-кто из старателей помоложе не почел за труд по дороге к реке перевалить за Охотничий перевал, но с каким результатом, оставалось неизвестным. Поговаривали также, что один знаменитый нью-йоркский художник, путешествовавший по Калифорнии и находившийся на империае, когда карета поднималась на перевал, увековечил для потомков свое воспоминание о том, что ему довелось там увидеть, в широко известном полотне, названном им «Пляшущая нимфа и сатир» и «изобличающем», по словам одного компетентного критика, «глубокое знание жизни древних греков». Это не произвело особенного впечатления в Скалистом Каньоне, где куда более удивительным событиям жизни обыкновенных людей из плоти и крови всегда отдавалось предпочтение перед мифологическими сюжетами, однако впоследствии об этом факте вспомнили — и не без причины.

В период различных, уже упоминавшихся выше городских благоустройств на главной улице была воздвигну-

та деревянная, крытая оцинкованным железом церквушка, и некий довольно популярный в тех краях проповедник, принадлежавший к одной из юго-западных сект, начал регулярно обращаться в ней с увещеваниями к своей пастве. Сила его грубого эмоционального воздействия на невежественные души единоверцев-сектантов была общеизвестна, остальных же привлекало на его проповеди любопытство. Женская часть паствы внимала его речам в истерическом экстазе. Женщины, состарившиеся раньше срока, рожая детей и терпя все невзгоды суровой жизни пионеров края, девушки, чья полуголодная, нищенская юность прошла в борьбе с жестокими законами жизни и природы,— все поддавались странному очарованию великодушного заоблачного царства, которое сулил им проповедник и с которым в цивилизованном обществе их познакомили бы сказки и легенды, рассказанные в детской. Внешность проповедника нельзя было назвать привлекательной: собственно говоря, его худое, продолговатое лицо, жесткие взлохмаченные волосы, торчавшие двумя космами по сторонам квадратного лба, и длинная, вечно спутанная остроконечная борода, прикрывавшая жилистую шею над могучими плечами, были довольно характерными для Юго-Запада. Однако было в них что-то и не совсем обычное. Лучше всего это удалось выразить одному старателю, который впервые посетил церковь и при виде преподобного мистера Уизхолдера, поднявшегося на кафедру, громогласно воскликнул:

— Разрази меня гром! Да это же наш Билли!

А когда в следующее воскресенье перед входом в церковь, к изумлению всех молящихся, появилась Полли Харкнесс в новом белом муслиновом платье, в широкополой шляпе и вместе с настоящим Билли и вступила в разговор с проповедником, вышеупомянутое сходство показалось многим просто сверхъестественным.

С огорчением должен признаться, что Скалистый Каньон тотчас дал козлу прозвище «преподобный Билли», а самого священнослужителя с этой минуты стали именовать «Биллиным братцем». Когда же кое-кто из пришлых людей сделал попытку раздражить Билли, привязанного во время богослужения на церковном дворе, и заставить его снова впасть в соблазн бо-

данья, а козел не обратил никакого внимания на все оскорбления и выпады, к его прозвищу прибавился еще эпитет «поганого лицемера».

В самом ли деле Билли переродился? Повлиял ли на него буколический образ жизни с подругой-нимфой, полностью излечив его от прежней драчливости, или он нашел такое поведение несовместимым с танцами и увидел в нем серьезную помеху для грациозных пируэтов? А, быть может, он сделал открытие, что церковные брошюры и молитвенники не менее съедобны, чем театральные афиши? Все эти вопросы весело обсуждались в Скалистом Каньоне, а таинственная связь, существовавшая между преподобным мистером Уизхолдером, Полли Харкнесс и козлом Билли, оставалась неразгаданной. Появление Полли в церкви, несомненно, говорило об энергии, с какой проповедник вербовал души в своем приходе. Но был ли он осведомлен о Поллиных танцах с козлом? Как могла простенькая, плохо одетая, неуклюжая Полли предстать в образе прекрасной танцующей нимфы, очаровавшей столь многих? И замечал ли кто-нибудь прежде или потом, чтобы козел Билли пользовался благосклонностью Терпсихоры? Можно ли было обнаружить в нем сейчас хоть какие-нибудь способности к танцам? Ни малейших! А значит, не проще ли предположить, что мистер Уизхолдер сам отплясывал вместе с Полли и был по ошибке принят за козла? Если пассажиры кареты могли так легко обмануться по части Поллиной красоты, значит, им ничего не стоило принять преподобного Уизхолдера за козла Билли. Во время этих дебатов произошло еще одно событие, и тайна сгустилась.

Новосел Джек Филджи был, по-видимому, единственным мужчиной в поселке, не разделявшим общего мнения относительно Полли. О ее танцевальных выступлениях с козлом, которых ему видеть не довелось, он отзывался с явным недоверием, однако сама девушка, как видно, крепко задела его за живое. К несчастью, не в меньшей степени тянуло его и к бутылке, а так как в трезвом состоянии он был чрезмерно застенчив и робок, в остальное же время имел слишком непрезентабельный вид, его ухаживания, если можно так охарактеризовать эти действия, продвигались вперед черепашьям

шагом. Впрочем, заметив, что Полли стала посещать церковь, он сразу же внял призывам преподобного мистера Уизхолдера и пообещал прийти на «чтение библии», которое должно было состояться после воскресной службы. К полудню солнце стало крепко припекать, и Джек, уже двое суток не бравший в рот спиртного, опрометчиво решил подкрепиться перед предстоящим испытанием, пропустив глоток другой. От волнения он прибыл на место раньше срока и тотчас уселся в пустой церкви на скамью возле открытой настежь входной двери. Церковная тишина, сонное жужжание мух, а быть может, и усыпляющее действие спиртного смежили его веки и заставили голову раза два-три склониться на грудь. Но когда он встряхнулся в четвертый раз, стараясь преодолеть дрему, здоровенный удар по уху опрокинул его со скамьи. Больше он ничего не помнил.

Растрепанный, с синяком на лбу, он все же не без достоинства, объяснявшегося отчасти его состоянием, поднялся на ноги и, спотыкаясь, побрел в ближайший салун. Там кое-кто из завсегдатаев, видевших, как он направлялся в церковь, и знавших о его преданности Полли, подвигнувшей его на этот шаг, проявили к нему вполне естественное участие.

— Ну, как у тебя дела по церковному ведомству?— спросил один.— Ты что, воевал там с духами, Джек?

— Крепко «увещает» старик Уизхолдер,— заметил другой, покосившись на пришедший в беспорядок воскресный костюм Джека.

— А может, ты, Джек, не поладил с Полли? Я слышал, она знатно бьет левой.

Не отвечая ни слова, Джек налил себе виски, опрокинул его в глотку, поставил стакан, прислонился к стойке и окинул любопытных печальным взглядом, исполненным достоинства и укоризны.

— Я здесь пришлый, джентльмены,— медленно произнес он,— вы меня не так чтобы давно знаете, но раз уж видали и мертвецки пьяным и трезвым, как стеклышко, так, думается, изучили вдоль и поперек. Ну вот, я и хочу вас спросить, как честных людей: слышали вы когда-нибудь, чтобы я ударил священника?

— Никогда! — загремел хор сочувствующих голосов, и только хозяин салуна, вспомнив в эту минуту про

Полли и преподобного Уизхолдера, а также и про то, что делает с людьми ревность, предусмотрительно добавил:

— Пока еще нет.

И хор голосов тотчас отозвался задумчивым эхом:

— Нет, пока еще нет.

— Слыхали вы когда-нибудь, — торжественно продолжал Джек, — чтобы я сквернословил, бранил священников, поносил церковь или говорил про них что-нибудь непотребное?

— Нет! — завопили слушатели, у которых любопытство одержало верх над осторожностью. — Никогда ты этого не делал, можем поклясться. А теперь выкладывай, что там произошло!

— Конечно, я, как говорится, высокого положения не занимаю, — продолжал Джек, искусно затягивая развязку. — Я не какой-нибудь там раскаявшийся грешник или богобоязненный прихожанин и, может, не совсем такой, каким бы мне следовало быть, и никогда не жил, как положено, но разве это причина, чтоб священник меня бил?

— Что? Как это? Кто тебя бил? Когда? — завопили все разом.

И после этого Джек с болью душевной рассказал о том, как преподобный Уизхолдер пригласил его на чтение библии, и как он пришел пораньше, когда в церкви еще никого не было, и выбрал местечко поближе к двери, чтобы сразу быть под рукой, когда явится его преподобие, и как ему было «этак хорошо и мирно на душе», и как он, может, даже малость клевал носом и задремал под жужжание мух, но тут же заставил себя проснуться, хотя в конце-то концов это же не преступление — поспать в церкви, если там никого нет! И как «откуда ни возьмись» появился этот священник, звезданул его по уху так, что сшиб со скамьи, и был таков!

— А что же он сказал? — спросили слушатели.

— Ничего. Убрался восвояси, прежде чем я успел встать на ноги.

— А ты уверен, что это был он? — снова спросили слушатели. — Ты же сам говоришь, что задремал.



— Уверен ли я? — презрительно повторил Джек. — Что я, не знаю, что ли, эту бородатую рожу? Борода-то торчала прямо надо мной.

— И что же ты теперь думаешь делать? — заинтересованно спросили слушатели.

— Подожду, пока он оттуда выйдет... тогда увидите, — многозначительно ответил Джек.

Это вполне удовлетворило слушателей, и они все взволнованно столпились в дверях вокруг Джека, который стал на пороге, устремив взгляд в сторону церкви. Время тянулось медленно. Как видно, это было очень продолжительное молитвенное собрание. Наконец дверь церкви отворилась, какая-то женщина вышла на дорогу и остановилась, оглядываясь по сторонам. Джек покраснел — он узнал Полли — и шагнул вперед. Зрители деликатно, хотя и несколько разочарованно, попятились назад в салун. Совать свой нос в эти дела у них не было охоты.

Полли увидела Джека и торопливо направилась к нему; она что-то держала в руке.

— Я подобрала это в церкви на полу, — застенчиво сказала она, — ну и подумала, что ты уже был там, хотя священник и говорит, что тебя не видел. А я извинилась и побегала, чтобы отдать тебе это. Ведь это твоя, верно?

Она протянула ему самодельную золотую булавку, которую Джек, направляясь в церковь, воткнул для торжественности в галстук.

— А уж вот с этим я так намучилась! Это ведь твой галстук, верно? Билли-то мой лежал себе на церковном дворе и жевал его.

— Кто? — переспросил Джек.

— Билли, мой козел.

Джек с трудом перевел дух и оглянулся на сидевших в салуне.

— Ты уже не пойдешь обратно в церковь слушать библию? — поспешно спросил он. — Если не пойдешь, я, пожалуй... Я провожу тебя домой.

— Да я не против, — скромно отвечала Полли, — если тебе по дороге.

Джек предложил ей руку, и счастливая парочка быстро зашагала по дороге к Охотничьему перевалу.

С прискорбием должен сообщить, что Джек не признался в своей ошибке и не снял с преподобного мистера Уизхолдера подозрения в том, что он позволил себе ничем не спровоцированное оскорбление действием. Однако это не только не подорвало репутации духовного пастыря, что было весьма характерно для нравов Скалистого Каньона, но возбудило к нему уважение, которого он до той поры был лишен. Раз человек умеет бить плеча, значит, говорили местные знатоки, «в нем что-то есть». И, как ни странно, все, кто поначалу держал сторону Джека, начали теперь поговаривать, что сделано это было неспроста. И так как он продолжал хранить молчание или бессмысленно улыбаться, а в ответ на ядовитый вопрос, доводилось ли ему видеть, как Полли танцует с козлом, раздражался громовым хохотом, общественное мнение окончательно обратилось против него. Впрочем, еще более интересное событие вскоре приковало к себе всеобщее внимание.

Преподобный мистер Уизхолдер задумал устроить в Скинерстауне живые картины на библейские сюжеты во славу своей церкви и на ее содержание. Картины должны были изображать «Ревекку у колодца», «Младенца Моисея в корзинке», «Иосифа и его братьев» и — что больше всего взволновало население Скалистого Каньона — «Дочь Иеффая», в роли которой предстояло выступить Полли Харкнесс. Однако во время представления выяснилось, что эту картину без всякого объяснения причин подменили другой. Скалистый Каньон, естественно возмущенный таким пренебрежением к местному таланту, принялся строить самые невероятные догадки. Однако большинство сходилось на том, что все это козни Джека Филджи, ослепленного ревностью к преподобному мистеру Уизхолдеру. Но Джек продолжал бессмысленно улыбаться, и добиться от него чего-либо путного было невозможно. И лишь несколько дней спустя, когда еще одно происшествие увенчало собой всю эту серию таинственностей, Джек разомкнул наконец свои уста.

Однажды утром на улицах Скалистого Каньона появилась кричащая афиша, на которой очаровательная «Любимица Сакраменто» в самой короткой юбочке, ка-

кую только можно вообразить, отплясывала с бубном в руке перед увешанным цветочными гирляндами козлом, как две капли воды похожем на Билли. Надпись огромными буквами среди частоккола восклицательных знаков возвещала: «Любимица Сакраменто» вместе со своим козлом, специально обученным для этой цели талантливой артисткой, выступит в роли Эсмеральды. Козел будет танцевать, играть в карты и показывать прочие фокусы и трюки, известные всем из прекрасного романа Виктора Гюго «Собор Парижской богородицы», а под конец своего выступления сойдет с ног и перекинёт через голову коварного соблазнителя капитана Феба. Вышеозначенное представление состоится с благосклонного соизволения уважаемого полковника Старботтла и мэра Скинерстауна».

Когда жители Скалистого Каньона, разинув рты, глазели на афишу, Джек скромно подошел сзади. Все взоры тотчас обратились к нему.

— Похоже, что твоя Полли покажет себя в этом представлении не больше, чем в живых картинках,— заметил один из зевак, стараясь скрыть свое любопытство под легкой насмешкой.— Видно, она не собирается для нас потанцевать!

— А она никогда и не танцевала,— отозвался с улыбкой Джек.

— Никогда не танцевала? А чего ж тогда все болтали, что она отплясывает с козлом у перевала?

— Да это же «Любимица Сакраменто» и отплясывала, а Полли только одолжила ей на время козла. Понимаете, артистке страх как понравился этот козел, после того как он сшиб с ног полковника Старботтла тогда в отеле, и она задумала научить его разным штукам. Сказано — сделано, а все это обучение и разные там репетиции происходили на перевале, подальше от глаз, чтобы держать дело в тайне. Она взяла у Полли козла, дала ей денег и велела держать язык за зубами, и Полли, кроме меня, никому ни словечком не обмолвилась.

— Так это значит «Любимица» там танцевала, когда Юба Билл проезжал мимо со своей каретой?

— Ну да.

— И это, значит, ее нарисовал тот нью-йоркский художник на своей картине «Нимбы и секиры»?

— Ее.

— Так вот почему Полли не появилась тогда в живых картинах в Скинерстауне! Видно, преподобный Уизхолдер кое-что пронюхал, а? И смекнул, что не Полли, а эта дамочка из театра танцует с козлом?

— Ну, видите ли...— сказал Джек с наигранной нерешительностью,— это, так сказать, особая статья. Не знаю, может, я и не имею права об этом рассказывать. Нет, «Любимица» здесь ни при чем, только не хочется обижать старика Уизхолдера... Так что уж вы лучше не спрашивайте меня, ребята.

Но слушатели были требовательны и неумолимы — по глазам Джека и по тому, как он тянул и отлынивал, прежде чем перейти к сути дела, они понимали, что это лишь прием опытного рассказчика, так пусть выкладывает все до конца!

Видя, как обстоит дело, Джек меланхолично прислонился к скале, засунул руки в карманы, с притворным смущением опустил очи долу и начал:

— Понимаете, ребята, старик Уизхолдер слышал все эти басни насчет Полли и ученого козла и решил, что он может сгодиться ему для одной из его живых картин. Ну он и попросил Полли постоять вместе со своей животинкой и бубном в виде этой дочери Иеффая, которая встречает старика отца, когда он на корабле возвращается домой и клянется принести в жертву первое, что попадется ему на глаза... В общем, все слово в слово, как в библии. А Полли, понимаете ли, не хотела признаваться, что это не она танцевала с козлом, не хотела выдавать «Любимицу», вот, значит, она и говорит: ладно, она, мол, придет, и козла приведет, и попробует изобразить эту самую картину. Ну, понятно, Полли-то сробела малость, а Билли, известно,— за ним только гляди в оба, как бы он чего не выкинул. А тот дурак, что изображал Иеффая, как вошел, так и устоялся на Полли — стоит, скалит зубы и пьтится от козла. Старика Уизхолдера это прямо-таки взбесило, он возьми да и полезь на подмостки, чтобы показать, как все это надо делать. Ну, значит, он вскакивает на подмостки и смотрит на Полли, которая вроде как танцует с козлом и приветствует отца, а тот воздевает этак руки к небу, плюхается на колени и вопит, повесив голову: «О мое дитя! О небо! О мой

обет!» И вот тут Билли, которому поднадоела вся эта ерунда, разворачивается на задних ногах и видит перед собой преподобного мистера Уизхолдера!.. — Джек сделал паузу, засунул руки поглубже в карманы и процедил лениво: — Вы, ребята, не замечали случайно, как наш старик Уизхолдер похож на Билли?

— Замечали, замечали! — изнывая от нетерпения и любопытства, загремел хор. — Валяй дальше!

— Ну вот, — продолжал Джек, — Билли, значит, видит Уизхолдера, а тот, учтите, стоит на коленях, свесив голову, и тут Билли делает этакий веселый скачок, щелкает копытцами, точно хочет сказать: «Теперь мой выход!» — и бросается прямо на его преподобие...

— Поддевает его на рога и выкидывает прямо на улицу, протаранив боковую кулису! — в полном восторге закончил рассказ один из слушателей.

Но лицо Джека оставалось невозмутимым.

— Ты так думаешь? — сурово спросил он. — Нет, тут ты, брат, дал маху. И Билли дал маху, — задумчиво добавил он. — Может, кто из вас заметил, что наш преподобный Уизхолдер не так уж плохо скроен по части шеи и плеч? Так вот, может, по этой причине, а может, козел просто неудачно взял старт, но только передние ноги у него как-то подкосились и он вдруг плюхнулся на колени, а священник как размахнется и враз сбросил его с подмостков! Ну, а после его преподобие, верно, решил, что эту «картинку» лучше вовсе не показывать, так как на роль Иеффая подобрать было больше некого, а священнику самому братья за такое дело вроде негоже. Но преподобный Уизхолдер утверждает, что это послужит хорошим нравственным уроком для Билли!

Так оно и вышло. Ибо с этой минуты Билли уже никогда не пробовал бодаться. Он кротко и послушно выполнял что положено во всех представлениях, которые «Любимица» давала в Скинерстауне, и завоевал себе известность по всей округе. «Любимица» приобщила его к Искусству, а урок Простосердечия он получил от Полли, но никто, кроме жителей Скалистого Каньона, не знал о том, что только репетиция с преподобным мистером Уизхолдером помогла ему полностью завершить образование.

## ПЛЕМЯННИЦА СТРЕЛКА ГАРРИ

### I

Почтовая карета задребезжала, раздался скрежет и скрип тормозов, потом внезапный толчок — лошади остановились как вкопанные, и карету тряхнуло. На дороге послышался чей-то негромкий голос, и кучер, Юба Билл, нетерпеливо переспросил:

— Чего-о? Громче говори!

Голос раздался громче, но и теперь совсем уже проснувшиеся пассажиры не могли разобрать слов.

Один из них опустил окно и выглянул наружу. У самых голов коренников в каплях дождя смутно поблескивал фонарь, и свет его смешивался с яркими огнями кареты, а поодаль сквозь листву и ветви деревьев мерцал неяркий отблеск из отворенной двери хижины. Слышно было только, как стучит дождь по крыше кареты, шумит ветер в листве да нетерпеливо ерзает на козлах кучер. Потом Юба Билл сказал, должно быть, в ответ своему невидимому собеседнику:

— Ну, это еще добрых полмили отсюда!

— Верно, да только ты бы в темноте непременно на него налетел, а там крутой спуск, — возразил голос на этот раз более внятно.

Пассажиры не на шутку встревожились.

— Что там такое, Нед? — спросил тот, что высунулся из окна: на дороге уже стояли двое — спустился с импернала и сопровождающий почту.

— Дерево упало поперек дороги,— коротко ответил Нед.

— Не вижу никакого дерева.— И сидевший у окна высунулся еще дальше, вглядываясь в темноту.

— Вот беда,— мрачно отозвался Юба Билл.— Но если кто одолжит ему подозрную трубу, может, он чего и увидит за поворотом да еще по ту сторону холма, ведь дерево-то там. А теперь,— обратился он к человеку с фонарем,— тащи-ка сюда топоры.

— Вот, Билл, держи,— сказал другой пассажир, по виду тоже служащий транспортной конторы, и вытащил из-за голенища топорик. Билл их знал — такие красивые топорики полагаются сопровождающим почту по уставу: он был новенький, блестящий, но совершенно бесполезный.

— Нам тут не лучину щепать,— сказал он презрительно и скомандовал незнакомцу на дороге:— Волоки свой самый большой колун, я знаю, у тебя есть, да поживей!

— Почему Билл так безобразно груб с этим человеком? Ведь если бы не он, мы бы, пожалуй, разбились, — сказал задумчивый молодой журналист, сидевший тут же.— Он разговаривает с ним так, будто тот в чем-то виноват.

— А может, так оно и есть,— понизив голос, ответил почтальон.

— Как так? Что это значит? — раздалась тревожные голоса.

— Да ведь на этом самом месте полгода назад ограбили почтовую карету,— пояснил тот.

— О господи! — воскликнула дама с заднего сиденья, встала и нервно засмеялась.— Может быть, нам лучше выйти на дорогу, не дожидаясь разбойников?

— Уверю вас, сударыня, решительно никакой опасности нет,— заговорил человек, который до сих пор не проронил ни слова и лишь наблюдал за происходящим.— Иначе почтальон ничего бы нам не сказал да и сам вряд ли покинул бы свой пост возле денежного ящика.

При свете фонаря, который Юба Билл снял и поднес к окну, стало видно, что от этих слов, сказанных не без ехидства, почтальон побагровел. Он собрался было оса-

дить обидчика, но тут Юба Билл обратился к пассажирам:

— Придется вам обойтись одним фонарем, покуда мы не управимся с этим деревом.

— А надолго это, Билл? — спросил человек у окна.

Билл презрительно покосился на изящный топорик, который держал в руке.

— Да уж не меньше, чем на час: ишь какими игрушками нас снабдила Компания, не поскупилась, только ими скоро не сработаешь.

— А нельзя ли нам подождать где-нибудь? — с тревогой спросила дама. — Вон там, в доме, горит огонь.

— Можно попробовать, хотя Компания с этими людьми дружбы не водит, — с мрачной значительностью ответил Юба Билл. Потом повернулся к пассажирам на имперiale и продолжал: — Значит, так: если кто собирается помогать — слезайте! Думаю, этот безмозглый дурак (речь шла о незнакомце с фонарем, который к тому времени исчез) сообразит прихватить заодно и веревок.

Пассажиры, видимо, золотоискатели и иной рабочий люд, добродушно спустились на дорогу; лишь один не шелохнулся — тот, что сидел на козлах рядом с кучером: ему, видно, очень не хотелось расставаться с удобным местечком.

— Я лучше посижу тут и присмотрю за вашими местами, — сказал он с усмешкой, а добровольцы уже шли за Биллом под мелким дождем. Когда все скрылись из виду, молодой журналист повернулся к даме:

— Если вы и в самом деле собираетесь пойти в тот дом, я охотно провожу вас.

К учтивости молодого человека здесь, возможно, примешивался свойственный молодости дух противоречия: уж очень грубо командовал всеми Юба Билл. Впрочем, ехидный пассажир одобрительно взглянул на журналиста и прибавил прежним ровным, слегка презрительным тоном:

— Вам будет там ничуть не хуже, чем здесь, сударыня, и, разумеется, незачем оставаться в карете, когда ее покинул даже кучер.

Пассажиры переглянулись. Незнамец говорил очень уверенно, а Билл и в самом деле уж чересчур командовал.



— Я тоже пойду,— сказал пассажир у окна.— А ты с нами, Нед? — спросил он почтальона. Тот замялся: он совсем недавно вступил в должность и был еще очень неопытен. Но незнакомец вздумал его поучать, как вести себя при исполнении служебных обязанностей! Нет, этого он не позволит! И потому, просто назло самому себе, он сделал как раз то, чего ему делать не хотелось, и с напускным равнодушием собрался следовать за остальными, не забыв убедиться, что ключ от денежного ящика у него в кармане.

— А вы разве не идете? — вежливо спросил журналист ехидного пассажира.

— Нет, спасибо,— с усмешкой ответил тот, устраиваясь поудобнее.— Я присмотрю за каретой.

Небольшая процессия молча двинулась в темноту. Как ни странно, идти никому не хотелось, кроме разве дамы; журналист и почтальон, несомненно, предпочли бы остаться. Но истинно английский дух непокорства всякому деспотизму заставил их всех тронуться в путь. Они уже подходили к открытой двери некрашеной бревенчатой хижины, состоявшей из четырех комнат, и тут пассажир, ранее сидевший у окна, сказал:

— Я пойду вперед, разведая, что это за лачуга.

Но он опередил остальных всего на несколько шагов, и все слышали, как он прямо с порога без лишних церемоний представил хозяевам всю компанию и получил довольно сдержанный ответ.

— Вот мы и подумали, не зайти ли к вам поболтать, раз карета все равно стоит,— говорил он, когда вошли остальные.— Вот это Нед Брайс, почтальон, служит в транспортной конторе «Эдемс и Компания», а это Фрэнк Феншо, редактор «Горного знамени»; имя дамы, я думаю, называть ни к чему, да я и сам его не знаю! А меня зовут Сэм Хекшилл, я из фирмы «Хекшилл и Доббс» в городе Стоктоне, и если вы когда-нибудь попадете в наши края,— милости просим, буду рад отплатить за вашу любезность и гостеприимство.

Комната, куда они вошли, была унылая и безрадостная, только в глинобитном очаге потрескивали поленья, да в трубе завывало пламя. В открытую дверь без помехи врывался западный ветер и дождь, и потому в комнате было не слишком жарко. В полумраке пляшущее

пламя бросало причудливые отблески на лица людей, обращенные к огню, а те, что оставались в тени, казались еще чернее. При этом неверном свете пассажиры увидели мужчину и двух женщин. Мужчина поднялся и каким-то равнодушным жестом, в котором сквозила не столько неприветливость, сколько усталость и давняя боль, предложил непрошеным гостям рассаживаться на стульях, ящиках и даже поленьях. Пассажиры с удивлением узнали в нем того самого человека, что предупредил Билла об опасности.

— Так вы не пошли с Биллом расчищать дорогу? — удивился почтальон.

Хозяин дома, высокий и нескладный, медленно выпрямился во весь рост перед огнем, заложил руки за спину и, повернувшись лицом к гостям, так же медленно вновь опустился на стул, точно хотел, чтобы его ленивая и тягучая речь звучала как можно более солидно и внушительно.

— Ну нет,— сказал он с расстановкой,— я... не пошел... ни с каким... Биллом... расчищать дорогу! Я и не думал... ходить... ни с каким... Биллом... расчищать... дорогу! Я только остерег — и все. А Компании я не слуга... Ясное дело, я пошел и предупредил, мол, наткнетесь на это дерево и свалитесь в ущелье, и пострадают невинные люди — совесть-то у меня есть. Ну, а батрачить на них, расчищать им дорогу,— это уж нет, я им не слуга.— Лицо у него опять стало равнодушное, он снова медленно выпрямился, посмотрел, как одна из женщин ставит на угли очага кофейник, и прибавил: — Ну, а коли хотите чашечку кофе или стаканчик виски, моя старуха вам поднесет.

На беду, молодой почтальон оказался неважным дипломатом и с жаром вступился за Билла.

— Может, Билл и не больно вежливо разговаривал, так у него на то, верно, есть причина,— сказал он, заливаясь краской.— Разве вы забыли, всего полгода назад тут ограбили почтовую карету, да не где-нибудь, а в сотне шагов от этого самого места.

Женщина, которая хлопотала у очага с кофейником, обернулась, выпрямилась и умышленно или случайно приняла ту же вызывающую позу, что и ее муж минутой раньше, только руки она уперла в бока. Она казалась

старше своих лет, как многие женщины ее сословия, и в ее черных вьющихся волосах, выбившихся из-под гребенки, когда она подняла голову, мелькнула седина. Она заговорила, медленно и старательно подбирая слова:

— Это мы-то забыли? Нет, голубчик, мы не забыли. И век не забудем. За эти полгода нам и на час единый не давали забыть. Приходят из округа полицейские, рыщут вокруг сыщики из Фриско, насакивают репортеры, всякий прохожий и проезжий таращит глаза... Нет уж, тут никак не забудешь. Хайрам под конец не стерпел, поехал в Мэрисвилл к управляющему транспортной конторой и стал говорить, мол, хватит вам нас донимать, дайте людям покой,— а что ему ответил этот управляющий? Заткнись, дескать, да благодари бога, что не сожгли твой разбойничий притон и тебя самого в придачу! Забыть, что полгода назад тут ограбили почтовую карету? Нет уж, голубчик, мы не забыли!

Гости оказались в трудном положении: из вежливости следовало бы выразить сочувствие угрюмой хозяйке, и, однако, что-то подсказывало им, что нет дыма без огня и тут надо быть поосторожнее. У журналиста кошки скребли на душе; почтальон отмалчивался: ведь он лицо официальное! Дама смущенно кашлянула и придвинулась поближе к огню, пробормотав что-то насчет тепла и уюта,— это было хоть и туманно, зато безопасно. Мистеру Хекшилу, который чувствовал себя неловко — ведь это он так легкомысленно начал разговор,— оставалось лишь продолжать играть свою роль, и он заговорил так же легко и беззаботно, как и прежде.

— Что ж, сударыня,— сказал он, обращаясь к хозяйке дома,— мир странно устроен, и никто толком не знает, что правильно, а что нет. Некоторые верят в одно, другие в другое, и всякий живет по своим убеждениям. Одно можно сказать с уверенностью — такова жизнь. Мое правило: повсюду — и здесь и в моей фирме — принимать мир таким, как он есть.

Тут журналисту сразу вспомнилось, что, по слухам, мистер Хекшилл в начале своей карьеры «принимал», например, пустующие земли и лес такими, «как есть», ничуть не интересуясь, есть ли у них законные владельцы. Видно, он и теперь не изменил этим своим принципам.

ибо потянулся к большой оплетенной бутылки с виски и весьма находчиво пошутил:

— Кажется, можно выпить глоточек? Или это мне только послышалось?

Но Феншо не обратил внимания на дипломатический ход Хекшилла.

— Наверно, вы просто оказались жертвами недоразумения или какого-то несчастного стечения обстоятельств,— сказал он.— Возможно, Компания приняла вас за кого-либо из ваших соседей, ведь они как будто водят дружбу с той шайкой... Или, может быть, у вас есть какие-нибудь нежелательные знакомства? Возможно...

Речь эту прервал сдержанный смешок, довольно, впрочем, мелодичный,— он донесся из угла, где сидела вторая женщина; она до сих пор не произнесла ни слова, и Феншо сначала ее не заметил. Но теперь он разглядел, что она стройна и грациозна, а головка у нее просто прелестная: все это, видно, не ускользнуло от почтальона и мистера Хекшилла, наверно, этим и объяснялось осторожное молчание первого и красноречие второго.

Старуха бросила на хохотушку тревожный взгляд и повернулась к Феншо.

— Вот-вот, нежелательные знакомства! Только если наши друзья или даже родичи живут совсем не так, как мы, это — дело не наше, и нечего Компании с нас спрашивать! Может, мы и вправду знакомы с кем-нибудь, вроде...

— Так, так, тетушка, выложи им все начистоту, раз уж начала,— с веселым смехом сказала девушка, больше и не пытаясь сдержаться.— Я не против.

— И скажу,— упрямо продолжала старуха.— Пускай эта девица и вправду племянница Стрелка Гарри, того самого, что прошлый раз остановил карету...

— И ничуть этого не стыжусь,— прервала ее девушка, вставая, и тут при свете очага обнаружилось, что у нее дерзкое, но на редкость хорошенькое личико.— Пускай он мой дядя, а все равно, как они смеют мучить Софи с Хайрамом?

Несмотря на эти смелые и гневные слова, белые зубы девушки лукаво сверкали в пляшущих отсветах огня; видно, ее очень забавляло, что все вокруг, в том числе

и ее родные, сильно смутились. По-видимому, тетушка Софи была с ней согласна.

— Хорошо тебе смеяться, Фло, ты все как маленькая,— проворчала она, глядя, однако, на девушку одобрительным взглядом.— Ты-то отлично знаешь, что еще родился человек, который тебя обидит хоть словом. А вот нам с Хайрамом тяжело приходится.

— Не горюй, Софи, душенька,— сказала девушка и ласково, хотя чуть насмешливо потрепала старуху по плечу.— Не всегда же я буду тебе обузой и позором. Вот погоди, скоро дядя Гарри ограбит еще карету,— озорной взгляд словно невзначай метнулся в сторону молодого почтальона,— тогда у него хватит денег послать меня в Европу и вы от меня избавитесь.

Раздался взрыв смеха, засмеялись даже Хайрам с его старухой, и общее смущение, подозрительность и тревога поневоле рассеялись. Смелость этой девушки так же покоряла, как и ее красота. Она тотчас этим воспользовалась, тоже засмеялась и широким, красивым жестом пригласила всех располагаться поудобнее.

— Ну вот,— продолжала она,— теперь все ясно, так что будьте как дома и пейте виски или кофе, пока карета еще не готова в путь. Не беспокойтесь, виски и кофе не краденые и не отравленные, хоть и подаст их вам племянница Стрелка Гарри.

Она грациозно подхватила оплетенную бутыль, раздала мужчинам оловянные кружки и каждому налила виски.

Теперь, когда лед был сломан, или, может быть, просто самое скользкое место осталось позади, пассажиры, только что сдержанные и неискренние, рассыпались в извинениях и благодарностях. Хекшилл и Феншо наперебой старались привлечь внимание дерзкой Фло. Правда, их комплименты подчас оказывались несколько необычными и даже насмешливыми, но девушка, видно, отлично это понимала и платила той же монетой. Только почтальон, явно очарованный ее дерзким взглядом, смущался и поеживался оттого, что остальные вели себя чересчур вольно, хотя сам не решался вымолвить ни слова. Дама скромно придвинулась поближе к старухе, сидевшей у очага, на котором уже закипал кофейник; Хайрам вновь равнодушно застыл у огня.

Наконец с дороги донесся крик, возвестивший о возвращении Юбы Билла и его помощников. Крик этот как-то сразу отрезвил пассажиров, они спохватились, будто застигнутые врасплох за каким-то недозволенным занятием, будто это был голос другого мира — мира закона и порядка, и они вновь стали сухи и сдержанны. Распрошались поспешно и небрежно; дипломатичный Хекшилл снова разразился какими-то пошлостями, вроде того, что «и лучшим друзьям приходится расставаться». Только почтальон замешкался на пороге в отблесках очага, под огнем лукавых девичьих глаз.

— Надеюсь,— пробормотал он, запинаясь и краснея,— надеюсь, в следующий раз меня представит вам кто-нибудь... другой... кому вы верите.

— К примеру, дядюшка Гарри,— ответила она со смехом, присела в насмешливом реверансе и тут же отвернулась.

Едва пассажиры отошли от хижины настолько, что их уже не могли услышать, все разом принялись обсуждать разыгравшуюся там сцену, а в особенности красотку, которой принадлежала главная роль, и все изъявили готовность сейчас же с пристрастием допросить Юбу Билла; но странное дело: когда они подошли к грозному кучеру, никто не решился начать разговор первым, и все молча забрались на свои места. То ли Юба Билл открыто проявлял свой крутой нрав и уж очень сердито их поторапливал, то ли они опасались, как бы он, в свою очередь, не стал расспрашивать их самих, неизвестно. Ехидного пассажира в карете не было; выяснилось, что он и пассажир, сидевший на козлах, присоединились к тем, кто расчищал дорогу, лишь в самом конце работы, и их подберут по пути.

Билл дернул вожжи, и через пять минут они доехали до того места, где упало дерево. Огромную сосну, что свалилась с крутого склона горы и преграждала дорогу, теперь распилили пополам, часть ветвей обрубил и обе половины ствола откатили в стороны, чтобы карета могла кое-как проехать между ними. Громоздкая карета замедлила ход, и Юба Билл искусно провел шестерку лошадей сквозь эту узкую щель; сосновые ветки, блестящие и влажные от дождя, шуршали о бока и обшивку кареты, совсем заслоняя окна. С империяла каза-

лось, что лошади усердно прокладывают себе путь в темно-оливковом блестящем море и оно, едва расступясь, вновь смыкается за каретой. Передние лошади уже выходили из этого моря. Билл начал было подбирать ослабшие вожжи, как вдруг раздался повелительный окрик: — Стой!

Фонари кареты осветили всадника в маске, неподвижно стоявшего посреди дороги. Билл схватился было за кнут, но тотчас опомнился, натянул вожжи и, выругавшись сквозь зубы, окаменел на козлах. А почтальон — этот мигом схватил ружье, но Билл стиснул ему локоть и прошептал прямо в ухо:

— Поздно! Не дури! Нас взяли на мушку.

Внутри, в темноте, пассажиры только и поняли, что карета опять остановилась. Те же, кто ехал на импернале, почувствовали, что из-за ветвей деревьев, темневших по обе стороны дороги, на них направлены невидимые ружья, и не шевелились.

— Я решил не мешать тебе, пока ты не кончишь работу, Билл, — повелительно сказал довольно приятный голос. — Подай мне денежный ящик — и скатертью дорога! Я никого не трону. Но обоим нам недосуг, так что пошевеливайся!

— Отдай деньги, — мрачно посоветовал Билл почтальону.

Тот нагнулся к ящику под своим сиденьем; лицо его было бледно, глаза горели. Он замешкался — видно, замок не сразу подался, — но наконец вынул денежный ящик и подал его другому вооруженному человеку в маске, который неожиданно появился из-за ветвей.

— Ну, спасибо, — сказал голос. — Можешь ехать.

— Покорно благодарю, — едко усмехнулся Билл, подбирая вожжи. — Первый раз в жизни вашему брату пришлось даже дерево свалить, чтоб остановить меня.

— Ну, уж это ты врешь, Билл, хоть и сам того не знаешь, — весело возразил голос. — Я и не думал валить сосну, наоборот, это я послал тебя остеречь, а то бы ты разбился и попал раньше срока к чертям в пекло вместе со всеми своими пассажирами. Ну, езжай!

Взбешенный Билл не стал дожидаться повторного приказа; он хлестнул лошадей, и карета рванулась

вперед. Все произошло так быстро, что пассажиры внутри ничего и не заподозрили; даже те, кто сидел наверху, очнулись от оцепенения и постыдного бездействия только потому, что карету, летевшую с горы, отчаянно трясло, и им пришлось изо всех сил цепляться за что попало, чтобы не свалиться. И все же, как ни мчались лошади, Юба Билл заметил, что почтальон то и дело украдкой озирается. Конечно, во время налета молодой человек не струсил и готов был кинуться в драку, хоть от этого и не было бы никакого толку, но сейчас его напряженное побелевшее лицо и стиснутые губы очень встревожили Билла; поэтому, когда они все тем же галопом одолели три мили и подлетели к ближайшей станции, он схватил почтальона за руку и, пока вокруг шумно обсуждали новость, которую они привезли с собой, потянул его в сторону от любопытной толпы, прихватил с прилавка графин виски, втокнул молодого человека в боковую комнатку и плотно закрыл дверь.

— Не вешай носа, Брайс! Что толку маяться? — заговорил он с чувством и положил большую руку на плечо почтальона. — Будь мужчиной! Ведь ты ж нынче доказал, что не трус, хоть совсем еще желторотый, и что парень ты стоящий; только, если б я тебя не придержал, ты бы сейчас уже был покойником. Дело-то было гиблое с самого начала, ты бы им все равно не помешал. Ты и то уж всю старался спасти деньги, я свидетель, и перед Компанией так и скажу: мол, я горжусь, что ехал с таким парнем. Так что брось горевать, и вот... — Он налил в стакан виски. — Возьми-ка, выпей.

Но Брайс отвел стакан рукой, глаза его горели, губы пересохли.

— Ты еще не все знаешь, Билл, — сказал он сдавленным голосом.

— Что там еще знать?

— Поклянись, что никому ни слова, — молодой почтальон судорожно схватил Билла за руку, — и я тебе скажу.

— Давай выкладывай!

— *Карету ограбили раньше!*

— Чего-о? — вскричал Билл.

— Деньги... пачка долларов... их уже не было в ящике, когда та шайка напала на нас.



— Какого черта ты плетешь?

— Да ты слушай! Когда ты велел мне отдать ящик бандиту, я подумал... может, и глупо: выну-ка я деньги и соскочу! Ясно, они будут стрелять, но ведь только в меня одного, а я, может, и сумею удрать; ну, а если убьют, что ж, я выполню свой долг и никто другой не пострадает. Ну вот, добрался я до ящика, хватъ — замок уже взломан и денег нет! Я кое-как исхитрился, опять закрыл замок да и отдал ящик. И потом всю дорогу боялся: вдруг сразу увидят, что ничего там нет, и опять погонятся за нами!

— Постой, стало быть, они ящик-то взяли, а там пусто? — ахнул Билл, вытаращив глаза.

— Ну да!

Билл вскинул руку, точно принося торжественную клятву, с размаху стукнул себя по коленке и согнулся в три погибели в приступе неудержимого, хоть и совершенно беззвучного хохота.

— Тыфу ты, пропасть! — бормотал он, задыхаясь. — Держите меня, не то лопну от смеха! Тссс! — И он ткнул пальцем в сторону соседней комнаты. — Ни звука никому! Оно, конечно, молчать про такое трудно, меня так и подмывает... но уж придется держать язык за зубами. Ах ты, прах меня побори! Брайс, ты только представь, Стрелок Гарри перед всей своей шайкой открывает этот ящик... Ну и рожа у него будет! Он же до того хитрый да ловкий, думает, сам черт ему не брат! Ну и потеха! Вот бы поглядеть, как он откроет ящик, да послушать, как он станет ругаться на чем свет стоит! — Билл снова затрясся от сдерживаемого смеха и весь побагровел; молодой почтальон тоже был теперь не так бледен, как раньше.

— Но деньги-то все равно пропали, Билл, — сказал он мрачно.

Юба Билл единым духом осушил стакан виски, утер рот и глаза, подавил новый приступ смеха и уже серьезно сказал:

— А по-твоему, когда и как их украли?

— Наверно, когда я пошел с другими в ту хижину при дороге, — с горечью отвечал почтальон. — Я-то ду- мал, беспокоиться тут не о чем, и потом в карете оста-

вались двое пассажиров, один внутри да один на козлах,— тот, который сидел рядом с тобой.

— Ах, чтоб тебе! — Билл хлопнул себя по лбу. — Я ж совсем забыл подобрать их по дороге! Да они и сами вроде не собирались влезать обратно.

— Теперь я понимаю,— еще горестней сказал Брайс. — Значит, они тоже из той шайки.

— Ну нет,— решительно возразил Билл. — Не такой человек Стрелок Гарри; он грабит по-честному, в открытую. И дерево тоже наверняка не он повадил. Знаешь что, сынок? — прибавил он вдруг и опять положил руку на плечо Брайсу. — Ставлю сто против одного, это работа тех двух подлецов, которые прикинулись пассажирами, а потом надули свою шайку. И ведь этот шакал заплатил вдвое за место на козлах, а я-то хорош — ни о чем не догадался!

Брайс знал, что Билл всегда злится, если кто дает взятку кассиру, чтобы занять место на козлах: только его приятели имеют право на завидное местечко, может же он сам выбрать себе соседа на всю поездку!

— Какая разница, которому вору достались деньги, нам от этого ничуть не легче,— мрачно заметил Брайс.

— Ах, не легче? — Билл вскинул голову, и глаза его блеснули. — Видно, ты не знаешь Стрелка Гарри. Думаешь, его одурачили, а он так это им и спустит? Нет уж,— продолжал он, задумчиво расчесывая пятерней свою длинную бороду. — Он все понял, как только открыл ящик, потому и не погнался за нами. Теперь он выяснит этих мошенников, они от него и под землей не укроются, и вот тут-то... — Он говорил все медленней, все раздумчивей. — Вот тут-то ты и вмешешься в это дело, сынок.

— Ничего не понимаю,— нетерпеливо сказал почтальон.

— Видишь ли,— с той же раздражающей медлительностью продолжал Билл, точно говоря с самим собой, а не с Брайсом,— Гарри—он больно гордый и много об себе понимает, и что его так провели — это ему нож в самое сердце, верно тебе говорю. Тут не в деньгах соль, а что в шайке нашлись предатели, что его ослужаться посмели,— вот что главное. И если б только ему

добраться до этих воров, он и денег не захочет, лишь бы тем ничего не досталось. Вот и выходит, на тебя будет работать такой сыщик, что ему вся полиция Калифорнии в подметки не годится! Да постой, ты, может, никогда и не слышивал про Стрелка Гарри? Признавайся,— сказал вдруг Билл, словно между прочим, и в упор поглядел на жадно слушавшего почтальона.

Молодой человек слегка покраснел.

— Я очень мало о нем знаю,— сказал он.

Лицо прелестной девушки из придорожной хижины встало у него перед глазами, теперь он увидел ее в новом свете.

— Он человек не вовсе пропащий, за ним и хорошее водится,— задумчиво сказал Билл.— А живет он, говорят, где-то тут, в чаще, в хижине, с ним сестра-калека и ее дочь, обе они за него готовы в огонь и в воду. Найти его не так уж трудно, если кто по-настоящему захочет.

Брайс глянул на Билла, и глаза его были полны решимости.

— Я найду,— твердо сказал он.

— Коли тебе повезет и ты его увидишь,— сказал Билл еще медленнее, поглаживая свою бороду,— можешь сослаться на меня.

— На тебя? — изумился почтальон.

— Ну да,— спокойно подтвердил Билл.— Он знает, я обязан его прикончить, ежели подвернется случай,— это мой первейший долг, и я тоже знаю, он меня мигом продырявит, коли придется. Но в таких делах, как нынче, парень, Компания полагается на меня,— я в ответе за то, чтоб горячие головы вроде тебя да вон такие остопопы (он ткнул пальцем в сторону двери, за которой собрались пассажиры) не попали под пулю по собственной глупости. Стало быть, пока Компания не посадит на импернал таких людей, чье дело драться, коли кто нападет,— а нападают-то такие, чье дело тоже драться,— ничего у нас не выйдет. Гарри всегда со мной поступал честно, потому я и знаю: к этому подлому воровству он не причастен, вот и не погнался за нами — понял, что это не мы его надули и тут кто-то другой замешан, я-то ведь тоже всегда честно с ним поступал. А все равно хотел бы я поглядеть на него, когда открыли ящик! Бог ты

мой! — Билл опять затрясся в приступе беззвучного хохота. — Можешь рассказать ему, как я хохотал!

— Нет уж, про это я рассказывать не стану. — Молодой человек невольно и сам улыбнулся. — Но ты подал мне мысль... пожалуй, я так и сделаю.

Билл увидел, как загорелись глаза Брайса, как вспыхнули его щеки, и одобрительно кивнул.

— Что ж, валай, сынок. Компании-то я доложу, что ты ни сном, ни духом не виноват, а дальше действуй один. Я дал знать кому положено, за Гарри уже послана погоня. Только не завидую я им, если они сейчас на него наткнутся, хоть и нет у них на это никакой надежды, — он теперь злой, как черт! Да нет, вся шайка уже, верно, разбрелась на много миль, никого им не найти! — Билл коротко хихикнул, осушил еще стакан виски, утер рот и подмигнул Брайсу. — Пора мне успокоить пассажиров. — И он пошел через битком набитый бар в контору, а Брайс — за ним.

Довольное, веселое лицо Билла, раскрасневшиеся щеки и горящие глаза Брайса отлично подействовали на пассажиров. Тем, кто ехал внутри, не пришлось во время налета ни напугаться, ни даже встревожиться, и когда остальные уверяли, что лишь чудом избежали смерти, они недоверчиво отмахивались; а теперь и те, кто сидел наверху, поверили, что опасность была невелика да и Компания не так много потеряла. Гул смолк почти так же внезапно, как начался; наиболее благоразумные пассажиры взяли пример с хладнокровного Юбы Билла, и вскоре все преспокойно покатило дальше, будто ничего и не случилось.

## II

Об ограблении, как полагается, написали в газетах. Разумеется, превозносили всем известное самообладание Юбы Билла, восхваляли и молодого почтальона, «который, хоть и новичок на этой службе, проявил неустрашимость, подчинившись только превосходящим силам противника», и даже пассажирам отдали положенную дань восхищения, причем не забыли и даму, «которая отнеслась к происшествию спокойно и с достоинством, как и подобает настоящей жительнице штата Кали-

форния». Конечно, не обошлось без намека, что, мол, пора бы Комитету бдительности наконец покончить с этим организованным беззаконием. Но увы! Читатели «Глашатая», выходявшего в поселке Рыжий Пес, всегда готовые линчевать конокрада, видимо, полагали, что богатые транспортные компании могут и сами позаботиться о своем имуществе.

Все это было хорошо известно мистеру Неду Брайсу и никак ему не помогало, поэтому на другое же утро он свернул с дороги в том месте, где накануне остановилась карета, и подошел к знакомой хижине. Конечно, сейчас, когда рядом не было Юбы Билла, он уже не чувствовал такой уверенности в успехе, однако его переполняла решимость осуществить план, о котором он не обмолвился даже Биллу. Он сам придумал этот план, возможно, чересчур прямолинейный и по-мальчишески безрассудный, но, вероятно, как раз поэтому казавшийся более верным, чем любые советы более опытного и потому нерешительного человека.

Секунду Брайс помедлил перед закрытой дверью и услышал внутри легкий шум и торопливые шаги,— очевидно, его заметили еще издали. Наконец дверь отворилась, на пороге стояла старуха. На лице ее, таком же замкнутым и упрямым, как накануне, нетрудно было прочитать теперь еще и недоумение: дескать, зачем пожаловал?

— Здравствуйте,— сказал Брайс.

Не выпуская ручку двери, она взглянула ему в глаза.

— Здрасте и до свиданья. Коли вы собрались опять разговоры разговаривать, как там вашу почту ограбили, можете не трудиться, мы нынче гостей не принимаем.

— А я и не собираюсь про это говорить,— спокойно отозвался Брайс,— и постараюсь, чтоб к вам никто не приставал ни с какими вопросами. Может, вы мне не верите и Компании тоже, так прочтите, пожалуйста, вот это.

Он вынул из кармана свежий номер газеты и указал пальцем нужное место.

— Это еще что такое? — проворчала старуха, нащупывая в кармане очки.

— Прочитать вам?

— Читайте.

Почтальон медленно прочитал отрывок вслух. Я с сожалением должен признаться, что сочинил он эти строки сам вместе со вчерашним попутчиком-журналистом в редакции газеты накануне вечером, — журналист хотел этим воздать дань прелестной мисс Фло. Тут говорилось:

«Хайрам Тарбокс, эсквайр, владеец дома близ места происшествия, оказал неоценимую помощь в устранении преграды, которую грабители, несомненно, воздвигли на дороге заранее, и гостеприимно приютил пассажиров задержавшейся кареты. В сущности, если бы мистер Тарбокс вовремя не остерег Юбу Билла, карета налетела бы на дерево в очень опасном месте и могло бы произойти несчастье, чреватое гораздо более тяжкими последствиями для пассажиров дилижанса, чем само ограбление».

Старуха вдруг расплылась в такой неподдельно радостной улыбке, что, не будь Брайс целиком поглощен своими планами, он непременно почувствовал бы угрызения совести от столь полного успеха своей хитрости.

— Хайрам! — закричала она.

Хозяин дома, очевидно, находился где-то очень близко: он мгновенно появился из-за какой-то боковой двери и свирепо уставился на Брайса, но увидел сияющее лицо жены, и злость сменилась удивлением.

— Прочтите-ка все это еще разок, молодой человек, — попросила старуха.

Брайс прочитал тот же отрывок мистеру Тарбоксу.

— Да ведь Хайрам Тарбокс, эсквайр, — это ты и есть, Хайрам! — захлебываясь от восторга, объяснила старуха.

Хайрам схватил газету и сам прочитал статейку; потом развернул всю страницу, внимательно ее просмотрел, и по лицу его стала разливаться глуповатая улыбка, рот расплылся до ушей, глаза превратились в щелочки, и вот уже незаметны стали ни упрямые, жесткие складки возле губ, ни тяжелый подбородок — все заслонила эта широкая, простодушная улыбка.

— Вот это по справедливости! — сказал он. — Чтоб мне провалиться! Может, оставите нам эту газету?

— Конечно, — сказал Брайс. — Я для вас ее и принес.

— Только за этим вы сюда и пришли? — с внезапным подозрением спросил старик.

— Нет,— честно ответил молодой человек. Потом запнулся и прибавил не сразу:—Я хотел бы повидать мисс Флору.

Его замешательство и вспыхнувший румянец вернее всякого напускного равнодушия рассеяли подозрительность Хайрама. Старики отлично знали, как хороша их племянница, и гордились ею, а потому сразу смекнули, в чем тут дело. Хайрам утер рот тыльной стороной ладони, глянул на жену и с самым невинным видом сказал:

— Ее тут нет.

Горькое разочарование отразилось на лице Брайса. Но тот, кто истинно влюблен, всегда вызывает сочувствие у стариков и молодых. Миссис Тарбокс вдруг ощутила прилив материнской нежности к бедняге, сраженному Купидоном.

— Фло ушла домой,— сказала она ласковее, чем прежде.— Нынче на рассвете и ушла.

— Домой! — повторил Брайс.— Где же ее дом?

Миссис Тарбокс искоса поглядела на мужа и замаялась. Теперь к ней вернулась прежняя сдержанность и настороженность.

— У дядюшки,— сказала она коротко.

— А вы не скажете, как мне туда пройти? — просто-душно спросил Брайс.

Они удивились, потом нахмурились и посмотрели на него подозрительно.

— Ишь ты, чего задумал,— начал Хайрам, угрожающе сдвинув брови.

— Ничего я не задумал, просто мне надо с ней поговорить,— смело ответил Брайс.— Я пришел один, безоружный, сами видите,— продолжал он, указывая на пустой пояс и перекинутую через плечо небольшую почтовую сумку,— и я никому не могу сделать ничего дурного. Я готов к любой опасности. И раз никто не знает, зачем я сюда пришел и вообще что я здесь был, то никому и не надо знать, если со мной что-нибудь случится. Никто вас ни о чем не спросит.

Он сказал это так решительно и с такой надеждой, что упрямые старики сдались.

— Кабы мы и могли объяснить вам дорогу,— осторожно сказала старуха,— все едино вам Фло не видать,

живой вы туда не дойдете. Дом ихний стоит в ложине, кругом горы, а по горам засады. Как перейдете границу, тут вам и конец.

— А ты-то почему знаешь? — поспешно прервал ее муж, явно опасаясь, как бы она не сказала лишнего. — Нечего зря болтать.

— Отстань, Хайрам! Не хочу я, чтоб малый по дурости ни за что ни про что наварлся на пулю! Пускай хоть знает, на что идет, раз мы больше ничем не можем ему помочь. А пойдет он непременно, его не удержать, сам видишь.

Да, мистер Тарбокс ясно это увидел по глазам молодого почтальона — и заколебался.

— Могу вам только сказать, по какой дороге она отсюда ходит, — мрачно начал он, — а далеко ли до ее дома или это она нарочно идет обманным путем, сам не знаю, я там сроду не бывал, да и Гарри тоже к нам ходит не часто, разве что выдастся пустая ночь: ни почты, ни иных проезжих и на дороге делать нечего.

Он прикусил язык, видно, спохватясь, что сказал слишком много.

— Вот видишь, Хайрам, а еще меня ругал за болтовню. Теперь уж выкладывай все до конца, скажи ему, что дорога туда одна и Гарри тоже по ней ходит, когда надумает в кои веки навестить родню, повидать хоть кого-нибудь, кто не зверем на него смотрит.

Мистер Тарбокс помолчал.

— Знаете то место, где лежало дерево? — отрывисто сказал он наконец.

— Знаю.

— Там по правую руку от дороги круча, все поросло орешником да терновником, поглядишь — горный козел, и тот, кажется, не пройдет.

— Знаю.

— Так вот, это один обман! Есть там тропка шириной фута не будет, длиной с милю, и идет она по-над дорогой, и дорога с нее видна как на ладони, а сама тропка вся за кустами. Оттуда видно все как есть, и коли кучер с козел плюнет на дорогу — и то слышно.

— Ну дальше, дальше, — нетерпеливо сказал Брайс.

— Потом тропка поднимается вверх, переваливает через хребет, ныряет в ложину и по ней идет до каньо-



на Северный рукав, там дорога проходит высоко по мосту. А тропка вьется краем Рукава и выходит на *левую* сторону дороги, футов на тысячу пониже. Ну вот, в той долине и живет Гарри, и пройти туда можно только этим путем. Потому что слева от дороги обрыв в тысячу футов, круча такая, что ни подняться, ни спуститься никому не под силу.

— Понятно,— сказал Брайс, и глаза его сверкнули.— Я не собьюсь.

— А как дойдете, тут уж глядите в оба,— предостерегла старуха.— Конечно, может, вам и повезет, может, наткнетесь на Фло раньше, чем попадете во владения Гарри: она ведь у нас бесстрашная, как заскучает, так и давай бродить, где вздумается.

— А есть у вас оружие: пистолет или еще что? — спросил вдруг Тарбокс со скрытой подозрительностью.

Молодой человек улыбнулся и еще раз показал им пустой пояс.

— Ничего нет,— сказал он честно.

— Что ж, может, так-то оно верней всего, ведь Гарри такой стрелок, с ним не потягаться,— сурово молвил старик.— Ну, счастливо,— прибавил он и отвернулся.

Брайс понял, что разговор окончен, от души поблагодарил обоих и снова вышел на дорогу.

Место, где лежало дерево, было совсем недалеко от хижины, но если бы Тарбокс его не предупредил, Брайс никогда не разглядел бы узенькую тропинку на склоне горы. Он вскарабкался по крутизне и вскоре уже осторожно пробирался по скалистому уступу, совершенно незаметному с дороги,— она проходила на полсотни ярдов ниже, и Брайс хорошо видел ее сквозь заросли терновника и ежевики. На этой узкой каменной кромке каждый неверный шаг грозил гибелью, а в одном месте, там, где накануне с поросшей лесом вершины свалилась сосна и загородила дорогу карете, уступ обрушился и ступить было некуда. Брайс на миг в растерянности остановился там, голова у него закружилась, и он не знал, на что решиться. Поглядел вниз, отыскивая опору, и заметил над пропастью, на тонком слое глины, след женского башмачка. Конечно, здесь прошла утром Фло, ибо узкий носок указывал в ту сторону, куда ей надо было идти!

Ну, уж если тут прошла девушка, неужели он отступит? Брайс решительно ухватился за корни деревьев, цепляясь и подтягиваясь на руках, миновал осыпь и вновь опустился на каменный карниз. И дальше на этом нелегком пути он опять и опять замечал след маленькой ноги, будто стрелка указывала ему дорогу через чащу. Мысль эта была ему приятна и в то же время озадачивала. Пустился бы он на поиски только ради того, чтобы повидаться с ней? И если он ее увидит, но не достигнет другой своей цели, не покажется ли ему этого мало? Чем дальше он шел, тем больше сомневался в успехе своей затеи. Накануне он сгоряча вообразил, что все очень просто, и даже утром еще надеялся без особого труда убедить тщеславного и своевольного грабителя, что интересы их совпадают, и добиться его поддержки: вдвоем они вернут украденные деньги, пожалуй, получат за это награду от Компании, да и вор будет наказан, — неужели это не соблазнит Стрелку Гарри? По молодости лет Брайс воображал, что самое главное — смело идти навстречу опасности и этим с лихвой искупаются любые логические просчеты в рассуждениях и планах. Но теперь, когда он одолел горный перевал, оставил позади проезжую дорогу и стал спускаться по узкой тропке, пробираться по которой с каждым шагом становилось все трудней, недавние рассуждения уже не казались ему убедительными. И, однако, он рвался вперед, готовясь к худшему. Тропка все сильнее петляла в зарослях папоротника; дружеский след маленькой ножки исчез в этой первобытной чашобе; Брайс медленно продвигался по узкому ущелью и наконец услышал рев Северного рукава: вода неслась по дну каньона, пересекавшего долину под прямым углом. Еще немного — и он достиг реки, стиснутой двумя отвесными стенами; между ними на высоте пятисот футов был перекинут шаткий мост, по нему-то и проходил почтовый тракт. Приближаясь к этому мрачному каньону, Брайс вспомнил, что, если посмотреть сверху, у реки не видно берегов, она словно прорезает толщу камня. И все же он обнаружил узкую кромку, образованную прибившимися к берегу стволами деревьев и обломками нависших скал. И снова на илстой полоске он увидел путеводный след маленькой ножки. Наконец Брайс выбрался из каньона, и глазам его представилось странное зрелище. Река здесь

круто сворачивала вправо и, огибая гору, оставляла в стороне небольшую долину, со всех сторон закрытую отрогами гор. Слева остался перевал, который Брайс только что одолел, и лишь теперь он понял, какую описал своеобразную петлю! Он очутился сейчас по другую сторону дороги, она шла по широкому ровному уступу в тысяче футов над ним. С этой стороны отвесная голая скала огораживала долину. Вокруг теснились невысокие холмы, поросшие каштаном. С виду это был идиллический приют нимф и фавнов, но при этом надежно скрытый от посторонних глаз, недоступный и недосягаемый, как и подобает разбойничьему притону.

Брайс стоял и во все глаза смотрел на эту удивительную картину, как вдруг грянул выстрел. Он донесся словно издалека, и Брайс подумал, что это сигнал. Но тут же раздался второй выстрел, с Брайса едва не слетела широкополая шляпа, он ее придержал и заметил, что край пробит пулей. Намек был весьма недвусмысленный; почтальон остановился, снял с плеча сумку, положил ее на большой камень на самом виду и огляделся, словно ожидая появления таинственного стрелка. Грянул новый выстрел, сумка вздрогнула и перевернулась: в ней зияло отверстие от пули.

Брайс вынул белый носовой платок и помахал им над головой — ответом был новый выстрел, платок вырвался из его пальцев и поплыл по воздуху, разорванный наискось. Отчаяние и ярость охватили Брайса: искусный невидимый убийца вздумал всласть натешиться над ним, прежде чем его прикончить! Но на этот раз под платаном, в какой-нибудь сотне шагов от молодого человека, мелькнул дымок. Брайс упрямо стиснул побелевшие губы и решительно зашагал к платану. Конечно, еще миг, и все будет кончено — ну и пусть! По крайней мере такой стрелок его не искалечит, а убьет сразу.

Но не прошел он и пятидесяти шагов, как из-за платана выступил человек и небрежно вскинул ружье на плечо. Он был высокий, худощавый, с насмешливым лицом и пронизательным взглядом и ничуть не походил на кровожадного убийцу. Стрелок встретил Брайса на полпути, опустил ружье, придерживая его поперец груди и чуть касаясь пальцами затвора, и испытующе посмотрел на молодого человека.

— Похоже, вы здорово перетрусили, приятель, и все-таки в отчаянности вам не откажешь,— сказал он, улыбаясь насмешливо и дружелюбно.— А зачем, собственно, вы сюда пожаловали? Постойте-ка,— продолжал он, потому что Брайс ответил не сразу: губы у него совсем пересохли.— Где-то я вас видел... Ба, да ведь вы почтальон!— Незнакомец быстро глянул через плечо Брайса вдоль долины, но тут же понял, что юноша пришел один, и, видимо, успокоенный, снова улыбнулся.— Так что же вам надо?

— Мне надо видеть Стрелка Гарри,— с усилием сказал Брайс; голос возвращался к нему медленно, куда быстрее исчезла бледность, что, впрочем, и не удивительно: должно быть, он стыдился своей недавней слабости.

— Сейчас вам надо глотнуть виски,— добродушно возразил незнакомец и взял юношу под руку,— и стаканчик для вас найдется вон в той хижине за платаном.

К своему удивлению, пройдя всего несколько шагов, Брайс увидел хижину, довольно большую и живописную,— она была чистая, удобная и выглядела куда привлекательней лачуги Тарбокса. На окнах стояли цветы в ящиках. «Чувствуется женский вкус»,— подумал молодой человек. С порога он заметил, что и внутри заметно присутствие женщины. Он осушил предложенный стаканчик виски, и тогда незнакомец, все это время молчавший, указал ему на стул и сказал с улыбкой:

— Я Генри Димвуд, он же Стрелок Гарри, а это мой дом.

— Я пришел поговорить с вами про вчерашнее ограбление почтовой кареты,— поспешно начал Брайс, воспрянув духом от такого дружеского приема.— Понимаете... Я хочу сказать про настоящее ограбление— деньги-то были украдены еще до того, как вы нас оставили.

— Что-о? — воскликнул Гарри и вскочил на ноги.— Так вы об этом знали?

У Брайса екнуло сердце, но он решительно продолжал:

— Да, знал, когда отдавал ящик. Я сразу увидел, что замок взломан, и кое-как его зашелкнул. Тут я, видно, дал маху, надо было вас предупредить... но виноват только я один.

— А Юба Билл тоже знал? — спросил разбойник со странным волнением.

— Тогда он еще ничего не знал, даю вам слово! — быстро ответил Брайс, думая только о том, чтоб не подвести старого товарища. — Я ему ни слова не говорил, пока мы не приехали на станцию.

— И тут он узнал? — нетерпеливо переспросил Гарри.

— Да.

— И что он сказал? Что сделал? Удивился, а?

Брайс вспомнил, как неудержимо хохотал Билл, но ответил неопределенно и уклончиво:

— Да, он очень удивился.

Глаза Стрелка Гарри весело блеснули, он расплылся в улыбке и вскоре уже так смеялся, что снова беспомощно опустился на стул. Потом вытер глаза и сказал прерывающимся от смеха голосом:

— Мне соваться туда, на эту станцию, — верная смерть, а все-таки я бы, пожалуй, рискнул, только бы поглядеть, какую рожу скорчил Юба Билл от такой новости! Надо же! Билл — всем хитрецам хитрец! Билл — недреманное око! Билл, которому только дай волю, и он сотрет меня в порошок! Он же все на свете знает, никому не даст себя провести, а вот моя шайка ограбила его дважды за один вечер! Да, брат! Мои ребята обчистили Юбу Билла и его несчастную колымагу два раза подряд за какие-нибудь полчаса!

— Значит, вы тоже об этом знали? — с тревожным удивлением спросил Брайс.

— Узнал после, мой юный друг, после... как и наш Юба Билл. — Он умолк, лицо его помрачнело. — Это дело рук двух трусливых подлецов, — сказал он резко. — Одного я и раньше подозревал, а другой у нас новичок, они стали закадычными друзьями. Их отрядили следить за каретой, проверить, там ли деньги, — не в моих привычках останавливать почту из-за пустяков. Они должны были сесть в карету на станции Рингвуд, за три мили до того места, где мы вас остановили, а тут вылезти и передать нам, что все в порядке. А они не вышли, и я сразу почуял неладное, но мы и тут не заподозрили их самих. Потом оказалось, они заставили одного из моих дозорных свалить сосну — уверили его, что это мой при-

каз, а сами решили в суматохе стащить деньги и удрать. Понятно, вы ничего этого не знали, когда пошли в хижину к Тарбоксу, ну и сыграли им на руку.

— А вы-то как же обо всем узнали?— перебил его удивленный Брайс.

— Они кое-что упустили из виду,— мрачно пояснил Стрелок Гарри.— За полчаса до налета мы всегда расставаем людей по всей дороге, сторожим каждый фут и, даже когда все уже кончено, снимаем часовых не сразу, а только через полчаса. Пока я там, в кустах, открывал ящик, эти два дурака хотели потихоньку улизнуть, наткнулись на часового и давай бог ноги! Одного мои люди настигли, изрешетили пулями и повесили на дереве, но сперва он во всем признался и сказал, что деньги у того, который удрал.

У Брайса вытянулась физиономия.

— Значит, они пропали,— сказал он горестно.

— Ну, нет! Разве что он их проглотит, да, пожалуй, и рад будет проглотить, еще не попавши ко мне в руки. Ведь ему придется либо умереть с голоду, либо выйти на дорогу. А за дорогой и сейчас следят мои ребята, глаз с нее не спускают от самой хижины Тарбокса и до моста. Он где-то там, и податься ему некуда — ни взад, ни вперед ходу нет. Вот взгляните.— Он встал и подошел к двери.— Этой дороги ему не миновать, он тут как в ловушке.— Гарри указал на шоссе — узкий каменный карниз, по одну сторону которого скалы поднимались отвесной стеной, а по другую так же круто обрывались в пропасть.

— А тропинка?

— На нее можно попасть лишь одним путем, как пришли вы, и этот путь тоже стерегут. Пока вы шли по тропке, с начала и до конца, мне все время подавали сигналы. Ну, ему бы тут же крышка! А вам я только показал, что ожидало бы вас, если бы вы затеяли нечестную игру. Что ж, могу сказать, вы не робкого десятка. Ну, а теперь выкладывайте. С чем пришли?

В ответ Брайс принялся с юношеской наивностью излагать свой план; и если высказанный вслух план этот и ему самому показался почти невероятным, то его подбодрила откровенность разбойника — ведь тот тоже отнесся к двойному грабежу с почти невероятным легкомысли-

ем! Итак, сказал Брайс, чтобы вернуть пропавшие деньги, надо действовать заодно; надо доказать Компании, что Стрелок Гарри никогда не пользуется низкими уловками и, если грабители проникли в карету под видом пассажиров, это случай небывалый, сам он с негодованием отвергает такой трусливый и недостойный обман. А если Гарри пустит в ход свое необыкновенное искусство и знание местности, чтобы вернуть деньги и отдать виновного в руки Компании, он не только получит награду, но его поведение поймет и высоко оценит вся Калифорния. Стрелок Гарри слушал все это со снисходительной улыбкой, но, к удивлению Брайса, предполагаемые почести заинтересовали его куда меньше, чем поимка вора.

— Так ему и надо, подлому трусу,— пробормотал он.— Негодяй того не стоит, чтоб умереть от пули, как мужчина,— ну и пускай отсиживает в тюрьме, как обыкновенный ворюга.

Когда Брайс умолк, он сказал коротко:

— Одно плохо в этом плане, приятель: надо, чтоб его обсудили еще двадцать пять человек,—и что-то они скажут! Ведь у меня в шайке все поставлено по-честному: каждому полагается доля этих денег, и это их дело — кто захочет отдать свою долю за награду и лестное мнение Компании, а кто, может, и не согласится. Впрочем,— продолжал он с какой-то странной улыбкой,— хорошо, что вы меня первого посветили в ваш план. Я все расскажу моим парням и посмотрю, что из этого выйдет. Но прежде вам нужно благополучно отсюда выбраться.

— И вы мне позволите помочь вам? — с надеждой спросил Брайс.

Стрелок Гарри снова улыбнулся.

— Что ж, если вы найдете вора, узнаете его и сумеете отнять у него деньги, я передаю все в ваши руки.— Он встал и прибавил на прощание: — Пожалуй, я дам вам провожатого, а то как бы не случилось чего дурного.

Он подошел к двери в соседнюю комнату и крикнул:

— Фло!

У Брайса неистово забилося сердце. В пылу разговора с главарем шайки он совсем позабыл о ней, зато теперь так и залился краской. Да и она чуть покраснела, когда вошла в комнату; но оба они лишь невозмутимо взгляну-

ли друг на друга и ухитрились не подать и виду, что уже встречались.

— Это моя племянница Флора,— сказал Стрелок Гарри и не без изящества повел рукой в сторону девушки.— При ней никто не станет приставать к вам с расспросами, все равно как при мне. Фло, это мистер Брайс, он приходил ко мне по делу и не в обиде, что я сперва над ним немножко подшутил.

Девушка ответила на поклон Брайса почти робко — накануне она держалась совсем иначе. Брайс очень смутился и, видно, не сумел этого скрыть, ибо хозяин с улыбкой пришел к нему на помощь: крепко пожал ему руку, попрощался и проводил гостя до двери.

Когда молодые люди вышли на тропинку, Брайс ободрился.

— Помните, я говорил вам вчера, что надеюсь, меня представит вам кто-нибудь, кому вы верите?— сказал он.— Вы ответили: к примеру, дядюшка Гарри. Что ж, теперь вы довольны?

— Так ведь вы не ко мне пришли,— лукаво возразила девушка.

— Откуда вы знаете, зачем я приходил? — весело сказал Брайс; он смотрел на ее милое лицо и теперь уже в самом деле не понимал, зачем же он сюда пришел.

— Я знаю,— сказала она, тряхнув каштановой головкой.— Я слышала-все, что вы говорили дяде Гарри.

Брайс нахмурился.

— Может, вы к тому же еще и видели, как я сюда шел? — спросил он с горечью, вспомнив, какую встречу устроил ему Стрелок Гарри.

Мисс Фло засмеялась. Брайс молча шагал по тропинке; видно, у этой девушки нет сердца, да оно и понятно — среди таких уж она людей выросла! Помолчав, она сказала серьезно:

— Я-то знала, что он ничего плохого вам не сделает, а вот вы не знали. И все-таки не повернули назад, значит, вы и правда человек храбрый.

— Это вас, верно, очень позабавило,— презрительно сказал он.

С легким вздохом девушка устало подняла руки и поправила каштановые косы под широкополой шляпой своего дядюшки, которую она захватила, выходя из дому.



— Тут у нас не часто бывает чему посмеяться,— сказала она.— Но мне и правда было очень смешно, когда вы стали поправлять шляпу, хватъ — а ее пробил пуля! Ох, как вы на нее поглядели! Вот была потеха!

И она засмеялась так звонко, так заразительно, что его обиду как рукой сняло, и он тоже засмеялся. Наконец она сказала, глядя на его шляпу:

— Не стоит вам возвращаться к своим в дырявой шляпе. Вот возьмите! — И она весело и дерзко сняла с него шляпу и нахлобучила ему взамен свою.

— Но ведь это шляпа вашего дядюшки,— запротестовал он.

— Ну и что ж? Ведь вашу он испортил,— засмеялась Фло и сама надела шляпу Брайса.— Я ее сохраню на память. Эта дырка будет для заколки, поля я отогну, и получится просто прелесть! Вот смотрите! — Она мимоходом сорвала с куста цветок шиповника, просунула стебель в дырочку от пули и шипом приколола поле шляпы к тулье.— Ну вот,— продолжала она, снова кокетливо надевая шляпу.— Вам нравится?

Брайс решил, что это очень красиво и очень идет к изящной головке и смеющимся глазам, и не скрыл своего восхищения. Потом, в свою очередь, осмелев, на ходу пододвинулся к Фло поближе.

— Вы, верно, знаете, какой полагается выкуп за то, что девушка наденет мужскую шляпу?

Видимо, она это знала, потому что предостерегающе подняла руку и быстро сказала:

— Только не здесь! А то штраф, может, окажется больно велик и вам вовсе не по вкусу.

Не успел Брайс ответить, как она, будто ненароком, юркнула в тень росших вдоль тропинки каштанов. Он поспешил за ней.

— Нет-нет, я не за тем,— сказала она, но он уже поцеловал краешек розового уха под каштановыми прядями. И все же ее спокойствие и невозмутимое лицо слегка озадачили его.

— Кажется, вы не боитесь, когда в вас стреляют,— продолжала она со странной улыбкой,— но не надейтесь, что тут все такие меткие стрелки, как дядя Гарри.

— О чем это вы? — с изумлением спросил Брайс.

— Не очень-то вы высокого мнения обо мне, а не то

догадались бы, что вам тут кое-кто может позавидовать и как бы он не подумал, что вы действуете не по правилам,— серьезно пояснила она.— Одно спасение: дядя Гарри мигом пристрелит всякого, кто посмеет сделать, что вы сейчас сделали, и они все это знают. Потому-то я и не боюсь ничего и могу вволю расхаживать по лесу одна.

Брайс весь вспыхнул, он готов был провалиться сквозь землю от стыда.

— Простите, мне так совестно,— поспешно сказал он.— Я совсем не хотел... я просто болван и нахал.

— Вот вы заявили эдак гуляючи в наши места,— с улыбкой сказала Фло,— и дядя Гарри подумал: либо это пьяный, либо круглый дурак.

— А вы что подумали? — смущенно спросил Брайс.

— Что на пьяницу вы не похожи,— ответила она лυкаво.

Брайс закусил губу и молча зашагал дальше. А Фло покосилась на него из-под длинных ресниц и сказала с невинным видом:

— Вчера вы очень благородно заступились за вашего друга Юбу Билла и потом, когда узнали, кто я такая, всем дали понять, что и мне вы вроде не враг. Я сразу поняла, вы не чета этому хапуге Хекшилли или тому нахальному писаке из газеты. Ясно, я у них в долгу не осталась,— продолжала она со смешком, но Брайс заметил, что уголки ее нежных губ презрительно вздрагивают: верно, не впервые ей приходилось сталкиваться с обидным высокомерием и навязчивостью. Неужели эта самоуверенная и дерзкая девушка страдает от своего двусмысленного положения в обществе?

— Спасибо на добром слове, мне это очень лестно,— сказал Брайс, глядя на нее и восхищенно и почтительно,— вот только дядя ваш обо мне, кажется, не такого хорошего мнения.

— Ну нет, вы ему очень понравились, а не то бы он вас и слушать не стал,— поспешно возразила Фло.— Вы как заговорили с ним про эти деньги, я так и ухватилась за стул.— Она тиснула руки для лучшей наглядности и даже слегка победнела при одном воспоминании об этой минуте.— Чуть было не выскочила, чтоб вас остановить, да ваше счастье, что его насмешило, как это Юбу



«ПЛЕМЯННИЦА СТРЕЛКА ГАРРИ»



«КАК Я ПОПАЛ НА ПРИИСКИ»

Билла за один вечер два раза ограбили. И еще вам повезло, что больше никто из шайки этого не слышал и ничего не заподозрил. Верно, дядя потому и послал меня с вами, чтоб никто вас не перехитрил и не стал спрашивать, как да что: вы ведь человек прямой и, ясное дело, ответили бы начистоту. А со мной вы не пропадете, при мне никто к вам и подойти не посмеет.

Она вскинула голову в увенчанной цветком шляпе с видом нарочито гордым и снисходительным, но в этой шутке сквозила и подлинная гордость.

— Я очень рад, ведь из-за этого мне удалось побыть с вами наедине,— с улыбкой сказал Брайс,— и каковы бы ни были намерения вашего дядюшки, спасибо ему за то, что он дал мне такого провожатого! Но вы уже один раз вели меня,— и он рассказал ей, как шел по ее следам.— Если бы не вы,—прибавил он многозначительно,— меня бы сейчас здесь не было.

Фло помолчала немного, он видел только тяжелые каштановые косы, свернутые на затылке. Потом она коротко спросила:

— Где ваш носовой платок?

Брайс вынул платок из кармана: меткая пуля не пронзила его, а как бы вспорола ткань.

— Я так и думала,— серьезно сказала Фло, рассматривая платок.— Но я могу его починить — будет совсем как новый. Вы, верно, думаете, я не умею шить,— продолжала она,— а я без конца чиню и штопаю, ведь у нас тут только одна индианка да несколько китайцев, и они делают самую черную работу. Я его вам потом пришлю, а пока возьмите мой.

Она вынула из кармана платочек и протянула Брайсу. К немалому его изумлению, платок был очень тонкий, с искусной вышивкой, как у какой-нибудь богатой светской дамы. У него сразу мелькнула мысль, которая — увы! — ясно отразилась на его лице; он смутился и растерялся.

Фло коротко засмеялась.

— Не пугайтесь. Он куплен за деньги, как полагаются. Вещи пассажиров дядя Гарри не трогает, такой привычки у него нет. Вам следовало бы это знать.

И опять, хоть она и смеялась, нижняя губа ее обиженно дрогнула.

— Я только подумал, что для меня он слишком хорош,— поспешно и сочувственно сказал Брайс.— Но я сочту за честь взять его на память. Вот уж для этого даже самая прелестная вещица не будет слишком хороша.

— Дядя покупает мне разные красивые вещи. И ничуть не жалеет денег,— продолжала она, будто не слыша комплиментов.— У меня и платья есть очень красивые, да надевать их почти некуда, разве что в кои веки соберешься в Мэрисвилл.

— Вас туда возит дядя? — спросил Брайс.

— Нет,— спокойно ответила Фло и прибавила чуть вызывающе: — Но он вовсе не боится, ведь против него ничего не могут доказать, никто не присягнет, что это он, и ни один полицейский не посмеет его преследовать. Просто он не хочет, чтобы нас видели вместе, это он за меня боится, за мое доброе имя.

— Но ведь вас никто не узнает?

— Иногда и узнают... только мне это все равно! — Она дерзко заломила свою шляпу, но сейчас же устало уронила руки: этот печальный жест Брайс уже видел у нее однажды.— Придешь в магазин, а там только и слышишь: «Да, мисс», «Нет, мисс», «Конечно, мисс Димвуд». Да-да, они очень уважительно со мной говорят. Верно, понимают, что ружье дяди Гарри и издали бьет без промаха.

Потом она обернулась к Брайсу; до сих пор она шла и смотрела прямо перед собой. А теперь ее карие глаза пытливо глядели ему в лицо.

— Вот я тут разговариваю с вами, словно вы один из...— Брайс был уверен, что она скажет «один из шайки», но она замялась и докончила: — ...из моих родичей, ну, как дядюшка Хайрам.

— Прошу вас, считайте меня таким же верным вашим другом,— от души сказал молодой человек.

Она ответила не сразу; казалось, она всматривается вдаль. Они были теперь недалеко от каньона и реки. Плотные ряды каштанов скрывали от глаз подножие горы, но откос, по которому Брайсу предстояло выбраться к еще невидимой отсюда дороге, был уже совсем близко.

— Вот теперь я буду настоящим проводником,— сказала вдруг Фло.— Как дойдем вон до того каштана и нас

никто уже не увидит, мы через ущелье не пойдем, а свернем в рощу. Вы подниметесь в гору до проезжей дороги с этой стороны.

— Как же так? — с изумлением спросил Брайс. — Ваш дядя сказал, тут пройти невозможно!

— Спуститься невозможно, а подняться — вполне, — смеясь, возразила она. — Я нашла дорожку, и, кроме меня, ни одна душа ее не знает.

Брайс взглянул вверх: почти отвесный каменный склон был весь изрезан трещинами, кое-где в глубоких расщелинах рос карликовый терновник и еще какие-то чахлые кусты, и все же склоны эти казались такими крутыми и неприступными, что он снова недоверчиво посмотрел на девушку.

— Сейчас покажу, — с торжествующей улыбкой сказала она в ответ на его взгляд. — Не зря же я исходила эту долину вдоль и поперек! Но сперва дойдем до реки. Пускай они думают, что мы пошли через ущелье.

— Кто это они?

— Те, кто следит за нами сейчас, — сухо ответила Фло.

Еще несколько шагов — и они дошли до рощи, что тянулась до берега реки и устья каньона. Девушка нарочно помедлила на самом виду, потом шепнула «пойдемте!» и круто свернула в рощу. Брайс двинулся за ней, и через минуту зеленая стена надежно заслонила их. По другую сторону этой изгороди вздымалась отвесная гора, и для них оставалась лишь узенькая тропинка. Ступать приходилось по камням и упавшим с откоса деревьям, с их стволов тянулись кверху новые побеги каштана и лиственницы. Тропинка была неровная, капризная и поднималась в гору очень круто; но Фло шла впереди привычным легким шагом истинной жительницы гор и притом с удивительной грацией. Брайс невольно заметил также, что по обычаю девушек Запада она была обута в легкие и изящные башмачки, каких не носят девушки, когда приходится ходить по столь диким местам. Тот же узкий след маленькой ножки привел его сюда, в лошину. Вскоре Фло остановилась и словно бы с удивлением посмотрела на откос. Брайс поглядел в ту же сторону. Из расщелины в скале один куст торчал выше других; на нем что-то висело и тяжело хлопало на ветру,

напоминая крыло ворона или тряпку, намокшую под вчерашним дождем.

— Вот чудно-то! — сказала Фло, всматриваясь в неприглядный и какой-то нелепый темный предмет на кусте, — было в нем что-то смутно знакомое и недоброе. — Вчера тут этого не было.

— Похоже на мужскую куртку, — с тревогой сказал Брайс.

— Ого! — сказала девушка. — Значит, кто-то спуститься-то спустился, но наверх ему уж больше не подняться. Ну да, вон там и новые камни осыпались и кусты обломаны. А это что? — спросила она вдруг и показала пальцем на что-то впереди: в нескольких шагах от них громоздились совсем недавно обвалившиеся камни и вырванные с корнем кусты, и среди всего этого виднелась куча лохмотьев, чем-то странно напоминавшая изорванную тряпку, которая болталась на кусте в сотне футов над ними. Фло вдруг чисто по-женски вскрикнула от ужаса и отвращения — впервые она проявила женскую слабость — и, отпрянув назад, схватила Брайса за руку.

— Не ходите туда! Уйдем скорей!

Но Брайс уже увидел нечто такое, что и ужасало его и притягивало к себе с неодолимой силой. Он осторожно высвободил руку, попросил девушку не двигаться с места и направился к отвратительной куче. Чем ближе он подходил, тем яснее различал в ней уродливую карикатуру на человека — тело было так изувечено и скрючено, что напоминало скорее упавшее огородное пугало. Как часто бывает, когда смерть застигнет человека случайно, врасплох, прежде всего бросалась в глаза одежда и своим отвратительно жалким, нелепым и в то же время смешным видом уничтожала даже самое величие смерти. Казалось, эта одежда никогда и не была впору тому, кто ее носил, и надел он ее только ради какого-то мерзкого шутовства — башмак почти свалился с распухшей ноги, клочья жилета перекинuty через плечо, точно у какого-то пошлого паяца. Сперва Брайсу показалось, что у трупа нет головы, но потом он смахнул мусор и ветки и с ужасом увидел, что шея вывихнута и голова беспомощно подвернулась под плечо. Когда же он увидел багровое лицо трупа, ужас уступил место еще более острому и жгучему чувству: лицо это каким-то чудом из-



бежало увечий и уродства, но мышцы его растянулись в подобие самодовольной улыбки, и Брайс его узнал! Это было лицо ехидного пассажира, того самого, который ограбил почту — теперь Брайс больше в этом не сомневался.

Им овладела странная, себялюбивая досада. Этот человек навлек на него позор и опасность, и даже теперь, мертвый, он словно торжествует и смеется над ним! Брайс внимательно осмотрел мертвеца: куртка и кусок жилета остались где-то на кустах, когда он падал с горы, рубашка все еще кое-как держалась, но была изорвана спереди, и сквозь нее виднелся широкий кожаный пояс, надетый прямо на тело. Забыв об отвращении, Брайс сорвал с мертвого остатки рубашки и развязал пояс. Этот пояс, как и вся одежда, был насквозь пропитан водой, но его оттягивало что-то тяжелое. Брайс распустил его и увидел пакет с деньгами, печать осталась в целости и сохранности. Это и была похищенная казна!

Легкий вздох заставил Брайса оглянуться. Фло стояла в нескольких шагах от него и смотрела на него с любопытством.

— Вот он, вор,— сказал молодой человек, задыхаясь от волнения.— Наверно, пытался удрать и свалился сюда сверху, с дороги. Но деньги все целы! Сейчас же идемте обратно к вашему дядюшке! — продолжал он с жаром.— Идемте же!

— Вы что, сошли с ума? — удивилась девушка.

— Нет,— возразил Брайс, тоже удивленный,— но вы же знаете, мы с ним решили, что будем вместе искать эти деньги, и теперь я должен показать ему, как нам повезло.

— Он же сказал вам: если встретите вора и сумеете отнять у него деньги, можете взять их себе,— серьезно ответила Фло,— и вот они у вас.

— Но я получил их совсем не так,— поспешно возразил Брайс.— Этот человек погиб, потому что пытался убежать от дозорных вашего дядюшки, и, значит, вся заслуга по праву принадлежит этим дозорным и ему. И я был бы подлец и негодяй, если бы этим воспользовался.

Девушка посмотрела на него с восхищением и жалостью.

— Но ведь когда он поставил здесь дозорных, он вас

еще и в глаза не видал,— нетерпеливо сказала она.— И потом, желание дяди Гарри — еще не все, он должен считаться с тем, что решит шайка. Уж если добыча попадет к ним в руки, они ее не выпустят, а если узнают, что деньги у вас, вам тоже отсюда не выбраться.

— Может, эти люди и предатели, но я-то предателем никогда не стану,— твердо сказал молодой почтальон.

— Вы не имеете права называть их предателями, ведь они не знают, что вы задумали,— резко возразила девушка.— Скорей уж ваша Компания может назвать предателем вас — вы-то строите планы, не спросив их.

Брайс вздрогнул: он уже и сам об этом думал.

— Сперва выберите отсюда с этими деньгами, а потом можете предлагать награду,— продолжала Фло.— Ну, а если вам так хочется, возвращайтесь,— прибавила она, гордо тряхнув головой.— Скажите дяде все! Скажите ему, где вы их нашли... скажите, что я повела вас не через ущелье, а по новой тропе, которую не показала даже своим! Скажите ему, что я предательница, потому что я выдала их всех вам, чужому человеку, и что, по-вашему, только вы один здесь порядочный и честный!

Брайс вспыхнул от стыда.

— Простите меня,— поспешно сказал он,— вы опять правы, а я кругом виноват. Я все сделаю, как вы скажете. Сперва надо спрятать деньги в надежное место, а уж потом...

— Сперва вам надо отсюда выбраться, это ваша единственная надежда спастись,— быстро прервала его Фло, в глазах ее все еще блестели сердитые слезы.— Идемте скорей, мне надо вывести вас на дорогу, пока меня не хватились.

И она устремилась вперед; Брайс последовал за ней, но не мог догнать—казалось, она не только спешила вывести его на дорогу, но и хотела избежать его взгляда. Вскоре они остановились на откосе перед стволом огромной поваленной сосны; видно, она давно рухнула с высоты, и от удара часть ее раскололась, но другая часть ствола, футов в пятьдесят, осталась нетронутой и теперь стояла у отвесной скалы, точно лестница.

— Вот,— сказала Фло, поспешно указывая на подгнивающие, но все еще крепкие обломки боковых ветвей,— влезайте, я тут лазила. Верхушка застряла в рас-

селине среди кустов. Там есть лошinka и старое русло горного ручья, по нему и идите прямо сквозь кусты. Тропинка не хуже той, по которой вы взбирались утром с шоссе, только вниз по ней идти куда опаснее. Идите все прямо, до самых истоков ручья, и выйдете к хижине дяди Хайрама, только по другую сторону. Скорей! Я подожду здесь, пока вы не доберетесь до расселины.

— А вы? — спросил он и обернулся к ней. — Как мне вас отблагодарить?

Словно желая избежать прощания, Фло уже отступила на несколько шагов и в ответ только быстро показала рукой вверх.

— Скорей! Полезайте! Каждая лишняя минута — опасность для меня!

Брайсу оставалось только повиноваться, хоть его и обидело, что девушка явно не хотела проститься с ним поласковой. Он глубже спрятал на груди драгоценный пакет и стал карабкаться на дерево. По наклонному стволу и обломанным сучьям было не так трудно добраться до верхушки, и скоро Брайс уже стоял на небольшом выступе скалы. Тут он поспешно огляделся и увидел сверху донизу русло ручья и расселину, уходящую вкось к вершине горы. Потом с этой головокружительной высоты он кинул быстрый взгляд вниз. Сначала он видел одни лишь кроны каштанов с белыми гроздьями цветов. Но вот что-то мелькнуло — его разорванный белый платок, оставшийся у Фло. Затем шляпа с цветком, которая быстро удалялась от него меж деревьев. И Флора Димвуд исчезла.

### III

На другой день Эдвард Брайс был уже в Сан-Франциско. Но, хоть он и нес туда хорошие новости и утраченные было деньги, приближался он к своей цели далеко не так храбро, как вступал в долину грабителей. Он понимал, что путь, который он избрал, может навлечь на него насмешки и даже осуждение его начальников; да и репутация Компании могла пострадать из-за его встречи со Стрелком Гарри, и потому его юношеская восторженность порядком поубавилась. Упрек Флоры все еще звучал у него в ушах и, пожалуй, усилил его смущение. Как бы то ни было, он решил говорить чистую правду,

утаив лишь то, что касалось Флоры, и выставить поведение. Стрелка Гарри и четы Тарбокс в самом благоприятном свете. Сначала он обратился за помощью к управляющему — человеку проницательному и опытному, который рекомендовал его на должность почтальона. Когда Брайс все ему рассказал и подал запечатанный пакет, управляющий посмотрел на него насмешливо, но добродушно.

— Хорошо, что вы пришли сначала ко мне, Брайс, а не стали сразу докладывать правлению.

— Наверно, им бы не понравилось, что я без их ведома вступил в переговоры с разбойником? — робко заметил Брайс.

— Мало того, они не поверили бы ни одному вашему слову.

— Не поверили бы? — вспыхнул Брайс. — Неужели вы думаете...

Но управляющий со смехом прервал его:

— Погодите! Я-то верю, а почему? Да потому, что вы ничего не прибавили, чтобы выглядеть настоящим героем. Ведь вы вполне могли сказать мне, что схватились с вором врукопашную и вам пришлось его убить, чтобы вернуть деньги, и даже принесли бы в доказательство простреленную шляпу и носовой платок, и ни один человек не мог бы уличить вас во лжи.

Брайс вздрогнул, вспомнив, в чьих прекрасных руках остались и шляпа и платок.

— Но для широкой публики эта версия не годится. Вы ее кому-нибудь еще рассказывали? Знает кто-нибудь, как было дело?

Брайс снова подумал о Флоре, но, однажды решив не впутывать ее и уверенный, что она тоже сдержит свое слово, ответил смело:

— Никто ничего не знает.

— Очень хорошо. И вы, я полагаю, не возражаете, если мы не станем посвящать во все это газеты? Ведь вы не жаждете прослыть героем?

— Конечно, нет, — с негодованием сказал Брайс.

— Что ж, значит, все останется между нами. Вы будете молчать. Я передам деньги Компании, но расскажу им из вашей истории ровно столько, сколько они в состоянии принять на веру. Вам ничего не грозит. Юба Билл

уже полностью оправдал вас в своем докладе Компании, а то, что вам удалось вернуть деньги, еще больше возвысит вас в их мнении. Но помните, люди ничего не должны об этом знать.

— Но как же можно такое скрыть? — изумился Брайс. — Ведь отправители... те, кто потерял деньги... должны знать, что они нашлись?

— А зачем? Компания возьмет на себя ответственность и возместит им убытки. Компании ведь куда выгоднее, чтобы все думали, будто в подобных случаях за все отвечает она сама, и вовсе незачем отправителям полагать, что они получили назад свои деньги лишь благодаря счастливой случайности.

У Брайса только теперь открылись глаза. Значит, вот оно как бывает. И притом все случившееся останется тайной, Стрелок Гарри и его шайка никогда не узнают, что тут была замешана Флора. Об этом он раньше как-то не подумал.

— Итак, — продолжал управляющий официальным тоном, — что вы скажете? Согласны вы предоставить все это мне?

Брайс на секунду замялся. Его порывистая правдивая натура восставала против такого решения. В мечтах он рисовал себе совсем другую развязку. Он хотел вступить за Стрелка Гарри, завоевать для него уважение и признательность Компании — и ничего не вышло. Даже управляющего он не сумел убедить. Его рассказ не только не вызвал в том человеке никаких благородных чувств, но показался ему просто невероятным. А все-таки Флору удалось оградить от каких бы то ни было подозрений! И он со вздохом согласился.

И все же он должен был остаться доволен исходом разговора. Чек на кругленькую сумму, полученный на следующий день вместе с благодарственным письмом от Компании, и повышение по службе — он был переведен с «дороги» в контору в Сан-Франциско — удовлетворили бы всякого, но не таков был Эдвард Брайс. Впрочем, он был признателен, хоть и немного испуган, да и совесть его мучила из-за того, что ему так повезло. Он все время невольно вспоминал снисходительное добродушие грабителя, ужасную смерть настоящего вора, оказавшуюся спасительной для него самого, а главное, великодуш-

ную, храбрую девушку, которая так помогла ему. Еще по пути в Сан-Франциско, упоенный своим успехом, он написал ей несколько строк из Мэрисвилла и вложил в конверт, адресованный мистеру Тарбоксу, но ответа не получил.

Прошла неделя. Он снова написал, и снова никакого ответа. Тогда им овладела смутная ревность, — он вспомнил, как она намекала на внимание, которое ей оказывают, и от души порадовался, что ее дядюшка Гарри такой отличный стрелок. И тут его обожгла жестокая мысль (ибо какой же истинный влюбленный не рисует себе самых страшных картин, когда ревнует свою возлюбленную?) — он вспомнил, как ловко она ускользнула от дядюшкиных соглядатаев с ним, но ведь точно так же она может ускользнуть от него с кем-нибудь другим. Уж не потому ли она так спешила спроводить его, не потому ли уговорила не возвращаться к дядюшке? Прошла еще неделя, полная разочарования, и тут Брайс принялся утешать себя жалкой и циничной философией — ведь он извлек немалую выгоду из своего приключения, а это в конце концов самое главное — и почувствовал себя еще несчастнее.

Прошел месяц, и вот однажды утром он получил по почте небольшой пакет. Адрес на конверте был написан незнакомым почерком, а внутри оказался аккуратно сложенный носовой платок. Присмотревшись, Брайс понял, что это тот самый его платок, который взяла Флора, но теперь он был так искусно заштопан, что следов выстрела не осталось, а штопка напоминала красивую вышивку. Внезапная радость охватила Брайса, — так, значит, она его не забыла, теперь ясно, его подозрения были просто глупы, и он смело может надеяться! Брайс стал нетерпеливо осматривать конверт и нашел еще нечто вроде визитной карточки, которую сначала не заметил. На ней было напечатано, и не каким-нибудь простым газетным шрифтом, а красивыми буквами: «Хайрам Тарбокс, агент по продаже леса и земельных участков, Калифорния-стрит, 1101». Брайс снова осмотрел пакет; нет, больше ничего, от нее — ни строчки. Но все-таки это знак — она его не забыла! Он схватил шляпу и десять минут спустя уже почти бегом поднимался на крутой песчаный холм, в который в те дни упиралась Кали-

форния-стрит, и снова появлялась на вершине, где она состояла всего из нескольких с трудом прилепившихся здесь домишек.

Но когда Брайс добрался до вершины холма, он увидел, что улица уходит гораздо дальше, появились новые кварталы коттеджей и домов, похожих на виллы. Таков был и дом номер 1101 — небольшой, но по сравнению с придорожной хижиной Тарбокса в горах Сьерры просто дворец. Брайс нетерпеливо нажал кнопку звонка и, не ожидая, пока о нем доложат, ворвался в маленькую гостиную, где восседал мистер Тарбокс собственной персоной. Мистера Тарбокса тоже стало не узнать: на нем был теперь костюм с иголки, такой же новехонький и крикливый, как и сама гостиная.

— Вы получили мое письмо? А передали вы ей то, что я вложил туда для нее? Почему вы мне не ответили? — набросился на него Брайс, едва успев поздороваться.

Лицо Тарбокса мигом преобразилось и стало таким мрачным и упрямым, что Брайсу показалось, будто он снова в хижине у дороги. Тарбокс выпрямился, поднялся со стула и ответил нарочито медленно и с вызовом:

— Да, я получил ваше письмо. Нет, ей я ничего не отдал. И не ответил вам до сих пор потому, что вовсе и не собирался отвечать.

— Почему? — с негодованием спросил Брайс.

— Я не отдал ей ваше письмо потому, что совсем не желаю посредничать между вами и племянницей Стрелка Гарри. Послушайте, мистер Брайс: с тех пор, как вы дали мне прочесть ту статейку в газете, я решил, что не годится мне знаться с грабителем, и я закончил с этим делом. Ваше письмо я попросту швырнул в огонь. А не ответил я вам потому, что не к чему мне с вами переписываться. Показал я вам дорогу к лагерю Гарри — и хватит. У меня теперь есть дом и дело, которое требует много времени, и не пристало мне якшаться со всякими почтальонами. Все это я извлек из той самой вашей статейки, мистер Брайс.

Ярость и отвращение охватили Брайса: значит, этот себялюбец бесстыдно отрекся от своих родных! А ведь он, Брайс, еще и сам тогда помогал состряпать эту статейку!

— Неужели из-за той дурацкой статейки вы предали вашу плоть и кровь? — начал он с горячностью. — Значит, вы тоже поддались подлым предрассудкам ваших соседей и отказали бедной, беззащитной девушке в единственном надежном прибежище, где она могла укрыться? И еще посмели уничтожить мое письмо к ней и этим заставили ее думать, что и я такой же неблагодарный себялюбец, как вы?

— Молодой человек, — ответил мистер Тарбокс еще медлительнее, но с некоторым даже достоинством, чего Брайс в нем прежде не замечал. — Что там у вас с Фло и какие у нее причины думать, что вы, мол, неблагодарный себялюбец, вроде меня, и так она думает или не так — этого я не знаю. А уж насчет того, что я предал свою плоть и кровь, — зря вы в моем же доме обзываете меня неблагодарным себялюбцем. Ведь Гарри Димвуд, глядишь, тоже сказал бы мне такие слова, ежели б я стал посредничать между его племянницей и молодым человеком, который служит в почтовой компании, а стало быть, ему заклятый враг. Что я вам помог повидаться с ней в лагере собственного ее дядюшки — это одно дело, а чтоб мой дом стал для вас тайной почтовой конторой — это уж совсем другое. Чем письмо писать, пришли бы лучше сами, тогда б вы и узнали, что я, как порвал с Гарри, сразу ему предложил, отдай, мол, мне Флору, пускай всегда живет у меня, только сам держись подальше. Вот вам и «надежное прибежище», где «бедная, беззащитная девушка» и укрылась, потому как три недели назад ее тетка-калека померла и развязала Гарри руки. Вот так-то я и «поддался подлым предрассудкам», прочитавши эту «дурацкую статейку», и все это устроил.

Брайс рассыпался в извинениях, но его лицо и сияющие глаза яснее всяких слов говорили, как он благодарен Тарбоксу и как искренне раскаивается в своей резкости.

— Простите меня, — запинаясь, твердил Брайс. — Я был несправедлив к вам, несправедлив к ней... ко всем. Но ведь вы знаете мои чувства, мистер Тарбокс, я так глубоко... я всем сердцем... я...

— Да, бывает, что от этого человек теряет разум, — сказал мистер Тарбокс прежним, сухим, бесстрастным тоном. — Видно, так оно и с вами случилось. Верно, и она



тоже так думает, потому что просила меня послать вам этот платок. Похоже, она порядком над ним потрудилась.

Брайс бросил быстрый взгляд на лицо Тарбокса. Оно было непроницаемо. Значит, она никому не сказала, что произошло между ними там, в лошине. Впервые он с любопытством оглядел комнату.

— А я и не знал, что вы земельный агент,— сказал он.

— Я этим и не занимался. Опять же, все с той самой статейки пошло, мистер Брайс. Хекшилл — ну, тот, который уж больно был вежливый,— после написал мне, что до той статейки он даже не знал, как меня звать, а теперь, мол, я такой «всем известный гражданин», так не присоветую ли ему, где купить хороший участок леса. Я и присоветовал половину моего же участка в четверть квадратной мили, а он взял да и купил его. Он там ставит лесопилку— вот еще и поэтому я сюда переехал, уж очень шумно там стало, а мне бы где потише, поспокойней. По правде сказать, мистер Брайс, я стараюсь устроить так, чтоб Гарри отсюда убрался и продал нам с Хекшиллом свои права на землю и на воду в Рукаве. Я ведь открываю собственное дело.

— Значит, пока вы тут занимаетесь делами, мисс Флора осталась там, в хижине, с миссис Тарбокс?— на всякий случай спросил Брайс.

— Не совсем так, мистер Брайс. Старуха решила, что это самый подходящий случай переехать во Фриско и определить Фло в школу при католическом монастыре— они там не задают вопросов, откуда, мол, взялось такое сырое полено, а делают из него гладкую доску, и шифовка — первый сорт! Смекаете, мистер Брайс? Кстати, миссис Тарбокс сейчас тут, в соседней комнате, и с охотой сама вам все расскажет, так уж я пойду и пришлю ее к вам.

Мистер Тарбокс снисходительно помахал рукой и с важностью удалился.

Брайс был рад, что остался один и мог немного опомниться и собраться с мыслями. Итак, Фло отняли у ее злокозненного дядюшки и определили в монастырскую школу! А Тарбокс из незаметного поселенца превратился в ловкого спекулянта землей, уже начал преуспе-

вать и стал опекуном Фло вместо дядюшки Гарри! И все это произошло за какой-нибудь месяц, пока он бессмысленно роптал на судьбу! Каким жалким казалось ему теперь собственное приключение и успехи, какими нелепыми — попытки покровительствовать девушке с высоты своего величия! Как умело этот необразованный лесной житель поставил его на место — с той же легкостью, с какой Фло отвергла ухаживания журналиста и Хекшилла! Да, они его здорово проучили, и даже возвращение платка — тоже ему наука! Сердце его сжалось, он подошел к окну и, тяжело вздохнув, принялся глядеть на улицу.

Вдруг у него за спиной раздался легкий смех, словно эхо того, который очаровал его в ту памятную ночь в хижине Тарбокса. Он быстро обернулся — в дверях стояла Флора Димвуд, и глаза ее тоже смеялись.

Сколько раз за этот месяц он в воображении своем рисовал эту встречу: как он с ней заговорит, что она ответит и о чем они потом станут разговаривать. И, смотря по настроению, решал, что будет держаться с ней сухо или нежно, с холодной учтивостью или с пылкой любезностью, прямодушно или с укоризной, будет печален или весел... Но всегда он собирался начать разговор с почтительной серьезностью или откровенностью, под стать ее собственной и уж никогда, ни за что он не оскорбит ее, как тогда в горах, под каштанами! А вот теперь он стоял перед ней, смотрел на ее хорошенькое сияющее личико, и все его планы, все заранее приготовленные речи и обдуманные жесты растаяли как дым, и он совсем онемел и растерялся. Потом шагнул к ней, попытался что-то сказать... с губ его сорвался не то смех, не то вздох... а в сущности, это был поцелуй, ибо он просто сжал ее в объятиях.

Оказалось, ничего лучше и нельзя было придумать, потому что юная особа высвободилась, пожалуй, не так быстро, как тогда, под каштанами, и лицо у нее на сей раз было не такое холодное и невозмутимое. Но она его убедила — все еще держа его руку в своей — сесть подле нее на уютную сверкающую лаком кушетку, обитую зеленым репсом, хоть ему и показалось тогда, что это укромный уголок в райском саду. И тут она сказала с восхитительным упреком:

— Вы даже не спрашиваете меня, что я сделала с телом.

Эдвард Брайс вздрогнул. Он был молод и неопытен и не представлял себе, какие неожиданные мысли могут прийти на ум женщине в такие великие минуты.

— Тело? Ах да... конечно...

— Я сама его зарыла — вот страх-то был! Потому, что шайка как пить дать нашла бы его, да еще с пустым поясом. Пояс-то я сожгла. И ни одна душа век ничего не узнает.

Минута была неподходящая для того, чтобы обращать внимание на не слишком гладкую речь — кое-какие не-правильности были уже, впрочем, трогательно исправлены монастырской школой, — да и, боюсь, Брайса ее ошибки только умиляли. Потом она сказала:

— Теперь, мистер Эдвард Брайс, сядьте-ка подальше и давайте поговорим.

И они стали разговаривать.

Говорили они целый час, отвлекаясь от разговора лишь изредка, а потом раздалось деликатное покашливание, и в комнату вошла миссис Тарбокс. Тут пошли еще разговоры, и вдруг оказалось, что мистеру Брайсу давным-давно пора в контору.

— Заглядывайте в любой день, когда Фло будет дома, — сказала на прощание миссис Тарбокс.

Весь следующий месяц Брайс в самом деле к ним заглядывал, и довольно часто. Однажды, когда он уходил, Тарбокс проводил его до двери.

— Ну вот, теперь, раз уж все решено и улажено, мистер Брайс, коли вы пожелаете про это рассказать вашим хозяевам, так можете и про меня упомянуть: мол, есть у Флоры Димвуд такой двоюродный дядя, он тоже держит свои деньги в вашем банке. И если кто когда вздумает вас попрекнуть, что вы женитесь на племяннице Стрелка Гарри, — прибавил он еще медлительней обычного, — можете эдак между прочим сказать, что, мол, Стрелок Гарри под именем Генри Дж. Димвуда уже сколько лет сам совладелец ихнего знаменитого банка!

## СОКРОВИЩЕ КАЛИФОРНИЙСКОГО ЛЕСА

### I

Мистер Джек Флеминг остановился у мертвой, высохшей секвойи. Его разбирала досада: дерево было то самое, мимо которого он прошел всего лишь час тому назад; значит, он кружит по лесу, описывая заколдованный круг, столь хорошо знакомый всем, кому случилось заблудиться в лесу.

Ошибки быть не могло: он признал дерево по сломанному суку, торчавшему под прямым углом к стволу, как плечо семафора; досадно было еще и оттого, что он сбился с дороги отчасти из-за собственной дурацкой рассеянности. Он возвращался в приисковый лагерь из соседнего городка и, погрузившись в привычный для молодого старателя сон наяву, бросил тропу, понадеявшись сократить себе дорогу и пересечь лес напрямик. Он не видел солнца из-за густо переплетенных ветвей над его головой и мог ориентироваться только по сумеречному грустному рассеянному свету, проникавшему сквозь этот свод. Ясно было, что он забрел в незнакомую часть леса, глухую и нехоженую. Толстый слой веками распыляющейся трухи и сушняка заглушал его шаги, наполняя полумрак глубокой тишиной.

Несколько мгновений он простоял в нерешительности, и его ухо, привыкшее к тишине, различило слабое, но отчетливое журчание воды. Ему было жарко, хотелось пить, и он машинально повернул в направлении этого

звука. Пройдя немного, он очутился около упавшего древесного ствола; у его вывороченных корней булькал родник; вода медленно, но упорно подмывала корни и в конце концов повалила дерево. В размытой у корней почве образовался маленький прохладный водоем, переливавшаяся через его край вода в нескольких шагах дальше снова уходила под землю.

Когда Флеминг пил и мыл в этом лесном водоеме голову и руки, он заметил на дне кусок белого поблескивающего кварца; обнаружив тут же рядом, под толстым ковром мха и сушняка, самый настоящий выход этой породы, он был поражен и обрадован. Это означало, что он находился недалеко от лесной опушки или каменистой прогалины. Ему показалось, что в одной стороне леса было светлее, а несколько кустов папоротника подтвердили его догадку о близости мелкоколосья. Он уже видел отвесные лучи солнца, пробивающиеся через просвет в лесу. Уверившись, что выбраться из лесу будет не так-то уж трудно, он не торопился; напротив, успокоившись, Флеминг вернулся к роднику. Дело в том, что его обуревали надежды и мечты, знакомые всякому старателю, а замеченная им жила кварца и тут же рядом выход самой породы побудили его внимательнее отнестись к находке. Дойти до дому он успеет, а еще раз забраться в эту глушь не так-то просто. К несчастью, с ним не было ни кирки, ни лотка, ни лопаты; кое-как разрыв руками землю вокруг родника и выхода породы, он обнаружил обычную в таких случаях красноватую глину и обломки кварца, которые служили «признаком». Хотя никто лучше его не знал, какими горькими разочарованиями часто чреваты такие находки, он все же пожалел, что с ним нет лотка, в котором он мог бы промыть в ручейке пробу. Будь поблизости жилье какого-нибудь золотоискателя, он легко раздобыл бы все, что требуется. Но его, как всегда, преследует неудача: хоть видит око, да зуб неймет.

В нетерпении он снова направился в сторону прогалины. Пройдя несколько шагов, он оказался на скалистом склоне, спускавшемся в зеленую долинку. Легкий дымок вился над купой ив; он поднимался из трубы низенькой хижины. Однако, приглядевшись, Флеминг понял, что эта хижина не могла быть жильем старателя. Она сто-

яла посреди довольно большой поляны, часть которой была огорожена и кое-как обработана. Тем не менее Флеминг решил попытать счастья и попросить здесь кирку и лоток; в крайнем случае он хоть разузнает, как выйти на дорогу.

Он вприпрыжку сбежал с холма к дому, — это была обычная бревенчатая хижина с беспорядочными пристройками. Его поразило, что сама хижина и изгородь вокруг нее были увешаны растянутыми для просушки звериными шкурами. Рядом с огромными шкурами медведей, пантер, волков и лисиц висели беличьи и рысьи шкурки и расправленные крылья орлов, ястребов и зимородков. Никакой тропки ни к дому, ни от дома видно не было; на поляне, среди непроходимых лесов, хижина казалась заброшенной и нежилой.

Но вот на лай двух псов, привязанных у дома, на крыльцо пристройки вышла женщина. Это, по-видимому, была молодая девушка, но ее несоразмерно широкая, не по росту сшитая одежда не позволяла определить возраст. Ситцевая блузка была кое-как подколота к свободной сборчатой юбке, туго прихваченной по талии длинным передником; чтобы не наступать на него, передник был углом подвернут под завязки. Широкополая шляпа из желтой парусины совершенно закрывала лицо, но из-под шляпы выбивались туго заплетенные в две косы черные курчавые волосы. Девушка была, очевидно, занята стряпней и появилась на пороге, прижимая к груди большой медный таз, который она только что мыла.

Не обращая внимания на девушку, Флеминг жадно устался на таз. Но он умел быть дипломатом.

— Я заблудился в лесу. Не скажете ли вы мне, как выйти на большую дорогу? — спросил он.

Она протянула маленькую красную ручку как раз в ту сторону, откуда Флеминг пришел.

— Идите напрямик, через холм.

Флеминг вздохнул. Он понял, что вместо того, чтобы идти напрямик, он кружил по лесу, а полянка с хижинкой, куда он вышел, расположена на самой дальней опушке.

— А далеко ли отсюда до дороги? — спросил он.

— Да с того холма, если идти по опушке, — рукой показать, а если идти лесом, — порядочно...

Все было ясно. На местном жаргоне «рукой подать»

означало чуть поменьше мили, а «порядочно» могло обернуться и тремя и четырьмя милями. К счастью, и родник и кварцевая жила были у самой опушки — значит, на обратном пути ему их не миновать. Флеминг с вождением смотрел на таз, который девушка не выпускала из рук.

— Не одолжите ли вы мне ненадолго этот тазик? — попросил он, улыбнувшись.

— А зачем? — быстро спросила девушка. В ее тоне слышалось скорее детское любопытство, чем недоверие. Флеминг предпочел бы уклониться от ответа, так как иначе пришлось бы неизбежно рассказать ей о находке. Но он понял, что отступать поздно.

— Да хочу промыть тут горсточку земли, — признался он.

Огромная широкополая шляпа повернулась к нему. Откуда-то из ее глубин на него блеснул ряд белых зубов.

— Да ну вас с вашими шуточками, — сказала девушка.

— Нет, правда, мне хотелось бы промыть в этом тазике землю — я ищу золото, — сказал Флеминг. — Разве непонятно?

— Так вы старатель?

— Ну да, вроде того, — сказал он, смеясь.

— Тогда лучше вам убраться отсюда подобру-поздорову, пока не пришел отец. Не водится он с золотоискателями. Поэтому и живет здесь, в глуши.

— А я не собираюсь тут застревать, — не смущаясь ответил молодой человек. — Я бы не заглянул сюда, если б не заблудился в лесу, а через полчаса здесь и следа моего не останется. Зачем мне ему глаза мозолить. — И так как девушка все еще колебалась, он добавил: — Я могу оставить залог за таз.

— Что оставить?

— Ну, денег столько, сколько он стоит, — нетерпеливо объяснил Флеминг.

Широкополая шляпа взметнулась, как парус под ветром, и, описав круг, обратилась к горизонту.

— На что мне деньги. Ступайте своей дорогой, — прозвучал голос из глубин шляпы.

— Слушайте, — сказал Флеминг почти с отчаянием. — Я же только хотел убедить вас, что верну ваш

таз в целости и сохранности. Подождите! Если не хотите брать денег, я оставляю вам кольцо. Вот!

И он стянул с мизинца маленькое кольцо, сделанное на пробу из первого намытого им золота.

Широкополая шляпа снова повернулась и склонилась к кольцу. Потом правая ручка — маленькая и красная — взяла кольцо и надела его на указательный палец левой руки, с широко растопыренными пальцами, после чего эта рука немедленно скрылась под полями шляпы; локтем девушка продолжала крепко прижимать к себе таз. Флеминг заметил, что руки были еще совсем детские, хотя и носили следы грязной работы, и что кольцо было ей велико. Он попытался заглянуть под поля шляпы, но она была с одного бока примята, и ему удалось увидеть только один светло-голубой глаз под черной дугой брови.

— Ну как? — спросил Флеминг. — Идет?

— Вы, конечно, вернетесь назад за кольцом? — тихо спросила девушка.

И в ее голосе было столько сожаления, такая безнадёжность звучала в ее словах, что Флеминг откровенно расхохотался.

— Боюсь, что так. Я очень дорожу этим кольцом, — ответил он.

Девушка протянула ему таз.

— Мы в нем лепешки печем.

Каково бы ни было назначение таза, новым его никто бы не назвал. С одного боку он был сплюснут, а дно прохудилось, но и в таком виде он мог пригодиться, и Флеминг заторопился.

— Спасибо, — пробормотал он и направился к лесу.

Вслед ему снова залаяла собака; он слышал, как девушка прикрикнула на нее: «Молчать, Тайдж!» — и видел, как она прошла на кухню, все еще держа руку с кольцом под шляпой.

Дойдя до леса, он быстро разыскал кварцевую жилу и с помощью острого камня наскреб полный таз рыхлой земли. Затем он направился к роднику и, погрузив таз в воду, с ухватками опытного старателя принялся легко вращать его. Размокшая красная глина всплыла на поверхность, и образовавшаяся жижа, называемая «шламом», окрасила прозрачный водоем в кровавый цвет. Когда весь шлам был смыт, Флеминг аккуратно выловил



и рассмотрел самые мелкие зернышки; после повторной промывки на дне почти пустого таза осел тонкий черный песок — шлих. И шлих, в свою очередь, был тоже легко смыт.

Увы! В тазу поблескивали две-три крошечных крупины размером с булавочную головку, не всплывшие и оставшиеся на дне благодаря большему удельному весу; конечно же, это было золото, но его оказалось ровно столько, чтобы образовать «блестки»; в таком количестве оно попадалось и на его прииске и считалось всего лишь «следами».

Флеминг попробовал промыть еще одну пробу — и снова без толку. Он убедился, что таз течет и вести промывку нужно с величайшей осторожностью, чтобы не продавить дно. Так или иначе, проба была взята, и без результата.

Флеминг — достаточно бывалый старатель — отнесся к этой неудаче без особого огорчения. В подобных случаях не стоило ни надеяться, ни отчаиваться; просто он, по-видимому, просчитался в определении места, и можно бы с полным основанием снова попытать счастья чуть подальше. Но Флемингу давным-давно пора было домой, на свой прииск, и он решил немедленно возвратить таз его маленькой владелице и забрать у нее кольцо.

Когда Флеминг подходил к хижине, он услышал пение. Видимо, это был голос девушки, распевавшей какой-то негритянский гимн.

Жил-был бедняк по имени Лазарь,  
Господи, помилуй Агнца — аллилуйя!  
Господи, помилуй, Агнца!

Первая строка исполнялась в быстром темпе под аккомпанемент ритмических ударов в ладоши или по сковородке, а припев «Господи, помилуй, Агнца!» растягивался тоскливо и монотонно.

Богач умер и в ад угодил.  
Господи, помилуй Агнца — аллилуйя!  
Господи, помилуй, Агнца!

Флеминг остановился на крыльце. Не успел он постучать, как голос снова запел:

Увидишь бедняка, поделись с ним хлебом,  
Господи, помилуй Агнца — аллилуйя!  
Господи, помилуй, Агнца!

Когда тягучий припев, исполняемый молодым контральто, замер, Флеминг постучал. Девушка тотчас же вышла, держа в руке кольцо.

— Так я и знала, что это вы,— сказала она с приторным безразличием, стараясь не показать, как ей жалко расстаться с безделушкой.— Нате!

Но Флемингу было не до кольца: у него язык отнялся от удивления. Когда девушка распахнула дверь, шляпа, как перышко, слетела с ее головы, впервые открыв лицо и шею своей хозяйки. И глазам Флеминга предстала не девчонка, а очаровательная девушка лет семнадцати-восемнадцати, и он смутился, досадуя на себя за то, что не разглядел ее раньше.

— Надеюсь, я не помешал вам петь,— сказал он, стараясь скрыть смущение.

— Ах, это Мамка всегда поет,— ответила девушка.

— Ваша матушка? Она дома? — спросил Флеминг, заглядывая в кухню.

— Да нет, не матушка,— она умерла. Мамка — это наша старая нянюшка. Она ушла в Джимстайн и взяла мое старое платье, чтобы купить мне что-нибудь по росту. На мне — все материнское.

Теперь Флемингу стало понятно, почему на ней такое странное одеяние; но он заметил, что сама-то девушка даже не подозревала ни о нелепости своего наряда, ни о прелести скрываемых им лица и фигурки.

Она с любопытством разглядывала Флеминга лавандового цвета глазами.

— А вы в бога верите?

— Едва ли,— смеясь ответил Флеминг.— Боюсь, что нет.

— А вот папа верит, он говорит, что бог всемогущий.

— Уж не потому ли он не любит золотоискателей? — поинтересовался Флеминг.

— Не служите неправедному Мамоне,— наставительно изрекла девушка, словно повторяя затверженный урок.— Так сказано в писании.

— Я и сам читал Библию.

— Папа говорит: «Буква убивает»,— нравоучительно выпалила девушка.

Флеминг взглянул на развешанные по забору трофеи, и в его глазах, по-видимому, выразилось недоумение, как

может соблюдение заповедей священного писания совмещаться с ремеслом охотника. Девушка перехватила его взгляд.

— Папа — охотник волею божьей.

— А что он делает с этими шурами?

— Меняет их на хлеб и на одежду. Но он не любит, когда ковыряются в грязи и ищут золото.

— А вам не кажется, что все эти звери предпочли бы, чтобы он ковырялся в грязи? Охота за золотом никого не лишает жизни.

Девушка пристально посмотрела на Флеминга и, к величайшему его удивлению, вместо того, чтобы рассердиться, звонко рассмеялась. Когда она смеялась, ее худенькое, бледное личико преображалось, а мелкие, молочно-белые с голубизной зубы были похожи на зернышки только что созревшей индейской кукурузы.

— На что вы глядите? — откровенно спросила она.

— На вас, — ответил он столь же откровенно.

— Ох, уж это мне тряпье, — сказала она, разглядывая свой наряд, — что делать, никак не могу его приладить.

Ни в ее тоне, ни в манере, когда она пыталась обеими руками подобрать на талии распустившиеся сборки юбки, не было стеснения или кокетства.

— Давайте я вам помогу, — сказал он серьезно.

Она с детской непосредственностью подняла руки, когда он, подойдя к ней сзади, стал подбирать сборки юбки и закалывать их на талии, оказавшейся совсем тоненькой. Потом он развязал передник, снял его, сложил пополам и повязал снова.

— Теперь стало ловчее, — сказала девушка со вздохом удовлетворения и повернулась к нему вполоборота, показав круглую щеку и блеснув голубыми глазами из-под темных ресниц. Это была минута величайшего искушения для Джека, но он понял, что сейчас в его лице испытанию подвергается весь род золотоискателей, и не поддался соблазну. К тому же душа у него была чистая.

— Я бы и блузку подобрал, будь у меня побольше булавок, — сказал Джек со знанием дела: у него были сестры.

Булавки появились незамедлительно. В результате манипуляций с юбкой из-под ее подола, собранного в

виде фестонов, выглянула нижняя юбчонка из дешевой вылинявшей фланели, бледно-голубой, как глаза девушки, однако это обстоятельство не вызвало замешательства или недовольства ни у одной из сторон.

— Ну вот, теперь будет лучше,—сказал Джек, созерцая плоды своих трудов и любуясь выглядывавшими из-под юбки тоненькими щиколотками. Девушка тоже внимательно рассматривала свое отражение в блестящем донышке таза.

— Кажется, я похожа на китайскую девочку, правда?

Джек хотел было возразить, предположив, что она говорит о сходстве с китаянкой, но, взглянув, куда она указывала, он увидел на полке дешевую безделушку из китайского фарфора, изображавшую голландскую пастушку. В статуэтке и впрямь было какое-то сходство с девушкой.

— Только не попадайтесь на глаза Мамке,—сказала она задорно,— не поздоровится вам, если она узнает.

— А вы уж лучше скажите ей, что управились без моей помощи,—сказал Флеминг.

— Почему? —спросила девушка, широко раскрыв наивные глаза.

— Вы же сказали, что ваш отец не любит золотоискателей, и он рассердится на вас за то, что вы одолжили мне таз.

— Ах, не отец страшен, а ложь,—сказала она с гордым сознанием собственной добродетели, которое, однако, было в значительной мере смягчено добавлением:—Мамка меня не выдаст.

— Ну что ж, прощайте,—сказал Флеминг, протягивая руку.

— А вы мне не сказали, принес ли вам счастье мой таз,—сказала девушка, не беря его руки.

Флеминг пожал плечами.

— Мне, как всегда, не повезло,—усмехнулся он.

— Вас, видать, больше заботит, как бы получить назад кольцо,—сказала девушка.—Я вижу, не очень-то вы усердный старатель.

— Боюсь, что так.

— И потом вы не сказали мне вашего имени, а вдруг отец захочет узнать.

— Вряд ли. Впрочем, меня зовут Джек Флеминг. Она подала ему руку.

— А вас как зовут,— спросил он, пожимая маленькие красные пальчики,— а вдруг я хочу знать?

Ей очень понравилось, как он остроумно перефразировал ее слова. Она улыбнулась, показав белые зубки, отняла руку и сказала:

— Счастливого пути, мистер Флеминг. Меня зовут Тинка...

— Как?

— Это уменьшительное от Кэтинка — Кэтинка Джеллингер.

— До свидания, мисс Джеллингер.

— До свидания. Мой отец—Генри Бун Джеллингер, из Кентукки, если вам когда случится встретить его.

— Спасибо.

И она быстро скрылась в доме, а он пошел к лесу. Поднимаясь на холм, он бессознательно ждал, что снова услышит голос девушки, распевающей негритянский гимн, но ожидания его не сбылись. Поднявшись на вершину, он остановился и обернулся.

Она, как видно, ждала этого и помахала ему на прощание тем самым тазом, который он у нее брал. Таз блеснул на миг в лучах заходящего солнца и померк, заглотив маленькую фигурку.

## II

Мистер Джек Флеминг и в самом деле был «не очень-то усердный старатель». Он и его товарищи — оба такие же молодые и полные надежд неудачники, как и он сам, вот уже три месяца разрабатывали заявку на горном прииске; это заставляло их проделывать массу полезных физических упражнений, давало повод для беспрестанных шуток над собой и обеспечивало неограниченную свободу и независимость. Каждый день они с утра по три-четыре часа работали киркой и лопатой, потом, в полдень, растянувшись на часок под секвойей, курили трубки, а там снова принимались за работу до захода солнца, промывая грунт и добывая золота ровно столько, чтобы покрыть свои каждодневные нужды, и все это, независимо от их стараний, а может быть, и неведомо

для них самих, было воплощением того пленительного социалистического рая, о каком могли только мечтать куда более достойные люди, которым они и в подметки не годились. И вот Флеминг снова вернулся к этой утонченной дикарской жизни; он не вспоминал о своем приключении в лесу и не рассказывал о нем товарищам. Он закончил свои дела в ближайшем городе, а маленькое приключение в пути не представляло никакого интереса для них и мало что значило для него самого.

На третий день по возвращении на прииск, когда Флеминг отдыхал под секвойей, к нему подбежал один из товарищей.

— Нет ли у тебя на совести какого-нибудь старого счета — скажем, за стирку, — по которому ты задолжал?

— А в чем дело?

— Да там пришла какая-то толстая негритянка и спрашивает тебя, а в руках у нее сложенный листок, чертовски похожий на счет.

— Тут какая-то ошибка, — предположил Флеминг, вставая.

— Она уверяет, что все верно. И без запинки называет твое имя. Фолкнер (это была фамилия третьего товарища) повел ее в ущелье, подальше от лагеря, а я кинулся сюда предупредить тебя. Так что если ты предпочитаешь остаться в стороне, лежи тут смирно, покуда мы не вернемся, уговорились?

— Глупости! Я поговорю с ней!

Товарищ, пораженный такой решимостью, умолк, а Флеминг, вскочив на ноги, пошел разыскивать таинственную посетительницу. Это оказалось нелегким делом, ибо изобретательный Фолкнер, со всей добросовестностью выполняя поручение, завел ее в глубокое ущелье, галантно поддерживая под руку на крутой тропке и высказывая вслух предположение, что «кажется, сегодня была очередь Джека идти в Джимстайн».

Мало того, он развлекал свою спутницу рассказами о недавнем нашествии на эту округу медведей и пантер. Когда Флеминг нагнал их, он выразил радостное изумление, одновременно предостерегая его взглядами, на которые Флеминг не обратил внимания, так как

во все глаза глядел на спутницу Фолкнера. Эта толстая негритянка с трудом переводила дух от усталости и еле сдерживаемого нетерпения. Флемингу стало искренне жалко старую женщину.

— Вы будете масса Флеминг? — спросила она, задыхаясь.

— Да, я, — ответил Флеминг мягко. — Чем могу служить?

— Еще как можете! Вы можете избавить меня от этой гусеницы, — сказала негритянка, указывая на Фолкнера, — чтоб она не путалась у меня под ногами. Можете сказать этому болтуну, что он не на такую дуру напал, которая не отличит следов мула от медвежьих! И чтоб он не рассказывал мне сказок про пантер, которые пасутся на травке и прячутся на поляне за скалами: не с малым негритенком имеет дело, а со взрослой женщиной! Вы можете сказать ему, что Мамка Кэртис живет в этих лесах с тех пор, когда его и на свете еще не было, и навидалась на своем веку медведей и пум больше, чем у него волос в бороде.

При слове «Мамка» Флеминга, как молния, осенило воспоминание.

— Простите, пожалуйста, — начал было он, но, к его удивлению, негритянка вдруг разразилась самым дрободушным смехом.

— Ничего, ничего, сынок! Раз вы и есть тот самый масса Флеминг, которому Тинка одолжила намедни таз, наплевать мне на шуточки ваших дружков. У меня тут кое-что есть для вас, — она протянула ему сложенную бумажку, — и еще вот эта коробочка.

Флеминг почувствовал, что краснеет, сам не зная почему, а Фолкнер скромно, но демонстративно удалился и, плохо расслышав слово «намедни», сообщил третьему их компаньону, что Флеминг взял у странствующего медника таз, и теперь негритянка, жена медника, предъявила ему счет за пользование тазом и требует расплаты. После ухода Фолкнера Флеминг облегченно вздохнул и развернул сложенную бумажку. Это было письмо, написанное карандашом неуверенной детской рукой на листке, вырванном из старой бухгалтерской книги, что, очевидно, и дало повод товарищам Флеминга принять

письмо за счет. Флеминг поспешно приступил к чтению. В письме говорилось:

«Мистеру Дж. Флемингу.

Дорогой сэр! Когда вы в тот день ушли от нас, я взяла тазик, который вы мне вернули, чтобы замесить тесто для хлеба и пирогов. А на другое утро за завтраком папа говорит: «Что это с твоим пирогом — я чуть об него зуб не сломал — с песком ты его, что ли, замесила — просто есть невозможно! Вот гляди!» — Сказал и с этими словами выплюнул несколько крупинок золота, которые попались ему в пирог. Что вы на это скажете, мистер Флеминг! Не такой уж вы невезучий, как вам кажется! Выходит, вот как все было. Когда вы промывали пробу, эти крупинки золота проскользнули и застряли в трещинках на дне таза, а когда я, ничего не ведая, месила тесто, они прилипли к нему и попали в пирог. Что делать — пришлось мне согрешить и солгать, но в Писании сказано: «Сделайся всем для всех». Вот я и подумала, что должны же вы знать о своем счастье, и я послала к вам Мамку с этим письмом и золотом в коробочке. Конечно же, если бы папа служил Мамоне, а не охотился на божьих тварей, он догадался бы, откуда это золото; а так он поверил, что оно было в воде из нашего ближнего родника. Ну, прощайте. Дорожите ли вы попрежнему своим колечком? С почтением, ваша

*Кэтинка Джеллингер».*

Когда мистер Флеминг кончил читать письмо, Мамка вручила ему маленькую картонную коробочку. В первую минуту Флеминг растерялся, не зная, посвящена ли Мамка в эту тайну. Но, к его величайшему облегчению, она внезапно заявила:

— Ну, сынок, дело мое сделано, я все передала из рук в руки. Пора мне убираться из вашего лагеря подобру-поздорову. Не говори ничего, чтоб мне не проболтаться дома.

Флеминг понял.

— Скажите ей, что я благодарен... и... я постараюсь... — мямлил он.

— Помолчи, милоч! Хватит с меня и этого, ничего больше не надо! Желаю тебе и твоим друзьям всего хорошего.



И она направилась к дороге. А он посмотрел ей вслед и открыл коробочку.

Там лежали три небольшие зернышка золота, весом всего примерно в четверть унции. Такие зерна, конечно, могли незаметно для него застрять в трещинах старого таза. Но если таков результат одной только промывки, а теперь он легко мог вообразить, что так же точно сквозь дырявое дно проскочили еще несколько крупных зерен, тогда... Он обомлел от одного только предположения. Потом проводил взглядом удалявшуюся фигуру Мамки. Представляет ли себе она, представляет ли себе Тинка, что может значить такая находка? Или же провидение доверило эту тайну людям, которые меньше всего могли догадываться о ее значении? В первую минуту ему захотелось догнать негритянку и предостеречь ее; но, подумав, он решил, что рискует возбудить в ней подозрения и выдать тайну.

Он понял, что, пока не возьмет еще одну пробу, все зависит от соблюдения тайны. А с пробой надо поторопиться.

Но как уйти из лагеря, скрыв от приятелей причину отлучки? Он был слишком хорошим товарищем, чтобы не поделиться с ними плодами своей удачи, но вместе с тем вовсе не был так уж уверен в удаче. Может быть, его находка — всего лишь пустяковый «кармашек», запасы которого он уже истощил или истощит при следующей промывке.

Он не сделал никакой заявки; участок мог принадлежать отцу Кэтинки или какому-нибудь золотонискателю вроде него самого. В любом случае приисковые товарищи могли поднять его на смех, а то и сделать ему суровый выговор за беззаботность и нерасторопность. Ну уж, нет! Правды он им не откроет, но и врать не станет. Он просто скажет, что его вызвали на денек по частному делу.

К счастью, пылкая фантазия товарищей Флеминга работала в его пользу. Предположение о меднике и тазе было с возмущением отвергнуто вторым товарищем. Да и сам Фолкнер припомнил румянец и смущение Флеминга; поэтому, сойдясь в палатке, приятели единодушно порешили, что негритянка доставила Флемингу любовное письмо! Он молод и хорош собой, что же удиви-

тельного в том, что у него где-то на стороне завелись амуры?

Поэтому, когда Флеминг смущенно заявил, что ему нужно завтра спозаранку отлучиться по делам, о которых он пока что не может им рассказать, его слова были восприняты товарищами как подтверждение их догадок, и они с многозначительными и лукавыми улыбками пожелали ему счастливого пути.

— Но только,— добавил Фолкнер,— *в твоём возрасте*, дружок (при этом сам он был девятью месяцами старше Флеминга), я бы отправился с ночи.

Что говорить, провидение покровительствовало молодому старателю!

На следующее утро Флеминг с рассветом отправился в путь. У него было сильное искушение наведаться сначала в хижину, но он не поддался, помня, что, пока не убедится в своем счастье, ему нужно дорожить каждой минутой.

Было уже далеко за полдень, когда он дошел до лесной опушки. Еще несколько шагов, и он нашел родник и жилу. Чтобы не вызвать подозрений товарищей, он не взял с собой инструментов, а прихватил лопатку, кирку и лоток по пути, одолжив их на соседнем участке. Место вокруг родника и сам родник, как видно, оставались нетронутыми с тех пор, как Флеминг был здесь в последний раз. Он с сильно бьющимся сердцем приступил к делу. Теперь, когда с ним были все нужные инструменты, никаких трудностей не предвиделось. Флеминг напряженно наблюдал, как вода с грунтом переливается через край лотка; наконец земля и гравий были смыты, на дне остался только черный шлах. Флеминга охватило смутное предчувствие неудачи: будь жила побогаче, это сказалось бы на первых же порах. Еще немного, и лоток стал совершенно чистым, если не считать мельчайших «следов» — в точности таких же, что и в первый раз. Флеминг промыл еще один лоток — и снова без толку. Проба, взятая поглубже, дала после промывки то же самое. Сомнений быть не могло: его постигла неудача. Находка оказалась всего лишь «кармашком», а те несколько зерен, которые ему послала Кэтинка, были его единственной добычей.

Флеминг сел с чувством огромного облегчения: теперь можно будет снова честно смотреть в глаза товарищам; теперь он снова сможет увидеть хорошенькое личико девушки, и совесть не будет его грызть за то, что он не посчитался с суевериями отца Тинки, сделав заявку на участок по соседству с его хижинкой. Право же, теперь он мог оправдать на деле все домыслы своих товарищей!

Флеминг быстро собрал инструменты и направился было к поляне, но вдруг столкнулся с Кэтинкой, которую еле узнал — так она изменилась. И все-таки это была она, девушка из лесной хижины, пославшая ему коробочку с золотом! Она была одета совсем по-новому — на ней было, по-видимому, ее обычное, каждодневное платье из яркого узорчатого ситца; пышные черные волосы были собраны в пучок и спрятаны под маленькую соломенную шляпку. Но больше всего Флеминга поразило, что все ее ребячество как рукой сняло вместе с чужой, не по росту сшитой одеждой; перед ним стояла девушка среднего роста с таким обворожительным и милым лицом, что пленила бы хоть кого. Флеминг смутился, — он заметил, что хорошенькие губки девушки сжаты, а брови сурово сдвинуты, когда она в упор посмотрела на него.

— Вы, как видно, поспешили отправиться напрямик в лес, — холодно заметила она. — Кажется, вы могли бы сперва заглянуть к нам.

— Ваша правда, — поспешил согласиться Флеминг, — но мне хотелось сначала удостовериться в правильности тех догадок, о которых вы сообщили мне в письме.

Флеминг колебался, нужно ли говорить Тинке о постигшей его неудаче; самому-то ему история казалась только забавной, но как это примет она?

— Вы обзавелись новой посудиною, — заметила она, слегка надув губки.

— Да-да! — И Флеминг решил воспользоваться упоминанием о лотке. — Но, кажется, у нее нет чудодейственных свойств вашей посуды. У меня не осталось даже следов на доньшке. Вы, наверное, заколдовали ваш старый таз.

Она вспыхнула, и ее лицо просияло, а губы растянулись в улыбку.

— Нечего шутить! Не хотите же вы меня уверить, что вам и сегодня не повезло!

— Ну, конечно, повезло, раз я встретил вас.

Ее глаза заблестели.

— Я же говорила, что вы не очень усердный старатель. Вам недостает веры. Будь у вас вера хотя бы с горчичное зерно, вы сдвинули бы гору,— так сказано в Писании.

— Но гора-то стоит на коренной породе, и она не под силу моей вере,— сказал он, смеясь.— К тому же это значило бы угождать Мамоне, а вы ведь не хотите, чтоб я служил Мамоне.

Она посмотрела на него с интересом.

— Я вижу, вам с этой самой горы наплевать, намоете вы чего-нибудь или нет,— сказала она не то восхищенно, не то критически.

— В угоду вам я готов начать все сызнова. Если хотите, можете убедиться сами. А может, вы, как и в тот раз, принесете мне счастье. Возьмите лоток. Я наполню его, а вы станете промывать. Вы будете мне вместо талисмана.

Она было нахмурилась, но потом весело переспросила:  
— Как-как?

— Будете моей доброй волшебницей.

Она снова заулыбалась, и ее бледное личико покрылось румянцем.

— Очень может быть, что так оно и выйдет,— заявила она с неожиданной важностью.

Он быстро наполнил лоток породой, отнес его к роднику и слил большую часть размытой почвы.

— Теперь подойдите сюда и встаньте рядом со мной на колени,— сказал он девушке,— возьмите в руки лоток и делайте все, что я скажу.

Кэтинка послушно стала на колени. Вдруг она предостерегающе подняла свою маленькую ручку.

— Подождите минуточку, покуда не уляжется муть.

Родник слегка замутился после первой промывки.

— Это не имеет значения,— сказал он торопливо.

— Нет, нет, прошу вас, подождите!

Она положила ему на плечо смуглую ручку. От этого прикосновения сладостное тепло разлилось по всему его телу.



«РУСАЛКА МАЯЧНОГО МЫСА»



«ПОДОПЕЧНЫЕ МИСС ПЕТТИ»

- Посмотрите-ка вниз! — весело крикнула она.
- Куда? — недоумевал он.
- А вон, разве не видите?
- Что?
- Вас и меня!

Он посмотрел, куда она указывала. Муть в роднике осела, вода стала снова недвижимой и чистой, как зеркало, и в ней отчетливо отразились не только их лица, но и коленопреклоненные фигуры. А по обеим сторонам, как алтарные колонны, возвышались две секвойи.

На минуту воцарилась тишина. Ее нарушало только жужжание шмеля, отдававшееся назойливым звоном в ушах, да откуда-то издалека доносился слабый стук дятла. Когда они увидели свои фигуры в волшебном зеркале родника, у обоих возникло смутное, непривольное и тем не менее непреодолимое чувство. Рука Флеминга поневоле обвилась вокруг тоненькой талии девушки.

— Может быть, вы и есть то сокровище, которое я ищу, — прошептал он, сам не зная, что говорит.

Девушка рассмеялась, высвободилась и вскочила на ноги; лоток бесславно пошел ко дну; Флеминг с помощью Тинки, по локти засучившей рукава, извлек его из воды. Несколько минут они сосредоточенно и серьезно занимались промывкой, но помощь Тинки ничуть не содействовала успеху. Ни малейшего осадка на дне лотка не оставалось. Флеминг расхохотался.

— Вот видите, — весело сказал он, — нечестивый Мамона мне не помогает, — во всяком случае, по соседству с обителью вашего батюшки.

— Ах, теперь это уже неважно, — прервала его девушка, — отец собирается перекочевать куда-нибудь подальше, в горы. Он говорит, что здесь стало слишком ужлюдно с тех пор, как последний поселенец устроился в трех милях от нас.

— И вы тоже уедете с ним? — встревожился молодой человек.

Тинка кивнула чернокудрой головкой. Флеминг подавил невольный вздох.

— Ну что ж, тогда я, пожалуй, попытаю здесь счастья поосновательнее. Сделаю заявку на этот участок.

Вряд ли ваш отец будет возражать. Вы же знаете, никаких законных прав у него нет.

— Я вижу, что вы уж ни перед чем не остановитесь, раз вам приспичило найти золото,— сказала Тинка, отвернувшись от Флеминга. В тоне девушки было что-то кольнувшее незадачливого влюбленного. Он стал чувствителен к таким вещам.

— Нет, нет,— возразил он,— раз это повело бы к неприятностям с вашим отцом, я не стану делать заявку. Я только подумал,— продолжал он с заискивающей нежностью,— как было бы приятно поработать здесь, около вас.

— Только зря время потеряете,— отрезала она, мрачно насупившись.

— Может быть, вы и правы,— сказал Флеминг, вставая. Печаль и горечь сквозили в его словах.— Что ж, пора мне восояси.

Он подошел к роднику и собрал инструменты.

— Еще раз спасибо за любезность. Прощайте.

Флеминг протянул руку, она безвольно подала ему свою, и он направился к опушке.

Но не сделал он и нескольких шагов, как Тинка окликнула его. Он обернулся и увидел, что она стоит на том же месте, упершись маленькими ручками в бока, вперив в него широко раскрытые глаза. Потом она бросилась к нему и крепко вцепилась в него, ухватив обеими руками за полы куртки.

— Нет, нет, вы не уйдете, не уйдете!— твердила она взволнованно.— Мне нужно вам кое-что сказать! Слушайте! Слушайте же, мистер Флеминг! Я пропащая, пропащая девчонка! Я наврала отцу, наврала Мамке, наврала вам! Я дала ложные показания — я хуже Сапфиры<sup>1</sup>, — я повинна в величайшем лжесвидетельстве. Ах, мистер Флеминг, ведь я понапрасну вызвала вас сюда! Никакого золота в тот раз вы не нашли! Его и не было. Все подстроила я сама! Я... я... *подсолила таэ*.

— Что подсолила? — как эхо, повторил озадаченный Флеминг.

— Ну да, подсолила его,— повторяла Кэтинка, волнуясь,— отец говорит, что именно так делают погиб-

<sup>1</sup> Сапфира, по библейскому преданию, продав вместе с мужем свое имяние, утаила часть денег от апостолов.



шие сыны Мамоны, чтобы повыгоднее продать свои заявки. Я сама подложила золото в таз; его там не было ни крупинки.

— Но зачем же?

Она не отвечала; вдруг из ее голубых глаз брызнули слезы, и она разрыдалась, закрыв лицо руками и уткнувшись в его плечо.

— Затем... затем...— всхлипывала она, не отрываясь от его плеча,— *что я хотела вас вернуть!*

Он обнял ее. Он поцеловал ее с нежностью, с благодарностью, смеясь и плача, растроганный и счастливый, и, переведя дух, не нуждаясь ни в каких словах, снова принялся целовать ее со всей страстью, все понимая, все оправдывая и прощая. Наконец, опомнившись, он спросил:

— Но откуда же вы взяли золото?

— Ах, почему я знаю... у старого русла... давным-давно, когда я была еще маленькой! — говорила она в промежутках между судорожными и отчаянными всхлипываниями.— Я ни разу не обмолвилась об этом отцу,— он рассердился бы, узнав, что собственная его дочь ищет золото, да я и сама никогда не вспоминала об этом, пока не встретила вас.

— И с тех самых пор вы никогда там не были?

— Никогда.

— И никто другой там не был?

— Никто.

Вдруг она оторвалась от его плеча; ее соломенная шляпка сползла назад; от мгновенной догадки она вся раздумянилась.

— Послушайте, да нет же... не думаете же вы... что... после стольких лет... там может быть...— И, не докончив фразы, она схватила его за руку и крикнула: — Идем!

Она подобрала лоток, он схватил лопату и кирку, и они, как дети, бегом помчались вниз с холма. В каких-нибудь ста футах от хижин Тинка круто свернула на прогалину.

— Не бойтесь — отца нет,— сказала она и снова, держа его за руку, пустилась бежать по маленькой долине. В конце ее они очутились у наполовину высохшего русла со скалистыми берегами, размытыми зимними

потоками. Место было, по всей видимости, такое же дикое и заброшенное, как и у лесного родника.

— Сюда не ступала ничья нога,— сказала девушка поспешно,— с тех самых пор, как отец вырыл колодец у нашего дома. Ну, теперь копайте!

По старому руслу струилось несколько ручейков, оставшихся от прошлогоднего паводка,— воды здесь было достаточно для промывки нескольких проб.

Выбрав место, где заметнее проступал белый кварц, Флеминг врубился киркой в отмель. После нескольких ударов порода поддавалась и растрескалась у его ног. Он кое-как промыл один лоток, увлеченный больше своей спутницей, чем работой; а она, поменявшись с ним ролями, вдруг превратилась в страстного, умелого, нетерпеливого старателя. Но все было без толку. Флеминг со смехом отбросил в сторону лоток и схватил ее маленькую ручку.

— Нет, нет, попытайтесь еще раз,— настаивала она шепотом.

Он снова ударил киркой с такой силой, что большая глыба рухнула и рассыпалась, завалив и лоток и лопату. Флеминг стал откапывать лопату, а Тинка принялась старательно высвобождать лоток.

— Эта проклятая штука словно вросла в землю и ни с места! — волновалась Тинка. — Небось, покорежило ее, как тот наш таз.

Флеминг со смехом бросился к ней на помощь и, одной рукой обняв девушку, пытался другой подсобить ей. Но лоток не поддавался, казалось, он и впрямь разбит и помят. Вдруг Флеминг вскрикнул и начал поспешно выгребать и вышвыривать из него землю.

Через минуту он извлек загромоздившую чуть не весь лоток глыбу кварца, похожую на огромный кусок бесцветного, ноздреватого, как пчелиные соты, сыра. Сбоку, там, где по кварцу скользнула кирка, светилась блестящая, словно солнечный луч, желтая жила! Когда Флеминг попробовал поднять глыбу, по ее весу он безошибочно определил, что она, как соты медом, вся заполнена золотом.

Через две недели весть о помолвке мистера Флеминга с дочерью охотника и благочестивого отшельника надела-

ла много шуму в округе Большого Русла и вызвала пересуды и скептические замечания даже среди самых близких товарищей Флеминга, искренне поздравлявших его с удачей.

— Нечего сказать, в высшей степени странная история,— стоило Джеку попросить у девчонки таз, как она тут же влюбилась в него,— говорил Фолкнер, растянувшись под деревом и попыхивая трубкой.— Сколько бы мы ни одалживали старательских тазов, ни тебе, ни мне не удалось бы выжать из них ни черта. А уж об этом ханже-проповеднике, об этом охотнике и говорить нечего: здорово же он ухитрился, не прогневав ни бога, ни Мамоны, передать заявку зятю. Нас-то он живо спровадил бы со своего участка.

— Ни бельмеса ты в этом деле не понял,— возразил другой товарищ Флеминга.— Всем известно, что старик Джеллинггер только прикидывался, будто не любит наше ремесло и ни на шаг не подпускает к себе золотоискателей; просто сам он втайне разрабатывал огромную жилу и не желал никаких компаньонов. А когда Флеминг затесался в это дело, обольстив девчонку, старик понял, что тайна его раскрыта, и ему волей-неволей пришлось дать отступного. Ты же знаешь, что Джек — никудышный старатель. Уж ему-то ни разу не удалось напасть на жилу. Единственное сокровище, которое он нашел в лесу,— это Тинка Джеллинггер.

## КАК Я ПОПАЛ НА ПРИИСКИ

Я прожил в Калифорнии два года, совсем не думая о приисках,— мое приобщение к профессии золотоискателя было отчасти вынужденным. Маленькая школа в поселке пионеров, где я был весьма юным и, боюсь, не слишком компетентным учителем, получала лишь ограниченную субсидию от штата. Основную часть расходов оплачивали немногие семьи, жившие поблизости. Поэтому, когда две из них, в которых было человек десять моих учеников, в один прекрасный день объявили о своем намерении перебраться в новый, более богатый район, школу незамедлительно закрыли.

За какие-нибудь сутки я остался без питомцев и без занятий. Боюсь, что я больше жалел о детях: некоторые из них стали моими друзьями. И в это ясное майское утро перед опустевшим школьным домиком, крытым дранкой, я испытал странное чувство, что окончилась наша короткая летняя «игра» в учителя и учеников. Прекрасно помню, что большой кусок коврижки — прощальный подарок одного из лучших моих учеников (он был на год старше меня) — весьма пригодился мне в моих странствиях, ибо я был одинок и совсем не умел заботиться о себе.

Даже при своем небольшом заработке я был ужасно расточителен и много тратил на крахмальные рубашки, оправдываясь тем, что должен показывать пример ученикам, но я знаю, что это было плохое оправдание. В результате у меня в кармане оказалось в этот роковой

день всего-навсего семь долларов, и пять из них ушли на покупку плохонького револьвера; мне казалось, что он должен знаменовать мой переход от мирных занятий к профессии, полной приключений и стяжательства.

Дело в том, что я решил отправиться на прииски и стать золотискателем. Поехать к тем немногим друзьям, которые были у меня в Сан-Франциско, и заняться чем-нибудь другим я не мог, это стоило бы слишком дорого. А ближайшие прииски были всего в сорока милях; там я надеялся разыскать одного старателя, с которым случайно встретился в Сан-Франциско,— назову его Джим. Ничего не зная о нем, кроме имени, я рассчитывал, по примеру брошенной девушки из одной восточной баллады, найти своего друга среди толпы золотоискателей. Но мой капитал в два доллара исключал поездку в почтовой карете. Предстояло идти на прииск пешком. Так я и сделал.

Не могу припомнить в подробностях, как я добрался туда. К концу первого дня ноги мои покрылись волдырями, и я решил, что лакированные ботинки, хотя и весьма подходящие для школьного учителя в долине Мадроно при исполнении обязанностей, отнюдь не годятся для пеших переходов. Тем не менее я дорожил ими как последним воспоминанием о прежней жизни и поэтому понес их в руках, когда боль и гордость заставили меня в конце концов покинуть оживленную дорогу и пойти босиком по тропинке.

Боюсь, что все мое снаряжение выглядело довольно нелепо; помню, что редкие встречные поглядывали на меня с насмешливым любопытством. Мой жалкий багаж состоял из потрепанного сафьянового несессера, некогда подаренного матерью, и хлыста с серебряной ручкой, который я тоже получил в подарок; рядом с грубым, плохо скатанным синим одеялом и жестяным кофейником все это казалось довольно смешным. Револьвер ни за что не хотел висеть у бедра, как ему полагалось, а все вертелся вместе с кобурой, пока не повис спереди, словно кинжал у горца, что меня также очень огорчало.

Гордость не позволяла мне явиться в дом моего друга без гроша, поэтому я не зашел подкрепиться и переночевать на станцию. Я доел остатки коврижки и распо-

ложился в лесу. Чтобы не напрашиваться на ненужное сострадание, добавлю, что я совсем не был голоден и не испытывал каких-либо лишений. Под сенью тихого, дружелюбного леса исчезло и чувство одиночества, несколько раз охватывавшее меня на большой дороге, при встрече с чужими людьми, с которыми я не заговаривал из гордости и застенчивости. Должно быть, в гостинице или в какой-нибудь переполненной хижине я чувствовал бы куда острее, что я одинокий бродяга. А тут я прислушался к негромким звукам еле заметной жизни в траве и среди папоротников, увидел над головой задумчивые и сонные звезды и уснул крепко, забыв о боли в израненных ногах и перестав сожалеть о носовых платках, которые пошли на перевязку.

Утром обнаружилось, что моя фляга пуста, и я понял, что пренебрег первойшей заповедью путешественника — выбирать ночлег поблизости от источника воды. Пришлось жевать сырые кофейные зерна, чтобы хоть чем-нибудь приправить скудный завтрак.

Днем я старался, насколько возможно, держаться в стороне от большой дороги, хотя это удлиняло путь. Тем временем мои перевязанные платками ноги покрылись таким густым слоем красноватой пыли, что, по всей вероятности, трудно было сказать, что на них надето. Но целебный лесной воздух подбодрял меня во время всего пути, а изменчивый пейзаж, открывавшийся с высоты горных хребтов, — я в жизни не видел ничего прекраснее, — все время приводил меня в волнение. К тому же на каменистой тропинке изредка попадались выходы породы, которая могла быть золотоносной, и при виде их я вздрагивал от таинственных предчувствий. Ведь эти странные, белые, словно фарфоровые, зубцы среди красной пыли были из кварца, а я знал, что он указывает на близость золотоносного участка. Перед закатом, следуя этим безошибочным признакам, я добрался до поросшего соснами склона в милю длиной, еще освещенного яркими лучами заходящего солнца. По другую сторону, за глубоким, словно бездонным ущельем, была гора, а на ней выступ, усеянный белыми палатками, похожими на выходы кварца, о которых я только что говорил. Это и были золотые прииски!

Не знаю, чего я, собственно, ожидал, но меня охватило горькое разочарование. Пока я глядел, солнце зашло за зубчатую вершину, на которой я стоял. Огромная тень, казалось, поползла не вниз, а вверх по горе, палатки исчезли, и на их месте засверкало десятка два ярких огоньков, похожих на звезды. Холодный ветер пронесся, и я задрожал в своей тоненькой одежде, мокрый от пота после дальней дороги.

Было девять часов, когда я добрался до лагеря стрателей, который был частью поселка, расположенного несколько дальше. С самого рассвета я еще не присел, но, несмотря на усталость, я остановился, не доходя до палаток, спрятал в кустах свой багаж и вымыл ноги в проточной воде, которая казалась кровавой от примеси красной почвы. Затем я снова надел свои ужасные лакированные ботинки и, приняв приличный вид, прихрамывая, вошел в первую хижину.

Здесь я узнал, что мой друг Джим — один из четырех компаньонов, владеющих заявкой «Камедное Дерево», расположенной в двух милях от поселка. Мне не оставалось ничего иного, как направиться в гостиницу «Магнолия», перекусить кое-как и, отдохнув часок, добираться до участка «Камедное Дерево».

«Магнолия» оказалась длинным деревянным домом, большую часть которого занимал огромный салун со сверкающими зеркалами и стойкой красного дерева. В тесной и душной столовой я заказал рыбные биточки и кофе — я думал не столько о питательности блюд, сколько об их дешевизне. Официант сообщил, что мой друг Джим, возможно, сейчас в поселке и что бармен, знающий всех и вся, поможет найти его или укажет мне кратчайший путь на участок.

Боюсь, что от усталости я до неприличия долго засиделся за ужином. Наконец я вошел в бар. Там было много золотоискателей и торговцев, а также несколько изящно одетых мужчин делового вида. И тут тщеславие снова толкнуло меня на безрассудство. Я не захотел просто обратиться к этому важному бармену в жилете, в белой рубашке и с бриллиантовой булавкой в галстук, как мальчишка, которому нужно что-то узнать. Нет, по глупости я заказал выпивку и выложил — увы! — еще четверть доллара.

Я уже задал бармену вопрос и, взяв у него графинчик, наливал себе, стараясь изо всех сил казаться непринужденным, как вдруг произошел странный случай. Поскольку он оказал на мою судьбу известное влияние, я расскажу о нем.

Потолок салуна поддерживали шесть деревянных колонн, имевших примерно восемнадцать квадратных дюймов в основании; они тянулись в одну линию, параллельно стойке бара, на расстоянии двух футов от нее. У стойки толпилось множество клиентов, и вдруг они все как один поставили стаканы и торопливо попятись к колоннам. В тот же миг кто-то выстрелил с улицы в открытую дверь, которая была прямо напротив колонн и стойки.

Пуля несколько попортила лепные украшения стойки, не причинив другого вреда. Но в ответ из глубины бара грянул выстрел, и только тут я заметил двух человек с револьверами, которые стреляли друг в друга через салун.

Посетители бара были в полной безопасности между колоннами; бармен при первом же выстреле нырнул под стойку. Противники обменялись шестью выстрелами, но, насколько я мог видеть, ни один не пострадал. Было разбито одно из зеркал, да еще пуля срезала края моего стакана, и вино расплескалось.

Я продолжал стоять у стойки, но, по-видимому, колонны все же защищали меня. Все это произошло так быстро и я был настолько захвачен драматической новизной происходящего, что не испытал, помнится, ни малейшего страха,— мне случалось трусить в положениях, куда менее опасных.

Больше всего я беспокоился, как бы не выдать словом или движением свою юность, удивление и непривычку к таким делам. Думаю, что любой застенчивый тщеславный школьник поймет меня,— он, вероятно, чувствовал бы себя на моем месте точно так же. Насколько сильным было это чувство, что запах порохового дыма еще щекотал мне ноздри, а я уже вплотную подошел к стойке и, протягивая разбитый стакан, обратился к бармену, быть может, слишком тихо и неуверенно:

— Дайте мне, пожалуйста, другой стакан. Не моя вина, что этот разбит.



Бармен, весь красный и взволнованный, поднялся из-за стойки; он глянул на меня с подозрительной улыбкой, а затем протянул мне графин и чистый стакан. Позади меня раздались смех и ругань. Единым духом я проглотил обжигающую жидкость и, покраснев, поспешил к выходу.

Но стертые ноги болели и, дойдя до порога, я захромал. Тут я почувствовал на плече чью-то руку и услышал торопливый вопрос:

— Ты не ранен, приятель?

Я узнал голос человека, который только что смеялся, и, еще гуще краснея, ответил, что натер ноги в пути, а сейчас тороплюсь на участок «Камедное Дерево».

— Постой-ка,— сказал незнакомец.

Выйдя на улицу, он крикнул какому-то человеку, сидевшему в пролетке:

— Подбрось его,— тут он указал на меня,— на заявку «Камедное Дерево», а потом возвращайся сюда.

Он помог мне сесть в пролетку, хлопнул меня по плечу и, загадочно произнеся: «Хорош!»,— вернулся в салун.

Пока мы ехали, я узнал от кучера, что противники поссорились еще неделю назад и поклялись стрелять друг в друга «без предупреждения», то есть при первой же случайной встрече, и оба не расставались с оружием. Он презрительно добавил, что «стрельба была ни к черту», я и с ним согласился. Я понятия не имел о смертоносном оружии, но верил своим юношеским впечатлениям.

Впрочем, о своих чувствах я не распространялся, да, кажется, сам скоро забыл о них. Ведь мое путешествие приближалось к концу, и теперь впервые (впрочем, так, кажется, обычно бывает со всеми юношами) я вдруг усомнился в правильности своего решения. Во время долгого пути, среди лишений я ни разу не поколебался, но сейчас, возле хижины Джима, меня словно что-то ударило, и я понял, до чего же я еще молод и неопытен и как нелепо рассчитывать на помощь и совет случайного знакомого.

Но за этим последовал удар куда более сильный. Когда, попрощавшись с кучером, я вошел в скромную бревенчатую хижину, принадлежавшую компании «Ка-

медное Дерево», то узнал, что всего несколько дней назад Джим отказался от своей доли и уехал в Сан-Франциско.

Должно быть, вид у меня был усталый и разочарованный, потому что один из компаньонов вытащил единственный стул и предложил мне его, а также непременно выпивку. Сам он и его товарищи сидели на поставленных стоймя ящиках. После такого поощрения я, запинаясь, рассказал о себе. Кажется, я выложил всю правду,— я слишком устал и не пытался даже утверждать, будто хорошо знаком с отсутствующим Джимом.

Они слушали молча. Наверное, им приходилось слышать подобные истории и раньше. Я уверен, что каждый из них прошел более тяжелые испытания, чем я. А затем произошло то, что могло произойти, думается мне, только в Калифорнии в те времена доверчивых и простых нравов. Даже не посоветовавшись между собой, ничего не спросив ни обо мне, ни о моем характере и видах на будущее, они предложили мне освободившийся пай, чтобы я мог попытать счастья. И, во всяком случае, я мог остаться у них, пока не приму решения. Видя, что я еле держусь на ногах, один из компаньонов вызвался принести мой «багаж», спрятанный в кустах за четыре мили отсюда. Вслед за этим разговор, к моему удивлению, перешел на другие темы — литературные, научные, философские — любые, кроме деловых и чисто практических. Двое из компаньонов окончили университет на Юге, третий, молодой, веселый, раньше был фермером.

В эту ночь я спал на койке Джима уже в качестве владельца одной четверти домика и участка, о котором я пока ничего не знал. При виде бородатых лиц моих новых товарищей — они, вероятно, были ненамного старше меня — мне казалось, что мы «играем» в компаньонов, владеющих прииском «Камедное Дерево», как я «играл» в школьного учителя в долине Мадрона.

На следующее утро, проснувшись довольно поздно в пустой хижине, я с трудом мог поверить, что события прошлого вечера не были сном. Узел, оставленный за четыре мили от домика, лежал у меня в ногах. При дневном свете я увидел, что нахожусь в прямоугольном помещении из необтесанных бревен. Сквозь щели между бревен пробивались солнечные лучи. Над головой у меня

была тростниковая крыша, по которой стучал глупый дятел. Вдоль стен стояли четыре койки, похожие на корабельные, стол, стул и три сиденья из старых упаковочных ящиков — вот и вся мебель. Свет проникал в хижину через окошко, пробитое высоко в одной из стен, через открытую дверь и через кирпичную трубу над очагом, целиком занимавшим противоположную стену; труба лишь на фут возвышалась над крышей.

Я уже начал думать, не забрел ли я в заброшенную хижину, и даже готов был приписать этот поступок действию единственного стакана, выпитого в салуне, когда вошли три моих компаньона. Они кратко объяснили мне, в чем дело. Я нуждался в отдыхе, и они из деликатности не хотели будить меня. А сейчас уже двенадцать! Завтрак готов. Им не терпится рассказать мне нечто очень «забавное». Я стал героем!

Оказывается, мое поведение в «Магнолии» во время перестрелки стало известно всем, причем было усердно преувеличено очевидцами. Последняя версия гласила, что я спокойно стоял у стойки бара и хладнокровнейшим образом требовал выпивку у бармена, который от страха согнулся в три погибели, а в это время над нами гремели выстрелы! Я стал с возмущением протестовать, но боюсь, что даже мои новые друзья приписали это юношеской застенчивости. Видя, однако, что я недоволен, они переменили тему разговора.

Да, я могу, если угодно, начать искать золото хоть сегодня! Где? Да всюду, кроме уже заявленных участков,— вокруг есть на выбор сотни квадратных миль. А что я должен делать? Как! Возможно ли, что я никогда раньше не был старателем?— Нет. И никогда вообще не искал золота? Никогда!

Я видел, что они украдкой переглянулись. Сердце у меня упало. Но тут я заметил, что глаза их блеснули. И я узнал, что неопытность — залог успеха! Золотонискатели были очень суеверны. Они твердо верили, что удача неизбежно сопровождает первую попытку новичка. Это называлось «негритянским счастьем», иначе говоря, непостижимым везением, выпадающим на долю слабых и неумелых. Для меня в этом не было ничего особенно лестного, но из благодарности к своим компаньонам я не стал возражать.

Я поспешно оделся и быстро проглотил завтрак — кофе, солонину и оладьи. У индианки, стиравшей на золотоискателей, взяли на время пару старых оленьих мокасин — для моих стертых ног надеть их было огромным облегчением. Вооружившись киркой, лопатой с длинной рукояткой и лотком для промывки, я потребовал, чтобы меня тотчас же отвели на участок. Но мне ответили, что это невозможно: я сам должен выбрать себе участок, иначе мне не повезет!

Я остановил свой выбор на травянистом склоне, шагах в двухстах от хижины, и, прихрамывая, направился туда. Склон спускался к великолепному каньону и дальше к лагерю, на который я смотрел вчера с более отдаленной горы. У меня осталось яркое впечатление от этого памятного утра; отлично помню, что я был потрясен чудесной перспективой вокруг меня и на несколько минут позабыл о «перспективах», лежавших в земле у моих ног. Наконец я начал копать.

Мне сказали, что нужно насыпать в лоток грунт, взятый с самой поверхности на большом участке. Но во мне возникло непреодолимое искушение копнуть поглубже и поискать скрытых там сокровищ; после нескольких ударов кирки обнажился кусок кварца с тонкими прослойками и прожилками, которые поблескивали весьма многообещающе. Полный надежд, я сунул кварц в карман, а лоток наполнил, как полагается, землей. Не без труда — он стал ужасно тяжелым! — я отнес его к ближайшему промывочному желобу и подставил под струю воды. Я покачивал лоток из стороны в сторону, пока более легкий темно-красный грунт не был смыт полностью, оставив клейкую, глинистую массу, похожую на пудинг, с мелкими камешками вроде изюминок. Это зрелище рождало приятные воспоминания о «пирожках», которые я делал из песка в далеком детстве. Скоро, однако, проточная вода унесла всю грязь, и на дне лотка остались лишь камешки да черный песок. Я повыбрасывал камешки, оставив только один — маленький, плоский, красивый, круглый, он был тяжелее других; его можно было принять за почерневшую монету. Спрятав его в карман, где уже лежал кварц, я стал промывать черный песок.

Представляя юным читателям вообразить мое волнение, когда я наконец обнаружил с дюжиной крохотных

золотых звездочек, приставших ко дну лотка! Они были такие крохотные, что я побоялся продолжать промывку, чтобы их не унесло водой. Только впоследствии я узнал, что при их удельном весе это почти невозможно. Держа лоток на вытянутых руках, я радостно побежал к месту, где работали мои компаньоны.

— Да, ты нашел «блестки»,— сказал один из них довольно спокойно.— Я так и думал.

Я был несколько разочарован.

— Так, значит, я не напал на жилу?— сказал я неуверенно.

— Нет, на этот раз не напал. Здесь у тебя примерно на четверть доллара.

Лицо у меня вытянулось.

— А все ж,— продолжал он с улыбкой,— еще четыре таких промывки, и дневной паек у тебя готов.

— А больше,— прибавил другой,— ни мы, ни другие на этом холме вот уже полгода не намываем.

Для меня это был новый удар. Впрочем, пожалуй, еще более поразило меня то добродушие и юношеская беспечность, с какой были произнесены эти слова. Все же первая попытка разочаровала меня. Я нерешительно вытащил из кармана два кусочка кварца.

— Вот что я нашел. Похоже, что тут есть металл, поглядите, как блестит.

Старатель усмехнулся.

— Железный колчедан,— сказал он.— А это что такое?— добавил он торопливо, беря с моей ладони маленький круглый камешек.— Где ты его нашел?

— В той же ямке. Разве он годится на что-нибудь?

Старатель не ответил и повернулся к двум другим компаньонам, которые стояли рядом с ним.

— Глядите!

Он положил камешек на другой камень и сильно ударил по нему киркой. К моему удивлению, маленький диск не погнулся и не раскололся. Кирка сделала в нем небольшую выбоинку ярко-желтого цвета!

Я не успел ни о чем спросить да и не пытался сделать это.

— Беги за тачкой! — приказал старатель одному из своих товарищей.— Пиши заявку и тащи колышки!— бросил он другому.

Через минуту, забыв о стертых ногах, я помчался вместе с ними к склону. Участок был обозначен колышками, доска прибита, и все мы принялись нагружать тачку землей. Прежде чем начать промывку, мы привезли к желобам четыре тачки.

Мой самородок стоил около двенадцати долларов. Мы перевезли еще много тачек. Весь этот и следующий день мы работали с надеждой, весело, без усталости. И еще три недели мы работали на «заявке» ежедневно, регулярно, не за страх, а за совесть. Иногда мы находили «блестки», иногда нет, но почти всегда зарабатывали себе на хлеб. Мы смеялись, шутили, рассказывали разные истории, читали стихи — в общем, развлекались, как на затянувшемся пикнике. Но двенадцатидолларовый самородок был нашей первой и последней находкой на «Заявке Новичка».

## РУСАЛКА МАЯЧНОГО МЫСА

Лет сорок тому назад на севере побережья Калифорнии, неподалеку от Золотых Ворот, стоял маяк. Был он нехитрого устройства, и со временем на его месте поставили другой, более подходивший для ближнего порта, который быстро рос и развивался, да и тогда этим маяком мало кто интересовался на пустынном берегу и, пожалуй, еще меньше — на пустынном море. Это унылое сооружение из дерева, камня и стекла, избитое и истлестанное постоянными ветрами, иссушенное солнцем, светившим с безоблачного неба шесть месяцев в году, перед вечером скрывал на несколько часов морской туман, а птицы, прилетавшие с гор Фарралеоне, кружили и насмешливо кричали над ним. Смотрителем был одинокий человек, питавший пристрастие к науке; к чести своей, не в пример другим таким же иммигрантам он обратился к правительству с просьбой предоставить ему это не слишком доходное место, чтобы найти уединение, которое было ему дороже золота. Некоторые считали, что он с юных лет разочаровался в любви — с этим милосердно соглашались и те, кто полагал, что правительство не предоставило бы столь ответственный пост «полоумному». Как бы там ни было, обязанности свои он выполнял и с помощью слуги-индейца возделывал даже небольшой клочок земли рядом с маяком. Здесь он обрел желанное уединение. Мало что могло привлечь в эти места путешественников: ближайшие прииски находились на расстоянии пятидесяти миль; в девственные леса глубоко

в горах проникали только пыльщики да лесорубы из столь же отдаленных прибрежных поселков. И хотя на берегу были иногда отчетливо видны огни большого порта, одиночество зрителя нарушали лишь индейцы, родственные большому северному племени «собирателей корешков» — миролюбивые и простые, которых до сих пор не потревожил белый человек, так что притеснения еще не разбудили в них враждебных чувств. С цивилизацией он соприкасался в точно установленные промежутки времени — она являлась к нему с моря в виде правительственного катера, доставлявшего припасы. Если бы не постоянные бури и штормы, он мог бы прожить в этих краях мирную, идиллическую жизнь. Но и в его одиночество вторгались иногда слабые отголоски шума большого порта, который совсем рядом бурлил так же, как море. И все же на песок у его дверей и на склоны гор, поднимавшихся вдали, не ступала нога белого человека с тех пор, как они поднялись из океана. Правда, маленький залив по соседству был обозначен на карте как Залив сэра Френсиса Дрейка — по традиции было принято считать, что именно здесь этот хитроумный пират и создатель империи высадился на берег и очищал от ракушек днища своих отважных кораблей. Но обо всем этом Эдгар Помфри, или «капитан Помфри», как его называли из-за почти морского характера его службы, мало думал.

Первые полгода он от души наслаждался уединением. Свой досуг он проводил среди книг, привезенных в таком количестве, что полки заняли все удобные уголки его жилища и вытеснили прочую мебель. Даже в непривычном физическом труде — он поддерживал огонь маяка, протирал стекла, занимался хозяйством, в чем ему иногда помогал слуга-индеец, — Помфри находил интерес и новизну. Что касается упражнений на свежем воздухе, их тоже было достаточно: он бродил в песках, взбирался на каменистое плоскогорье или катался на лодке, приписанной к маяку. И хоть он прослыл «полюмным», у него хватило здравого смысла, чтобы не одичать, как это довольно быстро случалось с некоторыми одинокими золотоискателями. В силу своих привычек да и по роду службы он был опрятен, содержал в чи-



стоте и порядке свое жилище и вел размеренную жизнь. Даже клочок земли за маяком имел правильную форму и был тщательно обработан. Подобно своему маяку, капитан Помфри озарял пустынный берег и море, хотя кто знает, что озаряло его собственную душу.

Было ясное летнее утро, редкое даже для этого всегда великолепного времени года: неукротимые северо-западные пассаты еще не успели охладить мягкое тепло. Берег окутывала легкая дымка, ночной туман был словно врасплох захвачен солнцем, песок раскалился, но не ослеплял, как обычно, своим блеском. Слабый аромат причудливых лиловых растений, чьи соцветия, как клочки морской пены, усеивали песок, заменял морской запах, которого так не хватает Тихому океану. Редкие скалы в полумиле отсюда неровной грядой поднимались над полосой прилива, и вокруг них бушевали валы. Они были покрыты пеной или дочиства вымыты набегающими волнами. У одной скалы, что повыше, что-то двигалось.

Помфри это заинтересовало, хоть и не слишком удивило. Он уже видел иногда, как на этих скалах резвились тюлени, а однажды заметил даже морского льва, нечаянно заплывшего сюда от родных скал на другом берегу пролива. Все же он бросил работу в саду и, войдя в дом, взял вместо мотыги подзорную трубу. Наведя ее на загадочный предмет, он вдруг опустил трубу и начал протирать объектив платком. Но и взглянув вторично, он не мог поверить своим глазам. Там оказалась женщина, она была по пояс в море, ее длинные волосы рассыпались по плечам и по спине. В ее позе не было ни испуга, ни признаков того, что она стала жертвой несчастного случая. Плавнo и спокойно покачивалась она на волнах и — что казалось уж совсем диким — пальцами расчесывала свои длинные волосы. Наполовину погруженная в воду, она была похожа на русалку!

Он оглядел в подзорную трубу и берег и море до самого горизонта — нигде не видно было ни лодки, ни судна — ничего, кроме мерно вздымающегося океана. Она могла только приплыть с моря: чтобы добраться до скал по суше, ей пришлось бы пройти мимо маяка,

а узкая полоска берега, уходящая, насколько хватал глаз, далеко на север, как он знал, была населена одними индейцами. Но женщина, как это ни дико, несомненно, была белой, ее светлые волосы даже отливали на солнце золотом.

Помфри был джентльменом, и, естественно, он был изумлен, встревожен, приведен в полное замешательство. Если это просто купальщица из какой-то неизвестной ему местности, то, само собой, он должен спрятать подзорную трубу и вернуться к работе в саду, но ведь она наверняка видела и маяк и самого Помфри не хуже, чем он ее. С другой стороны, если она уцелела после кораблекрушения и пришла в отчаяние или даже обезумела, как вообразил он по ее безрассудному поведению, то совершенно ясно, что его долг спасти ее. Помфри принял компромиссное решение и побежал к лодке. Он выгребет в море, пройдет между скалами и песчаной отмелью и тщательно осмотрит море и берег — нет ли там каких-нибудь следов кораблекрушения, или же, может быть, у берега ждет лодка. Женщина, если захочет, сможет окликнуть его или поплывет к своей лодке, если она есть.

Еще мгновение, и его лодка, прыгая по волнам, уже шла к скалам. Он греб быстро, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, там ли еще эта странная женщина, чьи движения были теперь видны невооруженным глазом; но еще пристальней он осматривал соседний берег, отыскивая признаки чьего-либо присутствия. Через десять минут он достиг отмели, за которой берег поворачивал к северу, — отсюда было видно далеко вперед. Помфри окинул окрестности жадным взглядом. И море и берег были пусты. Он быстро обернулся к скале, до которой оставалась теперь какая-нибудь сотня ярдов. Там тоже никого не было! Позабыв о своей недавней шепетливости, он стал грести прямо к скале, пока днище лодки не заскрежетало о ее подводное основание. Кругом пусто, ничего, кроме скалы, скользкой от желто-зеленой тины и водорослей, — ни следа той, которая была здесь всего минуту назад. Помфри обогнул скалу, но не обнаружил ни расселины, ни другого какого-либо укрытия. На мгновение у него дрогнуло сердце: он увидел что-то белое за острым выступом дальнего рифа, но

оказалось, что это обломки выцветшей бамбуковой корзины для апельсинов, которую сбросили с палубы какого-нибудь торгового судна, шедшего из южных морей, — такие обломки частенько прибывает к берегу. Тогда он отплыл от скалы, наперерез волнам, пристально всматриваясь в сверкающее море. Наконец, озадаченный и расстроенный, он повернул назад к маяку.

Был ли то просто резвящийся тюлень, преображенный в женщину игрой его воображения? Но ведь он видел ее в подзорную трубу и ясно припоминал теперь черты ее лица в обрамлении золотых волос; ему казалось даже, что он мог бы узнать это лицо. Помфри снова осмотрел скалу в подзорную трубу и с удивлением увидел, как четко она вырисовывалась сейчас — пустая и одинокая. Должно быть, он все-таки ошибся. Его ум, привыкший к научной точности, был чужд фантазии, и Помфри всегда смеялся над чудесами, считая их плодом поспешных и поверхностных наблюдений. Обеспокоенный этим расстройством своего здорового и правильного восприятия мира, он опасался, что это случилось из-за его затворничества — такие видения порой посещают отшельников. Кроме того, ему казалось странным, что видение это приняло женский облик — ведь с Эдгаром Помфри некогда произошла романтическая история, обычная глупая история, старая, как мир.

Потом его мысли приняли более приятное направление, он вспомнил о книгах и обратился к ним. Взяв с полки старый томик о путешествиях, он отыскал запомнившееся место: «В других морях обитают чудесные существа: морские пауки величиною с баркас; ведомо, что они нападали на суда и топили их; морские гады длиною с добрую мачту; они присасываются к груди матросов и срывают их с реев; живет там и диавол-рыба, изрыгающая по ночам огонь, каковой великим светом освещает море, и русалки. Это полурыбы-полудевы красы невиданной; многие благочестивые и веры достойные люди видели, как плавают эти девы меж скал, расчесывая власы, для чего держат в руках малое зеркальце». С легкой усмешкой Помфри отложил книгу. И он мог дойти до подобного легковерия!

Все же он снова воспользовался в этот день подзорной трубой. Но удивительное явление не повторилось,

и он вынужден был признать, что стал жертвой странной галлюцинации. Однако на следующее утро, поразмыслив, он снова почувствовал сомнения. Расспросить ему было некого, кроме своего помощника-индейца, с которым они обычно объяснялись жестами или теми немногими словами, какие Помфри удалось заучить. Все же он умудрился спросить, живет ли где-нибудь поблизости белая женщина («уоги»). Индеец с удивлением покачал головой. Ни одной «уоги» здесь не было вплоть до дальнего горного хребта, на который он указал. Помфри пришлось удовлетвориться этим ответом. Но даже будь его словарь богаче, ему и в голову не пришло бы поделиться ошеломляющей тайной о женщине, принадлежавшей, как он и полагал, к его расе, с этим варваром, точно так же, как он не стал бы просить его подтвердить свои наблюдения и не дал бы ему взглянуть на нее в то утро. Однако на другой день произошло событие, заставившее его возобновить расспросы. Он огибал на лодке отмель, и вдруг к северу от себя, на песке, увидел темные фигуры, то исчезающие, то возникавшие в прибое, в которых сразу распознал индейцев. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это индейские скво с детьми, войдя в воду, собирают у берега водоросли и раковины. Он познакомился бы с ними поближе, но как только его лодка обогнула мыс, они все разом, как стайка вспугнутых куликов, пустились наутек. Вернувшись к себе, Помфри спросил своего слугу, умеют ли индейские женщины плавать. Да, конечно! И доплывают до самых скал? Да. И все-таки Помфри не был удовлетворен. Все это не объясняло цвет кожи той женщины, — она явно была не индианка.

При однообразном существовании самые пустяковые события долго живут в памяти, и прошло около недели, прежде чем Помфри бросил свою подзорную трубу и прекратил ежедневные наблюдения за скалою. Он снова принялся за книги и почему-то опять стал читать о путешествиях. Случайно ему попалось описание открытия сэром Фрэнсисом залива, расстлавшегося теперь перед ним. Помфри всегда казалось странным, что великий искатель приключений не оставил здесь никаких следов своего пребывания, и еще более странным, что он

проглядел золотые россыпи, о которых знали даже индейцы, лишившись, таким образом, открытия, превосходившего самые смелые его мечты, и возможности обрести сокровища, по сравнению с которыми грузы захваченных им кораблей, шедших с Филиппин, были сущим пустяком. Неужели неутомимый открыватель новых земель довольствовался тем, что три недели праздно бродил по этим угрюмым пескам, даже не помышляя проникнуть в глубь страны, в леса за горной цепью, или хотя бы зайти в чудесный залив по соседству? Или же он никогда не бывал здесь, и все это легенда, столь же нелепая и ничем не подтвержденная, как «чудеса», описанные в той книге? Помфри, как всякому пытливому исследователю, был свойствен скептицизм.

Прошло две недели. Помфри ходил далеко в горы и теперь на обратном пути вниз, к морю, остановился отдохнуть. Весь берег лежал перед ним как на ладони, от самого горизонта до маяка на севере. До захода солнца оставался еще час, и он как раз успевал добраться домой засветло. Но с высоты Помфри увидел то, чего никогда не замечал раньше: место, которое он всегда принимал за маленькую бухточку к северу от мыса, на самом деле оказалось устьем горной речки, бравшей истоки неподалеку от него и впадавшей в океан. Отсюда ему было видно и низкое продолговатое строение у реки, крытое сухим тростником и похожее издали на курган. Но дымок, курившийся над ним и уплывавший в горы, говорил, что это жилье. Оно было совсем недалеко, и он решил отклониться от своего пути, чтобы взглянуть на него. Спускаясь вниз, Помфри слышал, как лаяла собака, и понял, что находится недалеко от стойбища индейцев. Кострище с не остывшей еще золой подтвердило, что он шел по следу одного из кочующих племен, но солнце садилось, напоминая, что он должен спешить домой, к своим обязанностям. Когда Помфри достиг наконец устья ручья, он обнаружил там ничем не примечательную продолговатую хижину, тростниковая сводчатая кровля которой придавала ей сходство с пещерой. Единственное отверстие, служившее дверью, выходило прямо на реку; через него же тянулся замеченный им прежде дым от костра, горевшего внутри.

Помфри нетрудно было догадаться о назначении этого странного сооружения, так как он много слышал об индейских обычаях от лесорубов. Это была «парильня», обогреваемая костром из тлеющих листьев; голые индейцы наглухо запирались там, а потом, пропотев и едва не задохнувшись, высказывали и бросались прямо в воду. Тлевший еще огонь говорил о том, что парильней пользовались не далее как сегодня утром, и Помфри не сомневался, что индейцы расположились лагерем где-то рядом. Он охотно продолжил бы свои наблюдения, но обнаружил, что времени у него в обрез, и резко повернул в сторону, так резко, что человек, который, по-видимому, осторожно крался за ним в отдалении, не успел скрыться. Сердце его сильно забилося. Перед ним была та самая женщина, которую он видел на скале.

Хотя туземное платье оставляло теперь открытыми лишь голову и руки, в цвете ее кожи не могло быть никаких сомнений — женщина была явно белой, только слегка загорела на солнце, да на низком лбу виднелась красноватая метка. И ее волосы — длинные, нерасчесанные — были такие же, какими он увидел их в первый раз. Темно-золотые, они кое-где совсем выгорели на солнце. Глаза у нее были ясные, голубые, как у женщин с севера. Одежда выглядела весьма примечательно, так как не походила ни на обноски европейского наряда, ни на дешевое, купленное в правительственной лавке платье из фланели или ситца, какие носят обычно калифорнийские индейцы. Она была чисто индейская, из отделанной бахромой оленьей кожи: свободная, длинная рубашка и чулки, украшенные яркими перьями и цветными ракушками. На шее висело ожерелье, тоже из ракушек и причудливых камешков. Хотя волосы ее были по-девичьи распущены, она казалась вполне сформировавшейся женщиной и, несмотря на широкую, просторную одежду, была выше ростом, чем средняя индианка.

Помфри заметил все это с одного взгляда, а в следующее мгновение она уже исчезла за хижиной. Он бросился следом и увидел, как она, низко пригнувшись на индейский манер, мчалась берегом реки, лавируя меж камнями и низким кустарником. Если б не удивительные

золотистые волосы, ее можно было бы принять теперь за самую обыкновенную перепуганную индианку. Поэтому его погоня за ней выглядела смешной и недостойной, к тому же приближалось время дежурства, а он все еще был далеко от маяка; поэтому он круто остановился и с сожалением повернул назад. Едва увидев женщину, Помфри окликнул ее, но она не ответила. Он сам не знал, что сказал бы ей. Домой он шел в замешательстве и даже в смятении, он был до того взволнован, что сам удивлялся этому.

Все утро мысли его были полны ею. Пытаясь объяснить странный факт ее существования, он рассматривал и отвергал одно предположение за другим. Первым делом ему пришло в голову, что это жена белого поселенца, нарядившаяся в индейское платье, но он отказался от этой мысли, когда увидел, как она ходит: ни одна белая женщина не сумела бы подражать походке индейцев и тем более не пыталась бы это сделать в испуге. Предположить, что это белая женщина, захваченная индейцами в плен, было бы просто смешно, учитывая близость города и мирный, робкий нрав племени «собирателей». Нельзя было принять ее и за несчастную помешанную, которая убежала из-под присмотра и бродит в одиночестве, — этому противоречил ее ясный, открытый взгляд, в котором читались ум и любопытство. Оставалась еще одна версия, наиболее правдоподобная и разумная, — что она дочь белого и индианки. Но это предположение, как ни странно, менее всего ему улыбалось. Кроме того, немногие полукровки, которых он видел, совсем не были на нее похожи.

На следующее утро Помфри принялся расспрашивать своего слугу, индейца Джима. С невероятным трудом, медленно и не без путаницы ему удалось наконец объяснить, что он видел «белую скво» возле «парильни» и хотел бы побольше узнать о ней. После столь же нелегких усилий Джим подтвердил наконец факт существования этой женщины, но тут же принялся отрицательно трясти головой. Помфри долго бился, сердясь и досадуя, прежде чем уразумел, что Джим думает, будто его хозяин намеревается похитить женщину, и поэтому так выражает свое несогласие. Зато Помфри узнал, что

она настоящая индианка и что здесь есть еще несколько таких же, как она, мужчин и женщин; что они все такие с самого рождения («скинна моутч») — у их родителей был такой же цвет кожи, но среди них никогда не было настоящих белых, ни мужчин, ни женщин; что среди индейцев они считаются особой, высшей кастой и пользуются в своем племени определенными привилегиями; и, наконец, они суеверно избегают белых мужчин, перед которыми испытывают ужас, — скрываться им помогают другие индейцы. Почти невероятно, что Помфри удалось увидеть одну из них; белому мужчине это ни разу не удавалось, никто из белых даже не подозревал об их существовании.

Помфри не мог решить, что он понял правильно, и не знал, много ли наврал Джим, убежденный, что он хочет похитить светловолосую незнакомку. Но этого было достаточно, чтобы захватить его мысли и возбудить любопытство до того, что он забыл про все свои книги, кроме одной. Среди небольших книжечек Помфри нашел лексикон «Язык чинук», составленный в основном из слов, широко распространенных среди племен северной части Тихого океана. Еще часа два он бился с Джимом, и это расширило его словарь. Теперь у него появилось новое занятие. Каждый день эта странная пара занималась по лексикону. Через неделю Помфри решил, что сможет объясниться с таинственной незнакомкой. Но ему не удавалось больше увидеть ее во время прогулок, хотя однажды он специально наведлся в «парильню». От Джима он узнал, что «парильней» пользуются только мужчины, и она оказалась там случайно. Он вспомнил, что ему показалось тогда, будто она украдкой шла за ним, и это почему-то его обрадовало. Но вскоре произошел случай, представивший ее отношение к нему в новом свете.

До сих пор Помфри не мог поручить Джиму следить за маяком, потому что не имел возможности с ним объясниться; но с помощью лексикона он сумел растолковать ему устройство маяка. Под наблюдением Помфри индеец несколько раз зажигал фонарь и приводил механизм в действие. Теперь Помфри оставалось только проверить, может ли Джим справиться с делом самостоятельно в случае его отсутствия или болезни.



Был прекрасный теплый вечер, и туман еще не потянул с моря на берег, когда Помфри оставил маяк на попечение Джима и, лежа на песчаной дюне, еще хранившей солнечное тепло, лениво наблюдал за результатами первого опыта. А когда сгустились сумерки и свет маяка вступил в схватку с последними лучами солнца. Помфри вдруг почувствовал, что он не один. Маленькая серая фигурка выскользнула на четвереньках из тени, отбрасываемой соседней дюной, и остановилась на коленях, не сводя глаз с маяка. Это была та самая женщина, которую он видел прежде. Она замерла в каком-нибудь десятке шагов от Помфри, но была, очевидно, так поглощена зрелищем, что не замечала его. Он отчетливо видел ее лицо, губы, приоткрытые от изумления и какого-то благоговейного восторга. Помфри почувствовал даже легкое разочарование. Не за ним она наблюдала, а за маяком! Когда огонь, разгораясь, осветил темные пески, она огляделась, как бы желая увидеть, что происходит при этом вокруг, и заметила Помфри. С коротким испуганным криком — впервые за все время он услышал ее голос — она помчалась прочь. Он не погнался за нею. Минуту назад, когда он заметил ее, у него едва не сорвалось с губ индейское приветствие, которому его выучил Джим, но, увидев, как она зачарована светом, он ничего не сказал. Он проводил ее взглядом — она бежала пригнувшись, похожая на испугнутое животное, — и критически отметил про себя, что в ней, в сущности, мало человеческого, а потом пошел к маяку. Больше он не станет искать ее! И все же в тот вечер он снова думал о ней, вспоминал ее голос, который теперь казался ему мелодичным и совсем детским, и жалел, что не заговорил с нею, не заставил ее ответить. Он не наведывался больше к хижине у реки. Но занятия с Джимом не бросил и, быть может, благодаря этому, хоть и непреднамеренно, приобрел верного союзника. Целую неделю Помфри ни разу не упоминал об индианке, и вот, возвращаясь как-то утром с морской прогулки, увидел Джима, с таинственным видом поджидавшего его на берегу.

«Если твой пойдет тихо, тихо, — сказал Джим, серьезно щеголяя своими познаниями в английском языке, — и не шумит — поймает индейскую девушку». Последние

два слова в лексиконе значились как вежливый синоним для «скво». Недоумевая, в чем дело, Помфри, однако, молча направился к маяку вслед за бесшумно ступавшим Джимом. Здесь Джим осторожно приоткрыл дверь и поманил за собой Помфри.

Внизу были две жилые комнаты, кладовая и бак с нефтью. Помфри вошел, и Джим тихо запер за ним дверь. После блеска песка и солнца он сначала ничего не видел в полутьме кладовой, но с удивлением услышал, как кто-то носится по комнате и отчаянно бьется о стены, словно птица в клетке. В ту же минуту он увидел светловолосую незнакомку, которая, дрожа от волнения, кидалась то к зарешеченным окнам, то к запертой двери, то к стенам и, не находя выхода, кружила по комнате, как чайка, попавшая в западню. Пораженный, заинтригованный, сердясь на Джима, на себя и даже на несчастную пленницу, Помфри крикнул ей на языке чинук, чтобы она остановилась, и, подойдя к двери, настежь распахнул ее. Она пробежала мимо и, вскинув на миг нежные голубые глаза, искоса посмотрела на него призывным и вместе с тем робким, восхищенным взглядом и выскочила за дверь. Но тут она, к его удивлению, не кинулась прочь, а, наоборот, с достоинством выпрямилась и, став словно бы выше ростом, величественно приблизилась к Джиму, который, когда она неожиданно появилась в дверях, распростерся на песке в раболепном страхе. Она медленно подошла к нему, угрожающе подняв маленькую руку. Он извивался и корчился перед ней. Потом она обернулась, увидела стоящего в дверях Помфри и спокойно пошла прочь. Приятно удивленный ее поведением, Помфри почтительно окликнул ее, но, увы, это был опрометчивый поступок. Услышав его голос, она моментально пригнулась и исчезла за дюнами.

Помфри не стал упрекать своего и без того сильно расстроенного помощника. Он не допытывался, в чем секрет власти над ним этой девушки. По-видимому, Джим говорил правду, когда сказал, что она принадлежит к высшей касте. Помфри вспомнил, как она гневно стояла над распростертым ниц индейцем, и снова почувствовал, что он озадачен и разочарован внезапным превращением девушки в робкую дикарку при одном звуке

его голоса. Не усугубит ли беззлая, но неудачная шутка Джима ее бессмысленное звериное недоверие к нему? Через несколько дней он получил на этот вопрос неожиданный ответ.

Было жаркое время дня. Помфри удил рыбу, причалив к скале, возле которой впервые увидел ее, а потом, смотав леску, стал неторопливо грести к маяку. Вдруг до его слуха долетел короткий мелодичный оклик, чем-то похожий на птичий крик. Он перестал грести и прислушался. Звук повторился, и на этот раз он безошибочно узнал голос индейской девушки, хотя слышал его лишь однажды. Он порывисто повернулся к скале, но она была пуста; объехал ее кругом, но никого не увидел. Он принялся осматривать берег и уже направил туда лодку, но тут где-то над водой снова раздался голос, чуть дрожащий от смеха. Тогда он впервые за все время посмотрел прямо перед собой, и там, на гребне волны, в каком-нибудь десятке ярдов от лодки, увидел разметававшиеся золотые волосы и смеющиеся глаза девушки. Пугливая серьезность исчезла с ее лица, потонула в блеске белых зубов, в дрожащих ямочках на мокрых щеках, поднятых над водой. Их глаза встретились, она снова нырнула, но сразу же вынырнула по другую сторону лодки и поплыла ленивыми свободными взмахами, улыбаясь, оглядываясь на него через белое плечо и, словно дразня, звала догнать. Его поразила эта улыбка, но еще поразительней было это первое проявление женского кокетства. Он налег на весла и погнался за ней; но она несколькими широкими взмахами рук все время уходила на прежнее расстояние, а если ему все же удавалось приблизиться к ней, ныряла, как гагара, и выныривала за кормой с тем же дразнящим детским криком. Напрасно он пытался ее догнать и, смеясь, угонялся на ее родном языке остановиться; она легко ускользала от лодки. Когда они очутились у самого устья реки, она вдруг подняла голову, махнула ему на прощание маленькой рукой, а потом как дельфин, изогнув спину, бросилась в набегающую волну и исчезла в пене. Было бы сумасшествием с его стороны пытаться догнать ее в лодке, и он понимал, что она знает это. Он подождал, пока копна золотых волос не появилась над рекой, где вода была спокойнее, и повернул назад.

В пылу погони он совсем забыл, что слишком долго пробыл на солнце в легкой одежде, а теперь над водой поднялся холодный туман, постепенно обволакивая море и берег. В тумане Помфри плыл медленно и к тому времени, когда добрался до маяка, продрог до костей.

Наутро он проснулся с тупой болью в голове и тяжестью во всем теле; ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы выполнить свои обязанности. К ночи, почувствовав себя еще хуже, он решился поручить маяк работам Джима, но с изумлением обнаружил, что индеец исчез; однако еще хуже было то, что исчезла бутылка со спиртом, которую Помфри накануне достал из шкафа. Как и у всех индейцев, скудные знания Джима о цивилизации включали и «огненную воду»; видимо, он испытал соблазн, не устоял, а потом был слишком сконфужен или пьян, чтобы предстать перед своим хозяином. Помфри все же удалось зажечь маяк, после чего он весь в жару кое-как добрался до постели. Терзаемый болью, он ворочался с боку на бок. Губы его запеклись, кровь стучала в висках. Его посещали странные видения: будто бы, зажигая маяк, он увидел в устье реки парус — а ведь туда не заходил и не мог зайти ни один парусник — и с облегчением подумал, что свет маяка укажет безрассудному или невежественному моряку верный курс к Золотым Воротам. Временами сквозь знакомый гул прибора ему слышались голоса, и он пытался встать с постели, но не мог. Иногда голоса эти звучали как-то странно, грубо, с чужеземным акцентом, и хотя это был его родной язык, он казался Помфри едва понятным. И среди этих голосов всегда звенел один — такой знакомый и мелодичный, хотя он произносил слова на чужом для него — на еел — языке. Потом из забытья, в которое, как впоследствии оказалось, он погрузился, всплыло странное видение. Ему казалось, будто он только что зажег маяк, как вдруг по совершенно непонятной причине свет начал меркнуть, и невозможно было заставить его разгореться. Вдобавок к этой неприятности он отчетливо видел, что какое-то судно приближается к берегу. Оно явно сбилось с курса, и Помфри понял, что на корабле не замечают маяка, и, тщетно пытаясь разжечь угасающий огонь, он дрожал от стыда и ужа-

са. К его удивлению, незнакомое судно, обходя опасные рифы, упорно продолжало свой путь, пока не очутилось в заливе. Но поразительнее всего, что прямо перед носом корабля виднелась золотоволосая голова и смеющееся лицо девушки-индианки — точь-в-точь, как он видел ее накануне. Чувство негодования охватило его. Решив, что она заманивает корабль, увлекает его к гибели, Помфри выбежал на берег и хотел криками предупредить моряков о роковой опасности. Но он не мог кричать, не мог произнести ни звука. Теперь все его внимание было поглощено судном. Корабль этот с высоко задраннным носом и кормой, очертаниями похожей на полумесяц, был самым необычайным судном, какое он когда-либо видел. Пока он разглядывал его, корабль подходил все ближе и ближе и наконец бесшумно пристал к песчаному берегу у самых его ног. Десятка два людей, выглядевших так же причудливо и странно, как их корабль, сгрудились теперь на баке, таком высоком и грозном, словно это была настоящая крепость, и стали прыгать оттуда. Матросы были голые по пояс; офицеры походили скорее на пехотинцев, чем на моряков. Но больше всего Помфри поразило, что они все, как один, словно не подозревали о существовании маяка и бесечно бродили вокруг него, как будто попали на необитаемый берег; да и из их разговоров — насколько он мог понять их архаичный язык — было ясно, что они чувствуют себя первооткрывателями. Они совершенно не представляли себе, где находится побережье и даже море, которым они приплыли, и Помфри возмущался, но еще большую ярость вызывали у него их рассуждения о прекрасной индианке, которую они видели перед носом своего корабля и по глупости называли «русалкой». Он был бессилен, однако, выразить свое негодование и презрение или хотя бы заявить о своем присутствии. А потом мысли его спутались и наступил полный провал сознания. Когда он снова поймал нить своих причудливых видений, корабль почему-то уже лежал на боку; теперь была хорошо видна необычная конструкция его верхней палубы с надстройками, больше похожими на жилье, чем у всех прочих кораблей, какие он знал. Матросы тем временем с помощью простейших инструментов чинили обшивку и счищали ракушки

с днища. А потом он увидел, как призрачный экипаж пировал и бражничал, слышал крики подвыпивших гуляк; увидел, как самых буйных взяли под стражу, а вскоре шестеро матросов самовольно, под градом не достигавших цели выстрелов из старых мушкетонов бросились бежать в глубь побережья. Затем воображение перенесло его туда, и он увидел, как эти матросы преследуют индейских женщин. Вдруг одна из них повернулась, словно искала защиты, и со всех ног побежала к нему, спасаясь от настигавшего ее матроса. Борясь с оцепенением, сковавшим все его тело, Помфри кинулся ей навстречу, и, когда женщина коротко мелодично вскрикнула, он наконец разорвал путы и... проснулся!

Сознание медленно возвращалось к нему, и вот он снова увидел голые деревянные стены своей комнаты, шкаф, окно, в которое светило солнце, открытую дверь, за которой был бак с нефтью, и маленькую лестницу, ведущую вверх, к маяку. В комнате стоял незнакомый запах каких-то курений и трав. Он хотел было приподняться, но маленькая загорелая рука ласково и настойчиво легла ему на плечо; он услышал знакомый мелодичный голос — теперь в нем звучал девичий смех. Помфри приподнял голову. У его постели, не то присев на корточки, не то стоя на коленях, ждала его пробуждения золотоволосая незнакомка.

Еще одурманенный своими видениями, он спросил слабым голосом:

— Кто ты?

Ее пронзительные голубые глаза встретились с его глазами, и в них не было и следа прежней робости. Они светились теперь мягким, ласковым светом. По-детски ткнув себя пальцем в грудь, она сказала:

— Я — Олуйя!

— Олуйя!

Помфри вдруг вспомнил, что, говоря о ней, Джим всегда произносил это слово, но раньше он думал, что так называлась по-индейски ее избранная каста.

— Олуйя,— повторил он. Затем, с трудом подбирая слова на ее родном языке, он спросил: — Когда ты пришла сюда?

— Вчера вечером,— ответила она на том же языке.— Там не было волшебного огня,— продолжала она, ука-

зывая наверх.— Когда он не пришел, пришла Олуйя! Олуйя нашла белого господина больного и одинокого. Белый господин не мог встать. Олуйя зажгла огонь вместо него.

— Ты? — переспросил он удивленно.— Нет, это я зажег его.

Она сочувственно посмотрела на него, как будто он все еще бредил, и покачала головой.

— Белый господин был болен, как он может знать? Олуйя зажгла волшебный огонь.

Помфри взглянул на настенные часы, висевшие над кроватью. Они стояли, хотя он завел их перед тем, как лечь в постель. Видимо, он пролежал здесь беспомощный больше суток!

Он застонал и попробовал встать, но она ласково поставила его снова лечь и дала выпить настоя из трав, в котором он ощутил привкус мяты, росшей у реки. Потом она рассказала ему, что Джима, совершенно пьяного, заманили на шхуну, стоящую недалеко от берега, против того места, где несколько человек роют песок. Она не ходила туда, потому что боится плохих мужчин. При этих словах тень бывшего страха снова мелькнула в ее выразительных глазах. Она знала, как зажигают волшебный огонь: ведь она уже бывала в башне маяка.

— Ты спасла мой огонь, а может быть, и мою жизнь,— слабым голосом сказал он, взяв ее за руку.

Вероятно, она не поняла его, потому что лишь слабо улыбнулась в ответ. Но вот она вскочила, напряженно прислушиваясь, потом испуганно вскрикнула, выдернула руку и выбежала из дому. Он еще не оправился от удивления, как вдруг в дверях появился незнакомец в одежде старателя. Проводив глазами стремительно убежавшую Олуйю, он повернулся к Помфри, окинул взглядом комнату, а потом с грубой и наглой ухмылкой подошел к кровати.

— Надеюсь, я вам не помешал? Вот оказался тут поблизости и решил заглянуть: маяк ведь принадлежит правительству, а я и мои компаньоны — американские граждане, мы налоги платим, на наши денежки и содержится эта штука. Мы пришли сюда от самого Тринидада, ищем в здешних песках золото. А вы тут неплохо

устроились: работенка легкая, и кругом полно хороших полукровок!

Наглость этого человека вывела из себя Помфри, ослабевшего от болезни, и он не сдержался.

— Да, маяк принадлежит правительству,— раздраженно сказал он,— и вы не имеете никакого права врываться сюда, не имеете права похищать моего помощника, состоящего на службе у правительства, в то время, когда я болен, и подвергать маяк опасности.

Лицо Помфри налилось кровью, голос звучал глухо, и незнакомец, видя, что он действительно болен, испугался и смутился под этим неожиданным натиском. Он угрюмо пробормотал извинение, попятился к двери и скрылся. Через час появился Джим, удрученный, мучимый раскаянием и угрожениями совести. Помфри был слишком слаб, чтобы расспрашивать или упрекать его, он думал только об Олуйе.

Она не возвращалась. Он быстро выздоравливал на свежем воздухе, благодаря, как он думал, травам, которые она ему дала,— почти так же быстро, как и заболел. Старатели не вторгались больше к нему и не нарушали его одиночества. Когда он стал выходить на берег и греться на солнце, то часто видел, как они работают. Он рассудил, что Олуйя не вернется, пока они не уйдут, и примирился с этой мыслью. Но однажды утром пришел Джим, смущенный и растерянный, вместе с другим индейцем, которого он представил как брата Олуйи. У Помфри возникли неприятные подозрения. Кроме некоторого высокомерия, у этого индейца не было ничего общего с его светловолосой сестрой. Но когда Помфри узнал о цели посещения, его подозрения сменила ярость. Мнимый братец намеревался не больше не меньше, как продать Помфри свою сестру за сорок долларов и бутылку виски! К сожалению, ярость Помфри снова взяла верх над благоразумием. В бешенстве ссылаясь на законы, общие для индейцев и для белых, угрожая суровым наказанием за похищение женщины, он прогнал индейца, которого считал самозванцем. Однако, оставшись один, он тотчас понял, что его опрометчивый поступок может помешать девушке прийти, но было уже поздно.

И все же он надеялся, что, когда старатели уедут,



он снова увидит ее, и поэтому был счастлив, когда они сняли свой лагерь, разбитый неподалеку от «парильни», и шхуна исчезла. По-видимому, поиски золота оказались безуспешными. Но, придя на место их работ, он был поражен, когда в устье речки обнаружил раскопанные ими полуистлевшие остатки небольшой шляпки давно устаревшей конструкции. Это напомнило ему его странные видения и вызвало смутное чувство тревоги, которое никак не удавалось преодолеть. Вернувшись к себе, он взял с полки описание старинных путешествий, чтобы проверить, насколько его воображение находилось под воздействием прочитанного. В рассказе о посещении Дрейком здешнего побережья он нашел сноску, которую проглядел прежде. Она гласила: «Адмирал лишился нескольких матросов, которые покинули корабль и, вероятно, умерли голодной смертью на этой негостеприимной земле или погибли от руки дикарей. Однако позднее мореплаватели предположили, что беглецы женились на индианках, и существует легенда, что спустя столетие в этих местах появилось особое племя полукровок, имеющих несомненные признаки англосаксонской расы». Помфри задумался, теряясь среди предположений и догадок. Он решил непременно спросить Олуйю, когда увидит ее снова, почему она боялась старателей: ее страх мог быть просто расовым или же передаться ей по наследству. Но ему так и не пришлось выполнить это намерение. Проходили дни, недели, а Помфри тщетно бродил близ устья реки и около скал — он так и не встретил девушку и, смиряя гордость, обратился с расспросами к Джиму. Тот посмотрел на него с тупым удивлением.

— Олуйя уехала, — сказал он.

— Уехала? Куда?

Индеец махнул рукой в сторону моря, охватывая, казалось, весь Тихий океан.

— Как? С кем? — испуганно и возмущенно спросил Помфри.

— На корабле с белым человеком. Вы сказали, вы не хотите Олуйю, сорок долларов очень много. Белый человек дал пятьдесят долларов и все равно взял Олуйю.

## КАК РУБЕН АЛЛЕН УЗНАЛ САН-ФРАНЦИСКО

Младший компаньон фирмы «Аптекарские товары Спарлоу и Кейн» в Сан-Франциско рассеянно глядел в окно своей небольшой аптеки на Дюпонт-стрит. С одной стороны ему открывался тускло освещенный неширокий проезд, постепенно переходивший в песчаные пустыри Рыночной площади, с другой взгляд его упирался в наполовину скрытую громаду Телеграфного холма. Ему были видны отсветы огней и слышен шум, доносившийся с главной улицы, Монтгомери-стрит, пролегавшей дальше у подножия холма. Крыши домов были окутаны теплой дымкой морского тумана, в котором город покоем летними ночами, убаюканный прохладным дуновением северо-западного ветерка. Была уже половина одиннадцатого, шаги на деревянных тротуарах становились все реже и отдаленней; последняя повозка прогромычала мимо; ставни по всей улице были уже закрыты, и дорогу проезжающим освещали только красные и синие шары его аптеки. В этот час Кейн обычно шел домой, а его компаньон, у которого в задних комнатах был кабинет и небольшая спальня, приходил сменить его, но сегодня доктор должен был задержаться у больного до половины первого ночи. Ждать предстояло еще целый час. Кейну хотелось спать; таинственное дыхание аптекарских снадобий, смешанные запахи лекарств, пряностей, душистого мыла и фиалкового корня, всегда напоминавшие ему арабские сказки Шехеразады, действовали на него расслабляюще. Он зевнул

и, отойдя от окна, прошел за прилавок, снял с полки банку с ярлыком «Glicyrr. glabra»<sup>1</sup>, взял лакричную палочку и в задумчивости принялся сосать ее. Не испытал, однако, того бодрящего воздействия, в котором, видимо, нуждался, он столь же привычным движением достал банку с надписью «Yujubes»<sup>2</sup> и, так же задумчиво жуя, вернулся на свое прежнее место у окна.

Если все вышесказанное не даст достаточно ясного представления о юном возрасте младшего компаньона, то могу еще добавить, что ему было девятнадцать лет, что он рано присоединился к потоку переселенцев, устремившемуся в Калифорнию, и что после нескольких довольно легкомысленных попыток найти себе иное занятие (для чего он оказался явно неспособным) у него еще остались средства, чтобы взяться за свое теперешнее дело, еще менее ему подходившее. В те горячие дни любыми профессиями нередко занимались случайные люди; знающий аптекарь мог успешно подвизаться на поприще золотоискателя заодно с адвокатом и врачом, и неопытность мистера Кейна в аптекарском деле отнюдь не была чем-то необычным. Некоторого знакомства с начатками латыни да поверхностного знания химии и естественных наук, обычно получаемого в американской школе, по мнению его старшего компаньона, врача по профессии, было достаточно для работы в аптеке, то есть для продажи лекарств и изготовления их по рецептам. Кейн умел отличать кислоты от щелочей и понимал, к каким последствиям может привести неосторожное их смешение. Он работал чрезвычайно осмотрительно, с тщательной осторожностью. Надпись над прилавком, гласившая: «Лекарства изготавливаются строго по рецептам»,— была в данном случае вполне оправдана. Больному не грозила опасность отравления из-за небрежности или спешки, но если помощь требовалась немедленно, он мог умереть, не дождавшись лекарства. Нельзя, однако, сказать, чтобы осторожность Кейна означала полное отсутствие самостоятельности. В те дни «героические средства» в медицине не отставали от лихорадочного развития страны; в ходу были «рекордные» дозы

---

<sup>1</sup> Вид лакрицы (лат.).

<sup>2</sup> Лепешки от кашля с примесью плода дерева ююбы (лат.).

каломели и хинина, и не раз Кейну приходилось, вызывая ярость местных лекарей, возвращать их рецепты со скромным знаком вопроса.

Вдруг внимание его привлек отдаленный стук колес; выглянув на улицу, он увидел фонари приближающегося экипажа. Они уже освещали ближний перекресток, и рассеянное любопытство Кейна сменилось смутной догадкой, что экипаж едет к аптеке. Он поспешил занять более подходящее и достойное его положения место за прилавком; и в тот же миг кучер осадил лошадь у дверей.

Соскочив с козел, он открыл дверцу кареты, помог выйти женщине и, прерывая ее истерические вопли несвязными увещеваниями, провел ее в аптеку. Кейн сразу увидел, что оба они под мухой, что у женщины растрепаны волосы и окровавлена голова. Женщина была пышно разодета, видимо, только что с праздника: на ней сверкали драгоценности, трехцветные ленточки и банты. Ее золотистые волосы, потемневшие и слипшиеся от крови, выбивались из-под французской шляпки и тяжело падали на плечи. Кучер неуклюже поддерживал ее с бесцеремонностью, которая при этих обстоятельствах отнюдь не казалась странной. Он заговорил первым:

— Это мадам ле Блан. Понимаете? Расшибла себе голову на гулянье в Соутс-парке. Вздумала танцевать на столе и хлопнулась прямо на бутылки с шампанским. Понятно? Требуется заклеить.

— Ах, грубиян! Свинья! Нисего похож! Засем ти врешь? Я танцуй. Трюси, дураки, негодяи перевернули столь, и я падать. Я порезать себя. О-о, мой бог, как я порезать себя!

Она вдруг умолкла, уронив голову на прилавок. Кейн бросился на помощь и ввел ее в маленький кабинет; растерянный, он хотел лишь одного: поскорее сбить посетительницу с рук, передав ее под ответственность своего компаньона. Кучер, видимо, умыл руки и, считая, что больше в деле участия не принимает, с явным облегчением улыбнулся и кивнул.

— Подожду-ка я лучше на улице,— сказал он и немедленно удалился к своему экипажу.

Комическую растерянность Кейна только усиливало то, что хорошенькая пациентка противилась его помощи.

Она жаловалась, что «кучер бросил ее тут», и все допытывалась у Кейна, «понимают ли он что-нибудь в этих делах»; но потом тяжело рухнула в откидное кресло на колесиках, которое Кейн успел подкатить, рот ее приоткрылся, веки смежились, лицо стало похоже на маску клоуна — белое от обморочной бледности и белил, с красными пятнами румян и крови. Тут Кейн из-за своей осторожности снова оказался в затруднительном положении. Женщине следовало бы дать глоток коньяку из бутылки с ярлыком «Vini Galli»<sup>1</sup>, но по неопытности он не мог определить, был ли обморок следствием потери крови или результатом опьянения. Поколебавшись, Кейн выбрал среднее, влив в побелевшие губы клиентки немного разбавленного нашатырного спирта. Она вздрогнула, забилась, закашлялась, выкрикнула какие-то французские ругательства, выбила из его руки стакан, но пришла в себя. Он губкой проворно смыл с ее головы запекшуюся кровь и извлек из рваной раны осколки стекла. От неожиданного прикосновения холодной губки, при виде крови пострадавшей овладел страх, и на несколько мгновений она притихла. Но когда Кейн счел необходимым остричь волосы вокруг раны, чтобы залепить порез пластырем, она попыталась вновь подняться и выхватить у него ножницы.

— Вы истечете кровью, если не будете сидеть спокойно, — твердо и решительно сказал молодой человек.

Что-то в его обращении заставило ее покориться. Он безжалостно срезал ее локоны. Он готов был остричь ее наголо, только бы остановить кровотечение и стянуть края раны пластырем. Озабоченный физическим состоянием пострадавшей, он совсем не замечал ее внешности. Светлые пряди волос лежали на полу, шея и плечи женщины были залиты водой, потому что он неустанно орудовал губкой, пока нагретые полосы пластыря не закрыли рану почти герметически. Она стонала, по ее щекам текли слезы, но это была не кровь, и молодой человек чувствовал себя удовлетворенным.

Меж тем он услышал, как дверь аптеки открылась и кто-то постучал по прилавку. Еще один клиент!

---

<sup>1</sup> Галльские вина (лат.).

— Подождите минутку! — крикнул мистер Кейн, продолжая работать.

Немного погодя стук повторился. Кейн как раз накладывал последнюю полосу пластыря и промолчал. Дверь резко распахнулась, и нетерпеливый посетитель появился на пороге. Это был старатель, видимо, прямо с приисков, потому что он не успел даже переодеться в соседней гостинице; так он и стоял в своих высоких сапогах, брезентовых брюках и фланелевой рубашке, поверх которой была наброшена куртка, свисавшая с плеча наподобие гусарского ментика.

Кейн хотел было гневно запротестовать против такого вторжения, но сам вошедший тут же отпрянул, и лицо у него было такое удивленное и сконфуженное, что у Кейна язык не повернулся упрекнуть его. Незнакомец разинул рот в самом буквальном смысле слова, пораженный тем, что увидел: полулежащая в кресле нарядная женщина в кружевах и драгоценностях, с лентами на мокрых плечах, пряди золотых волос у нее на коленях и на полу, губка и ведро воды, красной от крови, у ее ног и бледный молодой человек, склонившийся над ней со спиртовкой в одной руке и полоской желтого пластыря в другой.

— Прошу прощения, приятель! Я просто заскочил... Не спешите, ничего, я могу обождать, — пробормотал он, попятившись, и дверь за ним тут же захлопнулась.

Кейн подобрал срезанные пряди, вытер лицо и шею пациентки чистым полотенцем и своим носовым платком, накинул на ее плечи нарядную мантилью и помог ей подняться. Она подчинялась вяло, но безропотно. Было ясно, что она потрясена и испугана — быть может, его обращением с ней или же тем, что вдруг осознала свое положение. Во всяком случае, разница между ее буйным появлением в аптеке и теперешней покорностью была так разительна, что даже Кейн обратил на это внимание.

— Ну вот, — сказал он, стараясь смягчить свою суровость ободряющей улыбкой, — думаю, что этого достаточно, кровотечение мы остановили. Может быть, поболит немного, когда пластырь сильнее стянет кожу. Утром я пришлю к вам моего компаньона, доктора Спарлоу.

Она взглянула на него не без любопытства, со странной улыбкой.

— А эта доктор Спарлоу, она похожа на вас, мсье?

— Он старше меня и пользуется здесь известностью,— сдержанно сказал молодой человек.— Я спокойно могу рекомендовать его.

— А-а,— протянула она с мечтательной улыбкой, и Кейн вдруг увидел, как она хороша.— А-а, она старше, ваша доктор Спарлоу, а все же вы молодец, мсье!

— Он скажет вам, что делать дальше,— продолжал Кейн смущенно.

— А-а,— опять протянула она с той же мечтательной улыбкой,— он скажет мне, что делать, если сама я не буду знать. Вот это хорошо!

Кейн успел завернуть ее срезанные локоны в чистую белую бумагу и перевязать пакет белой ленточкой с тщательностью, которая столь мила сердцу аптекаря. Получив пакет, она порылась в кармане и протянула ему горсть золотых монет.

— Сколько я должна вам, мсье?

Кейн слегка покраснел,— конечно, только оттого, что был слаб в арифметике: пластырь был дешев, он считал, что должен взять деньги только за использованный кусок, но деление плохо ему давалось. Коммерческих же наклонностей ему явно не хватало.

— Ну, скажем, двадцать пять центов,— брякнул он наугад.

Она сделала невольное движение, но снова улыбнулась.

— Двадцать пять центов за все? За лекарства, за эти полоски для моя голова, за остригли волосы,— она бросила взгляд на пакет,— и только двадцать пять центов?

— Да, это все.

Он неловко взял с ее протянутой ладони эту сумму — самую мелкую монетку. Снова она взглянула на него с любопытством и некоторым смущением и медленно направилась к двери. Старатель был еще в аптеке; как и прежде, он попятился с виноватым видом и прижался к окну, чтобы она могла свободно пройти в своем пышном шелковом платье. Она вышла на улицу, бросив на ходу:

— Мерси, мсье, и спокойной ночи!

Кучер соскочил с козел, чтобы помочь ей. Золотоискатель испустил глубокий вздох и, хватив кулаком о прилавок, воскликнул:

— Вот это красotka, черт возьми!

Кейн, который с ее уходом почувствовал немалое облегчение, был очень доволен успехом своего лечения и благодушно улыбнулся. Незнакомец проводил глазами экипаж, потом обвел взглядом аптеку, заглянув даже в опустевший кабинет, и доверительно повернулся к прилавку.

— Слушайте, приятель! Я сам из Сент-Джо, штат Миссури, прибыл прямехонько в Голд-Хилл, там у меня заявка, а теперь вот в первый раз в жизни попал в Сан-Франциско. Городских порядков не знаю, и, признаться, в этих делах я совсем новичок. Ну да ладно! Вы послушайте! — добавил он, опираясь на прилавок с еще более таинственным видом. — Я думаю, такие штуки вам не в диковину — ясное дело. А меня, друг, это уж как удивило! Прямо как обухом по голове! Как же, заглянул я в дверь и вдруг вижу эту леди всю в золоте, в лентах, в побрякушках, сидит она в кресле. И это в двенадцать часов ночи, а вы стрижете ей волосы и смываете кровь с головы, да так спокойно, как будто пробу берете на приiske. «Руб,— сказал я сам себе,— Руб, вот она, городская-то жизнь! Вот он, Сан-Франциско! И ты в самую гущу угодил!» Теперь слушай, приятель. Можешь не отвечать, понимаешь, ежели, по-твоему, мне знать не положено. Я не прошу, чтоб ты выкладывал мне всю подноготную про таких важных леди, но...— Тут он таинственно понизил голос до шепота и приложил руку к уху в ожидании такого же едва слышного ответа. — Но что же все-таки приключилось?

Простодушие парня показалось Кейну забавным.

— Танцевала среди бутылок шампанского на столе, в компании, упала и порезалась,— ответил он снисходительно.

Незнакомец покачал головой, медленно и понимающе, повторяя с глубоким почтением:

— Танцевала среди бутылок шампанского! Шампанского, говорите! В компании! Да-а,— прибавил он задумчиво и восхищенно.— Вот, значит, как тут живут, вижу я. Мне это подойдет.



— Чем могу вам служить? Простите, что заставил ждать,— сказал Кейн, бросив взгляд на часы.

— Что вы... господи! Не беспокойтесь. Да я бы рад ждать сколько угодно, раз такой случай. И потом, я уже сам полечил себя, пока вы были заняты.

— Полечили? Сами?— спросил Кейн с изумлением.

— Да, глотнул из той вон бутылки...— Он указал на бутылку с нашатырным спиртом, стоявшую на прилавке.— Мне показалось, что это подходящее.

— Вот чудак! Да вы же могли отравиться, черт возьми!

Это озадачило незнакомца.

— И впрямь мог,— сказал он, помедлив.— Вот так штука! Отравиться — как раз когда вы были заняты этой важной леди... Отравиться — и помешать вам. С меня станется!

— Я хочу сказать, что нашатырь употребляют в разведенном виде, вы должны были принять лекарство с водой.

— Теперь понимаю! От него меня сперва бросило к двери, на свежий воздух! Уж очень ожгло губы. Но то, что попало сюда,— он торжественно приложил руку к животу,— мне здорово помогло.

— А что с вами было? — спросил Кейн.

— Понимаете, приятель,— он опять перешел на доверительный тон,— что-то у меня неладно с сердцем. То оно словно сейчас из груди выскочит — ну вот, как осколок кварца, когда дробишь руду, то вдруг совсем останется, будто его и нет.

Кейн взглянул на него внимательней. Перед ним стоял плечистый, крепко сложенный малый, по виду его нельзя было предположить никакого серьезного заболевания, разве только обычный случай расстройства желудка из-за плохой еды на приiske.

— Я не говорю, что это лекарство не могло принести вам пользы при правильном употреблении,— сказал он.— Если хотите, я приготовлю вам раствор и скажу, как его принимать.

— Вот-вот, оно самое мне и нужно,— сказал старатель с явным облегчением.— Но это, понимаете, еще не все. Дайте мне пока что найдете нужным. Хочу попробовать этой красивой-то жизни, а к вам я буду наведы-

ваться и говорить, как идут дела. Вы не против? Я, можно сказать, пришел к вам первому после того, как приехал пароходом из Сакраменто, только заглянул в гостиницу тут за углом. Вы мне дайте просто всего понемножку, за любую цену. Я на вас полагаюсь. Вы такой молодой парень и так здорово справились, так уверенно делали свое дело, словно дятел дерево долбит, и вам наплевать, какая она важная леди, какие на ней побрякушки и ленты,— вот что меня за живое взяло. И я говорю себе... «Руб,— сказал я,— что бы у тебя ни стряслось внутри, держись этого парня, он тебя выправит!»

Щеки младшего компаньона покраснели, и он отвернулся к полкам, как бы выбирая лекарства. Сознывая всю свою неопытность, он не остался безразличным к похвале даже этого невежественного человека. Однако он понимал, что лечение француженки, хоть и успешное, не будет признано его компаньоном выгодным с деловой точки зрения. Поэтому он охотно согласился на предложение незнакомца и вручил ему несколько средств от диспепсии. Они были приняты с живейшей благодарностью, и тот, расплачиваясь, достал из кармана солидное количество золота. Он явно был удачливым старателем.

Бережно прятав пузырьки с лекарством, он снова наклонился к Кейну.

— Уж вы, конечно, знаете эту важную леди, раз вам приходится иметь дело с людьми такого сорта. Может, вы не откажетесь вразумить меня, новичка... Если только вы ничего не имеете против,— добавил он торопливо, с умоляющим жестом.

Мистер Кейн действительно заколебался. Он знал понаслышке, что мадам ле Блан — владелица известного ресторана, при котором есть нечто вроде игорного дома, где идет крупная игра. Говорили также, что ей покровительствуют один известный игрок и молодчик, пользующийся дурной славой. Щепетильность мистера Кейна подсказывала ему, что он не вправе выдавать секреты своей случайной клиентки. Он промолчал.

На лице старателя появилось понимающее и виноватое выражение.

— Ясно. Больше ни слова, приятель. Некрасивое это дело — выдавать чужие тайны, и не следовало мне спра-

шивать. Ну, пока! Я, пожалуй, двину к себе в гостиницу. Я вот в Сан-Франциско не больше трех часов, а так думаю, дружще: уже отведал красивой жизни, сколько иной за год здесь не увидит. Ладно, счастливо, «много хорошего», как говорят мексикашки. Завтра взгляну. Я Рубен Аллен из Марипозы. А ваше имя я знаю; оно есть на вывеске, и вы не Спарлоу.

Он снова долгим взглядом окинул комнату, как будто ему не хотелось расставаться с ней, и медленно пошел к выходу; постоял еще мгновение на улице, озаренный красным светом, и исчез во тьме. Сам не зная почему, Кейн вдруг почувствовал, что у этого человека нет в Сан-Франциско ни одной знакомой души и, выйдя из аптеки, он очутился в полном одиночестве и мраке.

Через несколько минут доктор Спарлоу пришел сменить своего усталого компаньона. Подвижный, полный энергии, он нетерпеливо выслушал рассказ Кейна о смелом лечении мадам ле Блан, мало внимания обратив на примененные им методы.

— Вам следовало взять с нее подороже, — решительно сказал старший компаньон. — Она заплатила бы без разговоров. К нам она обратилась только потому, что ей стыдно было показаться в большой аптеке на Монтгомери-стрит. Больше мы ее не увидим.

— Но она хочет, чтобы вы осмотрели ее завтра, — возразил Кейн, — и я обещал, что вы приедете.

— Да вы же говорите, это просто царапина, — сказал доктор, — и вы залепили ее пластырем. Хм! Зачем же я ей понадобился? — Однако второй клиент, Аллен, заинтересовал его больше. — Когда он зайдет опять, покажите его мне.

Мистер Кейн обещал; почему-то в тот вечер он возвращался домой со смутным и неуловимым чувством недовольства собой.

На другой день его ждало более серьезное огорчение. Он сменил доктора, который отправился на обычный утренний обход своих пациентов, но через час вдруг вернулся. Вид у него был встревоженный и взволнованный, хотя сквозь волнение пробивался юмор, свойственный калифорнийцам того времени даже в самых затруднительных случаях жизни. Засунув руки глубоко

ко в карманы брюк, он встал у прилавка прямо перед своим молодым компаньоном.

— Сколько вы взяли с этой француженки? — спросил он сурово.

— Двадцать пять центов, — робко ответил Кейн.

— Так вот, я вернул бы их ей обратно и дал бы в придачу еще двести пятьдесят долларов, только бы она не переступала порога нашей аптеки.

— В чем дело?

— Воображаю, как будет выглядеть ее голова после всего этого! Чудак, вы налепили на нее столько пластыря, что его хватило бы на оклейку всего купола Капитолия. Вы стянули ей кожу так, что она как закроеет глаза, сразу на стену лезет от боли. А волосы вы просто выкосили, придется ей носить парик по крайней мере два года, и отдали эти волосы в изящной упаковке. Они хотят подать на меня в суд, а вас прирезать без разговоров.

— Она истекала кровью и потеряла сознание, — сказал младший компаньон, — я думал только о том, чтобы ей помочь.

— Вот и помогли, черт возьми! А по мне, лучше дать ей испустить здесь дух, чем обработать и залепить ее таким образом! Впрочем, — прибавил он со смехом, увидев злой огонек в глазах своего компаньона, — она, по-видимому, обо всем этом иного мнения: вся беда в них. *Ей самой* даже нравится ваш стиль работы, она вас хвалит, вот что меня поразило! Вы что ж, занимали ее разговорами? — добавил он, бросив испытующий взгляд на своего компаньона.

— Я сказал ей только, чтоб сидела спокойно, иначе истечет кровью, — коротко ответил Кейн.

— Хм! Она там болтала: какой-де вы молодчина и как вы хорошо с ней справились. Ладно, теперь уж ничего не поделаешь. Кажется, я пришел туда как раз вовремя, чтобы предотвратить худшее и умерить их пыл. Больше никогда так не делайте. В следующий раз, если сюда ввалится длинноволосая женщина с порезом головы, пустите в ход корпию и танин да спровадьте ее в какую-нибудь большую аптеку, пусть уж там с ней разделяются, как хотят.

И, благодушно кивнув Кейну, он отправился продолжать свой обход.

Мучимый глухими угрызениями совести и все же чувствуя, что с ним обошлись несправедливо, мистер Кейн вернулся к своим фильтрам, ступкам, пестикам и порошкам. Он углубился в работу с такой мрачной сосредоточенностью, что не поглядывал вопреки обыкновению в окно, иначе он заметил бы на улице того самого старателя, который заходил сюда накануне. И только когда чья-то сутулая фигура заслонила свет в двери, он поднял голову и узнал вошедшего. Кейн был вовсе не расположен радоваться его появлению. Приход незнакомца к тому же слишком живо напомнил события минувшей ночи, свидетелем которых, хотя бы и сочувствующим, он был. Кейн удержал грубые слова, готовые сорваться у него с языка. После своей неудачи с француженкой он не был уверен, что применил правильное лечение даже к этому клиенту. Но приветливый взгляд незнакомца и добродушное выражение его лица сразу рассеяли это подозрение. И все же Кейну было как-то не по себе, и скрыть это он не мог. Ему не приходило в голову, что самые простые люди бывают подчас особенно чутки и от незнакомца действительно не укрылось его состояние.

— Я позволил себе заглянуть к вам,— начал он, как бы оправдываясь,— чтобы сказать, как ваши лекарства здорово помогли мне. И, может, надо сказать об этом другим, так я и сделаю.

Он помолчал и, понизив голос, продолжал смущенно:

— Но первым долгом я должен просить у вас прощения за все мои вчерашние расспросы о той важной леди. Не моего ума это дело. Я просто отпетый дурак.

Мистер Кейн тут же понял, что умалчивать о чем бы то ни было или обманывать этого простодушного человека неуместно, и поспешил возразить:

— Да нет же. Эту даму хорошо здесь знают. Она хозяйка ресторана на нашей улице, и двери там открыты для любого. Ее зовут мадам ле Блан. Быть может, вы уже о ней слыхали?

К удивлению Кейна, эти сведения несколько не уменьшили любопытства его собеседника и не повлияли на его чувства.

— Раз так,— медленно произнес он,— попробую, пожалуй, туда сходить. Видите ли, мистер Кейн, здоро-

во она меня зацепила — по всем статьям. Все это было вчера ночью будто в живых картинах или на сцене. Как думаете, не рассердится она, когда увидит такого неотесанного парня с приисков — из тех, что пытались счастья в сорок девятом?

— Вряд ли, — сказал Кейн. — Разве только ее благородным друзьям это не понравится, — прибавил он, улыбнувшись, — Джеку Лейну, картежнику, который мечет банк в ее игорном притоне, и Джимми О'Райну, призовому борцу, — он у нее за вышибалу.

Но все эти сведения об окружении мадам ле Блан, по-видимому, ничуть не смутили золотонискателя. Он взглянул на Кейна, кивнул и медленно, с уважением повторил:

— Да-а... Держит игорный дом, и банкомета, и борца... Я так думаю, это ей тоже подходит по всем статьям. Вы говорите, она живет...

Он осекся, потому что в этот миг в аптеку явился какой-то человек и тут же запер за собой дверь на ключ. Сделано это было так стремительно, что Кейн догадался сразу: человек этот слонялся по соседству, а теперь вдруг вынырнул из-за угла. Достаточно было одного взгляда на этого непрошеного гостя, чтобы узнать того самого вышибалу, о котором он только что говорил. Кейну пришлось уже видеть однажды эту отталкивающую, грубую физиономию, во время какой-то уличной драки, в которую вмешалась полиция. Он этой физиономии не забыл, но сейчас его удивило выражение растерянности на красном от пьянства, злобном лице. Он не знал, что такой молодчик редко нападает по обдуманному плану, — ему, как иному дикому зверю, нужно сначала разъяриться. Возможно, именно это и спасло Кейна, потому что, не понимая грозной опасности, он сохранил хладнокровие. Он продолжал спокойно стоять за прилавком. Аллен, как ни в чем не бывало, оглядывал полки с лекарствами.

Молчание обоих явно усиливало ярость и замешательство негодяя. Внезапно он сорвался с места, высоко подпрыгнул и неуклюже исполнил нечто вроде негритянской чечетки, от которой задребезжала вся посуда; однако и это выглядело столь бессмысленно, что сам он так же внезапно остановился и уставился на Кейна в упор.

— Ну,— спокойно произнес Кейн,— что все это значит? Что вам угодно?

— Что это значит? — заорал головорез высоким фальцетом, явно передразнивая Кейна.— А то, что я сейчас разнесу к чертям всю вашу лавочку! И вышвырну на улицу все, что тут есть, вместе с безмозглым идиотом, который изуродовал мадам прическу. Что мне угодно? Да то, что мне угодно, я возьму сам, и никакому дьяволу меня не остановить.— Он распалял себя все сильнее и сильнее.— И с какой стати вы задаете мне вопросы?

Он рванулся к Кейну, но в тот же миг Аллен бесшумно и незаметно оказался между ними, и Кейна заслоняла теперь широкая спина старателя.

— Полегче на поворотах, приятель,— неторопливо произнес Аллен, и буян тупо уставился на его бесстрастную физиономию.— Я больной человек, пришел сюда за лекарством. У меня неладно с сердцем, а от такого вашего обхождения оно начинает ужас как стучать.

— Ну тебя к черту вместе с твоим сердцем! — завопил негодяй, охваченный яростью и презрением при этом неожиданном и, как ему казалось, бессильном заступничестве.— Кто ты такой?..

Но тут он запнулся. Могучая правая рука Аллена стальным обручем охватила его шею и скрутила ему руки за спиной. Крепко стиснутый, он сделал попытку лягнуться, но Аллен правой ногой прижал его ноги к прилавку, который дрожал от толчков, сопровождаемых криками и проклятиями. Аллен спокойно обернулся к Кейну и, протянув свободную левую руку, вежливо попросил:

— Будьте добры, передайте мне тот ароматический нашатырный спирт, который вы мне давали прошлой ночью.

Кейн, на лету схватив его мысль, подал ему бутылку.

— Ну вот,— сказал Аллен, вытащив пробку и поднося нашатырь к раздувающимся ноздрям и разинутому в крике рту противника,— понюхай-ка это да на вкус попробуй, тебе сразу и полегчает. Мне это здорово помогло прошлой ночью...

Головорез задышался, кашлял, давился, а его злобные проклятия постепенно перешли в судорожную икоту.

— Ну вот.— продолжал Аллен, когда его укрощен-

ный пленник почти перестал сопротивляться,— теперь тебе получше, да и мне тоже. Так-то оно спокойней, и сердцу моему не очень худо приходится — немного свежего воздуха, и все будет в порядке.

Он вновь вежливо обернулся к Кейну и почтительно спросил:

— Не будете ли вы добры открыть эту дверь?

Кейн бросился к двери, отпер ее и распахнул настежь. Буян стал было опять сопротивляться, но, снова нюхнув нашатыря, притих, и победитель без труда дотащил его до двери. Когда они оба очутились на тротуаре, головорез последним отчаянным усилием высвободил руку и выхватил из кармана брюк пистолет, но в то же мгновение предусмотрительный Аллен перехватил его руку и, вырвав пистолет, сильным ударом сбоку поверг его на землю.

— У меня есть свой такой же,— сказал он распростертому на мостовой врагу,— но я, пожалуй, оставляю этот у себя, куда вам не полегчает.

Толпа, быстро собравшаяся вокруг, узнав в побежденном всем известного головореза, не склонна была ему сочувствовать, и он убрался прочь под насмешливые возгласы. Аллен спокойно вернулся в аптеку. Кейн был преисполнен благодарности к нему и в то же время удручен тем нелепым восхищением, которое испытывает его простоватый друг перед женщиной, не брезгующей услугами негодяя.

— А знаете ли вы, кто этот человек?— спросил он.

— Думается, это и есть борец, которого держит при себе та важная леди,— просто ответил Аллен.— Но только, ей-богу, он понятия не имеет о приеме захвата. Если б не мое сердце, я мог бы его здорово покалечить.

— Они там думают,— сказал Кейн, поколебавшись,— что я грубо обошелся с этой дамой и нарочно обкорнал ей волосы. Это была их месть, или...— он еще больше заколебался, вспомнив намек доктора Спарлоу на чувства этой женщины,— или личная месть этого негодяя.

— Понимаю,— Аллен кивнул, широко раскрыв свои маленькие глазки, и глядел на Кейна с сочувствием, как заговорщик,— это он из ревности.

Кейн покраснел, понимая безнадежность дальнейших объяснений.



— Нет, он, видно, считал что таким образом честно зарабатывает свой хлеб.

— Будьте покойны, я все с ними улажу, с обоими. Понимаете, эта история мне на руку: пойду в тот ресторан отдать ему его шестизарядку, а ей все объясню про вас как есть. Господи, да я же был здесь, когда вы ею занимались, я свидетель, как вы все делали, она меня тоже припомнит. Я туда сегодня же сунусь. Ладно, не стану больше вам мешать. Только вот что я скажу, приятель. Это и значит увидеть жизнь во Фриско, разве нет? Ей-богу! В этой самой аптеке я за два дня больше жизни увидел, чем в Сент-Джо за два года. Так до скорого, мистер Кейн.

Он помахал Кейну рукой, неторопливо вышел из дому, бросил прощальный взгляд на улицу, прошел мимо окна и скрылся.

На следующий день Кейн с утра был свободен и в аптеку пришел только после полудня.

— Ваш друг старатель уже побывал здесь,— сказал доктор Спарлоу.— Я взял на себя смелость представиться ему и чуть не насильно его осмотрел. Он несколько застенчив, к сожалению. Боюсь, что у него серьезная болезнь сердца и нужно бы осмотреть его повнимательней.

Увидев искреннюю озабоченность Кейна, он добавил:

— Вы бы повлияли на него в этом отношении. Такой славный парень, он должен как-то позаботиться о себе. Кстати, он просил передать, что видел мадам ле Блан и все уладил. Он, кажется, совершенно ослеплен этой женщиной.

— Жаль, что он вообще ее увидел,— сказал Кейн с горечью.

— Однако это спасло аптеку от разгрома, а вашу голову от непоправимых повреждений,— со смехом возразил доктор.— Он совсем не глуп, но в том-то и странность человеческой природы, что такой вот простой парень, ничего в жизни не выдавший, кроме своей глуши, сразу теряет голову перед этакой раскрашенной французской куклой.

Действительно, недели через две уже не оставалось сомнений в том, что мистер Рубен Аллен совершенно ослеплен. Он частенько навещался в аптеку, когда шел в ресторан или на обратном пути; в ресторане он теперь

столовался ежедневно и все вечера проводил там за картами. Но Кейн вовсе не был уверен, что он зря давал себя обыгрывать, как простак, которого водят за нос хозяйка и ее друзья. Вышибала О'Райен был изгнан; по мрачному предположению доктора Спарлоу, Аллен попросту занял его место, но Кейн опроверг это предположение, не без лукавства приписав его уязвленному самолюбию врача, у которого этот пациент отказался лечиться. В самом деле, Аллен так и не соглашался на повторный осмотр, хотя и продолжал с самым серьезным видом покупать лекарства и при этом не скупился. Несколько раз Кейн, считая своим долгом предостеречь Аллена насчет его новых приятелей, пытался открыть ему глаза, указывая на дурную репутацию, которой пользовалась мадам ле Блан, но тот отклонял его попытки с неизменной добродушной почтительностью, выражавшей то ли недоверие, то ли полное примирение с обстоятельствами, и Кейн перестал об этом говорить.

Однажды утром доктор Спарлоу весело сказал:

— Как вам нравятся последние новости о вашем приятеле и этой французенке? Никто не может понять, почему она приблизилась к себе такого человека, — все говорят, что в ту ночь, когда она упала на празднике и обратилась сюда за помощью, в аптеке не было никого, кроме Аллена, который зашел случайно. И это он обрзал ей волосы и перевязал раны столь странным образом, а она уверовала, что он спас ей жизнь. — И доктор добавил, лукаво усмехнувшись: — А раз история приняла такой оборот, ваша репутация спасена.

Прошло около месяца, и вот весь город был потрясен ужасом и возмущением: почтенный гражданин, правительственный чиновник погиб в игорном доме мадам ле Блан от руки известного картежника. Убийце удалось бежать; обществом, однако, овладел запоздалый приступ жажды морального возмездия; так бывает, когда общество это слишком долго мирилось со злом: очаровательная хозяйка заведения и все ее друзья были арестованы и предстали перед следователем. В городе царилосильнейшее возбуждение; говорили, что, если приговор суда окажется слишком мягким, Комитет бдительности сам ликвидирует заведение и вышлет его завсегдатаев. Вокруг ресторана собралась толпа; Кейн и доктор Спарлоу,

заперев свою аптеку, присоединились к ней. Кейн протиснулся внутрь. В роскошно меблированном игорном зале заседал суд; зеркала в позолоченных рамах отражали возбужденные лица собравшихся. Начальник полиции давал показания сухим, официальным тоном; тем большее впечатление производили бесстрастные, но беспощадные сообщения о характере и прошлом хозяйки. За ее домом давно следила полиция; мадам ле Блан сменила с десятков разных имен, ее разыскивали в Новом Орлеане, Нью-Йорке, Гаване! Это в ее доме покончил с собой банковский служащий Дайер; это здесь на полковника Гулли набросился ее вышибала О'Райен; это она — Кейн покраснел, услышав это, — два месяца тому назад на празднестве непристойно вела себя, не обращая внимания на полицию. Пока говоривший холодно перечислял все эти позорные обвинения, Кейн старательно искал глазами Аллена, привлеченного, как он знал, в качестве свидетеля. Как-то примет он это убийственное разоблачение? Аллен сидел рядом с другими, закинув руку за спинку стула, лицо его с прежним добродушным и доверчивым выражением было обращено в сторону обвиняемой. Она, пышно разодетая, бледная, но накрашенная, держалась спокойно, холодно, надменно.

Наконец следователь вызвал единственного свидетеля трагедии:

— Рубен Аллен!

Вызванный не двинулся с места, не изменил позы. Следователь снова вызвал Аллена, полицейский тронул его за плечо. На мгновение все умолкли.

— Он потерял сознание, ваша честь, — доложил полицейский.

— Есть среди присутствующих врач? — спросил следователь.

Спарлоу торопливо протиснулся вперед.

— Я врач, — сказал он следователю и поспешно подошел к сидящему неподвижно человеку; он опустился перед ним на колени и приложил ухо к его груди. Воцарилось напряженное молчание. Доктор медленно поднялся на ноги.

— У свидетеля этого я, ваша честь, несколько недель назад установил поражение сердечных клапанов. Он мертв.

## ТРОЕ БРОДЯГ ИЗ ТРИНИДАДА

— А? Это ты? — сказал редактор.

Китайчонок, к которому он обращался, всегда все понимал буквально. Он ответил:

— Мой все тот же Ли Ти, мой не меняйся. Мой не другой китайский мальчик.

— Что верно, то верно, — произнес редактор тоном глубокого убеждения. — Не думаю, чтобы во всем Тринидадском округе нашелся еще один такой чертенок, как ты. Ну, другой раз не скребись за дверью, как суслик, а прямо входи.

— Последний лаз, — вежливо напомнил Ли Ти, — мой стучи-стучи. Ваша не любит стучи-стучи. Ваша гости: совсем как проклятый дятел.

В самом деле, контора тринидадского «Стража» стояла на маленькой вырубке в сосновом лесу, где было множество птиц. Поэтому стук можно было понять неправильно. К тому же Ли Ти умел точно подражать дятлу.

Редактор ничего не ответил и продолжал писать письмо. Тогда Ли Ти как бы внезапно что-то вспомнил; он поднял длинный рукав своей куртки, который заменял ему карман, и, как фокусник, небрежно вытряхнул на стол письмо. Редактор бросил на мальчика укоризненный взгляд и распечатал конверт. Это была обычная просьба одного подписчика-земледедца, некоего Джонсона, о том, чтобы редактор «поместил заметку» о гигантской редьке; подписчик ее вырастил и посылал с подателем письма.

— А где же редька, Ли Ти? — подозрительно спросил редактор.

— Нет. Сплосите меликанский мальчик.

— Что?

Тут Ли Ти снизошел до объяснения: когда он проходил мимо школы, на него напали школьники, и во время сражения огромная редька — подобно большинству такого рода чудовищ, быстро вырастающих на калифорнийской почве, это была просто принявшая растительную форму вода — была «ласплющена» о голову одного из врагов. Редактор знал, что его рассыльного постоянно преследуют, и весьма огорчился по этому поводу; к тому же он, возможно, полагал, что редька, которую не удалось использовать в качестве дубинки, вряд ли обладала питательными свойствами. Поэтому он воздержался от упреков.

— Но не могу же я поместить заметку о том, чего не видел, Ли Ти, — добродушно сказал он.

— А вы совлать... как Джонсон, — так же спокойно посоветовал Ли. — Он дулачит вас свой гниль... вы будет дулачить меликанский люди, то же самый.

Редактор с достоинством хранил молчание, пока не кончил надписывать адрес.

— Отнеси миссис Мартин, — сказал он, протягивая письмо мальчику, — и смотри держись подальше от школы. Да не ходи через прииск, если там сейчас работают; и если дорожишь своей шкурой, не проходи мимо хижины Фленигена: ты ведь на днях разбросал там хлопущки и чуть не поджег ее. Берегись собаки Баркера на перекрестке и уходи с большой дороги, если из-за отвалов выйдут рудокопы. — Затем, сообразив, что он, в сущности, закрыл все обычные подступы к дому миссис Мартин, добавил: — Лучше всего иди кругом через лес, там ты никого не встретишь.

Мальчик стремглав выбежал в открытую дверь, а редактор несколько мгновений с сожалением смотрел ему вслед. Он любил своего маленького подопечного — еще с тех пор, как несчастного сироту, мальчика из китайской прачечной, захватили в плен рудокопы, возмущенные тем, что он разносил по домам плохо выстиранное белье; они решили оставить его в качестве заложника, чтобы в будущем им возвращали белье в более

приличном виде. К несчастью, другая группа рудокопов, обозленных по той же причине, в это время разгромила прачечную и прогнала владельцев, так что за Ли Ти никто не пришел. На несколько недель он стал забавой прииска, флегматичной мишенью добродушных озорных выходок, жертвой то легкомысленного безразличия, то безрассудной щедрости. Он получал вперемену тумаки и полудоллары и принимал то и другое со стоической выдержкой. Но при таком обращении мальчик вскоре отвык от прежде свойственного ему послушания и скромности и стал изоощрять свой детский ум, чтобы отомстить мучителям, пока тем не надоели, наконец, и свои и его выдумки. Но они не знали, что с ним делать. Желтая кожа преграждала ему доступ в бесплатную школу для белых, и хотя он, как язычник, мог бы справедливо претендовать на внимание со стороны воскресной школы, родители, которые охотно жертвовали на язычников за границей, не хотели, чтобы он учился с их собственными детьми у них на родине. В этом сложном положении редактор предложил взять его к себе в типографию в качестве ученика — так называемого «чертенка». Некоторое время Ли Ти, по своей привычке все понимать буквально, старался вести себя соответственно этому прозвищу. Он мазал типографской краской все, кроме печатного валика. Он выцарапал на свинцовых пластинках китайские иероглифы, обозначавшие ругательства, отпечатал их и расклеил по всей конторе; он наложил мастеру в трубку какой-то трухи; кто-то даже видел, как он ради развлечения глотал мелкие литеры. Рассыльный он был быстроногий, но не слишком надежный. Недавно редактор заручился сочувствием добродушной миссис Мартин, жены фермера, и уговорил ее взять Ли Ти в услужение, но на третий день мальчик сбежал. Редактор все-таки не терял надежды; его письмо должно было побудить миссис Мартин сделать еще одну попытку.

Он рассеянно смотрел в чашу леса, как вдруг уловил легкое движение — но не звук — в ближних зарослях орешника, и оттуда бесшумно выскользнула человеческая фигура. Редактор сразу признал Джима, всем известного пьянчугу-индейца, который слонялся по поселку и был связан с цивилизацией только узами «огненной воды», ради которой он покинул и резервацию, где она

была запрещена, и свою деревню, где она была неизвестна. Индеец не подозревал о присутствии молчаливого наблюдателя; он опустился на четвереньки и стал прикладывать к земле то ухо, то нос, как зверь, выслеживающий добычу. Затем встал, наклонился вперед и пустился бегом прямо в лес. Через несколько секунд за ним промчался его пес, косматый ублюдок, похожий на волка; своим тонким нюхом пес учуял присутствие чужого человека и разразился обычным визгом — в предчувствии камня, которым, как он знал, всегда в него швыряли.

— Забавно, — раздался чей-то голос, — но этого-то я и ожидал.

Редактор быстро обернулся. Позади него стоял типографский мастер, который, очевидно, наблюдал всю сцену.

— Я всегда говорил, — продолжал мастер, — мальчишку с этим индейцем водой не разольешь. Где один, там и другой... Они придумали всякие штучки и сигналы, чтобы знать, где искать друг друга. Вот на днях выдумали, что Ли Ти бежит по вашим поручениям, а я выследил его на болоте — просто пошел за этим паршивым грязным пьяницей Джимом. Там вся компания устроила привал. Джим наловил рыбы, оба натаскали зелени с огорода Джонсона и уплетали за обе щеки. Миссис Мартин, может, и возьмет мальчишку, но пробудет он там недолго, пока Джим под боком. Невдомек мне, почему Ли подружился с этим чертовым пьяницей-индейцем и с чего это Джим, как-никак американец, якшается с язычником.

Редактор ничего не ответил. Он и прежде слышал подобные разговоры. Впрочем, почему в конце концов не держаться вместе этим двум отверженцам цивилизации!

Ли Ти прожил у миссис Мартин недолго. Ушел он из-за неожиданного события, которое было предвещено, как и другие тяжелые бедствия, таинственным небесным знамением. Однажды утром необыкновенная птица огромной величины появилась на горизонте и стала парить над обреченным поселком. Тщательное наблюдение за зловещей птицей показало, что это громадный китай-

ский бумажный змей в виде летающего дракона. Это зрелище вызвало в поселке немалое оживление, которое, впрочем, вскоре сменилось некоторым беспокойством и негодованием. Оказалось, что змея втайне смастерил Ли Ти в укромном уголке усадьбы миссис Мартин; но, когда он попробовал запустить его, выяснилось, что из-за какой-то ошибки в конструкции для этого змея нужен хвост необычайных размеров. Ли Ти быстро исправил упущение с помощью первого подвернувшегося под руку средства — бельевой веревки миссис Мартин с остатками недельной стирки. Зрители вначале этого не заметили, хотя хвост и казался несколько странным — впрочем, не более странным, чем полагается быть хвосту дракона. Но когда кража была обнаружена и слух о ней распространился по всему поселку, хвост вызвал живейший интерес; были пущены в ход подозрительные трубы, чтобы распознать различные предметы туалета, висевшие на похищенной веревке. Постепенно освобождаясь вследствие вращения змея от прищепок, эти части туалета с полным бесстрашием рассеялись по поселку; один чулок миссис Мартин упал на веранду салуна «Полька», а другой впоследствии был обнаружен, к соблазну прихожан, на колокольне Первой методистской церкви. Но еще полбеды, если бы последствия выдумки Ли Ти этим ограничились. Увы! Владельца змея и его сообщника, индейца Джима, выдала предательская веревка, и их удалось выследить в укромном местечке на болоте. Там дьякон Хорнблоуэр и констебль силой отобрали у них игрушку. К несчастью, эти двое не обратили внимания на то, что крепкая веревка ради предосторожности была захлестнута петлей через бревно, чтобы ослабить чудовищную тягу, силу которой они не учли, и дьякон опрометчиво заменил бревно собственным телом. Говорят, что тут взором публики предстало небывалое зрелище. Дьякон дикими прыжками мчался по болоту за змеем, преследуемый по пятам констеблем, который такими же дикими усилиями пытался удержать его, уцепившись за конец веревки. Необычайные скачки продолжались до самого поселка; там констебль выпустил веревку и упал. Это, по-видимому, придало дьякону невероятную легковесность: ко всеобщему удивлению, он немедленно взлетел на дерево! Когда подоспели к нему на помощь и перерезали верев-



ку, оказалось, что у него вывихнуто плечо. Констебль сильно расшибся. Так наши парии одним неудачным ходом восстановили против себя закон и церковь в лице их представителей в Тринидадском округе. Боюсь, что теперь они не могли положиться и на настроение местных жителей, как обычно, неустойчивое, от которого отныне полностью зависела их судьба. Попав в столь затруднительное положение, они на другой день исчезли из поселка — куда, никто не знал. Сизый дымок, который в течение нескольких дней после этого поднимался над уединенным островком в бухте, наводил на мысль, что они укрылись там. Но никто этим особенно не интересовался. Благожелательное посредничество редактора вызвало характерную отповедь такого почтенного гражданина, как мистер Паркин Скиннер:

— Вы вот все толкуете про добрые чувства да про негров, китайцев и индейцев, вы смеетесь, что дьякон, как Илья-пророк, вознесся на небо на этой чертовой китайской колеснице, но я должен сказать вам, джентльмены, что наша страна — это страна белых! Да, сэр, против этого вы ничего не сможете возразить. Негр любого сорта — желтый, коричневый или черный, называйте его «китайцем», «индейцем», или «канаком», или как вам будет угодно, — должен очистить божий мир, когда в него вступает англосакс! Всякому ясно, что им не место рядом с печатным станком, жатками Мак-Кормика и библией! Да, сэр! Библией. И дьякон Хорнблэуэр вам это докажет. Наш прямой долг — очистить от них страну, для этого мы здесь и поставлены. За это мы и должны взяться!

Я позволил себе привести волнующие высказывания мистера Скиннера, чтобы показать, что Джим и Ли Ти, по всей вероятности, бежали просто потому, что боялись суда Линча и что такие возвышенные и благородные настроения действительно существовали сорок лет тому назад в обыкновенном американском городке, где тогда еще и не помышляли об экспансии и империи!

Однако мистер Скиннер не принял в расчет простейших свойств человеческой природы. Однажды утром Боб Скиннер, его двенадцатилетний сын, удрал из школы и отправился на старом индейском челноке в поход с целью завоевать остров несчастных беглецов. Его на-

мерения были ему самому не вполне ясны и могли измениться, смотря по обстоятельствам. Либо он захватит в плен Ли Ти и Джима, либо присоединится к ним и будет вести такую же вольную жизнь. Он подготовился и к той и к другой возможности, для чего тайком позаимствовал у отца ружье. Он захватил и провизию, так как наслышался о том, что Джим питается кузнечиками, а Ли Ти — крысами, и сомневался, сможет ли он просуществовать на подобном рационе. Он медленно греб, держась поближе к берегу, чтобы его не увидели из дома, а затем смело направил свой утлый челн к острову — поросшему травой клочку болотистого мыса, оторгнутому когда-то штормом. День стоял прекрасный, под дуновением после-полуденного пассата бухта подернулась легкой рябью, но когда Боб стал подъезжать к острову, он попал в полосу мертвой зыбы, которая шла от волновавшегося вдаль Тихого океана, и малость струхнул. Лодка сбилась с курса, встала боком к волне и зачерпнула соленой воды. Это еще сильнее испугало маленького уроженца прерий. Когда беспомощную, залитую водой лодку понесло мимо острова, он забыл о своем плане тайного нападения и громко завопил о помощи. На его крик из камышей выскочила гибкая фигура, сбросила с себя рваное одеяло и по-звериному, бесшумно скользнула в воду. То был Джим, который где вброд, где вплавь дотащил лодку с мальчиком до берега. Боб Скиннер тотчас же отказался от мысли о завоевании острова и решил присоединиться к беглецам.

Это было нетрудно: он был беспомощен и искренне восхищался их первобытным лагерем и цыганским образом жизни, хотя в прошлом был одним из притеснителей Ли Ти. Но этот флегматичный язычник отличался философским безразличием, которое легко могло бы сойти за христианское всепрощение, а природную сдержанность Джима можно было принять за согласие. Вполне вероятно также, что двое бродяг, естественно, сочувствовали новому беглецу, удравшему от цивилизации; они были несколько польщены тем, что Боб не был изгнан, а явился по собственной охоте. Как бы то ни было, они вместе ловили рыбу, собирали на болоте клюкву, застрелили дикую утку и пару зуйков; и когда Боб помогал варить рыбу в конусообразной корзине, закопанной

в землю и наполненной водой, которая нагревалась с помощью камней, докрасна раскаленных в костре из плавника, он был беспредельно счастлив. А что за день! Лежать после такого пиршества ничком на траве, насытившись, как звери, укрывшись от всего, кроме солнечного света; лежать так неподвижно, что целые тучи серых куликов безбоязненно садились рядом с ними, а всего в нескольких шагах из тины вылезала лоснящаяся бурая ондатра! Они чувствовали себя частицей первобытной жизни на земле и в воздухе. Блаженный покой не заглушил, впрочем, их хищнических инстинктов: когда в воде мелькало черное пятно — по словам индейца, тюлень, — когда рыжая лисица, бесшумно двигаясь, подстерегала выводок неоперившихся крякв, когда на мгновение показывалась лось и спускался к краю болота, — все это взвинчивало их напряженные нервы и подстрекало к увлекательной, но безрезультатной охоте. а когда — слишком рано — наступила ночь, они вповалку улеглись вокруг теплой золы костра, под низким сводом вигвама, построенного из сухого ила, камыша и плавника, и, вдыхая смешанный запах рыбы, дыма и теплых, соленых испарений болота, мирно уснули. Далекие огни поселка один за другим погасли; вместо них появились звезды, очень большие и безмолвные. На ближайшем мысе залаяла собака, ей откликнулась другая, подальше от берега. Но пес Джима, свернувшийся у ног хозяина, не отзывался. Какое ему дело до цивилизации?

Утром Боб Скиннер испытал некоторый страх перед последствиями своего поступка, однако его решимость остаться не ослабела. Но тут Ли Ти вдруг стал возражать:

— Пускай твой все-таки велнется. Твой сказать дома, лодка пелевелнуться велх дном... твой много плыть до кустов. Всю ночь кустах. Дом длинный путь... Как добраться? Понятно?

— Ружье я оставляю здесь, а папе скажу, что, когда лодка перевернулась, ружье пошло ко дну, — с воодушевлением подхватил Боб.

Ли Ти кивнул.

— А в субботу я возвращусь и принесу еще пороху и дрови, а для Джима бутылку виски, — возбужденно продолжал Боб.

— Ладно,— пробормотал индеец.

Они перевезли Боба на полуостров и вывели на бо-лотную тропу, которую знали только они. По этой тропе он должен был добраться до дому. И когда на следующее утро редактор напечатал в хронике: «*По воле волн в бухте. Чудесное спасение школьника*»,— он, как и читатель, не знал, какое участие в этом деле принимал его исчезнувший китайчонок-рассылный.

Тем временем изгнанники вернулись в свой лагерь на острове. Им показалось, что с уходом Боба солнце стало светить не так ярко. Ведь они, как это ни бессмысленно и глупо, были очарованы маленьким белым деспотом, который делил с ними хлеб. Боб вел себя по отношению к ним с восхитительным эгоизмом и был откровенно груб,— так мог вести себя только школьник, да еще с сознанием превосходства своей расы. И все же оба они жаждали его возвращения, хотя редко упоминали о нем в лаконичных разговорах, которые вели между собой каждый на своем языке, или с помощью простейших английских слов, или, еще чаще, жестами. Когда они заговаривали о нем, то выражали свое уважение тем, что говорили, как им казалось, на его языке.

— Бостонский мальчик много хочет поймать его,— говорил Джим, указывая на плывущего вдаль лебедя.

Или Ли Ти, преследуя в камышах полосатую водяную змею, флегматично произносил:

— Меликанский мальчик не любит змея.

Ближайшие два дня принесли им, однако, некоторые заботы и лишения. Боб съел, или зря извел, все их запасы, и — что было еще печальнее — его шумное поведение, стрельба и жизнерадостность распугали дичь, которой их обычное спокойствие и молчаливость прежде внушали обманчивое чувство безопасности. Они голодали, но не винили Боба. Когда он вернется, все будет в порядке. Они считали дни: Джим — с помощью таинственных зарубок на длинном шесте, Ли Ти — с помощью связки медных монет, которую он всегда носил в кармане. Знаменательный день наконец наступил — теплый осенний день; над берегом плыли клочья тумана, который казался голубой дымкой, а вдаль расстилалась безмятежная панорама ровного открытого пространства леса и моря, но ни на земле, ни на воде мальчик не появлялся

перед ожидающими доверчивыми взорами. Весь день они хранили угрюмое молчание, и только с наступлением ночи Джим сказал:

— Может быть, бостонский мальчик умереть.

Ли Ти кивнул. Этим двум язычникам казалось невероятным, чтобы какая-нибудь другая причина могла помешать христианскому мальчику сдержать слово.

Теперь они то и дело переправлялись в лодке на болото; они охотились в одиночку, но часто встречались на тропе, по которой ушел Боб, и каждый раз выражали удивление невнятным бормотанием. Они скрывали свои чувства, не проявляли их ни словом, ни жестом, но овладевшая ими тревога в конце концов передалась каким-то образом молчаливому псу; он совершенно забыл свою обычную сдержанность и раза два садился у воды и начинал протяжно выть. У Джима и раньше была привычка время от времени забираться в какой-нибудь укромный уголок; он заворачивался в одеяло, прислонялся спиной к дереву и часами оставался неподвижным. В поселке это обычно приписывали последствиям выпивки, «похмелью», но Джим давал другое объяснение: он утверждал, что так с ним случается, когда у него «плохо на сердце». И теперь, судя по приступам меланхолии, можно было подумать, что у него часто бывает «плохо на сердце». А потом однажды ночью на крыльях свирепого юго-западного ветра примчались запоздалые дожди; они свалили и разметали жалкую хижину, погасили костер и вздыбили бухту так, что волны стали затоплять поросший камышом островок, наполняя уши беглецов шипением. Дичь была распугана, и ружье Джима бездействовало; сеть рыбака Ли Ти была порвана, а наживка раскидана. Замерзшие и голодные, подавленные душевно и физически, но еще более сдержанные и молчаливые, чем всегда, они чуть не погибли, когда переправлялись через разбушевавшуюся бухту на болотистый полуостров. Здесь, на вражеской земле, то скрываясь в камышах, то ползком пробираясь среди кочек; они наконец добрались до опушки леса у поселка. Они жестоко страдали от голода и, пренебрегая последствиями, забыли всякую осторожность: стая чирков оказалась на мушке ружья Джима у самой окраины поселка.

Это был роковой выстрел: его отзвуки пробудили против них силы цивилизации. Его услышал лесоруб в своей хижине у болота. Он выглянул наружу и увидел проходившего Джима. Беззаботный, добродушный человек, он мог бы промолчать о том, что появились бродяги, но этот проклятый выстрел! Индеец с ружьем! Огнестрельное оружие, нарушение закона, огромный штраф и наказание тому, кто продал или подарил его индейцу! В этом деле надо разобраться, кто-то должен быть наказан! Индеец с ружьем, точно равный белому! Кто же тут может чувствовать себя в безопасности? Лесоруб поспешил в поселок, чтобы довести все до сведения констебля, но, встретив мистера Скиннера, сообщил эту новость ему. Тот презрительно отозвался о констебле, который до сих пор не сумел разыскать Джима, и предложил, чтобы несколько вооруженных граждан сами организовали облаву. Дело в том, что мистер Скиннер в душе все время не очень-то верил рассказу сына о пропавшем ружье. Он кое-что сообразил и ни в коем случае не хотел, чтобы его ружье было опознано представителем власти... Он пошел прямо домой, так яростно напустился на Боба и такими яркими красками расписал его преступление и полагающуюся за него кару, что Боб сознался. Больше того, я с грустью должен сказать, что Боб соврал. Индеец «украд у него ружье» и угрожал убить его, если он расскажет о краже. Он утверждал, что его безжалостно ссадили на берег и заставили идти домой по тропе, которую знали они одни. Через два часа всему поселку стало известно, что негодяй Джим не только незаконно владеет оружием, но и приобрел его путем грабежа. Об острове и о тропе через болото сообщили лишь немногим.

Между тем беглецам приходилось туго. Из-за близости поселка нельзя было развести костер: он мог бы выдать их убежище. Они забрались в чашу орешника и простучали зубами всю ночь. Их вспугнули сбившиеся с дороги путники, которые, ничего не подозревая, проходили мимо. Часть следующего дня и всю ночь они пролежали среди травянистых кочек. Их насквозь пронизывал холодный морской ветер, они закоченели, но были надежно укрыты от чьих бы то ни было глаз. Казалось, обретенная таинственную способность полной неподвижности, они могли сливаться с ровной, однообразной местностью.

Редкие вьюнки на лугу и даже узкая гряда берегового наноса, за которой можно было, укрываясь от ветра, неподвижно лежать часами, достаточно защищали их от любопытных взглядов. Они перестали разговаривать, но, повинаясь слепому звериному инстинкту, следовали друг за другом всегда безошибочно, словно умели читать мысли. Как ни странно, только настоящий зверь — их безымянный пес — проявлял теперь нетерпение и какую-то чисто человеческую подавленность. Он один не мог примириться с тем, что им приходится прятаться, не мог примириться с мучениями, которые люди безропотно переносили! Когда до места, где они проходили, доносились какие-нибудь запахи или звуки, неуловимые для человеческих чувств, пес, ошетинившись, начинал хрипло рычать и задыхаться от ярости. Им все было так безразлично, что они не замечали даже этого; но нельзя было не заметить, что на вторую ночь пес внезапно исчез и через два часа вернулся с окровавленной мордой, — он был сыт, но все еще дрожал и хрипло ворчал. Только наутро, ползая на четвереньках по жнивью, они наткнулись на изуродованный, растерзанный труп овцы. Они молча переглянулись: оба понимали, что означал для них этот разбойничий поступок. Он означал опять крики «лови!» и погоню. Он означал, что их голодный товарищ помог ту же стянуть вокруг них сеть. Индеец что-то проворчал. Ли Ти безучастно улыбнулся; но с помощью ножей и просто руками они совершили то, что начал пес, и разделили с ним вину. Язычники, они не могли принять на себя моральную ответственность более подходящим, с христианской точки зрения, способом.

Ли Ти привык питаться рисом и переносил лишения тяжелее. Его обычное безразличие возрастало, появилась вялость, которая Джиму была непонятна. Не раз, когда он возвращался после отлучек, Ли Ти лежал на спине и смотрел вверх остановившимся взглядом, а однажды издали Джиму показалось, что над местом, где лежал китайчонок, поднимается призрачный легкий пар; когда он подошел ближе, пар исчез. Он попытался растормошить Ли Ти, но тот еле ворочал языком, а его дыхание отдавало запахом какого-то снадобья. Джим оттащил его в более укромное место, в чашу ольшаника. Это было опасно: чаща была недалеко от проезжей дороги, но в затуманен-

ном мозгу Джима вдруг возникла смутная мысль: хотя оба были бесправные бродяги, Ли Ти мог предъявить больше претензий к цивилизации — ведь его соплеменникам позволяли жить среди белых, их не загоняли в резервации, как соплеменников Джима. Если Ли Ти «много больной», может быть, другие китайцы найдут и выйдут его. Ли Ти, ненадолго придя в себя, сказал: «Мой умилать... как меликанский мальчик. Твой умилать то же самый», — и продолжал лежать с тусклым, остановившимся взглядом. Джима все это не испугало. Он приписал состояние Ли Ти чарам, которые по его просьбе наслал какой-нибудь из его богов, — он сам когда-то видел, как колдуны этого племени впадали в таинственное оцепенение, — и был рад, что мальчик больше не мучается. День близился к вечеру, а Ли Ти все спал. До слуха Джима донесся звон церковных колоколов: он понял, что сегодня воскресенье — день, когда лавки констебля прогонял его с главной улицы; день, когда лавки были закрыты, а салуны торговали спиртным только через задние двери; день, когда никто не работает, и потому — этого Джим не знал — день, который изобретательный мистер Скиннер и несколько его друзей сочли особенно удобным и подходящим для облавы на беглецов. Колокольный звон ничем не намекал на это, однако пес тихо зарычал и насторожился. А затем Джим услышал другой звук — далекий и неясный, но он вернул блеск его потухшим глазам, оживил его неподвижное, аскетическое лицо и даже вызвал краску на его выступающих скулах. Он лежал на земле и, затаив дыхание, прислушивался. Теперь он ясно слышал. Это кричал бостонский мальчик. Он кричал: «Джим!»

Огонь в его глазах померк, когда он со своей обычной медлительностью встал и направился туда, где лежал Ли Ти. Он стал трясти его и несколько раз повторил:

— Бостонский мальчик вернулся!

Но ответа не было; мертвое тело безвольно поворачивалось под его руками, голова откинулась назад, челюсть отвисла, желтое лицо заострилось. Индеец долго вглядывался в него, потом повернулся в ту сторону, откуда слышался голос. Все-таки его затуманенное сознание было встревожено: к звуку голоса примешивались



другие, точно кто-то неуклюже подкрадывался к нему. Но голос опять позвал: «Джим!» Приставив руки ко рту, индеец негромко откликнулся. Наступила тишина, а затем он внезапно снова услышал голос — голос мальчика. На этот раз он возбужденно произнес совсем рядом:

— Вот он!

Теперь индеец понял все. Но его лицо не дрогнуло; он вскинул ружье, и в то же мгновение из чащи на тропинку вышел человек.

— Опусти ружье, слышишь, ты, чертов индеец!

Джим не шевельнулся.

— Говорят тебе, опусти ружье!

Индеец стоял неподвижно.

Из чащи грянул выстрел. Сначала показалось, что пуля не попала в цель, и человек, который только что говорил, вскинул свой карабин. Но в следующее мгновение высокая фигура Джима рухнула на землю, превратившись в жалкую кучу тряпья.

Стрелявший со спокойным видом победителя подошел к убитому. И вдруг перед ним возник страшный призрак, воплощение ярости — зверь с горящими глазами, оскаленными клыками и жарким кровожадным дыханием. Едва он успел вскрикнуть: «Волк!» — как челюсти зверя сомкнулись на его горле, и они оба покатались по земле.

Но, как показал второй выстрел, то был не волк, то был лишь собачий ублюдок Джима, единственный из бродяг, который в этот последний критический момент вернулся в свое первобытное состояние.

## МОЯ ЮНОСТЬ В САН-ФРАНЦИСКО

Если кто-нибудь подумает, что эти мои легкомысленные беглые воспоминания о Сан-Франциско характеризуют преобладающую черту этого достойного города в годы моего первого с ним знакомства, то я заранее отмечаю подобное предположение. Наоборот, в то время, как вся остальная Калифорния на удивление легко и бездумно пренебрегала любыми условностями, в то время, как вокруг бушевали бури страстей, Сан-Франциско сохранял неизменную солидность, практицизм и даже некоторую строгость нравов. Я, конечно, имею в виду не ту короткую пору сорок девятого года, когда весь город состоял из кучки лачуг, разбросанных на неровном берегу, да нескольких неуклюжих посудин у пристани, а самое начало его превращения в столицу Калифорнии. Первые неверные шаги в этом направлении были отмечены подчеркнутой степенностью и благопристойностью. Даже в те времена, когда все мелкие недоразумения между людьми решала пуля, а более крупные общественные конфликты передавались на суд Комитета бдительности, основной чертой господствующего класса в Сан-Франциско, безусловно, оставалась серьезность и респектабельность. Вполне возможно, что во времена владычества Комитета все необузданные и преступные элементы больше страшились морального воздействия внушительной когорты одетых в черное бизнесменов, чем простой силы оружия; и один из «обвиняемых» — призовой борец — как известно, покончил с собой в камере после

встречи с суровыми и бесстрастными лавочниками — судьями. Даже особый, терпкий калифорнийский юмор, который умел смирять безумства револьвера и превратности покера, не проникал в благопристойные, разумные речи обитателей Сан-Франциско. Прессу также отличала трезвость, серьезность, практицизм—если только она не слишком ополчалась против общественных зол; мелкие, легкомысленные листки имели репутацию пасквильантских и непристойных. Фантазию начисто вытеснили тяжеловесные статьи о государственном бюджете и соблазнительные призывы к помещению капитала. Местные новости подвергались строжайшей цензуре, которая вычеркивала все, что могло отпугнуть робких или чересчур осторожных обладателей капиталов. Случаи романтических беззаконий или горестные перипетии старательской жизни всячески сглаживались, о них писали с оговоркой, что все подобные происшествия давно отошли в область преданий и что жизнь и собственность в Сан-Франциско «находятся в такой же безопасности, как в Нью-Йорке или в Лондоне».

Точно такими же заявлениями сухо осаживали и любителей экзотики, приезжавших в поисках местного калифорнийского колорита. Пожары, наводнения и даже подземные толчки также рассматривались в свете этого несгибаемого оптимистического реализма. Я живо припоминаю прескучную передовицу, посвященную одному из сильнейших землетрясений; автор уверял, что только внезапность катастрофы помешала Сан-Франциско встретить ее подобающим образом, дабы в будущем навсегда пресечь возможность таких напастей. Комизм этого высказывания можно сравнить разве лишь с той серьезностью, с какою статья была принята всей общиной дельцов. Но как ни странно, этот упорный практицизм процветал бок о бок с крайней религиозностью и даже усугублялся фанатичностью, более подобавшей отцам-пилигримам прошлого столетия, нежели пионерам современного Запада. На заре дней своих Сан-Франциско был городом церквей и церковных конгрегаций; к ним принадлежали лучшие люди и самые богатые коммерсанты. Представители вымирающей испанской расы весьма небрежно соблюдали воскресные праздники, но их поведение, казалось, лишь подстегивало тягу к воз-

рождению пуританской субботы во всей ее строгости. Почти за час до того, как испанец отправлялся смотреть бой быков, с кафедры сан-францисских церквей начинала греметь анафема воскресным увеселениям. Один из популярных проповедников, обрушиваясь на привычку устраивать воскресные торжественные обеды, заверял присутствующих, что, когда он видит, как по ступенькам бесстыдно поднимается гость в праздничном платье, он готов схватить его за шиворот и собственноручно оттащить от порога гибели.

Но особую ярость вызывали истинные язычники; она достигла предела в одно прекрасное воскресенье, когда толпа детей, возвращавшихся из воскресной школы, насмерть забила камнями одного китайца. Я вовсе не намерен читать мораль и привожу все эти примеры лишь для того, чтобы подчеркнуть исключительную противоречивость обстановки, которую, как мне кажется, ранние историки Калифорнии запечатлели недостаточно точно. И отнюдь не собираюсь предлагать какую-либо теорию, объясняющую, откуда взялось это прискорбное исключение среди обычно добродушной необузданности и бесшабашности остальной части штата. Может быть, эти черты и были основными двигателями роста и развития города. И без сомнения они возникли естественно, как бы сами собой. Таким образом, впечатления от некоторых сцен и событий моей юности — это сугубо личные впечатления человека богемы, и выбор мой очень индивидуален и случаен. Я пишу лишь о том, что казалось мне интересным в те времена, хотя, возможно, это и не было самым характерным для Сан-Франциско.

Помню первую неделю — безмятежную неделю, которую я провел в неспешных поисках работы; всю эту долгую неделю я жадно впитывал кипевшую вокруг непривычную жизнь и с чувствительностью фотографической пластинки запечатлевал сцены и события этих дней, так что они и сегодня так же свежи в моей памяти, как и в тот день, когда поразили меня.

Одно из этих воспоминаний касается «пароходной ночи», как ее тогда называли, накануне «пароходного дня», перед отплытием почтового парохода, увозившего почту «домой». Поистине можно сказать, что в те времена на Сан-Франциско жил от парохода до парохода: в этот

день оплачивались счета, подсчитывались прибыли, производились расчеты. А назавтра словно открывали следующую страницу: снова погоня за удачей, снова накопление сил. И настолько это вошло в привычку, что даже самые простые перемены в жизни, общественной или семейной, всегда откладывались до следующего «пароходного дня».

«Попробую сделать для вас что-нибудь после «пароходного дня» — эта фраза стала привычной формулой обнадеживающего или уклончивого ответа.

То был вечер полочки для большинства рабочих и их праздничная ночь. Узкие улочки оживали, запруженные народом; салуны и театры ломались от публики. Я вспоминаю, что сам в эти дни бродил по Сити-Фронт, как называли тогда деловую часть Сан-Франциско. Здесь всю ночь напролет горели огни, и первые проблески зари еще заставляли дельцов за их конторками. Вспоминаю смутные очертания складов вдоль гнилых полупровалившихся причалов, — они уже не были причалами, но еще не превратились в улицы, — вижу их предательские зияющие провалы, где тускло поблескивала черная смоляная грязь, порой они обретали голос в плеске и клокотанье прибоя. Я вспоминаю жуткие истории об исчезающих людях; их находили потом в липкой жиже: они туда упали и задохнулись. Вспоминаю два или три корабля, которые остались на берегу, куда их вытащили года два назад; они так и стоят, словно встроенные между складами, а носы их выступают на проезжую дорогу. В красоте их линий сохранилась благородная величавость и бескрайность свободной стихии — ее не сумели стереть обступившие дома; и есть даже что-то от пустынности моря в широко расставленных оружейных портах и иллюминаторах, освещенных теперь прозаическими лампочками сухопутных коммерсантов, которые совершают свои сделки за окнами кают. Один из таких кораблей был превращен в гостиницу, но сохранил свое прежнее имя — «Ниантик», да и внутри кое-что осталось как прежде. Я вспоминаю старинных обитателей этих посудин — крыс: они расплодился и размножились в таком количестве, что по ночам бесстрашно перебежали дорогу на всех перекрестках и заполнили даже раззолоченные салуны на Монтгомери-стрит.

В «Ниантике» их возня слышалась на каждом шагу, и, говорят, они были так общительны, что порой не оставляли постояльца в покое даже и в его комнате. В этих старых «холстинных» домах — так их называли за неоштукатуренные потолки, обтянутые побеленным холстом, — крысиную беготню выдавало зигзагообразное вспучивание провисшей ткани, а бывало, их просто видели воочию, когда они вываливались в прогрызенные дыры. Я вспоминаю дом, фундамент которого вместо дорогостоящих бревен был сложен из ящиков пресованного жевательного табака, — хозяева, видно, выловили из моря чей-то погибший во время кораблекрушения груз; а в соседнем складе стояли сундуки с давно забытых «Сорока старателей»: пропавшие без вести или погибшие владельцы так и не востребовали их, и в конце концов сундуки были проданы с аукциона. А над всем этим — могучее дыхание моря и вечное дуновение пассатов, которые уносили с собой пыль и копоть, гниль и мерзость разрушения — всю грязную накипь взбаламученного строительством города.

Порой с прежним ощущением юношеской радости и жадного удивления я вспоминаю, как бродил по Испанскому кварталу, где все еще сохранялись в неприкосновенности славные обычаи, речь и костюмы трехсотлетней давности; где прибаутки Санчо Пансы все еще звучали на языке Сервантеса, а высокие идеалы ламанчского рыцаря по-прежнему оставались мечтой испано-калифорнийских идалъго. Я вспоминаю и более современно-го «чумазого» — мексиканца, его пожелтевшие от табака пальцы, бархатную куртку и малиновый широкий пояс, пышные юбки и кружевные мантильи мексиканских женщин, их воркующие голоса — единственный мелодичный звук среди грубых голосов этого города. Видно, в те времена я был неразборчив и отличался плохим вкусом, ибо меня ничуть не смущал смешанный аромат табака, жженой бумаги и чеснока, которым было пропитано их нежное дыхание.

Очевидно, тут виной пуританское воспитание, но куда более жгучую радость доставляли мне игорные дома. Это были самые большие и современные, самые роскошные заведения во всем городе. И здесь тоже, как я уже говорил, в первые годы господствовал тон солидного до-

стойства, хотя причиной тому была серьезность совсем особого рода. Здесь ставили и проигрывали последний доллар почти торжественно, со смирением поистине христианским. И при этом не слышно было ни божбы, ни громких выкриков, ни внезапно вспыхнувших скандалов, которые так часты в менее благопристойных сборищах. Тут не оставалось места мелким порокам: пьяные попадались редко, а к накрашенным, крикливо одетым женщинам, которые сидели у рулеток или услаждали слух игрой на арфах и фортепианах, игроки относились с аскетическим равнодушием. Один выигрывал десять тысяч, другой терял все, что имел, но оба отходили от стола одинаково молчаливые и бесстрастные. Я никогда не был свидетелем проигрыша, который окончился бы трагически, и никогда не слышал о самоубийстве на этой почве. Не припомню также ни ссор, ни убийств, непосредственно связанных с играми этого рода. Не следует, однако, забывать, что тогда обычно играли в «красное и черное», фараон, рулетку, все игры, в которых противник — Рок, Случай, Система или безликий «Банк», олицетворение всех этих сил: какие уж тут могут быть разногласия или соперничество; никто не оспаривал решений крупье или банкмета.

Помню один разговор у дверей салуна; его лаконичность как нельзя лучше рисует стоицизм большинства игроков.

— Привет! — говорит выходящий старатель при виде входящего собрата. — Когда приехал?

— Сегодня утром, — следует ответ.

— Побывал в баре?

— Еще бы! — отвечает вошедший и идет в зал.

Через час я случайно столкнулся с ними на том же месте, только теперь каждый шел в обратную сторону.

— Привет! — говорит входящий. — Куда теперь?

— Обратно в бар!

— Обчистили до нитки?

— Еще бы!

Ни слова лишнего: все и так ясно.

Мой первый юношеский опыт за зеленым столом был чистой случайностью. Однажды вечером я смотрел, как играют в рулетку, — меня точно гипнотизировали движения рук игроков. То ли все были слишком поглощены

игрой, то ли я выглядел старше своего возраста, только стоявший рядом вдруг запросто положил мне на плечо руку и обратился, как к завсегдатаю:

— Если ты не ставишь, приятель, так, может, дашь мне попробовать.

Поверьте, до той минуты у меня и в мыслях не было самому попытать счастья. Но тут, растерявшись от неожиданности, я сунул руку в карман, вытащил монету и поставил на свободный номер, стараясь сохранить самый непринужденный вид, но остро чувствуя, что краснею. К своему ужасу, я увидел, что поставил крупную сумму — почти все, что у меня было! Но я даже не дрогнул; и полагаю, любой мальчик, читающий эти строки, отлично поймет меня: ставкой была не просто монета, а моя мужская гордость. Мучительно пытаясь изобразить равнодушие, я смотрел на игроков, на канделябры, — на что угодно, только не на роковой шарик, бегущий по кругу. Наступило молчание; крупье объявил, что игра сделана, лопаточка его взметнулась вверх и опустилась, а я все не решался взглянуть на стол. Я был слишком неопытен и так волновался, что, наверное, вообще не понимал, выиграл я или нет. В душе я не сомневался, что проиграю, но знал, что должен перенести это как мужчина и, главное, ничем не выдать, что я здесь новичок. Я даже притворился, будто слушаю музыку. Колесо снова завертелось; игра была сделана, лопаточка поднялась и опустилась, а я все не двигался с места. Тогда человек, которого я вытеснил, тронул меня за плечо и прошептал:

— Не лучше ли снять часть выигрыша?

Я сначала не понял, о чем он, но он глядел на стол, и я невольно последовал за ним взглядом. И отшатнулся, ослепленный и растерянный. Там, где минуту назад я поставил одну монету, сверкала гряда золота.

Моя ставка удвоилась, учетверилась и снова удвоилась. Я и по сей день не знаю, сколько там было; конечно, не более трех-четырех сотен долларов, но золото ослепило и испугало меня.

— Делайте вашу игру, джентльмены! — монотонно повторял крупье. И мне казалось, что он смотрит прямо на меня — и вообще все смотрят на меня! — а сосед повторил свой добрый совет. Тут я снова вынужден про-



сильное сочувствия у юных читателей, чтобы оправдать свое дурацкое упрямство: последовать совету означало признать свою неопытность. Я покачал головой — голос меня не слушался, — улыбнулся, хотя сердце мое екнуло, и не притронулся к деньгам. Шарик снова обежал круг и остановился. Наступило молчание. Крупнее небрежно протянул лопаточку и вместе с другими сгреб и мою кучу денег в банк! Я потерял все. Трудно объяснить, почему на душе у меня стало легче, я даже как-то возликовал: ведь я сам, как взрослый, принял решение, пусть даже мне придется много дней жить впроголодь; но что из этого! Я мужчина! Хорошо, если бы это послужило мне уроком. Увы, боюсь, что нет. Правда, я больше не играл, но тогда меня особенно не тянуло, да и соблазна не было. Однако боюсь, что морали из этого случая не извлек никто. Но была в нем одна подробность, весьма характерная для того времени, и об этом мне приятно вспомнить. Тот, кто со мной заговорил, очевидно, по моей отчаянной выходке понял, что я еще совсем юнец. Он подошел к банкомету и, наклонившись, сказал ему что-то на ухо. Банкомет взглянул на меня раздраженно и вместе с тем доброжелательно, и рука его неуверенно потянулась к кучке монет. Я чутьем понял, что за этим последует и, призвав на помощь всю свою решимость, встретил его взгляд как только мог равнодушнее и ушел.

В ту пору я жил в маленькой комнатухе на чердаке дома, принадлежавшего одному моему дальнему родственнику, троюродному брату или что-то в этом роде. Он был человек характера оригинального и независимого, пережил свою одиссею и повидал много городов и лиц; происходил он из древнего рода и гордился своим именем. Будучи в Лондоне, он добыл в Геральдической Коллегии свой фамильный герб и оттиснул его на посуде, которую и привез с собой в Калифорнию. Посуду эту, так же как и прихваченного с собой отличного повара и свои эпикурейские вкусы, он использовал с чисто калифорнийской практичностью и открыл на первом этаже дома довольно шикарное заведение — полуресторан, полуклуб, которым управлял довольно деспотично, как и подобает обладателю древнего герба! Для меня ресторан этот был недоступен, но я видел многих его

завсегдатаев, а также и тех, кто арендовал комнаты в клубе. Это были люди незаурядные, порой даже знаменитости, и все пользовались самой дурной славой. Это была богема, если так можно выразиться, куда менее безобидная, нежели та, какую я позже узнал на собственном опыте. Помню, например, одного молодого красавца; я часто встречал его на лестнице, и он пленил мое юношеское воображение. Я видел его только после полудня, так как он вставал очень поздно; эта привычка в сочетании с чрезмерной выхощенностью и элегантностью его костюма должна была подсказать мне, что он игрок. Но в глазах наивного юнца все это лишь окружало его ореолом романтической тайны.

Однажды утром, отправляясь завтракать в дешевое итальянское кафе на Лонг Уорф, я был очень удивлен, увидев, что и он спускается с лестницы. Даже в этот ранний час он был одет безукоризненно, и меня только поразило, что он в черном, стройную фигуру облагал фрак, застегнутый на все пуговицы, и это, казалось, придавало какую-то отрешенность его побледневшему лицу южанина. Впрочем, на этот раз он изменил своей сдержанной учтивости и поздоровался со мной теплее, чем обычно; я вспоминаю также несколько недоумевающее и чуть насмешливое выражение, с которым он глядел на розовое утреннее небо, пока мы шли рядом по пустынной улице. Я не сдержался и сказал, что удивлен, видя его в столь ранний час; и он согласился: да, это не в его обычае, и добавил с многозначительной улыбкой, которую я припомнил позже: «Бог знает, доведется ли еще когда его нарушить». Мы дошли до угла, и тут к нам стрелой подкатила коляска. Кучер, видно, очень торопился, однако мой знакомец не спеша сел, с учтивой улыбкой приподнял свой блестящий цилиндр, и лошади умчали его. Коляска исчезла вдали, на пустынной улице, но его лицо и стройная фигура до сих пор стоят у меня перед глазами. Больше я его не видел. И лишь неделю спустя узнал, что не прошло и часу после того, как мы расстались, а он уже лежал мертвый в маленькой лошине за Миссией Долорес, убитый выстрелом в сердце на дуэли, ради которой он и встал так рано.

Вспоминаю и другой случай, тоже очень типичный, но, к счастью, закончившийся менее трагически. В одно

прекрасное утро я сидел в ресторане и беседовал со своим родичем, как вдруг в зал вбежал какой-то человек и что-то торопливо прошептал ему на ухо. Мой родич нахмурился и выбранился сквозь зубы. Затем, погрозив пальцем вошедшему, он неслышными шагами пересек комнату и подошел к столу, где не спеша заканчивал завтрак один из постоянных посетителей. На столе перед ним стоял большой серебряный кофейник с деревянной ручкой. Мой родич непринужденно нагнулся к клиенту и, видимо, заботливо расспрашивал, не подать ли еще чего; при этом он как бы случайно взялся за ручку кофейника. И тут я увидел то, чего не заметил никто другой — верно, любопытство заставило меня внимательно следить за каждым его движением, — я увидел, как мой родич хладнокровно опрокинул кофейник, и горячий кофе залил сорочку и жилет посетителя. Тот с криком вскочил, а родич, бормоча бесконечные извинения, прямо-таки силой потащил свою жертву наверх в комнату, чтобы ссудить беднягу собственной сорочкой и жилетом. Не успела закрыться за ними дверь, и я еще терялся в догадках по поводу случившегося, как с улицы в зал вошел новый посетитель. Он был из числа тех головорезов, о которых я уже упоминал, и все присутствующие отлично его знали. Он оглядел комнату, кивнул двоим-троим, затем подошел к боковому столику и взял газету. Я сразу почувствовал, как все в зале словно насторожились, напряжение передалось наконец и новому гостю: он несколько раз притворно зевнул, сложил газету и вышел.

— А ведь был на волосок... — со вздохом облегчения сказал один из сидящих.

— Еще бы! Питерсу сильно повезло, что опрокинулся кофейник.

— Обоим повезло, — добавил первый, — Питерс тоже вооружен и увидел бы, как тот входит!

Несколько слов разъяснили все. Питерс и тот, второй, дня два назад поссорились и расстались с намерением «стрелять без предупреждения», то есть при первой же встрече — форма дуэли, весьма распространенная в те времена. Случайная встреча в ресторане могла послужить поводом к обычному кровопролитию, если бы прохаживавшийся, знавший, что враг Питерса идет в ресторан по-

читать газеты, не предупредил моего родича. А если бы он, в свою очередь, сказал это Питерсу, тот был бы подготовлен к поединку и не стал уклоняться; предупреждение тем самым только ускорило бы стычку.

Хитрость с опрокинутым кофейником, которую все, кроме меня, сочли чистой случайностью, нужна была, чтобы удалить Питерса из комнаты прежде, чем войдет его противник. Я был тогда слишком молод и не посмел вмешаться, но когда года через три я намекнул своему родичу, что знаю его тайну, он с виноватым видом признался в своей проделке. Наверное, строгие ревнители тогдашнего «кодекса чести» сочли бы его поступок недостойным, если не просто бесчестным.

Вспоминается мне еще одно происшествие, связанное с этим домом, тоже очень типичное для тех времен. Рядом помещался правительственный Монетный двор, и его высокие, как у фабрики, трубы вздымались прямо над крышей нашего дома. И вот однажды возник скандал из-за утечки золота, которая происходила якобы в процессе плавки и очистки металла. В виде оправдания среди других причин указывалось, что драгоценный металл улетучивается в трубу вместе с дымом. Весь город смеялся над этим объяснением, пока не стало известно, что теория подтверждена анализом проб пыли и копоти, взятых с крыш домов вблизи Монетного двора. Там нашли явные следы золота. Тут уж Сан-Франциско перестал смеяться, и владельцы домов по соседству немедленно занялись разработкой новых золотых приисков. На воздушные участки делали заявки, и наша крыша, примыкавшая прямо к трубе и, следовательно, находившаяся на «самой жиле», была продана одной компании спекулянтов за очень высокую цену. Помню, как мой родич рассказывал эту историю — она случилась совсем недавно — и даже для наглядности повел меня на крышу; но боюсь, что меня куда больше интересовала тайна строго охраняемого Монетного двора и странная окраска дыма, выходившего из труб этого храма, где буквально «делались деньги». Когда я стоял там — долговязый наивный паренек, — мне и не снилось, что всего через три-четыре года я стану секретарем управляющего этим Монетным двором. Боюсь, что в то время я мечтал совсем о других подвигах и весьма неохотно встретил бы

подобное предложение. Просто участвовать в чеканке монет из того самого золота, которое другие добывали с риском для жизни,— нет, иные мечты волновали мое юношеское воображение.

Во времена моего первого знакомства с Сан-Франциско китайцы еще не стали неотъемлемой частью деловой жизни и быта города; это произошло через три года, когда я вернулся с приисков. Но и в ту пору они по сравнению с испанцами куда резче выделялись своей живописностью на фоне стремительной, кипучей жизни только что вылупившегося города. Испанца, бывало, редко встретишь на главных улицах: он не любил выставлять напоказ свое потускневшее великолепие. А на «Джона» можно было наткнуться где угодно. То вереница кули с корзинами на длинных шестах, переброшенных через плечо, пробирается сквозь модно одетую, нарядную толпу на Монтгомери-стрит; то вдруг потянет дымком от подгоревших китайских лепешек из боковой улочки; а дорога к их тогдашнему кладбищу у Одинокой горы буквально была усеяна разноцветными обрывками бумаги, оставшимися после похорон. В суровость современной цивилизации они вносили экзотику арабских сказок; их лавки, тогда еще рассеянные по всему городу, были точной копией рядов кантонских и пекинских базаров; эта причудливая выставка крохотных тарелочек с образцами изысканных блюд, которые можно было купить тут же, на месте, своими размерами и фантастичностью напоминала кукольный домик или игрушечную кухню.

Китайцы были новостью для приезжих из Восточных штатов, которые черпали свое представление об этом народе из балетов и пантомим: они ведь не носили ни украшенных фестонами штанов, ни шляп с колокольчиками; и я ни разу не видел, чтобы они танцевали, подняв вверх указательные пальцы. Все, даже самые простые кули, одевались всегда очень опрятно, а их праздничные наряды были чудом красоты. Китайские купцы славилась невозмутимостью и долготерпением, слуги были молчаливы и вежливы, и все они благодаря природному простодушию отличались наивностью. Живые потомки древнейшей цивилизации, они напоминали детей. Но при этом тщательно скрывали свои верования и при-

страстия, никогда не сближались с «фанки» — иноземными дьяволами — и хранили свои особые национальные черты. У них были удивительные обычаи; Сан-Франциско почти ничего не знал об их общественной и внутренней жизни, да и не интересовался этим. Но даже в ту раннюю пору, прежде чем я ближе узнал китайцев, я случайно стал свидетелем того, с какой беззаветностью и отвагой они соблюдают верность своим обычаям. Я познакомился с китайским юношей, моим сверстником, как мне кажется, ибо по внешнему виду совершенно невозможно определить возраст китайца от семнадцати до сорока лет, и он в знак дружеского доверия показал мне несколько характерных сцен из китайской жизни. И все это происходило в одном из складов, откуда было рукой подать до Плаза. Прежде всего меня поразило, что хотя строение было деревянное, сколоченное в обычном для Калифорнии стиле «на скорую руку», внутри новые обитатели разделили его кирпичными или каменными перегородками на множество отдельных клетушек. Мой спутник остановился перед длинным, очень узким коридором — чем-то вроде трещины в стене — и, проказливо, по-детски подмигнув, пригласил меня заглянуть внутрь. Сделав это, я увидел комнату, вернее, каморку, довольно высокую, но не больше шести квадратных футов величиной; в ней с трудом умещалось грубое, покато, каменное ложе, крытое циновками, на котором в неудобной позе лежал богато одетый китаец. Я только взглянул на его мутные, остановившиеся, ничего не выражавшие глаза и сразу понял, что он одурманен опиумом. Зрелище это не было для меня новостью, и я уже хотел было отвернуться, как вдруг остановился, пораженный видом его бессильно лежавших рук: с первого взгляда они напоминали нечто вроде клетки из тонких прутьев.

И тут я догадался, что это — ногти в семь, а то и восемь дюймов длиной, поддерживаемые бамбуковыми щепочками. Они уже перестали быть человеческими ногтями, а стали похожи на какие-то перекрученные, исковерканные, оголенные птичьи перья.

— Осень знатная китайца... — прошептал мой веселый друг, — пелвый купса, высшая каста... Мойса — не может, кусай — не может, пей — не может... Свой кусок

хватай — тозе нет: мальчик хватай ему кусок казды лаз! Пелвый купса... Ессе бы!

Я и раньше слышал о таком удивительном способе отмечать свою принадлежность к высшей касте; это было странно и отвратительно, но того, что последовало потом, я никак не ожидал. Мой спутник, видимо, довольный произведенным впечатлением, потерял осторожность и, как хозяин цирка, решил пустить в ход свой лучший аттракцион.

— Сейчас тебе показать забавную стуцку... Сибка будес смеяться,— сказал он и поспешно повлек меня через маленький, кишевший курами и кроликами дворик к другой отгороженной каморке. Прошмыгнув мимо изумленного китайца, как видно, стоявшего на страже, он толкнул меня за перегородку, и здесь глазам моим представилось неповторимое зрелище. Прямо передо мной стоял китаец, а на шее у него, точно хомут, была надета огромная деревянная колодка; она сидела плотно и сжимала его с такой силой, что распухшая шея буграми выпирала около щек. Он был прикован цепями к столбу, хотя бежать в этой колодке было так же немыслимо, как прилечь отдохнуть. И тем не менее, признаюсь, лицо и глаза его выражали лишь полное безразличие, и он даже не пытался вызвать сочувствие вошедших.

Мой спутник пробормотал скороговоркой:

— Осень плохой селовек... Сибка воловал у китайсев...

И затем, видимо, испугавшись собственной дерзости, поспешно вытолкнул меня из каморки и потащил прочь под пронзительное верещание кучки негодующих соотечественников, которые тем временем подоспели на помощь к стражнику. Еще миг — и мы очутились на улице, среди блеска западной цивилизации, там, откуда рукой подать до Плаза, в двух шагах от Дворца правосудия.

Мой спутник вдруг пустился наутек и оставил меня одного посреди улицы, растерянного и негодующего. Я успокоился, лишь когда, не выдавая, впрочем, товарища, рассказал всю эту историю одному знакомому, постарше меня, который и сообщил в полицию. Я ждал, что меня встретят с недоверием, усомнятся в правдивости моего рассказа, подвергнут перекрестному допросу. Но, к моему изумлению, мне сказали, что полиции уже известны

случаи подобных незаконных и варварских наказаний, но что сами жертвы всегда отказываются свидетельствовать против своих соплеменников, поэтому виновников невозможно ни опознать, ни обвинить.

— Белый не в состоянии отличить одного китайца от другого, а среди них всегда найдется десяток людей, готовых поклясться, что пойманный вами — вовсе не тот.

И я с ужасом сообразил, что также не смогу поклясться, что узнаю тюремщика или истязуемого или... хотя бы моего улыбчивого спутника. Через несколько дней полиция под каким-то предлогом устроила на этом складе облаву, но ничего не обнаружила. Интересно, попался ли им тот купец из высшей касты с беспомощно растопыренными пальцами: ведь эту часть своего приключения я утаил.

Но подобные пережитки варварства в обычаях китайца не влияли на его взаимоотношения с Сан-Франциско. Это был слуга тихий, понятливый, незлобивый и, за редким исключением, отличавшийся честностью и воздержанностью. А если порой он и отвечал коварством на коварство, то никогда не начинал первым. Все обслуживание Сан-Франциско находилось в руках китайцев, и они хорошо делали свое дело. И если не считать легкого запаха опиума, ничем не выдавали своего присутствия в доме; а блузы у них — у лучших прачек в городе — всегда были свежестыраны и отглажены. Джон был немногословен, но вовсе не от незнания языка — он с легкостью выбирал сочные и разнообразные выражения, — а в силу своего характера. Совершенно лишенный любопытства, он был равнодушен ко всему, кроме чисто деловых интересов тех, кому служил, знал все домашние тайны и был нем, как могила: и это безразличие к вашим мыслям, чувствам и поступкам выражало его глубочайшее презрение, которое питали три тысячи лет истории его народа, и внутреннюю убежденность, что вы существо низшего порядка. Он был глух и слеп в вашем доме, потому что нисколько не интересовался вами. Говорят, некий джентльмен решил испытать своего невозмутимого слугу и условился с женой, что в один прекрасный день, притворившись взволнованным, подробно расскажет в присутствии смышленного слуги-китайца о том, что совершил



убийство. Так он и сделал. Китаец даже бровью не повел и никак не проявил ужаса или удивления; он невозмутимо делал свое дело. К сожалению, упомянутый джентльмен для усиления эффекта добавил, что ему остается только перерезать себе горло. При этих словах Джон незаметно выскользнул из комнаты. Хозяин был в восторге от успеха своего опыта, как вдруг дверь открылась и вошел Джон; он принес хозяйскую бритву, невзначай, точно забытую вилку, положил ее возле прибора хозяина и преспокойно продолжал прислуживать за столом. На мой взгляд, эта история совершенно невероятная и весьма плоская, ибо исходит из предположения, что китаец может хоть чем-то заинтересоваться. Лично я не знал среди них ни одного, кто проявил бы такое участие и принес бритву.

Его молчаливость и сдержанность порой можно было принять за грубость, хотя он всегда был очень вежлив.

— Я вижу, ты выполнил все точно, как я приказала,— заявила одна дама, когда после длинного нравоучения слуга исполнил ее приказ.— Вот и отлично.

— Да,— спокойно ответил Джон,— вы все говорила, слишком много говорила...

— Лин всегда так вежлив,— отзывалась другая дама о своем поваре.— Только зачем он каждый вечер кричит мне визгливым голосом «Спокойной ночи, Джон!»

Она не поняла, что слуга просто повторял ее собственные слова и с удивительным талантом безжалостно подражал ее тону и голосу. Я не стану пересказывать ходившие тогда бесконечные анекдоты об ошибках, вызванных этой привычкой подражать; рассказывали о китайце, который, приняв белье в стирку, срезал все пуговицы с сорочек, чтобы они были похожи на ту, которую прислали ему для образца, «как надо стирать»; или о незадачливом хозяине: обучая Джона, как обращаться с ценным фарфором, он имел несчастье уронить тарелку — старательный ученик, мгновенно повторил этот жест и тотчас же разбил другую тарелку, стараясь в меру своих скромных сил подражать хозяину. Он даже воскликнул: «Ух, селт побели!»

Я уже говорил о чистоплотности китайцев. Мне могут напомнить о нескольких исключениях, но объясняется это, я полагаю, усердием не по разуму. Китаец по-

своему взбрызгивал вещи перед глаженьем. Он набирал в рот чистой воды из стакана, затем, делая долгий выдох, быстрым движением губ посылал почти невидимое облако водяной пыли и опрыскивал лежащую перед ним вещь. Сначала это казалось ужасным и даже оскорбительным для чувств многих хозяев-американцев; но в конце концов все примирились и даже стали рекомендовать этот способ как наилучший. Но каково же было хозяйке дома, когда она, восхищаясь тем, как ровно лежит соус на блюде, слышала от повара радостное заверение, что это сделано «тем же способом».

Главным развлечением китайца в ту пору были азартные игры, так как театр, где ставились бы китайские пьесы (каждая тянулась месяцами и изображала исторную целых династий), еще не был построен. Зато к его услугам были фокусники, время от времени выступавшие и в американских театрах. Мне вспоминается одно занятное происшествие, связанное с выступлением таких заезжих артистов. Труппа была приглашена в театр, так как славилась среди китайцев, и дирекция не позаботилась устроить пробное выступление. Театр был заполнен солидной и респектабельной публикой, были и дамы. Но в середине представления зал вдруг опустел; дали занавес, и директор, встревоженный, весь красный, пролепетал какие-то извинения перед пустыми скамьями, после чего прерванный спектакль уже не возобновился. Ни из газетных отчетов, ни из опубликованного дирекцией извинения так и нельзя было понять, что же произошло. Беспутный Сан-Франциско веселился, и суть происшедшего была афористически выражена следующим образом: «В Сан-Франциско нет ни одной женщины, которая побывала бы на этом спектакле, и ни одного мужчины, который бы там не был». Однако даже самые ярые ненавистники Джона соглашались, что он не повинен в каком-либо злом умысле.

Не было его вины и в другом случае, который, пожалуй, оказался более поучительным и навсегда лишил китайцев славы замечательных лекарей. Разнесся слух, что один китайский врач, практиковавший исключительно среди своих соплеменников, добился вдруг чудодейственного излечения двух или трех американцев. Без всякой рекламы, подстегиваемые, очевидно, лишь собственным

любопытством, его вдруг начали осаждать страдальцы, жаждущие исцеления. Сотни пациентов тщетно пытались проникнуть в его переполненную приемную. Двое переводчиков трудились день и ночь, объясняя новому медицинскому оракулу жалобы недужного Сан-Франциско; в обмен на звонкую монету они раздавали его лекарства—порошки в маленьких коробочках. Тщетно профессиональные медики доказывали, что китайцы не имеют высшего медицинского образования и что их религия, запрещающая вскрывать и анатомировать трупы, естественно, ограничивает их познание функций организма, который они лечат своими лекарствами. Наконец, нашим врачам удалось получить список лекарств, известных в китайской фармакопее, и этот список негласно был распространен среди публики. По вполне понятным причинам я не смею поместить его на этих страницах. Но вот вывод, сделанный с обычным калифорнийским юмором: «Каковы бы ни были сравнительные достоинства китайской медицины перед американской, простое чтение этого списка показывает, что китайские средства вызывают ни с чем не сравнимый рвотный эффект». Горячка кончилась в один день; исчезли жрецы-переводчики со своим оракулом, не стало и табличек китайских врачей, которые множились со дня на день, и в одно прекрасное утро Сан-Франциско проснулся исцеленным от своего безумия, стоившего ему не одну тысячу долларов.

Мое вольное бродяжничество не уведило меня за пределы города по той простой причине, что за городом деться было некуда. С одной стороны к Сан-Франциско подступали вечно бегущие, однообразные в своем непостоянстве волны залива, с другой — до самого берега Тихого океана тянулась гряда таких же непостоянных и однообразных в своем движении песчаных дюн. Две дороги пересекали эту пустыню: одна вела к кладбищу на Одинокой горе, вторая — к «Дому среди скал» — эту дорогу метко называли «восьмимильным штопором с коктейлем на конце». Но юмор не ограничивался этой удачной остротой. Дом среди скал — не то ресторан, не то просто салун — выходил на океан к Тюленьей скале, где всеобщий интерес привлекали играющие тюлени; отсюда и особая эмблема заведения. На всех кувшинах, бока-

лах, рюмках были выгравированы старинным шрифтом буквы «L. S.» (Locus Sigilli)— тюленье лежбище.

Другая дорога приводила к Одинокой горе — этот угрюмый мыс врезался в бухту Золотые Ворота; удивительной красоты закаты не смягчали гнетущую таинственность этого места. Здесь находили последнее прибежище счастливы и неудачники, здесь памятники с высеченными на них именами сильных мира сего и немые, голые надгробья безвестных лепились рядом на песчаных склонах. Я видел, как хоронили уважаемых граждан, мирно скончавшихся в своих постелях, и отчаянных головорезов, погибших от пули или ножа; и тех и других провожала толпа рыдающих друзей и часто отпевал один и тот же священник. Но страшной безнадежного одиночества было полное отсутствие покоя и мира на этой мрачной пустынной возвышенности. По какой-то злой иронии судьбы ее местоположение и климат словно олицетворяли изменчивость и непокой. Вечные пассаты разметывали и уносили сухой песок, обнажали гробы первых поселенцев, хоронили под всепоглощающими песчаными волнами венки и цветы на свежих могилах. Ничто не могло расти под этими ветрами: ни деревца, чтобы защитить могилы от зноя, ни травинки, чтобы противостоять предательскому вторжению песков. Мертвых даже в могилах преследовало и мучило немилосердное солнце, неустанный ветер, неугомонные волны. Опечаленные близкие уходили, и на их глазах двигались дюны и менялся самый контур горы; и последнее, что видел взор, были торопливые, жадные волны, вечно спешащие к Золотым Воротам.

Если меня спросят, что же самое главное, самое характерное для Сан-Франциско, я отвечу: неизменные его спутники — солнце, ветер и море. Мне порой чудилось — пусть я ошибался, — что это и есть те силы, что движут могучую, безостановочную жизнь города. Я не могу представить себе Сан-Франциско без пассатов; не могу представить, чтобы этот причудливый, многоликий, пестрый хоровод кружился под иную музыку. Они всегда ждут, как только я вспоминаю дни моей юности. А в мечтах о далеком прошлом, что обуревали меня в те годы, они казались мне таинственными «vientos generales»<sup>1</sup> и гнали домой филиппинские галеоны.

<sup>1</sup> Постоянные ветры (исп.).

С неизменным упорством они полгода дуют с северо-запада, а потом еще полгода — с юго-запада. Они появляются вместе с утром, веют в лучах назойливого солнца и поднимают Сан-Франциско ото сна; они дуют и в полдень, подхлестывая пульс его жизни; не утихают и ночью, гонят людей в постель с мрачных улиц, освещенных неровным газовым светом... С наветренной стороны они оставляли свою печать на каждой улице, на каждом заборе и коньке крыши, на далеких песчаных дюнах; они подгоняли медлительные каботажные суда, торопя их домой и выгоняя снова в море. Они вздымали и баламутили воды бухты на пути к Контра-Коста — туда, где прибрежные дубы с наветренной стороны были подстрижены так аккуратно и ровно, словно над ними поработали садовые ножницы.

Сами не зная устали, они не терпели бездельников; они жали жителя Сан-Франциско от стены, к которой он норовил прислониться: прогоняли из скудной тени, куда он прятался в полуденный час. Самый маленький костер они раздували в огромный пожар и всегда держали людей в напряжении, в тревоге, настороже. А в награду они очищали город от мусора и содержали его в чистоте и порядке; летом они на несколько часов пригоняли редкие туманы с моря, увлажняя пересохшую, шершавую землю; зимой приносили дожди, которые усеивали цветами весь берег, а давящее небо покрывали мягкими, непривычными облаками. Они всегда были здесь — могучие, недремлющие, беспощадные, вездесущие, непобедимые и торжествующие.

## УКРАДЕННЫЙ ПОРТСИГАР

*Ар-р Ко-н Д-йль*

Я застал Хемлока Джонса дома в его старой квартире на Брук-стрит: он, задумавшись, сидел у камина. С бесцеремонностью старого друга я сразу же привычно распростерся у его ног и ласково погладил ему ботинок. Сделал я это по двум соображениям: во-первых, чтобы лучше видеть его поникшее, сосредоточенное лицо, а во-вторых, дабы нагляднее выразить почтительное восхищение его сверхчеловеческой прозорливостью. Но он был настолько поглощен разгадыванием какой-то тайны, что, казалось мне, не заметил моего появления. Однако я ошибся, как и всегда, когда пытался постичь этот могучий ум.

— Идет дождь,— промолвил он, не подымая головы.

— Значит, вы выходили на улицу? — спросил я.

— Нет. Но я вижу, ваш зонт мокр, и на пальто у вас я разглядел капли влаги.

Я был потрясен его пронизательностью. Он помолчал и небрежно добавил, чтобы уже больше к этому не возвращаться:

— Кроме того, я слышу, как дождь барабанит по окнам. Прислушайтесь.

Я прислушался. Мне трудно было поверить собственным ушам, но действительно по стеклам глухо, но отчетливо ударили дождевые капли. Воистину, ничто не могло укрыться от этого человека!

— Чем вы были заняты последнее время? — спросил я, переводя разговор на другую тему. — Какая еще удивительная загадка, оказавшаяся не по зубам Скотленд-Ярду, занимала сей могучий интеллект?

Он слегка отдернул ногу, подумал, поставил ее обратно и скужающим тоном ответил:

— Пустяки, говорить не о чем. Заходил князь Куполи, советовался относительно исчезновения этих рубинов из Кремля. Путибадский раджа, понапрасну обезглавивший всех своих телохранителей, вынужден был все-таки прибегнуть к моей помощи в розысках драгоценного меча. Великая герцогиня Претцель-Браунцвигская желает выяснить, где находился ее муж в ночь на 14 февраля. А вчера вечером, — он понизил голос, — один жилец нашего дома, встретившись со мною на лестнице, спросил, какого черта ему так долго не открывали парадную дверь.

Я поневоле улыбнулся, но тут же спохватился, увидев, как нахмурилось его таинственное чело.

— Вспомните, — холодно проговорил он, — что именно благодаря таким вот, казалось бы, малозначащим вопросам мне удалось раскрыть, «Почему Поль Феррол убил свою жену», а также «Что произошло с Брауном»!

Я прикусил язык. Он помолчал минуту, потом в своем всегдашнем безжалостно-аналитическом стиле продолжал:

— Когда я говорю, что все это пустяки, я имею в виду, что это пустяки в сравнении с тем делом, которое занимает меня в настоящее время. Совершенно небывалое преступление, и жертва его, как это ни поразительно, — я сам. Вы потрясены, — продолжал он. — Вы спрашиваете себя, кто осмелился? Я тоже спрашивал себя об этом. Но как бы то ни было, преступное дело сделано. Меня ограбили!

— Ограбили — вас! Вас, Хемлока Джонса, Грозу Преступников? — срывающимся голосом воскликнул я, вскакивая и судорожно хватаясь за край стола.

— Да! Слушайте. Я не признался бы в этом никому на свете. Но вам, человеку, у которого на глазах протекала вся моя деятельность, человеку, который постиг мои методы, человеку, перед которым я приподнял завесу, скрывающую мои помыслы от простых смерт-

ных,— вам, кто столько лет внимал моим рассказам, восторгаясь моими рассуждениями и выводами; кто отдал себя всецело в мое распоряжение, сделался моим рабом, пресмыкался у моих ног; вам, кто лишился своей врачебной практики, сохранив сегодня лишь скудное и неуклонно сокращающееся число пациентов, которым вы, занятый мыслями о моих делах, не раз прописывали стрихнин вместо хинина и мышьяк вместо английской соли; вам, пожертвовавшему ради меня всем на свете,— вам я решил довериться!

Я вскочил и бросился его обнимать; но он был уже так поглощен размышлениями, что машинально полез в жилетный карман за часами.

— Садитесь,— промолвил он.— Хотите сигару?

— Я больше не курю сигар,— ответил я.

— Почему так? — спросил он.

Я замялся и, возможно, даже покраснел. Дело в том, что я отказался от привычки курить сигары, потому что при моей сократившейся практике они стали мне не по карману. Я мог себе позволить теперь только трубку.

— Мне больше нравится трубка,— со смехом сказал я.— Но расскажите о грабеже. Что у вас пропало?

Он поднялся, встал между мной и камином и, заложив руки под фалды фрака, несколько мгновений внимательно смотрел на меня сверху вниз.

— Помните портсигар, который подарил мне турецкий посол за то, что я узнал сбежавшую фаворитку Великого Визиря в пятой с краю танцовщице кордебалета в мюзик-холле «Хилэрити»? Вот он и пропал. Этот самый портсигар. Он был весь усыпан алмазами.

— Да, еще самый крупный из них — фальшивый,— добавил я.

— А,— сказал он с усмешкой,— так вам это известно?

— Вы мне сами говорили. Помнится, я тогда лишний раз восхитился вашей необыкновенной проницательностью. Господи, неужто вы его лишились?

— Нет,— ответил он, помолчав.— Портсигар украден, это правда, но я его найду. И найду сам, без чьей бы то ни было помощи. У вас, дорогой друг, когда один из ваших братьев по профессии серьезно заболевает, он не прописывает себе лечения сам, а зовет кого-



нибудь из своих коллег-докторов. У нас не так. Я возьму это дело в собственные руки.

— И можно ли сыскать руки надежнее?— горячо воскликнул я.— Портсигар уже все равно что у вас в кармане.

— К этому мы с вами еще вернемся,— сказал он небрежно.— А теперь, дабы вы убедились, как я доверяю вашим суждениям, несмотря на твердое намерение заниматься этим делом в одиночку, я готов выслушать ваши советы.

Он вытащил из кармана записную книжку и с мрачной усмешкой взялся за карандаш.

Я едва мог поверить собственным ушам. Он, великий Хемлок Джонс, спрашивает совета у такого ничтожества, как я! Я почтительно поцеловал ему руку и весело начал:

— Прежде всего я поместил бы объявление в газете, предлагая награду тому, кто возвратит пропажу. Написал бы от руки и расклеил такие объявления в окрестных пивных и чайных. Потом обошел бы антикваров и закладчиков. Сообщил бы в полицию. Опросил слуг. Тщательно обыскал бы весь дом и собственные карманы. То есть,— пояснил я со смехом,— я имею в виду *ваши* карманы.

Он с серьезным видом записывал.

— Да вы, возможно, все это уже проделали? — заключил я.

— Возможно,— загадочно отозвался он.— А теперь, мой дорогой друг,— продолжал он, кладя записную книжку в карман и подымаясь со стула,— извините меня, но я принужден ненадолго вас оставить. Я скоро вернусь, вы же пока будьте как дома. Может быть, здесь,— он повел рукой в сторону заставленных разнообразнейшими предметами полок,— что-нибудь вас заинтересует и поможет вам скоротать время. Вон там, в углу, трубки и табак.

И, кивнув мне все с тем же непроницаемым видом, Джонс вышел из комнаты. Я был слишком хорошо знаком с его методами, чтобы принять близко к сердцу его столь бесцеремонный поступок,— было очевидно, что он спешил проверить какую-то блестящую догадку, внезапно родившуюся в его деятельном мозгу.

Оставленный наедине с собой, я окинул взглядом его шкафы. На полках стояли стеклянные баночки, наполненные каким-то темным веществом. Как явствовало из этикеток, то был «сор с мостовых и тротуаров» всех главных улиц Лондона и пригородов, предназначавшийся «для определения следов». Еще там были баночки с надписью «Пыль с сидений городских омнибусов и конок», и «Пеньковые и кокосовые волокна из половинок в общественных местах», «Окурки и обгорелые спички из зрительного зала театра «Палас», ряд А, места с 1-го по 50-е». Здесь все свидетельствовало о необычайной методичности и прозорливости этого удивительного человека.

Я стоял и смотрел — вдруг послышался легкий скрип двери. Обернулся: в комнату входит некто неизвестный. Это был человек грубого вида в поношенном пальто и уж совсем неприличном кашне, обмотанном вокруг шеи и закрывавшем нижнюю часть лица. Возмущенный его вторжением, я уже готов был наброситься на него с резкими упреками, но он сиплым голосом виновато буркнул что-то насчет того, что ошибся номером, вышел, шаркая подошвами, вон и закрыл за собой дверь. Я поспешил вслед за ним на площадку, но он спустился по лестнице и пропал. Мысли мои были заняты украденным портсигаром, и появление незнакомца очень меня беспокоило. Я знал привычку моего друга по внезапному наитию исчезать из дому; вполне могло случиться, что, сосредоточив свой могучий интеллект и гениальную проникаемость на какой-то одной проблеме, он не подумал о собственном имуществе и упустил из виду какую-нибудь элементарную меру предосторожности, например, забыл запереть ящики письменного стола. Я попробовал — так и оказалось, хотя один из них почему-то до конца не выдвигался. Скобы ящиков были выпачканы чем-то липким, словно их касались грязные руки. Зная скрупулезную чистоплотность Хемлока, я решил сразу же обратить его внимание на это обстоятельство, но, к сожалению, забыл и вспомнил лишь тогда... но не будем забегать вперед.

Его отсутствие непонятно затягивалось. Я уселся перед камином и, убаюканный теплом и дробным стуком дождя по окну, уснул. Вероятно, мне приснился сон, потому что сквозь дремоту мне чудились чьи-то руки, осто-

рожно шарящие по моим карманам,— сновидение, несомненно, навеянное мыслями о краже. Когда я совершенно очнулся, Хемлок Джонс сидел напротив меня у камина, устремив на огонь сосредоточенный взор.

— Вы так сладко спали, когда я пришел, что у меня не хватило духу вас потревожить,— сказал он с улыбкой.

Я протер глаза.

— Что нового? — спросил я.— Как ваши успехи?

— Лучше, чем я ожидал,— ответил он.— И думается мне,— добавил он, похлопав рукой по записной книжке,— я многим обязан вам.

Глубоко польщенный, я ждал подробностей. Но он молчал. Я должен был бы помнить, что, поглощенный работой, Хемлок Джонс был сама скрытность. Я рассказал ему о странном посещении, но он только посмеялся.

Позднее, когда я собрался уходить, он игриво посмотрел на меня и сказал:

— Будь вы человеком женатым, я посоветовал бы вам прежде, чем возвращаться домой, почистить сюртук. С внутренней стороны рукава и под мышкой к нему пристало несколько коротких волосков, словно ваша рука недавно нежно обнимала кого-то в котиковой шубке.

— На этот раз, представьте, вы не угадали,— с торжеством сказал я.— Как легко можно заметить, это мои собственные волосы. Я сегодня был в парикмахерской и, должно быть, высунул руку из-под простыни.

Он слегка нахмурился, однако, когда я повернулся к дверям, тепло меня обнял — редкое проявление дружеских чувств у этого каменного человека. Он даже подал мне пальто и тщательно пригладил клапаны моих карманов. С особой заботливостью он помог мне просунуть руку в рукав, придерживав своими ловкими пальцами пройму и обшлаг.

— Заходите,— сказал он, хлопнув меня по спине.

— В любое время дня и ночи,— откликнулся я с жаром.— Мне нужно только по десять минут два раза в день, чтобы перекусить у себя в кабинете, и четыре часа в сутки на сон, остальное мое время, как вы отлично знаете, всецело в вашем распоряжении.

— О да, я знаю,— промолвил он, загадочно усмехаясь.

Однако, когда я в следующий раз к нему зашел, его не было. Через несколько дней я встретил его под вечер неподалеку от моего дома наряженным в один из его излюбленных костюмов — синий фрак с длинными фалдами, светлые брюки в полоску, широкий отложной воротник и белая шляпа, а лицо густо вымазано сажей и в руке бубен. Разумеется, для посторонних он был в этом обличье неузнаваем, но мне-то были знакомы все его перевоплощения, и потому я, не подав и вида, прошел мимо, как было у нас издавна заведено, уверенный, что вскоре все объяснится. Через некоторое время, направляясь к больной жене одного трактирщика в Ист-Энде, я опять заметил моего друга: переодетый бедняком мастеровым, он разглядывал витрину закладной лавки по соседству. Как видно, он и в самом деле следует моему совету, подумал я и страшно обрадовался, так что даже не удержался и подмигнул ему. Он с непроницаемым видом подмигнул мне в ответ.

Два дня спустя я получил от него записку — он назначал мне прийти к нему в тот же вечер. Эта наша встреча была самым незабываемым событием в моей жизни, но — увы! — то была моя последняя встреча с Хемлоком Джонсом. Попытаюсь как можно спокойнее изобразить всю сцену, однако и сейчас при воспоминании о ней у меня начинается сердцебиение.

Я застал его стоящим перед камином с тем выражением на лице, которое до этого видал у него только раз или два, — абсолютная взаимосвязь индуктивного и дедуктивного хода мысли отразилась в его чертах, лишив их всяких следов человечности, сочувствия, доброты. То был просто холодный алгебраический символ. Концентрация всего его существа была столь велика, что одежда свободно болталась у него на плечах, а голова так сжалась вследствие компрессии мысли, что шляпа налезла прямо на большие оттопыренные уши.

Лишь только я вошел, он запер двери и окна и даже задвинул стулом камин. Я с глубоким интересом наблюдал за этими приготовлениями, как вдруг он вытащил револьвер, приставил к моему виску и ледяным тоном произнес:

— А ну, отдавайте портсигар!

Как ни обескуражен я был, я ответил просто, необдуманно и правдиво:

— У меня его нет.

Он горько усмехнулся и отшвырнул револьвер.

— Другого ответа я и не ждал! Но сейчас я употреблю против вас оружие, куда более страшное, убийственное, беспощадное и убедительное, чем какой-то шестизарядный револьвер,— неоспоримые индуктивные и дедуктивные доказательства вашей вины!

Он извлек из кармана пачку бумаг и записную книжку.

— Дорогой Джонс,— сказал я срывающимся голосом.— Вы, конечно, шутите? Не может же быть, чтобы вы всерьез...

— Молчать! Сядьте!

Я повиновался.

— Вы сами разоблачили себя,— продолжал он неумолимо.— Вы разоблачили себя с помощью моих же методов, методов, которые вам издавна знакомы, которыми вы так восхищались, которые признаете непогрешимыми! Вернемся к тому времени, когда вы впервые увидели мой портсигар. Выражения, вами тогда употребленные,—холодно и неторопливо говорил он, заглядывая в свои бумаги,— были таковы: «Какая красота!» и «Вот бы мне такой!» Это был ваш первый шаг на пути к преступлению—и это моя первая улика. От мысли: «Вот бы мне такой!» к помыслу: «Хорошо бы он был моим!» и, наконец, к решению: «Он будет мой!» всего лишь один шаг. Молчать! Но поскольку, согласно моей теории, побуждение к преступлению должно быть неодолимым, вашего неприличного восторга перед какой-то побрякушкой недостаточно. Вы к тому же еще курите сигары.

— Но ведь я сказал вам,— воскликнул я,— что бросил курить сигары!

— Глупец! — холодно проговорил он.— Это и есть ваш второй промах и моя вторая улика. Разумеется, вы мне это сказали. Естественно, что вы пытались отвести от себя подозрение, состряпав эту шитую белыми нитками ложь. Однако, как я уже сказал, даже вашей жалкой попытки замести следы мне было недостаточно. Я должен был найти воистину непреодолимую побудительную силу, могущую воздействовать на такого человека, как вы.

И я эту силу нашел. Я угадал ее в глубочайшем из человеческих импульсов — я полагаю, у вас это называется «любовь», — горько добавил он, — угадал в тот вечер, когда вы ко мне приходили! Вы принесли с собой на рукаве самое неоспоримое доказательство.

— Да ведь... — Я чуть не плакал.

— Молчать! — загремел он. — Знаю, что вы скажете. Вы не понимаете, каким образом, даже если вы и обнимали некую «Юную особу в котиковой шубке», каким образом это может быть связано с кражей портсигара? Позвольте сказать вам, что котиковая шубка воплощает в себе всю глубину и гибельность вашей роковой привязанности! Вы променяли на нее свою честь: украденный портсигар дал вам возможность купить котиковую шубу! Молчать! Выяснив мотивы вашего преступления, я теперь перехожу к способу, каким оно было осуществлено. Простые смертные с этого бы начали, они попытались бы прежде всего обнаружить местонахождение пропавшего предмета. Мои методы не таковы.

Логика его была столь сокрушительна и неотразима, что я, хоть и знал свою невиновность, облизнулся от удовольствия, предвкушая дальнейший рассказ о раскрытии моего преступления.

— Вы совершили кражу в тот же вечер, когда я впервые показал вам портсигар, а потом небрежно бросил его вон в тот ящик. Вы сидели вот в этом кресле, а я встал и подошел к полке. В тот же миг вы завладели своей добычей, даже не вставая с кресла. Молчать! Помните, как я подавал вам однажды вечером пальто? Я еще так старательно помогал вам просунуть руку в рукав. Так вот, в это время я успел измерить рулеткой длину вашей руки от плеча до запястья. Визит к вашему портному на следующий день подтвердил мои измерения. Как я и думал, длина вашей руки *в точности равна расстоянию от кресла до этого ящика!*

Я был потрясен.

— Все прочее — лишь детали, подтверждающие мое умозаключение. Я застал вас открывающим этот же ящик. Вы удивлены? Неизвестный в рваном кашне, по ошибке забредший в эту квартиру, был я сам! Мало того, прежде чем нарочно оставить вас здесь одного, а намазал скобу ящика мылом, а когда, прощаясь, я пожал вам

руку, ваши пальцы были мыльные! Пока вы спали, я осторожно ощупал на всякий случай ваши карманы. Когда вы уходили, я вас обнял и прижал к себе — чтобы выяснить, не носите ли вы с собой портсигар или иной какой-либо предмет под рубашкой. При этом я окончательно убедился, что вы уже успели снести его в заклад, добывая средства для приобретения того, о чем я вам уже говорил. В надежде, что вы еще раскаетесь и во всем признаетесь сами, я нарочно дважды являлся вам на глаза, чтобы вы поняли, что я напал на ваш след; один раз в обличье странствующего негра-музыканта, а второй — под видом рабочего, заглядывающего в витрину закладчика, к которому вы снесли свою добычу.

— Но если бы вы спросили его самого, вы сразу увидели бы, как несправедливо... — попробовал было я возражать.

— Глупец! — прошипел Джонс. — Ведь это было ваше предложение — опросить закладчиков! Неужели вы думаете, я следовал вашим советам — советам вора? Напротив, они показывали мне, от чего следует воздержаться.

— И вы, конечно, даже у себя в ящике не посмотрели? — с горечью сказал я.

— Нет, — спокойно ответил он.

Тут я впервые не на шутку разозлился. Я подошел к столу и дернул ящик. Он, как и прежде, выдвинулся лишь наполовину. Я потряс его хорошенько — было ясно, что какой-то предмет прочно застрял в глубине ящика и удерживает его. Я просунул туда руку, пошарил и вытащил мешавший предмет. Это был... пропавший портсигар! С радостным возгласом я обернулся к моему другу.

Но, увидев его лицо, я оторопел. Его острый, пронзительный взгляд был исполнен невыразимого презрения.

— Я ошибся, — медленно проговорил он. — Я не принял в расчет вашей трусости и малодушия! Даже как о преступнике я был о вас слишком высокого мнения! Теперь я понимаю, зачем вы в тот вечер пытались открыть ящик. Каким-то необъяснимым способом — вероятнее всего, путем еще одной кражи — вы вернули портсигар

из заклада и, поджав хвост, как побитая собака, бездарно и подло вернули его мне! Хотели обмануть меня — меня, Хемлока Джонса! Мало того, вы хотели бросить тень на мою непогрешимость. Ступайте! Я не стану приглашать сюда трех полисменов, которые ждут в соседней комнате. Но — прочь с глаз моих навсегда!

Я не мог прийти в себя от недоумения и стоял столбом. Он подошел ко мне, решительно взял меня за ухо, вывел на лестницу и захлопнул дверь. Тотчас же она опять приотворилась, в щель были выброшены мои калоши, пальто, шляпа и зонт, после чего дверь снова захлопнулась у меня перед носом, теперь уже окончательно.

Больше я его никогда не видел. Должен сказать, однако, что после этого случая мои дела заметно поправились, практика моя опять разрослась и кое-кто из пациентов даже стал выздоравливать. Я купил коляску и дом в Вест-Энде. Но часто, вспоминая сказочную пронизательность этого удивительного человека, я думаю: может, в каком-то приступе беспамятства я и в самом деле украл у него портсигар?



## ГОРНЫЙ МЕРКУРИЙ

Жаркое солнце стояло в зените над Сундук-горой. Лучи его падали отвесно, лишь кое-где под карликовыми соснами можно было найти скудный клочок тени, и Леонид Бун, стараясь укрыться от жары, скорчился под одной такой сосенкой, как под зонтиком. Изредка, по мальчишескому своенравию, он выставлял босую ногу за четкую границу тени, под палящие лучи, и, ожегшись, вновь с наслаждением ее подбирал. Можно было без труда найти более тенистое убежище: ведь позади, на склоне горы, вставали уже не карликовые, а настоящие могучие сосны,— но Леонид был упрям и суверен, как все мальчишки, а пожалуй, многих бы в этом и перешеголял. С самого начала, осторожно забравшись под свою карликовую сосенку, он твердо решил, что не уйдет отсюда, пока тень ее не доползет вон до того камешка на бегущей мимо тропе. Почему он так решил, Леонид и сам не знал, но теперь он видел в этом долг чести и готов был исполнить его с отвагой и стойкостью юного Касабьянки<sup>1</sup>. Руки и ноги у него затекли, пыль и сосновые иглы щекотали его и кололи, сидеть скорчившись было страх как неудобно, но он не сдавался! Ближнюю сосну долбил дятел — терпеливо, размеренно: постучит, затихнет, еще постучит... конечно же, это не простой стук, а условный, какой-то птичий телеграф! Золотисто-зеленая ящерица метнулась у самой ноги

---

<sup>1</sup> Герой хрестоматийного стихотворения американской поэтессы XIX века Ф. Хеман.

мальчика и вдруг оцепенела и застыла, точь-в-точь как он сам. А он все равно не шевелился! Тень медленно подползла к заветному камешку и наконец коснулась его. Леонид вскочил, отряхнулся — теперь можно идти по делу! А дело у него было несложное — дойти до почтовой конторы, что на перекрестке в какой-нибудь миле от дома. Половина пути уже пройдена. Правда, шел он не слишком прямой дорогой, но не потратил и часа.

И он пошел дальше, только раз свернул в сторону по свежему следу кролика, но через несколько сот шагов оказалось, что ушастый беглец дважды петлял, уходя от погони, и тогда, понятно, пришлось заняться другими следами: надо ж было узнать, кто за этим кроликом гнался. Еще раз — правда, только на минуту — Леонид замешкался, чтобы постучать по стволу сосны, на которой трудился дятел, — нарочно, чтоб тот прервал работу. Так оно и вышло. Восстановив таким образом связь с природой, Леонид заметил, что одно из писем, которое он нес за пазухой на почту, неведомо как проскользнуло под рубашкой ниже пояса и вот-вот выпадет из штанины на тропинку. Тут он вытащил из-за пазухи остальные письма, пересчитал, и оказалось — одного недостает. Ему дали опустить четыре, а тут только три. Вот большой конверт, надписанный отцовской рукой, вот два обыкновенных, ничем не примечательных — от матери, но был еще конвертик — письмо сестры, а его-то и нету! Ничуть не огорченный, Леонид преспокойно пошел обратно той же дорогой; лицо у него было мрачное, но он явно наслаждался, повторяя все недавние петли и зигзаги, и между делом поглядывал, не видать ли где пропавшего письма. Посреди этого неторопливого странствия его вдруг осенило. Он пошел к той карликовой сосенке, под которой раньше прятался от солнца, и там нашел потерянный конверт. Письмо выскользнуло, когда он встал и отряхнулся. Леонид не так уж и обрадовался. Никто не оценит, что он дал себе труд вернуться за этим письмом и так ловко угадал, где надо искать пропажу. Он вздохнул тяжелым вздохом непризнанного гения и опять повернул к почте. Теперь он нес письма на виду, прямо в руке.

И вдруг кто-то окликнул его:

— Послушай!

Голос был нежный и звонкий, и звал кто-то незнакомый, потому что окликнули не как обычно — «А, Леонид!» или просто «Эй!». Он как раз поравнялся с небольшой поляной, огороженной невысоким забором из очищенных от коры деревьев. За оградой виднелся белый домик. Леонид хорошо его знал. Это был дом управляющего шахтой, и недавно управляющий сдал его каким-то приезжим из Сан-Франциско. Все это Леонид слышал от родных. Как все мальчишки — жители гор, он презирал горожан и несколько ими не интересовался. Но когда его окликнули, ему стало немного не по себе. Может быть, выслеживая кролика, он нечаянно забрел в чужие владения? Или кто-нибудь видел, как он потерял письмо и возвращался за ним? Взрослые все заодно, чуть что — всегда его выдают! Он сдвинул брови и огляделся. И за забором увидел наконец того, кто его звал.

Как ни странно, это была женщина — хорошенькая, нежная, хрупкая, будто вся из муслина и кружев; она стояла в узорчатой тени каштана, облокотясь о верхнюю поперечину забора и переплетя пальцы.

— Поди сюда, пожалуйста, — приветливо попросила она.

Даже если бы Леонид и хотел послушаться, устоять перед ее голосом было невозможно. Он доверчиво подошел к забору. Женщина и правда была очень хорошенькая, глаза совсем как у его сеттера и такие же ласковые. А когда она разговаривала, у тонко вырезанных ноздрей и у губ появлялись нежные морщинки и складочки — наверно, это и называется «выражение».

— Я... я... — начала она с очаровательной нерешительностью. — А как тебя зовут?

— Леонид.

— Леонид? Какое милое имя! — (Он подумал, что у нее это и правда прозвучало очень мило.) — Вот что, Леонид, пожалуйста, будь умницей и сделай мне одолжение... большое-большое одолжение.

Лицо у Леонида вытянулось. Знаем мы такие подходы и предисловия. После этого обычно требуют: «Обещай, что никогда больше не станешь ругаться!» или: «Обещай, что сейчас же пойдешь и умоешься».

или еще как-нибудь некстати суются в его личные дела. Да, такое Леониду говорили многие, но ни у кого он не видал таких глаз. И он ответил чуть застенчиво, но искренне:

— Хорошо, мам.

— Ты идешь на почту?

Очень глупый вопрос, только женщина может так спросить — видно же, что у человека в руках письма. Но Леонид ответил:

— Ага.

— Захвати и мое письмо и отправь вместе со своими, — сказала она, подняла маленькую руку к груди и вытащила из кружев письмо. Леонид заметил — она нарочно держит конверт так, чтоб он не мог прочесть адрес; а рука у нее крохотная, тонкая, белая, даже немножко голубая, не то что у его сестры или у годовалого братишки, — таких рук он и не видал никогда.

— А ты умеешь читать? — вдруг спросила женщина и отдернула письмо.

Леонид даже покраснел.

— Ясное дело, умею, — сказал он гордо.

— Да-да, ясное дело, — поспешно повторила она и прибавила с озорной улыбкой: — Но это ты читать не станешь. Обещай мне! Дай слово, что не прочтешь адрес, а просто отправишь письмо, опустишь в почтовый ящик вместе со своими.

Леонид с готовностью пообещал — надо же поднимать столько шуму из-за пустяков! Наверно, это какая-то игра, или, может, она побилась с кем-нибудь об заклад. Леонид протянул смуглую руку, и женщина, все так же держа свое письмо адресом книзу, вложила его между остальными конвертами. При этом она мягкими пальчиками коснулась пальцев Леонида, и на них словно остался теплый след.

— Обещай мне еще одну вещь, — прибавила она. — Обещай, что никому ни слова про это не скажешь.

— Ну, ясно! — ответил Леонид.

— Вот умница! Я знаю, ты свое слово сдержишь.

Она чуть помедлила, испытующе, с улыбкой глядя на Леонида, и протянула ему новенькую блестящую монету в полдоллара. Мальчик попятился.

— Не надо, — смущенно сказал он.

— Не возьмешь? Даже от меня в подарок?

Леонид покраснел — он и правда был гордый; при-  
том такое огромное богатство не скроешь, дома пойдут  
опасные расспросы. Но объяснять это не хотелось, и он  
только сказал:

— Не могу я.

Она посмотрела с любопытством.

— Ну тогда... спасибо тебе! — Она протянула ему  
белую руку, и мальчику показалось, будто он мгновенье  
держал в ладони живую пичужку. — А теперь беги, я  
и так тебя задержала.

Она отошла от забора и очень мило помахала ему на  
прощанье. С грустью и с облегчением Леонид поспешил  
прочь.

До самой почты он бежал бегом, чего с ним раньше  
не бывало. Верный слову, он даже не взглянул на ее  
письмо да и на свои больше не посмотрел, так и нес их  
в руке наотлете. Никуда не сворачивая, он прошел на  
почту, направился прямоком к ящику и опустил туда дра-  
гоценное послание вместе с остальными письмами. Поч-  
та, в сущности, была не просто почта, а еще и лавка,  
и, когда Леонида сюда посылали, он любил повертеть-  
ся среди мешков с сахаром, подышать бодрящими  
запахами сыра и кофе. Но сегодня его визит был более  
чем кратким — молниеносным, и даже сам почтмейстер  
вслух заметил, что «старик Бун, видно, задал Леониду  
хорошую порку». А меж тем такая спешка объяснялась  
куда проще: мальчику хотелось поскорей вернуться к той  
ограде и к прекрасной незнакомке — вдруг она еще не  
ушла в дом? Но когда он, запыхавшись, добрался до  
поляны, под каштаном уже никого не было, и он при-  
уныл. Медленно, печально и несмело шел он мимо забо-  
ра, за которым не видно было никаких признаков жиз-  
ни. Однако почти тотчас возле дома, среди лавровых  
кустов, мелькнуло что-то белое. То была она — словно не  
замечая его, она неторопливо шла прочь, туда, где про-  
сека сходилась с дорогой. Но он знал, что эта тропин-  
ка приведет ее к тому месту, где кончается забор, и  
ему тоже этого места не миновать. Так оно и вышло.  
Она обернулась к нему с ослепительной, притворно изум-  
ленной улыбкой.

— Какой ты быстроногий — настоящий Меркурий!

Леонид отлично понял, что она хочет сказать. Ведь Меркурий — это по-научному ртуть, а она уж какая быстрая! Сколько раз он ронял капельку-другую на пол и смотрел, как разбегаются крохотные серебряные шарики. А она, значит, тоже это заметила — вот какая смекалистая, не то что его сестры! У него дух занялся от удовольствия.

— Письмо-то я ваше опустил! — выпалил он наконец.

— И никто не видел?

— Лопни мои глаза, ни одна душа! Почтмейстер хотел взять письма, а я прикинулся, будто не вижу, и сам опустил.

— Да ты не только добрый, ты еще и хитрый, — с улыбкой сказала женщина. — А теперь у меня к тебе еще одна, последняя просьба: забудь обо всем этом, хорошо?

Удивительно ласковый был у нее голос. Наверно, поэтому Леонид сказал храбро:

— Ладно, мэм, только уж вас-то я не забуду!

— Вот это комплимент! Сколько тебе лет?

— Скоро пятнадцать, — признался Леонид.

— Почти уже взрослый, — лукаво сказала она и посмотрела на него с любопытством. — Что ж, не забывай меня. Напротив, вспоминай почаще, мне это будет приятно. Прощай, нет, до свиданья, ведь ты будешь меня вспоминать, Леон.

— До свиданья, мэм.

Она отошла от забора и вскоре скрылась среди лавров, но ее последние слова все еще звучали у него в ушах. Леон! Для краткости все называли его просто Ли. Леон — у нее это очень славно получается.

Он пошел дальше. И тут оказалось, что их расставание не осталось незамеченным: сверху по дороге бежали его старшая сестра и младший братишка, уж конечно, они с горы все видели. Вечно суют нос в его дела!

Они сгорали от любопытства.

— Ты говорил с той женщиной? — запыхавшись от бега, спросила сестра.

— Она первая заговорила, — возразил Леонид.

— А что она сказала?

— Спрашивала про выборы, чего там нового, и я ей объяснил, — без зазрения совести соврал он.

Дурацкая выдумка, но они ее приняли за чистую монету.

— А какая она, Ли? Расскажи скорей! — потребовала сестра.

Леонид с великой радостью описал бы, какая она милая, какие у нее красивые руки — белые, мягкие, какие славные складочки у губ и ласковые, сияющие глаза, а платье совсем воздушное, прямо, как у ангела, и голос нежный, так и звенит. Но Леонид не привык никому поверять свои чувства, да и какой нормальный мальчишка в подобных делах станет откровенничать с собственной сестрой!

— Ты ж сама ее видела, — сказал он грубовато, уклоняясь от прямого ответа.

— Ну-у, Ли...

Но Ли был непреклонен.

— Поди и спроси ее, — сказал он.

— Ага, я знаю: ты ей надерзил, а она тебя отругала! — закинула удочку сестра.

Но даже этот коварный намек, над которым он мог бы с презрением посмеяться, не вызвал Леонида на откровенность, и хитроумные допросчики удалились ни с чем.

Но это не избавило Леонида от новых разговоров о прекрасной незнакомке: конечно, сестра и братишка наядбдничали дома, что она с ним говорила, и за обедом ему было не так-то легко сдержаться и промолчать.

— Очень на нее похоже, — язвительно сказала мать. — Все выхваляется да жеманничает, а сама торчит у забора, как заправская служанка, да чешет язык со встречными и поперечными.

Леонида эти колкости не удивили и не слишком заделали, он знал, что новые соседи пришли к матери не по душе. Не огорчили его и простые житейские подробности, которые он тут впервые узнал. Его богиню зовут миссис Бэрроуз, ее муж — важный начальник на приисках Сундук-горы, заправляет там разными работами и командует партией золотоискателей. Он всегда обязан быть тут, на месте, поэтому и его жене пришлось отказаться от городских удобств и развлечений и переселиться сюда из Сан-Франциско, а здешняя нелегкая жизнь ей не в привычку, да и скучно. Все это Леонида не очень

занимало, для него миссис Бэрроуз была просто богиней в белом, богиня разговаривала с ним дружески и ласково, он оказал ей большую услугу, и теперь у них есть общая тайна — это так приятно и весело, просто чудесно! Юность верна собственным ощущениям, и рассудку, опыту, даже самой истине никогда ее не переспорить.

Итак, он не выдал их общую тайну, и несколько дней спустя, словно в награду, издали увидел ее, — она гуляла у себя в саду с каким-то человеком, это и был ее муж. Надо ли добавлять, что человек этот показался ему жалким ничтожеством, и не из-за каких-либо сторонних соображений, а просто оттого, что стоял рядом с богиней. И не только этим Леонид был вознагражден за свою верность: улучив минуту, когда муж отвернулся, богиня помахала ему рукой. Леонид не подошел ближе, его удержала застенчивость, притом чутье подсказывало ему, что этот человек не посвящен в их тайну. И он не ошибся: на другой же день, когда он шел на почту, миссис Бэрроуз подозвала его к забору.

— Ты видел, как я вчера тебе помахала? — приветливо спросила она.

— Да, мэм... — Он замялся. — Только я не подошел. Думал, может, вам это ни к чему, когда тут еще кто есть.

Она весело засмеялась, одной рукой сняла с него соломенную шляпу, а другой провела по его влажным выющим волосам.

— Леон, ты прелесть, в жизни не встречала такого умного и милого мальчика, — сказала она, наклонясь так, что ее хорошенькое личико оказалось вровень с его лицом. — Мне следовало об этом помнить, но, сказать по правде, я ужасно испугалась — вдруг ты не так поймешь меня, подойдешь и спросишь, не надо ли опустить еще письмо... при нем! — Последнее слово она произнесла с каким-то особенным выражением и даже в лице переменилась: ясные голубые глаза сверкнули колючим блеском, ноздри побелели и сузились, хорошенький ротик сжался и стал тонким и жестоким, точно у кошки. — Главное, ни слова ему! Никогда! Слышишь? — сказала она почти грубо. Но, увидев на лице мальчика тревогу, засмеялась и пояснила: — Он дурной, очень дурной человек, Леон, помни об этом!



Леонида ничуть не покорило, что она так отзывается о своем муже. Боюсь, что для юных умов не столь очевидна святость супружеских уз и даже кровного родства, как нам хотелось бы думать. Просто Леонид понял: если уж такая милая женщина неузнаваемо меняется в лице от одной мысли о Бэрроузе, значит, все ясно, дрянной-человек этот Бэрроуз. Вот у сестры котенок уж такой славный, ласковый, лежит у нее на коленях и мурлычет, а как завидит рыжего почтмейстера пса, сразу спина дугой — и давай шипеть...

— Я бы век не подошел, если б вы меня сами не кликнули,— простодушно сказал он.

— Как?!— ужаснулась она то ли шутя, то ли с упреком, но все равно очень ласково.— Значит, если я не позову, ты даже не захочешь меня повидать? О Леон! И ты можешь так жестоко со мной обойтись?

Но Леонид был тверд в своем мальчишеском суждении.

— Вы меня зовите, когда хотите, миссис Бэрроуз,— сказал он застенчиво, но упрямо,— мне это — одно удовольствие. Пошлете кого, меня мигом разыщут... а только...— Он не договорил.

— Ну и упрямец же вы, молодой человек! Видно, придется мне самой за вами ухаживать. Так вот, считайте, что нынче утром я сама вас позвала. Мне надо отправить еще одно письмо.

Она подняла руку к груди, и из пышных оборок извлекла такой же конвертик, как и в прошлый раз, и опять, как тогда, чуть запахло фиалками. Но на этот раз конверт был незапечатанный.

— Послушай, Леон. Мы с тобой будем большими друзьями.— (У Леонида запылали щеки.)— Ты сделаешь мне еще одно большое одолжение, и будет очень весело, и это будет наш с тобой большущий секрет. Так вот, первым делом скажи мне, ты ни с кем не переписываешься в Сан-Франциско? Ну, есть у тебя там какой-нибудь знакомый мальчик или девочка, которые пишут тебе письма?

Леонид покраснел еще сильнее — увы, теперь его смущение было не таким приятным. Ведь он не получал никаких писем, ему никто никогда не писал. Пришлось со стыдом в этом сознаться.

Миссис Бэрроуз призадумалась.

— И у тебя нет в Сан-Франциско ни одного приятеля? Никого, кто все-таки мог бы тебе писать? — ласково допытывалась она.

— Знал я когда-то одного парнишку, он вроде туда переехал. Так он говорил: мол, еду в Сан-Франциско, — последовал неуверенный ответ.

— Вот и хорошо, — сказала миссис Бэрроуз. — Наверно, твои родители его знают или слышали о нем?

— А как же, он раньше тут жил.

— Еще того лучше. Понимаешь, тогда ничего не будет удивительного, если он возьмет и напишет тебе письмо. А как звали этого джентльмена?

— Джим Белчер, — нерешительно ответил Леонид: он вовсе не был уверен, что упомянутый Белчер умеет писать.

Миссис Бэрроуз достала из кармашка на поясе маленький карандаш, раскрыла письмо, которое держала в руке, и, видно, вписала туда имя Джима Белчера. Потом вложила письмо в конверт, заклеила и очаровательно улыбулась озадаченному Леониду.

— Послушай, Леон, вот о каком одолжении я тебя прошу. На днях ты получишь письмо от мистера Джима Белчера. — (Она произнесла это имя с величайшей серьезностью.) — Но в письме к тебе будет еще вложена записочка для меня, и ты мне ее принесешь. Если твои родные спросят, кто это тебе пишет, свое письмо ты им покажи, но мою записку не должна видеть ни одна душа. Можешь ты так устроить?..

— Могу, — сказал Леонид.

И тут он смекнул, что к чему, и заулыбался так, что стали видны ямочки на щеках. Миссис Бэрроуз перегнулась через забор, сняла с мальчика рваную соломенную шляпу и, едва коснувшись губами, поцеловала его в лоб. Он весь вспыхнул, ему показалось, что у него на лбу теперь сияет звезда и все ее сразу увидят.

— Не улыбайся так, Леон, ты просто неотразим! Это будет у нас с тобой занятная игра, правда? И никто ничего не узнает, только мы с тобой да Белчер! Мы всех перехитрим, и, видишь, все-таки придется тебе меня навещать, даже если я и не позову.

И они рассмеялись, оба такие юные, розовые, на ще-

как ямочки, ясные глаза блестят; впрочем, по-моему, в Леониде чистоты и наивности было куда больше, чем в его собеседнике.

— А еще я иногда могу сам ему писать... Джиму... — с восторгом предложил он. — И вложить от вас записку!

— Ну, конечно! Какой ты умный! И еще вот что... тебе сегодня не надо на почту?

Леонид снова покраснел: сегодня утром, словно предчувствуя встречу с ней, он уговорил домашних поскорее написать письма, кому какие надо. Он подал миссис Барроуз пачку писем, она вложила между ними свое.

— А теперь беги, милый, — сказала она и провела нежной прохладной ладонью по его разгоряченной щеке. — Не надо, чтобы тебя тут видели.

И Леонид помчался прочь, не чуя под собой ног. Чудеса, да и только! Ему доверилась невиданная, необыкновенная красавица, и скоро он получит письмо — напишут именно ему, Леониду, не кому-нибудь, и никто не узнает, почему! И она пригласила его приходить почаще, она его не забудет, и не нужно околачиваться у забора и гадать, хочет она его видеть или не хочет... его мальчишеской застенчивой гордости уже незачем было бунтовать. И сомнения нравственного порядка — хорошо ли все это, плохо ли — его не тревожили; ясно, что писать ему будет не настоящий Джим Белчер — что ж, это еще интереснее. И другое обстоятельство тоже не пробудило в нем угрызений совести. Когда он пришел на почту, там оказался сам Барроуз, — он разговаривал с почтмейстером. Леонид проскользнул мимо и, втайне торжествуя, опустил письма в ящик. Почтмейстер, видно, был оскорблен подозрением, будто он небрежно выполняет свои обязанности, и произносил защитительную речь.

— Нет, сэр, — говорил он, — уж будьте уверены, если какое ваше или женино письмо и пропало... вы вроде сказали, что это вашей жене письмо?

— Да-да, — поспешно подтвердил Барроуз и оглянулся, не слышал ли кто.

— Так вот, ваше ли письмо пропало, из домашних ли чье, только вина не наша, так и знайте! Мне-то известно, какое письмо получено, какое отправлено, все они через мои руки проходят — (Леонид наострил уши), — кому и знать, как не мне. Намотайте это на ус, мистер.

Бэрроуз, явно недовольный тем, что при разговоре о делах, в которые он уж, наверно, никого не желал посвящать, оказался непрошенный свидетель — Леонид, проворча что-то себе под нос и вышел.

Леонид недоумевал. Видно, этот большой, взрослый человек старается что-то пронюхать! Письма, опущенные в ящик, он тронуть не посмеет: Леонид где-то слышал, что дотронуться до писем, которые уже доверены почте, учреждению государственному, — это страшное преступление, и потому за письмо миссис Бэрроуз не опасался. Но, может быть, надо сейчас же пойти к ней и предупредить, что ее муж сюда приходил, а главное, что почтмейстер сам разбирает все письма? А как умно она придумала вкладывать свои письма в конверты с другим адресом! Нет, все-таки не стоит идти к ней сегодня, а то получится, что он ей проходу не дает, решил Леонид. Притом в глубине души он боялся: если сказать ей про мужа, на ее красивом лице, пожалуй, опять появится то выражение... Леониду оно совсем не нравилось. И, чтобы вернее устоять перед соблазном, он пошел домой другой дорогой.

Не нужно думать, что тайное увлечение прекрасной незнакомкой заставило Леонида позабыть о мальчишеских привычках. Оно лишь заменило ему романтические мечты и книги о приключениях и путешествиях. Отправляясь побродить, он уже не совал в карман книжку. Средневековые легенды о благородных дамах и их пажах — ничто перед живым, настоящим романом, герои которого — он сам и миссис Бэрроуз! Все подвиги малолетних капитанов, юных охотников, злоключения прекрасных индианок и испанских сеньорит — ничто перед чудесами, которые ждут его, Леонида, и его богиню с Сундук-горы! Все вокруг освящено ее присутствием и сулит удивительные, романтические приключения. А потому на обратном пути Леонид обошел силки и ловушки, которые он расставил на кроликов и диких кошек, — этим негодяйкам надо было отомстить, они разорили гнездо горной куропатки, чей осиротевший выводок Леонид давно взял под свое покровительство. Ибо, хоть он был завзятый охотник, эту страсть умеряла мальчишеская любовь к природе: он сочувствовал всему живому, будь то человек, зверь или травинка, остро ощущал

непостижимую жестокость бытия, постоянную вражду и междоусобицу в животном царстве — и, как истинный рыцарь, всегда защищал слабейшего. Он даже не пожалел труда и придумал хитроумный способ уберечь запасы рыжей белки и сокровища диких пчел от разбойничьих набегов лакомки-медведя; впрочем, это не помешало ему потом столь же хитроумным способом изловить белку и самому отведать меда.

В тот вечер он поздно вернулся домой. Но уже начались каникулы. Местная школа была закрыта, и, если не считать разных хлопот по дому, которыми он занимался рано поутру, весь долгий летний день Леонид был вольной птицей. Так прошло дня три. А потом однажды утром, когда он пришел на почту, почтмейстер бросил ему самое настоящее и притом объемистое письмо, как полагается, с маркой, адресованное мистеру Леониду Буну! Леонид был достаточно скромен, чтобы не вскрывать пакет при свидетелях, но по дороге домой, очутившись в одиночестве, сломал печать. Внутри оказалось другое письмо, без адреса, — конечно, то самое, которого ждала она, — и, к восторгу мальчика, пачка тонких рыболовных крючков, специально для форели, и тончайшая леска, о какой он мог только мечтать. И, наконец, письмо к нему, написанное красивым четким почерком:

«Дорогой Ли! Как тебе живется на нашем Сундуке? Целый век мы с тобой не видались, бывает, так заскучаю, кажется, взял бы и побежал к тебе! Тут во Фриско нам живется будь здоров! Одно плохо: никакой живности, разве только сходишь в Клиф Хаус, поглядишь на морских львов. Ну и звери! Большие, вроде медведя, и еще побольше! Они лазают по скалам, а плавают прямо, как выдра или ондатра. Посылаю тебе леску и крючки, на Сундуке таких не достать. Которые поменьше, те бери, когда удишь в бочагах, а которые побольше — для проточной воды и для водопадов. Как получишь — напиши мне. Пиши до востребования, почтовый ящик 1290, на этот адрес приходят все отцовы письма. Ну, пока все.

Твой друг  
*Джим Белчер».*

Леонид, разумеется, знал, что ему пишет не настоящий Джим Белчер, но почувствовал, что этот новый, незнакомый друг—человек совсем особенный и замечательный. Впрочем, как же иначе, ведь это ее друг, а все ее друзья наверняка необыкновенные и прекрасные люди. К преданности Леонида не примешивалось ни капли ревности, он только радовался, что у него есть единомышленник — конечно же, они оба одинаково восхищаются одной богиней, и сразу видно, что этот Джим — правильный парень, молодчина: не всякий догадался бы прислать такой чудесный подарок! Однако за своей радостью Леонид не забыл о ней. Он поспешил к заветному забору и довольно долго мешкал на дороге, перед окнами ее дома, но она не вышла.

Леонид еще помедлил на вершине холма, притворяясь, будто выбирает удилище в кустах орешника, но все напрасно. А потом он подумал: вдруг она нарочно к нему не выходит? — и, уязвленный таким равнодушием, побежал прочь. Совсем рядом протекала горная речка; сейчас, в разгар лета, она пересохла, лишь тоненькая струйка вилась меж камней, но Леонид издавна знал тут одну отличную заводь. Здесь скрывалась баснословной величины форель, о которой шла слава по всей округе; эта упрямая рыба никому не давалась в руки: ни неумелым любителям — рудокопам, ни даже столь опытным, искушенным рыбакам, как сам Леонид. Редко кому случалось увидеть форель-великаншу—разве что в сумраке, на глубине четырех футов помаячит ее смутная тень; лишь однажды зоркому Леониду посчастливилось увидеть ее во всей красе. Чем только он в тот раз не пытался ее соблазнить: и раскрашенной мухой и иной наживкой; и вдруг, когда он, прячась за песчаным бугорком, привстал на коленях, из кармана у него выпала розовая пятицентовая марка, затрепыхалась, подхваченная ветерком, и медленно опустилась на тихий затон. Потерять пять центов — не шутка! Испуганный Леонид потянулся за маркой, как вдруг что-то молнией метнулось из темных глубин, вода зарыбила стремительной игрой света и тени, о ближний камень плеснула маленькая волна — и марка исчезла. Мало того: еще на мгновение форель застыла, вся на виду, и явно ждала новой подачи! Заговорил ли в ней охотничий азарт, или бумага

и клей показались ей новым изысканным лакомством,— этого Леонид так и не узнал. Увы, у него не было второй марки! Пришлось оставить форель в речке, зато блестящую мысль он унес с собой. Он уже не расставался с этой мыслью, и в кармане у него всегда была запасная марка. А вот теперь, когда у него есть еще и крепкая, но тонкая, как паутинка, леска, и новый крючок, и только что срезанный гибкий прут для удочки, теперь он попытает счастья!

Но судьба решила иначе. Едва он спустился узкой тропинкой на поросший соснами берег речки, его чуткое ухо уловило в ближнем кустарнике какой-то необычный шелест, а потом он вздрогнул: его окликнули. И он узнал голос—то была она! Он сразу забыл о форели. Сердце его сильно забилося; приоткрыв рот, подняв глаза, он ждал свою богиню, как ждет первого свидания робкая юная дева.

Но миссис Бэрроуз явно была совсем в ином расположении духа. Она остановилась перед ним, тяжело дыша, вся красная от жары, влажные завитки растрепавшихся волос прилипли ко лбу, нарядные домашние туфельки запылились, мало того: в глазах ее горел недобрый огонек, и совсем уж недобрые складки легли у губ.

— Несносный мальчишка! — еле выговорила она, запыхавшись, прижимая руку к груди, а другой рукой подбирая эскруг тонких щиколоток юбку, в которую впились колючки ежевики.— Почему ты меня не подождал? Мне пришлось всю дорогу бежать за тобой!

Робея и мучительно запинаясь, Леонид стал оправдываться. Он ждал у дома и потом еще на холме; он думал, она не хочет его видеть.

— Как же ты не догадался, что этот человек не давал мне выйти из дому! — с досадой перебила она.— Как же у тебя не хватило ума понять, что он меня подозревает и все время за мной следит, не дает шагу ступить, и, когда приходит почта, он глаз с меня не спускает, даже сам ходит на почту, проверяет, все ли мои письма он видел! А ты мне что-нибудь принес? — нетерпеливо прибавила она.— Да что же ты молчишь?

Раздавленный, мучимый угрызениями совести, Леонид подал ей письмо. Она почти вырвала конверт у

него из рук, распечатала, пробежала глазами несколько строк — и лицо ее преобразилось. В глазах и на губах задрожала улыбка. Леонид воспрянул духом: вот она уже и не сердится, и какая она красивая!

— Он тоже мальчик, миссис Бэрроуз? — спросил он застенчиво.

— Н-ну... не совсем, — сказала она, сияя очаровательной улыбкой. — Он старше тебя. А тебе он что написал?

Вместо ответа Леонид протянул ей письмо.

— Вот бы мне его повидать! — сказал он несмело. — Письмо ну просто замечательное! Прямо первый класс! Он молодчина, я его страх как полюбил!

Миссис Бэрроуз без особого интереса пробежала глазами письмо.

— Уж, пожалуйста, не люби его больше, чем меня! — сказала она со смехом, и голос ее звучал ласково, и глаза тоже смотрели ласково, и она даже мимолетно погладила его по щеке.

— Как можно! Я никого никогда не полюблю, как вас! — серьезно произнес Леонид.

Он сказал это с такой безграничной верой, смотрел так правдиво и открыто, что женщине стало не по себе. Но тут же она встрепенулась и досадливо вскрикнула:

— Опять этот негодяй меня преследует! — Она посмотрела на вершину холма. — Ну, конечно! Смотри, Леон, сейчас он свернет на эту тропинку. Что же делать? Он не должен видеть меня здесь!

Леонид поднял глаза. Да, это был Бэрроуз; но он, по-видимому, просто направлялся кратчайшим путем туда, где работали его люди. Леонид уже не раз видел, как он ходил этой дорогой. Но это самая удобная тропа на всем крутом откосе, и в конце концов муж с женой неминуемо столкнутся на ней. Мужчина еще мог бы уклониться от встречи, пробраться кустарником по нелюдимой каменистой тропинке, проходящей немного ниже, но женщине ее не одолеть! И тут Леонида осенило.

— Я его сюда не пушу, — уверенно сказал он. — Вы только спрячьтесь тут, за камнем, и сидите тихо, покуда я не ворочусь. Он вас еще не увидал.

Миссис Бэрроуз едва успела отступить за камень, а Леонид уже метнулся по тропе навстречу ее мужу.



Но любопытство взяло верх, и сейчас же она осторожно принялась за ним подглядывать. Немного не добежав до Бэрроуза, мальчик остановился, и кажется, встал на колени. Что он там делает? Муж медленно приближался. И вдруг тоже остановился. Тотчас же до нее донеслись их взволнованные голоса, и еще через минуту, к изумлению миссис Бэрроуз, ее муж стал торопливо спускаться по склону на нижнюю тропинку, изредка оглядываясь, потом заспешил прочь и скоро скрылся из виду.

Не успела женщина понять, что опасность миновала, как Леонид уже стоял рядом с нею.

— Как ты сумел его спровадить? — с жадным любопытством спросила она.

— Гремучкой, — серьезно ответил мальчик.

— Чем, чем?

— Там была гремучая змея, ну, знаете, такая ядовитая.

— Гремучая змея?! — Она испуганно подобрала юбки и во все глаза уставилась на Леонида.

Мальчик, весь во власти недавнего приключения, совсем было позабыл о своей богине, но теперь поспешно обратил к ней преданный взгляд и ободряющую улыбку.

— Ну да, но вы не бойтесь, со мной она вас не тронет, — мягко успокоил он.

— Но как же ты это сделал?

Он пытливо поглядел на нее и спросил с сомнением в голосе:

— Я бы вам показал... а вы не испугаетесь? Только со мной вам бояться нечего, — прибавил он гордо.

— Да... то есть... — с запинкой начала миссис Бэрроуз, но любопытство опять взяло верх над страхом, и она прибавила шепотом: — Покажи скорей!

Он пошел впереди нее и наконец остановился у того места, где недавно опускался на колени. Тут тропинка была совсем узкая — прокаленный солнцем голый каменный уступ, едва впору пройти одному. Леонид молча показал на щель в камне, снова опустился на колени и начал тихонько, переливчато свистать. Прошла минута-другая напряженного ожидания, и вдруг что-то шевельнулось — пугающее, скользящее... Оно скользило так плавно, с такой невыразимой грацией... невозможно

было отвести глаза. И вот показалась узкая, плоская голова с холодными глазами, и за нею чешуйчатая, расчерченная желтым лента длиною около фута; на мгновение змея замерла, потом, описав в воздухе ровный, изящный полукруг, повернула голову к свистящему мальчику. Свист оборвался, и змея, лишь наполовину поднявшись из расщелины, застыла, словно и сама обратилась в камень.

— Вот и мистер Бэрроуз это самое увидел,— тихо сказал Леонид.— Потому он и удрал с тропы. Я только позвал Уильяма Генри (я этого змея зову Уильям Генри, и он знает свое имя), а потом закричал и предупредил мистера Бэрроуза. Хорошо, что вовремя поспел, еще бы минута — он наткнулся бы на Уильяма Генри, тут бы ему и конец. Гремучие змеи никому дорогу не уступают, сразу жалят.

— Ах, какая досада!..

Миссис Бэрроуз прикусила язык, но в глазах ее вспыхнул зловеющий огонек, ноздри раздулись, и у губ появилась жесткая складка. На счастье, Леонид ничего не заметил, замороженный чарами другого своего кумира — Уильяма Генри.

— А откуда ты знал, что он здесь? — спросила, опомнившись, миссис Бэрроуз.

— Сам перетащил,— коротко ответил Леонид.

— Как... неужели принес на руках? — Она даже отступила немного.

— Нет. Просто приманил. Один раз я и в руках его держал, только сперва заставил выпустить яд на палку. Понимаете, он как четыре раза подряд ужалит, так у него больше яду не остается. Тогда с ним что хочешь можно делать, он это и сам знает. И меня он знает, уж это верно! Я его целых три месяца учу. Вот глядите! Да вы не бойтесь,— прибавил Леонид, когда миссис Бэрроуз в страхе попятилась.— Сами видите, он меня слушается. Ну, ступай домой, Уильям Генри,—скомандовал он и медленно, властно повел ореховым прутом.

Змея опустилась наземь, бесшумно выползла из расщелины, пересекала тропу и скользнула вниз по откосу.

— Он думает, это у меня волшебная орешина, гремучкам она прямо нож острый.— Леонид перешел на отрывистую мальчишескую скороговорку.— Он в вашей

стороне живет... аккурат за вашим домом. Как-нибудь вам покажу. Всякий день греется на солнце... вылезет на гладкий камень и лежит... Греется, греется, а сам всегда холодный. Чего вы?

Но она ничего не сказала, лишь оцепенев, словно и не дыша, уставилась в одну точку каменным, недвижимым взглядом, подобным взгляду только что скрывшейся гадены.

— А кто-нибудь знает, что ты его приручил? — спросила она.

— Ни одна душа. Я его только вам одной показал, больше никому.

— И не надо! А мне завтра непременно покажешь, где он там прячется! — сказала она с прежней веселой улыбкой. — Ну, мне пора, Леон!

— Миссис Бэрроуз, а можно я ему... Джиму Белчеру... напишу письмо? — несмело спросил мальчик.

— Ну, конечно. Приходи завтра с письмом, я свое тоже готовлю. До свидания. — Она помедлила, бросила быстрый взгляд на тропу. — Так ты говоришь, если бы этот человек не остановился, змея ужалила бы его?

— Как пить дать! Если наступил бы, — наверняка, а он бы непременно наступил. Змее откуда знать, что это он не нарочно? И потом, — с жаром продолжал Леонид, защищая кроткого Уильяма Генри, — кому ж понравится, если на него наступят! Вам тоже не понравится, миссис Бэрроуз!

— Конечно! Я ужалю! — быстро ответила она.

Хорошенькая головка метнулась вперед и, пригнувшись на миг, застыла неподвижно — вышло очень похоже на змею. Леонид засмеялся. Миссис Бэрроуз тоже засмеялась и легкой походкой направилась к дому.

Леонид вернулся к речке и поймал наконец желанную форель. Но даже эта победа не рассеяла завладевшее им смутное чувство разочарования. Сколько раз он мечтал о счастье встретиться с нею в лесу, о том, как они станут вдвоем бродить в зарослях, и он будет срыывать для нее самые редкостные цветы и травы, и покажет ей своих лесных друзей-приятелей, — и вот чем все кончилось! Он только и успел познакомить ее с Уильямом Генри. Вот если б он спас от какой-нибудь страшной опасности ее, а не ее мужа... Но он не испытывал вра-

жды к Бэрроузу, а только хотел перехитрить его, чтобы помочь ей, беззащитной, как постарался бы сбить со следа дикую кошку или ястреба. И он уныло побрел домой, но вечером написал благодарное, веселое письмо мифическому Белчеру и подробно рассказал ему... про поимку форели!

Назавтра он принес ей свое письмо, и она вложила в тот же конверт свое. Она опять стала веселой и милой, как прежде, но не так уж интересовалась им самим, больше расспрашивала о разных разностях, к примеру, о послушном Уильяме Генри, посмотрела, где его логово, и заставила Леонида показать все фокусы, каким он обучил змею,— все это Леонид принимал благодарно и радостно, как самое тонкое и лестное внимание. Однако его наивной и тоскующей душе все чего-то не хватало, но из гордости он себе в этом не признавался. Сам виноват: зачем не дождался ее, а побежал ловить форель!

Так, в переписке с подставным Белчером, в коротких встречах, когда надежда сменялась разочарованием, прошли две недели. В придачу бедняге Леониду приходилось дома постоянно слушать, как родные осыпают его богиню обидными насмешками; по счастью, он был слишком наивен и не понимал их недобрых намеков. Мать громко возмущалась тем, что миссис Бэрроуз в минувшее воскресенье, «позабыв всякий стыд», улыбалась в церкви красивому малому — служащему транспортной компании, и объявила, что Бэрроузу «не грех бы получше глядеть за своей благоверной»; простодушный Леонид не мог понять, какая тут связь. Он тоже видел, как миссис Бэрроуз улыбнулась тому парню во время воскресной службы, и только подумал, что от этого она стала еще красивее. Наверно, и парень тоже так подумал? И все же мальчика что-то угнетало; отчего-то ему все приелось, все наскучило: и охота, и прогулки, и книги,— и, как ни странно, это из-за нее! Он даже осунулся, ходил хмурый и озабоченный. Вот если б можно было кому-то довериться... Если б кто-то объяснил, откуда все эти надежды и страхи... Он и не подозревал, что такой человек уже совсем близко!

Однажды, спустя три недели после случая со змеей, Леонид уныло бродил по горам. Было уже недалеко до самого Сундука — почти отвесной квадратной глыбы

из кварца и гнейса, очень похожей на сундук, по ней-то и называли гору. Тут были любимые места Леонида. Мальчик верил, что в Сундуке и вправду запрятан клад— чистое золото!— и мечтал когда-нибудь его найти. Сегодня он не предавался радужным мечтам; но, подняв глаза от камней, которые рассеянно оглядывал на ходу, он сделал другое ошеломляющее открытие: перед ним на тропе появился удивительный незнакомец.

Он сидел, как влитой, верхом на превосходном мустанге, красивый, статный, и смотрел на Леонида с каким-то веселым любопытством, с непринужденной уверенностью, которая сразу покоряла. Та же обаятельная самоуверенность была и в его улыбке, и в голосе, и во всей повадке. Он подъехал ближе, небрежно перегнувшись в седле и необыкновенно учтиво спросил:

— Вероятно, я имею удовольствие говорить с мистером Леонидом Буном?

Леонид густо покраснел. Незнакомцу, видно, не требовалось другого ответа, он с улыбкой продолжал:

— Тогда разрешите представиться: Джеймс Белчер. Как видишь, с нашей последней встречи я изрядно подрос. В сущности, я только и делал, что рос. Да и вообще, если сильно захотеть, всего добьешься. И еще, знаешь, говорят, Сан-Франциско уж такой город — там люди растут быстро. В этом вся соль!

Пораженный, восхищенный и очарованный Леонид робко улыбнулся, блеснув белыми зубами. Тогда удивительный незнакомец, будто самый настоящий мальчишка, спрыгнул на землю, не выпуская поводья, шагнул к Леониду и, сняв с мальчика соломенную шляпу, взъерошил ему волосы. Тут не было ничего необычайного: кто бы ни заговаривал с Леонидом, все так делали. Но этот великодушный и прямодушный джентльмен надел Леониду на голову свою панаму, а его рваную соломенную шляпу напялил на себя; потом взял Леонида под руку и не спеша пошел с ним по дороге и с этой минуты окончательно завоевал доверчивое сердце мальчика.

— А теперь, Леон, давай потолкуем,— сказал этот необыкновенный человек.— Там, под лаврами, есть отличное тенистое местечко. Я привяжу Пепиту, и мы положим на травке, почешем языки, и плевать нам на школу и на уроки.

— Но вы ведь не настоящий Джим Белчер,— смущенно сказал Леонид.

— А не все ли равно? Чем я хуже его? — с веселым вызовом сказал незнакомец.— Ей-богу, ему со мной и тягаться нечего. Чего тебе еще надо? Или, может, показать тебе документ? Так вот оно, твое письмо, старина,— прибавил он и вытащил из кармана последнее, выведенное старательными каракулями послание Леонида.

— А ее письмо?— из осторожности спросил мальчик.

Что-то дрогнуло в лице незнакомца.

— И ее письмо тут,— сказал он серьезно и показал хорошо знакомый Леониду розовый листок—такие миссис Барроуз всегда вкладывала в его конверты.

Мальчик больше ни о чем не спрашивал. Они дошли до лавров. Незнакомец привязал лошадь и улегся под деревом, закинув руки за голову. У него были каштановые усики и длинные-предлинные ресницы. Никогда еще Леонид не видал такого красавца!

— Ну, Леон...— Гость устроился поудобнее и, потянув Леонида за руку, заставил сесть рядом.— Рассказывай, как дела на Сундуке. Все хорошо, а?

Эти слова вновь пробудили в мальчике недавнюю тоску и тревогу, лицо его омрачилось, и он невольно вздохнул. Гость тотчас повернул голову и посмотрел на него с любопытством. Потом взял его смуглую руку в свою и легонько пожал.

— Ну, рассказывай.

— Знаете, мистер... мистер... не могу я... — Он вдруг заупрямился.— Не стану я ничего рассказывать! Я даже не знаю, как вас звать.

— Зови просто Джек, а когда не спешишь — Джек Гемлин. Слыхал про меня когда-нибудь?— вдруг прибавил он и быстро глянул на Леонида.

— Нет,— покачал головой Леонид.

Джек Гемлин укоризненно возвел глаза к небесам.

— И это называется слава! — пробормотал он.

Но Леонид его не понял. И еще он не понимал, почему незнакомец, который, конечно же, приехал к ней, ничего про нее не спрашивает, не спешит к ней, а преспокойно полеживает на травке. Уж он-то, Леонид, вел бы себя по-другому! Он даже рассердился, а потом

вдруг догадался: должно быть, этот великолепный джентльмен просто робеет, вроде его самого. И как не оробеть перед таким ангелом! Придется ему помочь.

И вот, поначалу смущаясь, а потом все смелее, подбадриваемый время от времени короткими замечаниями Джека, он стал говорить о ней: какая она красивая... какая добрая... он, Леонид, и подметки ее не стоит... а вот что она сказала... как ступила... как поглядела... Давно он мечтал о человеке, который выслушал бы его так внимательно и дружелюбно! И он излил всю душу, всю нехитрую повесть своей жизни. Рассказал, как она стала неласкова с ним, потому что он тяжело провинился: пошел ловить форель, а ее заставил ждать да еще так глупо дал маху с гремучей змеей.

— Ясно, я дал маху, мистер Гемлин. Не годится рассказывать такой леди про змей, мало ли что я сам про них знаю.

— Да, это большая ошибка, Ли,— с важностью сказал Гемлин.— Уж если женщина со змеей сойдется, беды не миновать. Сам знаешь, что вышло у Адама и Евы со змеем.

— Да нет, не в том дело,— серьезно сказал мальчик.— И еще вам хочу сказать, мистер Гемлин, что от этого мне прямо тошно. Я уж вам говорил про Уильяма Генри, что он живет у самого ихнего сада и что я показал миссис Бэрроуз, чему он у меня выучился. Ну вот, позавчерашний день пошел я на него поглядеть, а его нигде нету. А там от ихнего сада есть такая дорожка, ею можно срезать напрямик, если кому надо на гору, не к чему и за калитку выходить. Это если кто спешит или не хочет, чтоб его увидали с дороги. Ну вот. Хожу я, значит, кругом, ищу Уильяма Генри, высвистываю его и вышел на эту дорожку. Гляжу, а посреди дорожки опрокинуто старое ведро, валяется на самом ходу кверху дном... понимаете, на такую штуку женщина если наткнется, наверняка поднимет, а мужчина ногой наподдаст. Ну вот, мистер Гемлин, я наподдал, отшвырнул его в сторону и...— Глаза у мальчика стали совсем круглые, он перевел дух и договорил:— ...еле успел отскочить... а то бы мне крышка! Понимаете, под этим ведром сидел Уильям Генри! Весь скорчился, тесно ему, не вылезти никак, и уж до того злой — ужас! Случись вместо

меня кто другой, непроворный, не миновать бы ему гибели... Кто Уильяма Генри под ведро засадил, уж он это знал, верно вам говорю.

Гемлин что-то невнятно пробормотал и вскочил на ноги.

— Что вы сказали? — быстро переспросил мальчик.

— Ничего.

Но Леониду показалось, что мистер Гемлин крепко выругался.

Гемлин прошелся взад-вперед, будто хотел размяться, потом спросил:

— Как ты думаешь, змея ужалила бы Бэрроуза?

— Вот еще! — сердито и удивленно воскликнул Леонид. — Никакого не Бэрроуза, а бедняжку миссис Бэрроуз. Ясное дело, он расставил ей ловушку — неужто вы не понимаете? Кто ж еще мог такое подстроить?

— Да, да, конечно, — сдержанно согласился Гемлин. — Разумеется, ты прав... это все он подстроил... На том и стой...

Но по его лицу, по голосу было ясно: что-то не так. И смотрел он как-то чудно.

— А сейчас вы пойдете к ней? — быстро спросил Леонид. — Я вам покажу, где ее дом, а потом сбегая и скажу, что вы тут ждете.

— Погоди немного, — сказал Гемлин, взял свою панаму, надел ее и положил руку на кудрявую голову мальчика. — Видишь ли, я хочу ее удивить. Сильно удивить! — с расстановкой прибавил он и, чуть помедлив, продолжал: — Ты рассказал ей, как нашел это ведро?

— Ну, ясно! — с упреком сказал Леонид. — Неужто я допущу, чтоб Уильям Генри ее ужалил? Она бы умерла.

— Пожалуй, даже Уильяму Генри это бы даром не прошло. То есть, — поправился Гемлин, — я хочу сказать, ты бы ему этого не простил. А что она тебе сказала?

Лицо мальчика омрачилось.

— Сказала спасибо... и что я очень внимательный... и добрый... а ведро, наверно, кто-нибудь просто нечаянно забыл... и... — он запнулся, — что я... последнее время больно много тут околачиваюсь, а Бэрроуз — он глядит в оба, так лучше мне денька три не приходить.

Слезы навернулись ему на глаза, но он стиснул кула-



ки, засунул их поглубже в карманы и все-таки сдержался. Быть может, немного помогла и ласковая ладонь Гемлина, что лежала на непокрытой мальчишечьей голове. Гемлин достал из кармана записную книжку, вырвал листок, снова сел и, держа книжку на колене, начал писать. После недолгого молчания Леонид спросил:

— Мистер Гемлин, а вы были когда-нибудь влюблены?

— Нет,— спокойно отвечал Гемлин, продолжая писать.— Но раз уж ты об этом заговорил, вот что я тебе скажу: я давным-давно об этом думаю и непременно когда-нибудь влюблюсь. Только сперва разбогатею. И тебе тоже советую: не спеши.

При этом он ни на минуту не отрывался от письма — такой уж он был человек: разговаривает, а самому будто вовсе и неинтересно, слушают его или нет, кстати ли его слова или не к месту и не говорит ли в это время кто другой. И, однако, именно поэтому его всегда слушали внимательно. Но вот он дописал записку, сложил, сунул в конверт и надписал его.

— Отнести ей?— нетерпеливо спросил Леонид.

— Это не ей, а ему. Мистеру Барроузу,— спокойно сказал Гемлин.

Мальчик попятился.

— Надо убрать его с дороги,— пояснил Гемлин.— Когда он получит это письмо, его тут никакая сила не удержит. Только вот как бы это послать?..— прибавил он задумчиво.

— Можно оставить на почте,— робко посоветовал Леонид.— Он всегда туда заходит, смотрит, какие жена письма получает.

Впервые за всю их встречу Гемлин громко рассмеялся.

— Ты умница, Лео, так я и сделаю. А теперь лучше всего послушайся миссис Барроуз, не ходи к ней денек-другой.

И он направился к лошади. Лицо у мальчика вытянулось, но он старался не падать духом.

— А мы с вами еще встретимся?— печально спросил он.

Гемлин нагнулся к нему, и Леонид совсем близко

увидел его лицо и в глубоких карих глазах — свое отражение.

— Надеюсь, что встретимся,— серьезно сказал Гемлин.

Потом вскочил в седло, пожал мальчику руку и среди косых вечерних теней поехал прочь. А Леонид печально побрел домой.

Но ему незачем было зарекаться — на другое утро вся семья в волнении обсуждала неожиданную новость: ночью чета Бэрроуз укатила почтовой каретой в Сакраменто, их дом стоит пустой.

Почему они вдруг покинули здешние места — на этот счет ходили самые разные слухи, но упорнее всего повторяли объяснение, которое дал почтмейстер: накануне под вечер Бэрроуз получил анонимное письмо, кто-то сообщал ему, что его жена собирается сбежать со знаменитым картежником из Сан-Франциско по имени Джек Гемлин.

Но Леонид Бун, хотя уже начал понимать, что произошло, хранил свою горестную тайну и все-таки верил и надеялся. И опечалился, когда несколько дней спустя Уильяма Генри нашли мертвым, с разможенной головой. Но лишь через много лет, после того как ему посчастливилось отыскать на Сундук-горе богатую жилу, он повстречался в Сан-Франциско с Гемлином и узнал, как он сыграл на этой «поднебесной вершине» роль Меркурия.

## ПОДОПЕЧНЫЕ МИСС ПЕГГИ

Капор у Пегги развязался, башмак на правой ноге — тоже. Такое нередко случается с десятилетними девочками, но, когда обе руки заняты, беду не поправишь, надо положить свою ношу. А ноша была не простая: еще не оперившийся сорокопут и детеныш суслика — обоих она подобрала во время прогулки. В фартук обоих сразу не завернешь — либо одному, либо другому придется плохо; положить кого-нибудь на землю — а вдруг сбежит?

«Прямо как в той ужасной задаче про паромщика, волка и козу, — подумала Пегги. — Только какой дурак повезет волка через реку?»

Но тут она подняла глаза, и оказалось, что навстречу шагает Сэм Бедел, старатель с Синей горы, детина шести футов ростом; Пегги его окликнула и попросила поддержать кого-нибудь из ее пленников. Великан брезгливо покосился на меховой комочек, похожий на мышонка, и взял у нее птенца. Тот уставился на него со злобой, какую отличается весь сорокопутий род.

— Ты его держи за ножки, а то он ужас как клюется! — предупредила Пегги.

Потом небрежно сунула суслика в карман и занялась своим туалетом. Она поправила нанковый капор, затенявший от солнца румяную рожицу, все равно усеянную веснушками; потом, без малейшего смущения выставляя напоказ нижнюю юбочку из желтой фланели и поло-сатые, точно карамель, чулки, крепко-накрепко завязала шнурки башмака, а старатель терпеливо ждал; наконец, он решился заговорить:

— Ты опять за свое, Пегги? Тот раз, когда Филин слопал всю твою дружную семейку, мы уж думали, с тебя хватит.

От этого неделикатного намека Пегги слегка покраснела: ее прежние питомцы в один прекрасный вечер исчезли бесследно, после того как Пегги ввела в их компанию нового члена — весьма почтенного и с виду миролюбивого рогатого филина.

— Я бы его тоже приручила! — сердито сказала она. — Это все Нед Майерс виноват: выучил его охотиться, потом отдал мне, а сам ничего про это не сказал. А это был настоящий охотничий филин.

— И что ж ты будешь делать с этим полковником? — В такой чин Сэм произвел храброго птенца, который впился когтями ему в палец, весь скорчился, точно злой горбун, и никак не желал даваться девочке в руки. — Глядишь, он тоже задаст жару всем прочим. Молодой, а больно сердитый.

— Это порода такая, — живо отозвалась Пегги. — Погоди, я его приручу. Вот если его оставить с отцом, с матерью, он тоже такой вырастет. Они ведь мясники, да-да, убивают по девять птичек в день! Верное слово! Насажают их на колючки кругом гнезда — ну прямо вроде мясной лавки, — все про запас, а как проголодаются, так и съедят. Я сама видала!

— А как же ты его приручишь? — спросил Сэм.

— Буду с ним добрая, буду его любить, — ответила Пегги и ласково погладила птенца по голове.

— Стало быть, птичек для него сама будешь убивать? — сказал циник Сэм.

Пегги не удостоила его ответом, только головой покачала.

— Сахаром да сухарями его не прокормишь, он же не попугай, — стоял на своем Сэм.

— С живыми тварями можно что хочешь сделать, только надо их любить и не бояться, — застенчиво сказала Пегги.

С высоты своего роста Сэм Бедел заглянул под края капора и в круглых голубых глазах, в степенном выражении маленького рта увидел что-то такое, что заставило его поверить: а ведь вправду, что захочет, то и сделает! Но тут Пегги поглубже засунула руку в карман, и ее

серьезное личико стало еще озабоченней, а глаза — еще круглее.

— Он... он... провалился! — ахнула она.

Великан испуганно отскочил.

— Постой-ка... — рассеянно пробормотала Пегги, занятая своим делом.

Осторожно, сосредоточенно она ощупывала пальцами юбку по шву, дошла до подола, проворно ухватила его с изнанки — и со вздохом облегчения вытащила пропавшего зверька.

— Ай да молодец! — испуганно и восхищенно вымолвил Сэм. — Может, ты и с этим полковником справишься. А тот филин мне с самого начала не понравился. Порядочные птицы так не важничают. Ну, а теперь беги, пока у тебя больше никто не удрал. Счастливо!

Он похлопал капор по макушке, легонько дернул соблазнительно торчавшую сзади каштановую косичку — еще ни один старатель не устоял перед таким искушением, — и Пегги побежала дальше со своей добычей, а он минуту-другую глядел ей вслед. Не впервые он вот так провожал ее глазами: неразумное доброе сердце поселка Синяя гора давным-давно было отдано дочке кузнеца Пегги Бейкер. У кузнеца были еще две дочери постарше, не знавшие соперниц на пикниках и танцульках, но Пегги была просто необходима здешним жителям — совсем как сойка, что качается на ветке в лесном сумраке, или рыжая белка, что рано поутру метнется поперек тропы, или дятел, что постукивает по дуплистому сосне над головой, когда присядешь в полдень перекусить. Она была частицей природы, которая помогает человеку оставаться молодым. Причуды Пегги и ее страсть к бродяжничеству ничуть не заботили здешних жителей: как белки и птицы, она никого не слушалась и никому не подчинялась. Куда бы она ни пошла, всюду кто-нибудь бородатый и усатый приветливо ее окликнет, всюду найдется крепкая рука, что протянется навстречу и поможет пройти по крутому обрыву или по опасной тропинке.

Да, странные у Пегги вкусы, и повинен в том не только ее нрав, но еще и окружающая обстановка. С младенчества предоставленная самой себе, она брала в друзья всякую живую тварь без разбору, зато с совершенным бесстрашием, потому что была приметлива и кругом не

нашлось других, не столь храбрых ребятишек. Пегги не верила, как иные, будто жабы и пауки ядовиты, а ухвертки и впрямь ввинчиваются в ухо. Она самостоятельно делала всякие опыты и совершала открытия, тайну которых, как и все дети, свято хранила; один такой опыт касался гремучей змеи — правда, на него Пегги отчасти натолкнули своими опрометчивыми предостережениями старшие. Ей не велели ни в коем случае брать с собой в лес хлеб и молоко и рассказали весьма поучительную историю про одну маленькую девочку, которую повадилась навещать змея: девочка угощала змею хлебом и молоком, а потом однажды стала бить ее по голове, потому что змея «не хотела кушать ложкой, как я», да еще съела девочкину долю, — по счастью, взрослые подоспели вовремя. Надо ли говорить, что столь неосторожное предостережение только подзадорило отважную Пегги. И она понесла чашку с молоком к норе «гремучки», жившей по соседству, только не стала пить сама, а великодушно оставила все змее. Она относила угощение еще дня четыре кряду, а потом в одно прекрасное утро, возвращаясь домой, с изумлением обнаружила, что змея (весьма почтенного возраста, с целой дюжиной погремушек на хвосте) преданно следует за нею. Тут Пегги испугалась — не за себя и не за своих домашних, но за новую благодарную подружку, чьей жизни грозил отцовский молот, — и окольными путями увела змею подальше. Потом вспомнила кое-какие правила, слышанные однажды от здешнего углежога, отломив веточку белого ясеня и положила поперек дороги между собою и своей спутницей. Змея сейчас же остановилась и замерла, даже не пытаясь одолеть жалкую преграду. Девочка прибегала к этому средству еще не раз, и наконец змея поняла, чего от нее хотят. Пегги никому про это не рассказывала, но однажды ее застал в этом обществе один старатель. Вот тогда-то Пегги и прославилась!

С того дня чуть не все население Синей горы всерьез принялось собирать для Пегги «зверинец», а два рудокопа устроили в какой-нибудь полумиле от жилища кузнеца (но без ведома хозяина) огороженный частоколом загон. Долгое время о зверинце никто не знал, кроме самой Пегги и ее верных друзей. От родителей не укрывалось ее пристрастие ко всякому зверью, потому что кое-

какая мелкота попадала и в дом: жабы, ящерицы и тарантулы вечно ускользали из своих коробок и жестянок и искали прибежища в чьих-нибудь шлепанцах,— и дома не одобряли столь странных вкусов. Мать замечала, что от скитаний по лесам с необычайной быстротой рвутся дочкины платья. Лисенок изодрал в клочья фартук Пегги, а дикий козленок сжевал ее соломенную шляпу — все это как будто не совсем обычные злоключения для девочки, которая просто-напросто идет в школу. Старшие сестры полагали, что у Пегги «вульгарные» вкусы и напрасно она водит дружбу со старателями — кому-кому, а их сестре это не пристало! Но поскольку Пегги была девочка смышленная и прилежная, исправно ходила в школу и училась хорошо, а познаниями в естественной истории прямо поражала учителей, так что ее в особой строгости не держали. А у Пегги имелись свои непоколебимые убеждения, она была тверда в своей вере, и тайная заповедь — не бояться никаких живых тварей, но любить их — помогала ей терпеливо сносить попреки и не жаловаться, когда ее питомцы рвали на ней платье, а иной раз, как можно опасаться, кусали ее и царапали.

Близкое соседство ее зверинца с домом (о чем домашние и не подозревали) имело свою оборотную сторону, и однажды все едва не вышло наружу. Джек Райдер с Одинокой звезды, не пожалев ни хлопот, ни расходов, привез девочке с северных высот Сьерры горного волчонка,— казалось, Пегги вот-вот его приручит, но тут, на беду, волчонок удрал. Однако он уже настолько приобщился к цивилизации, что по дороге из любопытства заглянул в кузницу мистера Бейкера. Кузнец крикнул, запустил в него молотком, и волчонок кинулся наутек, а Бейкер с подмастерьем — за ним. Он мчался размахистым, неутомимым галопом, и незадачливые преследователи, теряясь в догадках, ни с чем возвратились к своему горну. Кузнец сразу признал в звереныше чужака — и как человек, убежденный в своей образованности и непогрешимости, стал философствовать: откуда бы такому необычному гостю взяться в этих краях? Свои домыслы он поведал редактору местной газеты, и в ближайшем ее выпуске появилась такая заметка:

«Наше предсказание о том, что зима на высотах Сьер-

ры будет суровая и снежная и повлечет за собой по весне наводнение в долинах, подтвердилось с потрясающей убедительностью! На Синей горе появились горные волки, и наш уважаемый согражданин мистер Эфроим Бейкер вчера видел полумертвого от голода волчонка, который забрел в его владения в поисках пищи. Мистер Бейкер полагает, что волчица-мать спустилась с гор, гонимая жестокими морозами, и рыщет теперь по нашей округе».

Джек Райдер, верный друг Пегги, ни за что не хотел ее огорчать — ведь это она была волчонку вместо матери; только потому он и удержался и не опроверг во всеуслышание дурацкую выдумку; но еще долго пламя бивачных костров на Синей горе дрожало от злорадного хохота посвященных в преступную тайну старателей.

К счастью для Пегги, самого любимого из всех милых ее сердцу приемышей незачем было скрывать. Столь счастливым исключением была собака, да не какая-нибудь, а индейская. Пегги и ее получила в подарок — некий скупщик мяса с великими трудностями раздобыл собаку в индейском поселке на самой границе Орегона. «Трудности» в переводе на обыкновенный человеческий язык означали, что он попросту украл собаку у индейцев, а скальпу вора всегда грозит некоторая опасность. Собака, видимо, была обыкновенной дворнягой, по ее внешности никак нельзя было определить, какого она роду племени, зато характером она отличалась незаурядным. Это был на редкость невоспитанный пес. Незнакомно, унаследовал ли он дикость от своих предков или то были плоды вырождения. Но он решительно отказывался войти в дом и никак не желал сидеть в конуре. Не ел при людях, а тайком с жадностью заглатывал пищу где-нибудь в укромном уголке. Ходил он крадучись, точно закоренелый бродяга, а его пестрая, вся в пятнах шкура напоминала лохмотья попрошайки. Бегал он быстро, неутомимо, ничуть не уступая койотам, хоть и без их притворно вялой иноходи. И, однако, в отличие от диких зверей, ему вовсе не свойственна была свирепость. Своими острыми зубами он мог перегрызть самую крепкую веревку, самое прочное лассо, но никто ни разу не видал, чтобы он злобно оскалился. Он съеживался, когда его гладили, не был ни дружелюбным, ни покорным; он был кроток, но не привязчив.



И, однако, мало-помалу этот пес начал уступать неизменной доброте Пегги. Постепенно он словно бы стал признавать в девочке единственное достойное доверия существо в этом огромном сборище упрятанных с головы до пят в странные одежды бледнолицых людей. Вскоре он уже не сопротивлялся, когда Пегги то ли вела, то ли волокла его с собою до школы и обратно, хотя стоило подойти кому-нибудь чужому — и он перекусывал веревку и удирал или мигом зарывался в юбки хозяйки. Даже для Пегги при всей ее милой невозмутимости было немалым испытанием, когда вся улица, заведев их, начинала хохотать: уж очень недепо выглядел этот пес, и ужасно неприятная была у него привычка трусливо поджимать хвост, да еще как поджимать! Он и сам при этом весь гнулся в дугу, «того и гляди перекувырнется, что твой клоун в цирке», как говаривал Сэм Бедел. Но Пегги терпеливо сносила и насмешки и куда более опасные переделки на Главной улице, где нередко приходилось, рискуя собою, вытаскивать растерянного, ошалелого пса из-под самых колес повозок и из-под конских копыт. Но и страх у пса понемногу прошел — верней, растворился в его совершенной, безоглядной преданности хозяйке. Это животное, отнюдь не блиставшее умом и не слишком разбиравшееся в людях, неузнаваемо преобразалось ради Пегги. Поразительно тонким чутьем пес находил ее след, куда бы она ни пошла. Если Пегги не шла прямой дорогой в школу и обратно, а бродила по каким-нибудь тупикам и закоулкам или отправлялась в дальнейшее путешествие, он непостижимым образом всегда об этом знал. Словно все его чувства и способности слились в одну. Какой бы новый, неожиданный путь ни избрала Пегги, индейский Дикарь (так его прозвали, намекая, должно быть, на его непросвещенность) всегда быстро и молча ее отыскивал.

Именно благодаря этой его способности Пегги суждено было пережить едва ли не самое необычайное из ее приключений. Однажды в субботу она возвращалась из поселка, куда ходила по каким-то делам, и вдруг с изумлением увидела, что навстречу ей бежит Дикарь. По уже упомянутым причинам она больше не брала его с собою в столь шумные центры цивилизации, а выучила в таких случаях караулить загон с ее живыми сокровищами.

И сейчас она, грозя пальцем, сурово отчитала его за то, что он позорно покинул свой пост, и только после этого заметила, что собака чем-то встревожена и пропускает упреки мимо ушей. Дикарь тотчас побежал — и не позади хозяйки, как обычно, а впереди, да еще залаял, что случалось очень редко. Вскоре Пегги показалось, что она поняла причину его волнения: из лесу вышли человек двенадцать, все с ружьями. Они были ей незнакомы, она узнала только помощника здешнего шерифа. Главный заметил Пегги, что-то сказал остальным, и помощник шерифа направился к ней.

— Ступай-ка вон туда, на шоссе, да беги со своим Дикарем домой, от греха подальше,— полушутя-полусерьезно сказал он.

Пегги бесстрашно оглядела вооруженных людей.

— Это вы на охоту собрались? — любопытствовала она.

— На охоту, — подтвердил главный.

— А кого стрелять?

Помощник шерифа глянул на остальных и ответил:

— Медведя.

— Медведя, как же! — презрительно сказала Пегги. Она всегда очень сердилась, когда ее пробовали беззастенчиво обмануть. — Тут кругом на десять миль ни одного медведя не сыщешь. Выдумают тоже — медведя! Ха!

Помощник шерифа засмеялся.

— Ладно, ладно, мисси, — сказал он, — ты беги знай! — Он осторожно положил руку ей на макушку, повернул ее голову в капоре к шоссе, по обычаю дернул на прощанье каштановую косичку. — Беги напрямик домой, никуда не сворачивай, — прибавил он и вернулся к своим.

Дикарь зарычал — этого с ним еще никогда не бывало. И Пегги сказала надменно и холодно:

— Вот натравлю на вас собаку, будете знать.

Но силой никого не убедишь. Пегги чувствовала, что эта истина относится и к ней с ее псом. И пошла было прочь. Но Дикаря явно что-то тревожило. И немного погодя Пегги нерешительно оглянулась. Люди с ружьями рассеялись поодиночке и скрылись в лесу. Но в лесу ведь дорога не одна, Пегги хорошо это знала.

И тут она вздрогнула в испуге. Мимо метнулась необыкновенная, бурая с белыми полосками белка и вска-

рабкалась на дерево. Круглые глаза Пегги стали еще круглей. На всей Синей горе, сколько ни ищи, есть только одна-единственная полосатая белка — у нее в зверинце! И вот, прямо на глазах, она удрала! Пегги круто повернулась и побежала назад, к зверинцу. Дикарь большими прыжками мчался впереди. Но ее подстерегала еще одна неожиданность. Низко под деревьями затрепыхались короткие крылья, в солнечном луче вспыхнуло переливчатое горло лесного селезня, и тотчас он скрылся из виду. И одного взгляда было довольно — Пегги мигом узнала одно из самых последних и самых драгоценных своих приобретений. Все ясно!

— Зверинец разбежался! — с отчаянием крикнула она Дикарю и вихрем помчалась к заветной ограде.

Мало ли что ей там велели те люди с ружьями: на этой тропинке они ее не увидят; и они идут медленно, осторожно, Пегги с Дикарем их живо обгонят. Она успеет добежать до зверинца и водворить на место всех своих питомцев, кто еще не удрал, прежде чем придут охотники и прогонят ее.

Но ей пришлось еще дать крюку, чтобы обогнуть кузницу и свой дом, и тогда только она увидела среди зарослей земляничного дерева площадку в десяток квадратных футов, огороженную частоколом в четыре фута вышиной. И тут оказалось, что будки, конурки, клетки и ящики поломаны, опрокинуты и валяются как попало перед оградой; сердитая, огорченная Пегги все же приостановилась и подобрала одну из последних обитательниц зверинца — ящерицу-красношейку, которая, слышав ее шаги, замерла на тропинке, словно окаменела. Еще мгновение, и Пегги очутилась среди невысоких стен без кровли — и тоже, как ящерица, замерла и окаменела. Потому что среди этих мирных развалин, где она еще недавно держала своих неприрученных питомцев — вольных бродяг, земных и небесных странников, — возникло такое воплощение дикости и свирепости, какого девочка еще не видывала: загнанный человек, готовый на все!

Голова его была непокрыта, спутанные, мокрые от пота волосы прилипли ко лбу; на смертельно бледном лице резко чернела щетина небритой бороды, багровели царапины от лесных колючек да пылали, будто наведенные румянами, два ярких пятна на скулах. В глазах

горел огонек безумия, и дышал этот человек так же часто и шумно, так же оскалены были его белые зубы и так же судорожны движения, как, бывало, у всех ее пленных зверьков. Но он не пытался убежать, а лишь, напрягая все силы, приподнялся над оградой и застонал от боли, и тогда Пегги увидела, что нога его перевязана платком и гапстуком, на которых проступают тусклые красные пятна, и волочитса, как чужая. Он бессмысленно посмотрел на девочку и тотчас перевел взгляд на лес позади нее.

Пегги пытливо смотрела на него. Любопытство было в ней куда сильней страха. Она мигом смекнула, в чем дело. Он тоже дичь, его преследуют охотники. И тут незнакомец вздрогнул и потянулся за ружьем, которое, должно быть, оставил на земле, когда забирался внутрь ограды. Он видел, что вдалеке из лесу показался человек, но никак не мог дотянуться до оружия.

— Подай ружье! — приказал он.

Пегги не шелохнулась. Тот, кто вышел из лесу, приближался, ни о чем не подозревая, и теперь был весь на виду — отличная мишень.

Незнакомец грубо выругался и повернулся к девочке, он словно весь ошетинился. Но Пегги и это было не в новинку, ее четвероногие пленники тоже нередко грозилась. И она только сказала серьезно:

— Если будешь стрелять, они все на тебя кинутся.

— Все? — переспросил он.

— Ну да! — сказала Пегги. — Их двенадцать человек, и у всех такие ружья. Лучше ложись и лежи тихо. Не шевелись! И гляди, что я буду делать.

Он упал на землю за частоколом. Пегги во весь дух побежала навстречу ничего не подозревавшему охотнику, очевидно, главному из преследователей, но взяла немного в сторону, чтобы отломить веточку белого ясеня. Она так и не узнала, что в эти минуты раненый, сделав нечеловеческое усилие, дотянулся до своего смертоносного оружия и взял ее на мушку. Она храбро бежала, пока не убедилась, что главный охотник ее заметил, — тогда она остановилась и замахала веткой ясеня. Главный тоже остановился и что-то сказал тому, кто шел за ним, — это оказался помощник шерифа. Тот выступил вперед и зашагал к Пегги.

— Сказано тебе, уходи отсюда! — крикнул он сердито. — Убирайся, живо!

— Лучше сами убирайтесь, да поживей! — ответила Пегги, размахивая веткой.

Помощник шерифа остановился, как вкопанный, и вытаращил глаза на ветку.

— Что такое стряслось?

— Гремучки.

— Где?

— Тут, кругом, всюду... целый выводок! Только вон там еще можно пройти! — Она показала вправо и опять принялась колотить своей волшебной палочкой по кустам. А охотники меж тем сошлись в кружок и стали совещаться. Видно, и они слышали про власть Пегги над гремучими змеями и, по всей вероятности, слышали куда больше, чем было на самом деле. После недолгого раздумья все гуськом двинулись вправо, обходя далеко стороной не замеченный ими частокол, и скоро скрылись из виду. Пегги поспешила назад к беглецу. Глаза его уже не горели огнем ярости и отчаяния, а словно остекленели и затуманились — он был почти без памяти.

— Может... принесешь... воды? — еле прошептал он.

До родника было рукой подать — кто же устраивает зверинцы далеко от воды! Пегги принесла беглецу в ковшике напиток. И тихонько вздохнула: последним из этого ковшика пил навеки потерянный для нее «мясник» сорокопут.

Вода, казалось, оживила беглеца.

— Удрали от гремучих змей, трусы, — сказал он, пытаясь улыбнуться. — А много их было, змей?

— Ни одной, — не слишком ласково сказала Пегги. — Только ты гремучка на двух ногах.

Непрошенный гость ухмыльнулся — видно, ему это понравилось.

— Вернее сказать, на одной, — поправил он, показывая на бессильно вытянутую раненую ногу.

Пегги немножко смягчилась.

— Что ж ты теперь будешь делать? — спросила она. — Тут тебе оставаться нельзя. Тут я хозяйка.

Она была девочка великодушная, но рассудительная.

— Так вся эта живность, которую я разогнал, была твоя?

— Да.

— Экое свинство с моей стороны!

Пегги поглядела на него чуть подобревшими глазами.

— Ты идти можешь?

— Не могу.

— А ползти?

— Далеко не уползу, я ведь не змея.

— А вон до той просеки?

— Пожалуй, доползу.

— Там привязан конь. Я могу подвести его поближе.

— Ты просто молодчина,— серьезно сказал раненый.

Пегги побежала к просеке. Конь был чужой, но его хозяин Сэм Бедел позволил девочке кататься на нем когда угодно. По ее разумению, это означало, что ей позволено и перевести коня с места на место куда угодно. И Пегги подвела его поближе к частоколу и позаботилась поставить для удобства рядом с большим пнем. А пока она ходила за конем, беглец успел приползти на просеку и уже ждал ее здесь; он был чуть жив, осунулся, но все-таки улыбался.

— Как доедешь, куда надо, отпусти его,— сказала Пегги.— Он сам найдет дорогу сюда. Ну, мне пора.

И, не оглядываясь, побежала к частоколу. Тут она остановилась и прислушалась; вскоре до нее донесся конский топот — лошадь пересекла шоссе и умчалась прочь от преследователей в другую сторону: беглец удрал. Тогда Пегги вытащила из кармана ошеломленную, все еще недвижимую ящерицу и стала перетаскивать поломанные конурки и клетки обратно в опустевший загон.

Но она так и не восстановила свой зверинец и не обзавелась новыми питомцами. Люди говорили, что ей наскучила эта прихоть, да и слишком взрослая она стала для таких забав. Может быть, это и верно. Но никогда она не стала настолько взрослой, чтобы поведать кому-либо о последнем диком звере, которого она приручила своей добротой. Да и сама она была не вполне уверена, что ей это удалось... Но несколько лет спустя, в первый день занятий в закрытой школе в Сан-Хосе, ей показали одного из самых уважаемых попечителей. По слухам, когда-то он был отчаянным игроком и, вспылыв за картами, застрелил человека — его чуть было не поймали и не предали суду Линча.

# **Стихи и баллады**

1000 1000 1000 1000 1000



## В ЗАБОЕ

Я и Том Флин,  
Флин из Вирджинии,  
В этом вот месте  
Врубались вместе  
В забой один.

Здесь в забое  
Трудились двое,  
Я и Том Флин,  
Киркой рубили,  
Руду дробили  
Среди теснин.

Где теперь Флин?  
Эхо долин  
Скажет, где он,  
Друг мой Том Флин,  
Том весельчак,  
Храбрец, добряк,  
Мой компаньон.

На месте том,  
Там, где обвал,  
Крепленье Том  
Спиной держал

И вдруг из мрака  
Мне закричал:  
«Спасайся скорей  
Ради детей,  
Не жди меня, Джек!»  
И в миг один  
Средь скал навек  
Пропал Том Флин,  
Флин из Вирджинии.

Вот весь рассказ  
О том, как спас  
Меня Том Флин,  
Флин из Вирджинии.  
Я плачу... Нет...  
То не слеза,  
То лампы свет  
Слепит глаза.

Коль спросят тебя,  
Где, скалы рубя,  
Вдруг с эхом долин  
Сгинул Том Флин,  
Скажи о том,  
Каков был Том  
Флин из Вирджинии.

## ЕЕ ПИСЬМО

К камину подвинувшись ближе,  
Я в бальном платье своем —  
За тысячи сшитом в Париже —  
Сижу сейчас пред огнем;  
Сверкая в лучах бриллиантов,  
«Царица сезона», для вас  
Забыв всех поклонников-франтов,  
Я вам отдам этот час.

Отвергла я все приглашенья,  
Нарушила танцев черед,  
Не выслушала предложенья  
Того, кто на лестнице ждет.  
Говорят, он жених завидный  
И любит меня притом,  
Но вы усмехнетесь ехидно  
За три тысячи миль над письмом.

«Как нравится мне в Нью-Йорке?  
Забыла ль я вас совсем?  
От жизни роскошной в восторге,  
Танцую, флиртую я с кем?  
Не правда ль, быть лучше богатой,  
Ходить в бриллиантах, в шелках,  
Чем рыть киркой и лопатой  
В поселке на приисках?»

Увидев, как цугом в карете  
Четверкой мы едем гулять,  
Какою гранд-дамой в свете  
Старается быть моя мать;  
Отцовский портрет в гостиной  
Увидев, не скажешь: ах!  
Ведь он торговал свиной  
В поселке на приисках.

Здесь в кресле под люстрой хрустальной,  
Пред пышным зеркальным трюмо,  
Под отзвуки музыки бальной  
Пишу я вам это письмо.  
На «лучшем балу в Нью-Йорке»,  
Средь «флера де Шамбери»<sup>1</sup>  
Я вспомнила, Джо, как на Форке  
Плясали до самой зари.

Я вспомнила стены сарая  
С флажками, воткнутыми в щель,  
Где свечи роняли, сгорая,  
На платья и шали капель,  
И старую скрипку с гобоем,  
И платье моей визави,  
И танец однажды с ковбоем,  
Убившим Сэнди Мак-Джи,

Разъезд наш и месяц низкий,  
Уснувший на дальнем холме,  
Гранитных вершин обелиски  
Под снежным покровом во тьме,  
И скачку вдвоем меж холмами,  
И ваши слова у крыльца...  
Ах, Джо, ведь тогда между нами  
Не встало богатство отца!

Все это прошло, миновало.  
Забавно, что даже сейчас,  
Средь блеска богатства и бала,  
Я все еще помню вас,

---

<sup>1</sup> Ш а м б е р и — французский город, славившийся выработкой тканей.

Того, кто вплавь прорывался  
Через паводок Форка в ночь,  
Чтоб пригласить на тур вальса  
Фолинсби старого дочь.

Но что я пишу вам! Наверно,  
Меня не поймете вы;  
Что вкус у меня очень скверный,  
Мне скажет мама — увы!  
О боже! Как это несносно!  
Зачем мой отец на доход  
От жилы золотиносной  
Таким богачом живет?

Спокойной ночи! Кончаю  
Письмо, а на Западе, там,  
Еще светит солнце, пылая,  
День не кончен по вашим часам.  
Какие б ни были толки,  
Пусть, Джо, вы с киркой в руках,  
Но сердце мое в поселке,  
Там, с вами, на приисках!

## ЧИКИТА

Красавица, сэр, по всем статям. Равной ей нет в округе.  
Не правда ль, моя Чикита, моя голубка, красотка?  
Погладьте ей шею. Бархат! Да стой же ты, чертова  
ведьма!  
Джек, проводи-ка ее. Покажи ее рысь джентльмену.

Морган! <sup>1</sup> Чистейших кровей, могу подтвердить  
аттестатом,  
От «Индейца Чиппева», за тысячу двести не купишь.  
Бригс из Туолумне владел ею. Вы знали Бригса?  
Он прогорел и в лоб пустил себе пулю во Фриско.

Все потерял этот Бригс. Эй, Джек, довольно дурачества!  
Волю ей только дай, потом ее не удержишь.  
Лошадь лошади рознь, и не каждый седок — наездник.  
Да, не всякий сумеет на всякой лошади ездить.

Знаете старый брод на Форке, где фланиганцы  
Чуть не погибли? Он опасен и днем в мелководье.  
Недель шесть назад я, судья и его племянник  
Попали на этот брод в ливень и наводнение.

Ущелье Гремучей Змеи бушевало потоком.  
Паводок снес все мосты, ни бревна, ни доски в плотине.

---

<sup>1</sup> Морган — название известной американской породы скаковых лошадей по имени коннозаводчика Моргана,

Я — на Сером, судья — на Чалом, племянник его —  
на Чиките,

А позади обвалы вовсю грохотали в каньоне.

К броду подъехали мы. Не успел я всаднику крикнуть,  
Как сразу Чикита бросилась в паводок бурный  
И поплыла. Я смотрел с берега, как уносило  
На тысячу двести долларов конского мяса.

Верите мне или нет? Вот эта кобыла Чикита  
В стойло вернулась в ту ночь и стояла там смирно,  
Мокрая, словно бобер, без седла, без уздечки.  
Вплавь через Форк добралась кобылка моя Чикита.

Вот это так лошады! Что вы сказали? А, как племянник?  
Утонул, надо думать, — пропал с этой ночи бесследно.  
Мальчишка был без посадки, такого езде не обучишь.  
Мальчишка мальчишке роэнь, как и лошади лошады.

## ДИККЕНС НА ПРИИСКЕ

Над соснами плыл месяц, ночь дремала,  
Внизу поток журчал,  
Ввысь минареты снежные вздымала  
Громада серых скал.

Костер блеск золотой свой со злорадством  
Бросал на нищих тех,  
Что погнались за призрачным богатством,  
Надеясь на успех.

Вдруг встал один средь шума и азарта,  
Держа заветный том,  
И вот забыты игроками карты,  
Примолкли все кругом.

И даже тени в круг собрались тесный,  
Костер чуть не потух,  
О Нелли маленькой рассказ чудесный  
Читался громко вслух.

Чтец молодой по-юношески щедро  
Бросал во тьму слова,—  
Притихли сосны мощные и кедр  
От волшебства.

Толпясь внимали сумрачные ели,  
Так чары увлекли,

Что слушатели все бродили с Нелли  
По Англии вдали.

Вся тяжесть их исканий беспокойных  
Спадала с плеч долой,  
Как иглы бурые с деревьев хвойных  
Пред новою весной.

Нет прииска, костер тот потушили,  
А где творец тех чар?  
Ах, сосны Запада и Кента шпили,  
Вот траурный ваш дар!

Нет прииска, но пусть рассказ об этом  
Летит из хвойной тьмы  
Туда, где хмель венчает пышным цветом  
Английские холмы.

Пусть на могилу, где венком огромным  
Лавр с дубом сплетены,  
Возложат с этим посвященьем скромным  
Ветвь Западной сосны!



## ЦЕЦИЛИЯ

Итак, вы поэт,— признаюсь,  
                                не смыслю в стихах ничего.  
Хоть дайте мне сотню, хоть бейте,  
                                не выжму ни одного.

Поэзия! Могут иные  
                                в стихи свою мысль облечь,  
Слова у меня простые  
                                и не подслащена речь.

Поэзия! Вы посмотрите —  
                                кругом солончак блестит,  
Соль, да шалфей, да камень,—  
                                не правда ль, веселый вид!  
Катится солнце с востока  
                                на запад в спящей мгле,—  
Лишь тень от станции этой  
                                ползет по мертвой земле.

Поэзия!.. Ах, это Полли!  
Тебя сейчас мама звала.  
Иди же скорее к маме!  
Не правда ль, малютка мила?  
Поэзия! Легче жить с нему,  
хотя к созвучьям я глух.  
Вы дверь прикройте плотнее,  
у Цецилии чуткий слух.

Вы видели, Полли, малютку?  
За месяц до родов жена  
Цецилия — вспомнить жутко —  
была душевно больна.  
Грустит, бывало, и плачет  
о цветах лугов и дубрав.  
Женаты вы, сэр? Так, значит,  
известен вам женский нрав.

Твердила она нередко,  
что «так безлюдно кругом»,  
А до ближайшей соседки  
семнадцать миль прямым.  
Я с доктором договорился,  
и он обещал прийти,  
И я, его ожидая,  
сидел здесь, как взаперти.

Октября десятого ночью  
проснулся я в темноте  
И вижу, что дверь открыта,  
Цецилии нет нигде.  
На одеяле записка,  
что «так безлюдно кругом»,  
Пошла она ночью к соседке, —  
семнадцать миль прямым.

Когда, по какой дороге  
ушла она, я не знал.  
Но тотчас в большой тревоге  
за нею я побежал.  
Среди полночного мрака  
метался растерянн я,  
Так ищет следы собака,  
лишившаяся чутья.

Да, испытал я немало,  
блуждая во тьме ночной  
По этой мертвой равнине,  
пока не вернулся домой.

Не очень ведь это приятно,  
когда гоняется муж.  
За женой-сумасбродкой в пустыне,  
да еще в темноте к тому ж.

«Цецилия!» — в тьму истступленно  
кричал я и отклика ждал.  
«Цецилия», — мне из каньона  
гремело эхо от скал.  
«Цецилия», — гулом суровым  
с гор доносился крик.  
«Цецилия», — тихим зовом  
откликался заснеженный пик.

Не склонен я к суеверью,  
но в небо взглянул на бегу.  
И вот что я там увидел,—  
не думайте, что я лгу.  
Передо мной на востоке  
сверкнула большая звезда,  
Такой звезды желтококой  
не видел я никогда.

Двигаясь, словно танцуя,  
как дальний маяк, света,  
Куда-то во тьму ночную  
манила она и звала.  
В небе такого светила  
не видел я никогда.  
Такая звезда светила  
волхвам в былые года.

**И к этой звезде чудесной,  
                                мигавшей мне с высоты,  
Бежал я впотьмах, спотыкаясь  
                                о камни, о кочки, кусты.  
Наверно, не меньше часа  
                                гонялся за ней я вскачь  
И вдруг вдалеке услышал  
                                такой же вот детский плач.**

Вы слышите? Плачет так звонко!  
Теперь ее крик сильней,  
А как я мать и ребенка  
дones, не помню, ей-ей!  
Тут скоро доктор явился,  
но вот что забавней всего:  
Цецилия о той ночи  
не помнит совсем ничего.

Она назвала вас поэтом,—  
тогда к вам просьба моя:  
Вы ей напишите об этом  
в стихах, ничего не тая;  
Но чтоб не испортить балладу,  
такую, как пелись встарь,  
Писать про звезду не надо,  
что доктора был то фонарь.

## ОБЩЕСТВО НА СТАНИСЛАВЕ<sup>1</sup>

С Горы Столовой я, зовут  
                                меня Правдивый Яков;  
Всегда я правду говорю,—  
                                вам это скажет всякий.  
Я попросту вам расскажу  
                                о диспуте-расправе  
В ученом горном обществе  
                                у нас на Станиславе.

Скажу сначала, что нельзя  
нам кулаком своим  
Для подтверждения наших слов  
«вправлять мозги» другим.  
В ученом обществе нельзя  
всех спорящих коллег  
Полосовать до синяков  
и превращать в калек.

Собрания наши чинно шли  
шесть месяцев вначале,  
Все мирно разговор вели  
и в спорах не кричали,  
Покуда Браун не пришел  
с какими-то костями,—  
Близ дома Джонса он нашел  
их у забоя в яме.

<sup>1</sup> Станислав — река в Калифорнии.

Доклад нам Браун прочитал  
и, кости те измеря,  
Из них составил напоказ  
неведомого зверя,  
Но Джонс тут слова попросил  
и закричал со стула,  
Что это кости от его  
издохнувшего мула.

На это Браун возразил  
с улыбкою умильной,  
Что очень жаль, коль он разрыл  
у Джонса склеп фамильный.  
В ответах очень ядовит  
невозмутимый Браун,  
И знатоком себя он мнит  
всех допотопных фаун.

Ученому нехорошо,  
взяв для доклада слово,  
Публично называть ослом  
ученого другого.  
Но и тому нехорошо,  
кого ослом назвали,  
Швырять обломками скалы  
в кого попало в зале.

Тут настоятель Эбнер встал —  
к порядку дня с поправкой,  
Но получил удар в живот  
куском породы плавкой.  
Он растянулся на полу,  
свернувшись, без движений,  
И дела не было ему  
до всех дальнейших прений.

Затем не только кулаки,  
но с руганью сверх меры  
Пошли в ход даже костяки  
палеозойской эры;

Попал и Томпсон в кутерьму,  
и кто-то в общей буче  
Вдруг череп мамонта ему  
с размаху нахлобучил.

Изложенное мной могу  
я подтвердить присягой;  
Правдивый Яков я с Горы  
Столовой — скажет всякий.  
Я попросту вам сообщил  
о диспуте-расправе  
В ученом горном обществе  
у нас на Станиславе.

## КОНСЕПСЬОН ДЕ АРТЕЛЪО

# I

Средь холмов от моря близко —  
крепость странная на вид,  
Здесь обитель францисканцев  
память о былом хранит.  
Их патрон отцом вдруг крестным  
городу чужому стал,  
Ангел ликом здесь чудесным  
с ветвью золотой сиял.  
Древние гербы, трофеи  
безвозвратно сметены,  
Флаг чужой парит здесь, рея  
над камнями старины.  
Бреши и рубцы осады,  
на стенах их много тут,  
Только на мгновенье взгляды  
любопытных привлекут.  
Нить чудесно-золотую  
лишь любовь вплести могла  
В ткань суровую, простую, —  
та любовь не умерла.  
Лишь любовь та неизменно  
оживляет и сейчас  
Эти сумрачные стены, —  
слушайте о ней рассказ.



Здесь когда-то граф Резанов,  
русского царя посол,  
Возле амбразур у пушек  
важную беседу вел.  
О политике с властями  
завязал он разговор,  
Обсуждая вместе с ними  
о Союзе договор.  
Там с испанским комендантом  
дочь красавица была,  
Граф с ней говорил приватно  
про сердечные дела.  
Обсудили все условия,  
пункт за пунктом, все подряд,  
И закончилось Любовью  
то, что начал Дипломат.  
Мирный договор удачный  
граф с властями завершил,  
Как и свой любовный брачный,  
и на север поспешил.  
Обрученные простились  
на рассвете у скалы,  
В путь чрез океан пустились  
смело Русские Орлы.

## III

Возле амбразур у пушек  
ожидали, вдаль смотря,  
Что жених-посол вернется  
к ним с ответом от царя.  
День за днем дул с моря ветер  
в амбразуры, в щели скал,  
День за днем пустынно-светел  
Тихий океан сверкал.  
Шли недели, и белела  
дюн песчаных полоса,  
Шли недели, и темнела  
даль, одетая в леса.

Но дожди вдруг ветер свежий  
с юго-запада принес,  
Зацвело все побережье,  
отгремели громы гроз.  
Изменяется погода,  
летом — сушь, дожди — весной.  
Расцветает все полгода,  
а полгода — пыль да эной.  
Только не приходят вести,  
писем из чужой земли  
Коменданту и невесте  
не привозят корабли.  
Иногда она в печали  
слышала безгласный зов.  
«Он придет», — цветы шептали,  
«Никогда», — несло с холмов.  
Как живой он к ней являлся  
в плеске тихом волн морских.  
Если ж океан вздымался —  
исчезал ее жених.  
И она за ним стремилась,  
и бледнела смуглость щек,  
Меж ресниц слеза таилась,  
а в глазах — немой упрек.  
И дрожали с укоризной  
губы, лепестков нежней,  
И морщинкою капризной  
хмурился излом бровей.  
Подле пушек в амбразурах  
комендант, суров и строг,  
Мудростью пословиц старых  
дочку утешал как мог.  
Много их еще от предков  
он хранил в душе своей,  
Камни самоцветов редких  
нес поток его речей:  
«Всадника ждать на стоянке, —  
надо терпеливым быть»,  
«Обессилевшей служанке  
трудно будет масло сбить»,  
«Тот, кто мед себе собирает,  
мух немало привлечет»,

«Мельника лишь время смелет»,  
«Видит в темноте и крот»,  
«Сын алькальда <sup>1</sup> не боится  
наказанья и суда»,  
Ведь у графа есть причины,  
объяснит он сам тогда.  
И пословицами густо  
пересыпанная речь,  
Изменив тон, начинала  
по-кастильски плавно течь.  
Снова «Конча», «Кончитита»  
и «Кончита» <sup>1</sup> без конца  
Стали звучно повторяться  
в речи ласковой отца.  
Так с пословицами, с лаской,  
в ожиданье и тоске,  
Вспыхнув, теплилась надежда  
и мерцала вдалеке.

## IV.

**Е**жегодно кавалькады  
                        появлялись с гор вдали,  
**П**астухам они веселье,  
                        радость девушкам несли.  
**Н**аступали дни пирушек,  
                        сельских праздничных потех.—  
**Б**ой быков, стрельба и скачки,  
                        шумный карнавал для всех.

**Т**щетно дочке коменданта  
                        до полуночи с утра  
**Р**аспевали серенады  
                        под гитару тенора.

**Т**щетно удалцы на скачках  
                        ею брошенный платок,  
**С** седел наклонясь, хватали  
                        у мустангов из-под ног.

<sup>1</sup> Мэр города (исп.).

Тщетно праздничной отрадой  
яркие плащи цвели,  
Исчезая с кавалькадой  
в пыльном облачке вдали.  
Барабан, шаг часового  
слышен с крепостной стены,  
Комендант и дочка снова  
одинокую жизнь должны.  
Нерушим круг ежедневный  
мелких дел, трудов, забот,  
Праздник с музыкой напевной  
только раз в году цветет.

## V

Сорок лет осаду форта  
ветер океанский вел.  
С тех пор, как на север гордо  
русский отлетел орел.  
Сорок лет твердыню форта  
время рушило сильней,  
Крест Георгия у порта  
поднял гордо Монтерей.  
Цитадель вся расцветилась,  
разукрашен пышно зал,  
Путешественник известный  
сэр Джордж Симпсон там блистал.  
Много собралось народу  
на торжественный банкет,  
Принимал все поздравленья  
гость, английский баронет.  
Отзвучали речи, тосты,  
и застольный шум притих.  
Кто-то вслух неосторожно  
вспомнил, как пропал жених.  
Тут воскликнул сэр Джордж Симпсон:  
«Нет, жених не виноват!»  
Он погиб, погиб бедняга  
сорок лет тому назад.

Умер по пути в Россию,  
в скачке граф упал с конем.  
А невеста, верно, замуж  
вышла, позабыв о нем.  
А жива ль она?» Ответа  
нет, толпа вся замерла.  
Конча, в черное одета,  
поднялась из-за стола.  
Лишь под белым капюшоном  
на него глядел в упор  
Черным углём пережженным  
скорбный и безумный взор.  
«А жива ль она?» — В молчанье  
четко раздались слова  
Кончи в черном одеянье:  
«Нет, сеньор, она мертва!»

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

### РАССКАЗЫ

ПРИГОВОР БОЛИНАССКОЙ РАВНИНЫ («The Judgement of Bolinas Plain»). Напечатано в сборнике 1898 г. «В городе и по дорогам» («Tales of Trail and Town»).

«НАШ КАРЛ» («Unser Karl»). Напечатано в сборнике 1899 г. «На солнце и в тени» («Stories in Light and Shadow»).

Предполагается, что Брет Гарт написал этот рассказ, еще будучи консулом в Германии, но не публиковал его, опасаясь нападок немецкой печати. Дух военщины и пруссачества в Германии 70-х годов был несносен Гарту. В 1879 г. Гарт писал из Крефельда сыну: «Каждый второй в Дюссельдорфе, в Кобленце, в Майнце — непременно военный... Строевая служба... Парады... Устаешь от несмолкаемых труб и блеска мундиров». Дальше, рассказывая о посещении концерта, он пишет, что, очутившись в ложе среди немецких офицеров, почуствовал себя «скромной вороной, посаженной вдруг в одну клетку с тропическими попугаями».

ДЯДЮШКА ДЖИМ И ДЯДЮШКА БИЛЛИ («Uncle Jim and Uncle Billy»). Из того же сборника.

КО СИ («See You»). Из того же сборника.

ПОЦЕЛУЙ САЛОМЕИ ДЖЕЙН («Salomy Jane's Kiss»). Из того же сборника.

УХОД ЭНРИКЕСА («The Passing of Enriquez»). Из того же сборника.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ДЖЕКА ГЕМЛИНА («Mr. Jack Hamlin's Mediation»). Напечатано в одноименном сборнике 1899 г. («Mr. Jack Hamlin's Mediation and other Stories»),

Критики не раз укоряли Гарта, считая, что он в своих поздних рассказах «воскрешает» Джека Гемлина, смерть которого была уже описана им в «Гэбриеле Конрое». Однако Гарт изображает в этих рассказах события, относящиеся к более ранним периодам в жизни Гемлина, то есть не «воскрешает» своего популярного героя, а лишь дополняет и обогащает его биографию.

**НАВОДНЕНИЕ «У ДЖУЛСА»** («When Waters were up at Jules»). Из того же сборника.

**ЭСМЕРАЛЬДА СКАЛИСТОГО КАНЬОНА** («An Esmeralda of Rocky Canyon»). Из того же сборника.

**ПЛЕМЯННИЦА СТРЕЛКА ГАРРИ** («A Niece of Snapshot Harry»). Напечатано в сборнике 1900 г. «С песчаного холма в сосновый лес» («From Sandhill to Pine»).

**СОКРОВИЩЕ КАЛИФОРНИЙСКОГО ЛЕСА** («A Treasure of the Redwood»). Из того же сборника.

**КАК Я ПОПАЛ НА ПРИИСКИ** («How I Went to the Mines»). Из того же сборника.

Брет Гарт использует свой личный старательский опыт в целом ряде рассказов. Дружеская компания образованных молодых горожан, объединившихся для золотонискательства в «Счастливец Баркере», «Друге капитана Джима», «Сокровище Калифорнийского леса», восходит к компании «Камедное дерево», описанной в этом автобиографическом очерке.

**РУСАЛКА МАЯЧНОГО МЫСА** («The Mermaid of Lighthouse Point»). Напечатано в сборнике 1901 г. «В Калифорнийских лесах» («Under the Redwoods»).

**КАК РУБЕН АЛЛЕН УЗНАЛ САН-ФРАНЦИСКО** («How Reuben Allen Saw Life in San Francisco»). Из того же сборника.

В первые годы жизни в Калифорнии Брет Гарт недолгое время служил продавцом в аптекарском магазине. Молодой Кейн в рассказе, невольный свидетель и участник драматических и кровавых событий, принадлежит к автобиографическим образам Гарта.

**ТРОЕ БРОДЯГ ИЗ ТРИНИДАДА** («Three Vagabonds of Trinidad»). Напечатано в том же сборнике.

Брет Гарт был противником традиционной романтизации индейцев в литературе, так часто сочетавшейся в США с грубой расовой дискриминацией; но с начала своей литературно-общественной деятельности и до самого конца он выступает как друг и заступник гонимых и истребляемых в США аборигенов американского материка.

**МОЯ ЮНОСТЬ В САН-ФРАНЦИСКО** («Bohemian Days in San Francisco»). Из того же сборника.

### УКРАДЕННЫЙ ПОРТСИГАР («The Stolen Cigar-Case»).

Из позднего цикла литературных пародий Гарта, опубликованного им в 1901—1902 гг. под общим заголовком «Новые бурлески» («The New Burlesques»), «Украденный портсигар» — одна из лучших пародий на детективные рассказы А. Конан-Дойля.

### ГОРНЫЙ МЕРКУРИЙ («A Mercury of the Foot-Hills»).

Напечатано в последнем прижизненном сборнике 1902 г. «На старой дороге» («On the Old Trail»).

### ПОДОПЕЧНЫЕ МИСС ПЕГГИ («Miss Peggy's Protégées»).

Из того же сборника.

## СТИХИ И БАЛЛАДЫ

«В ЗАБОЕ» («In the Tunnel»). Напечатано в 1869 г. в журнале «Оверленд монсли».

«ЕЕ ПИСЬМО» («Her Letter»). Напечатано в 1869 г. там же.

«ЧИКИТА» («Chiquita»). Напечатано в 1870 г. там же.

«ДИККЕНС НА ПРИИСКЕ» («Dickens in Camp»). Напечатано в 1870 г. там же.

Биограф Гарта Мервин рассказывает, что неожиданная весть о смерти Диккенса застала Гарта в золотоискательском районе, вдали от Сан-Франциско. Ночью он написал стихи и наутро отправил их в уже готовый к печати июньский номер «Оверленд монсли».

О Нелли маленькой — речь идет о героине романа Диккенса «Лавка древностей».

«ЦЕЦИЛИЯ» («Cicely»). Напечатано в 1870 г. там же.

«ОБЩЕСТВО НА СТАНИСЛАВЕ» («The Society upon the Stanislaus»). Напечатано в 1868 г. в еженедельнике «Ньюс леттер». В журнальной публикации стихи назывались «Заседание Академии естественных наук на Смитовой переправе в округе Туолумне».

Река Станислав, приток Сан-Хоакина, один из центров калифорнийского старательства 1850-х гг.

«КОНСЕПСЬОН ДЕ АРГЕЛЬО» («Concepcion de Arguello»). Напечатано в 1875 году в сборнике стихов Гарта «Эхо в Нагорьях» («Echoes of the Foot-Hills»).



*Николай Петрович Резанов (1764—1807)* — русский государственный деятель, один из учредителей Российско-Американской компании. В 1803 году Резанов, назначенный посланником в Японию, выехал в длительное путешествие во главе русской кругосветной экспедиции Лисянского и Крузенштерна; после неудачи своей миссии в Японии отправился инспектировать русские колонии в Америке; к этому времени и относится посещение Резановым Сан-Франциско (весна 1806 г.). Историк Российско-Американской компании П. А. Тихменев объясняет неожиданное обручение Резанова с Консепсьон де Аргелью, дочерью коменданта испанской крепости, преимущественно дипломатическим расчетом; это помогло Резанову получить у испанцев необходимое продовольствие для русских колонистов (см. «Историческое обозрение образования Российско-Американской компании». Спб., т. 1, 1861, стр. 146—150). Здоровье Резанова было подорвано трудным путешествием; он заболел на обратном пути в Петербург и умер в Красноярске весной 1807 года.

*Конча, Кончита* — уменьшительные имена от Консепсьон.

*Монтерей* — портовый город и административный центр Калифорнии в течение всего испано-мексиканского периода ее истории.

**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИИ БРЕТ ГАРТА,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В 1—6-й ТОМА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИИ**

	<i>Том</i>	<i>Стр.</i>
Благотворительность по квитанции . . . . .	1	485
Блудный сын мистера Томсона . . . . .	1	153
Браун из Калавераса . . . . .	1	141
Великая дедвудская тайна . . . . .	2	325
В забое (стих.) . . . . .	6	427
Влюбленный Энрикес . . . . .	5	441
В миссии Сан-Кармел . . . . .	2	478
В ожидании парохода . . . . .	1	478
Горный Меркурий : . . . . .	6	387
Гэбриель Конрой . . . . .	3	5
Девяносто девять гвардейцев . . . . .	1	527
Дедлоуское наследство . . . . .	5	126
Джентльмен из Лапорта . . . . .	2	427
Джим Уилкс возвращается в отчий дом . . . . .	5	404
Джинни . . . . .	2	250
Джон Дженкинс . . . . .	1	550
Диккенс на прииске (стих.) . . . . .	6	433
Дома, в которых я жил . . . . .	1	464
Друг капитана Джима . . . . .	5	98
Друг Роджера Катрона . . . . .	2	235
Дынька . . . . .	1	451
Дядюшка Джим и дядюшка Библи . . . . .	6	50
Ее письмо (стих.) . . . . .	6	428
Звонарь у Ангела . . . . .	5	370
Изгнанники Покер-Флета . . . . .	1	96
Идиллия Красного Ущелья . . . . .	1	130
Илиада Сэнди-Бара . . . . .	1	162

	Том	Стр.
История одного рудника . . . . .	2	92
Искатель должности . . . . .	2	283
Как Рубен Аллен узнал Сан-Франциско . . . . .	6	324
Как Санта Клаус пришел в Симпсон-Бар . . . . .	1	186
Как я попал на прински . . . . .	6	294
Кларенс . . . . .	4	413
Компаньон Теннесси . . . . .	1	120
Консепсьон де Аргельо (стих.) . . . . .	6	442
Ко Си . . . . .	6	86
Кресси . . . . .	4	5
Кто был мой спокойный друг . . . . .	2	274
Малыш Сильвестра . . . . .	1	369
Мать пятерых детей . . . . .	5	508
Миггас . . . . .	1	108
Миллионер из Скороспелки . . . . .	5	22
Миссия Долорес . . . . .	1	461
Мичман Бризи . . . . .	1	541
Млисс . . . . .	1	56
Мой приятель-бродяга . . . . .	2	72
Монте-флетская пастораль . . . . .	1	325
Моя юность в Сан-Франциско . . . . .	6	356
Мужья миссис Скэгс . . . . .	1	214
Мэк-а-Мэк . . . . .	1	534
Наблюдения пешехода . . . . .	1	495
Наводнение на болоте . . . . .	1	410
Наводнение «у Джулса» . . . . .	6	193
Наивное дитя Сьерры . . . . .	5	310
Наследник Мак-Гуаншей . . . . .	5	330
Наследница . . . . .	2	308
Настоящий человек . . . . .	1	51
Находка в Сверкающей Звезде . . . . .	2	440
«Наш Карл» . . . . .	6	28
Новый помощник учителя в Пайн-Клиринге . . . . .	5	207
Ночь в Уингдэме . . . . .	1	403
Общество на Станиславе (стих.) . . . . .	6	439
Питер Шредер . . . . .	2	361
Племянница Стрелка Гарри . . . . .	6	228
Подопечные мисс Пегги . . . . .	6	413
Поездка в одиночестве . . . . .	1	444
Покнинутый на Звездной горе . . . . .	2	518
По полям и по воде . . . . .	1	419
Посредничество Джека Гемлина . . . . .	6	163
Поцелуй Саломеи Джейн . . . . .	6	102
Почтмейстерша из Лорел-Рэна . . . . .	5	172
Поэт Сьерра-Флета . . . . .	1	175

	Том	Стр.
Правый глаз коменданта . . . . .	1	517
Приговор Болинасской равнины . . . . .	6	5
Призрак Сьерры . . . . .	2	353
Приключения падре Виценто . . . . .	1	510
Проводы парохода . . . . .	1	501
Развалины Сан-Франциско . . . . .	1	481
Разговор в спальном вагоне . . . . .	2	85
Ребячий пес . . . . .	1	474
Русалка Маячного мыса . . . . .	6	305
Рыжий пес . . . . .	5	496
Рыцарский роман в Лошине Мадроньо . . . . .	1	201
Салли Даус . . . . .	5	229
Сара Уокер . . . . .	5	5
С балкона . . . . .	1	490
Святые с предгорий . . . . .	2	260
Случай из жизни мистера Джона Окхерста . . . . .	1	344
Сокровище Калифорнийского леса . . . . .	6	272
«Старуха» Джонсона . . . . .	5	191
Степной найденныш . . . . .	4	161
Счастливцев Баркер . . . . .	5	471
Счастье Ревущего Стана . . . . .	1	83
Сюзи . . . . .	4	263
Трое бродяг из Тринидада . . . . .	6	342
Туолумнская Роза . . . . .	1	250
Турист из Индианы . . . . .	2	297
Тэнкфул Блоссом . . . . .	2	5
Украденный портсигар . . . . .	6	376
Уход Энрикеса . . . . .	6	127
Фидлтаунская история . . . . .	1	278
Флип . . . . .	2	380
Цецилия (стих.) . . . . .	6	435
Человек из Соано . . . . .	2	64
Человек со взморья . . . . .	2	202
Черт и маклер . . . . .	1	506
Чикита (стих.) . . . . .	6	431
Чудак . . . . .	1	458
Чу-Чу . . . . .	5	417
Эсмеральда Скалистого Каньона . . . . .	6	212
Язычник Вань Ли . . . . .	1	384

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАССКАЗЫ

Приговор Болинасской равнины. Перевод Е. Коротковой . . .	5
«Наш Карл». Перевод Т. Озерской . . . . .	28
Дядюшка Джим и дядюшка Билли. Перевод Т. Озерской . .	50
Ко Си. Перевод В. Смирнова . . . . .	86
Поцелуй Саломеи Джейн. Перевод Т. Озерской . . . . .	102
Уход Энрикеса. Перевод М. Кан . . . . .	127
Посредничество Джека Гемлина. Перевод Л. Белопольского	163
Наводнение «у Джулса». Перевод М. Беккер . . . . .	193
Эсмеральда Скалистого Каньона. Перевод Т. Озерской . .	212
Племяница Стрелка Гарри. Перевод Э. Кабалеvской . . . .	228
Сокровище Калифорнийского леса. Перевод М. Баранович .	272
Как я попал на прински. Перевод Е. Танка . . . . .	294
Русалка Маячного мыса. Перевод Б. Каминской . . . . .	305
Как Рубен Аллен узнал Сан-Франциско. Перевод Е. Куниной	324
Трое бродяг из Тринидада. Перевод В. Ровинского . . . .	342
Моя юность в Сан-Франциско. Перевод С. Майзельс . . . .	356
Украденный портсигар. Перевод И. Бернштейн . . . . .	376
Горный Меркурий. Перевод Н. Галь . . . . .	387
Подопечные мисс Пегги. Перевод Н. Галь . . . . .	413

### СТИХИ И БАЛЛАДЫ

*Переводы М. Зенковича*

В забое . . . . .	427
Ее письмо . . . . .	428
Чикита . . . . .	431
Диккенс на принске . . . . .	433
Цецилия . . . . .	435
Общество на Станиславе . . . . .	439
Консепсьон де Аргельо . . . . .	442
Библиографическая справка . . . . .	448
Алфавитный указатель произведений Брет Гарта, включен- ных в 1—6-й тома собрания сочинений . . . . .	452

**Брет Гарт.**  
**Собрание сочинений в 6 томах.**  
**Том VI.**

**Оформление художника**  
**Д. Бисти.**

**Редактор тома**  
**В. Хинкс.**

**Технический редактор**  
**А. Шагарина.**

---

Подп. к печ. 13/VIII 1966 г. Тираж 230 000 экз.  
Изд. № 1545. Зак. 1519. Форм. бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Физ. печ. л. 14,25. + 4 вкл. иллюстраций.  
Условных печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 24,66.  
Цена 90 коп.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, улица  
«Правды», 24.

**Индекс 70665**



